

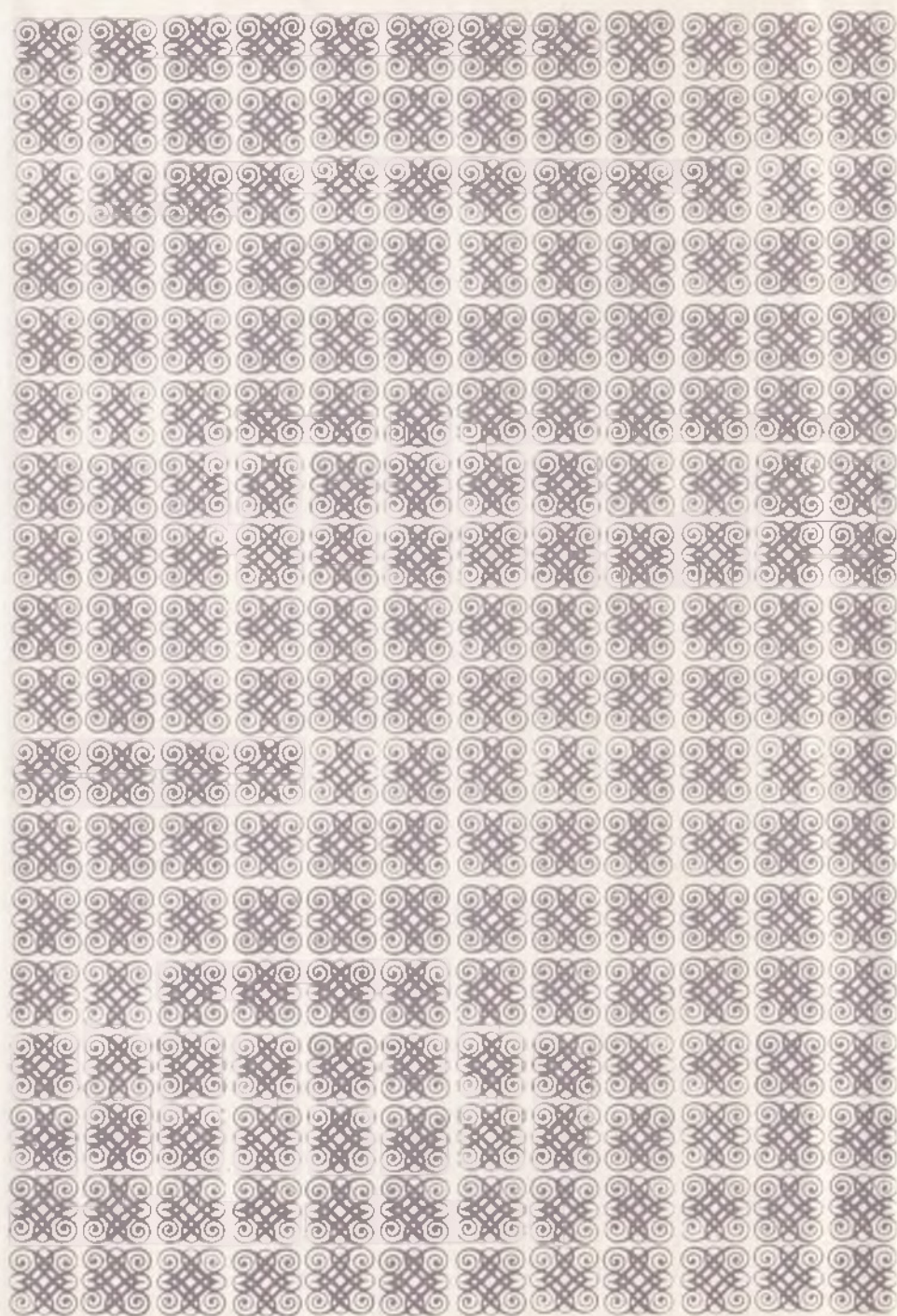
ДЮМА

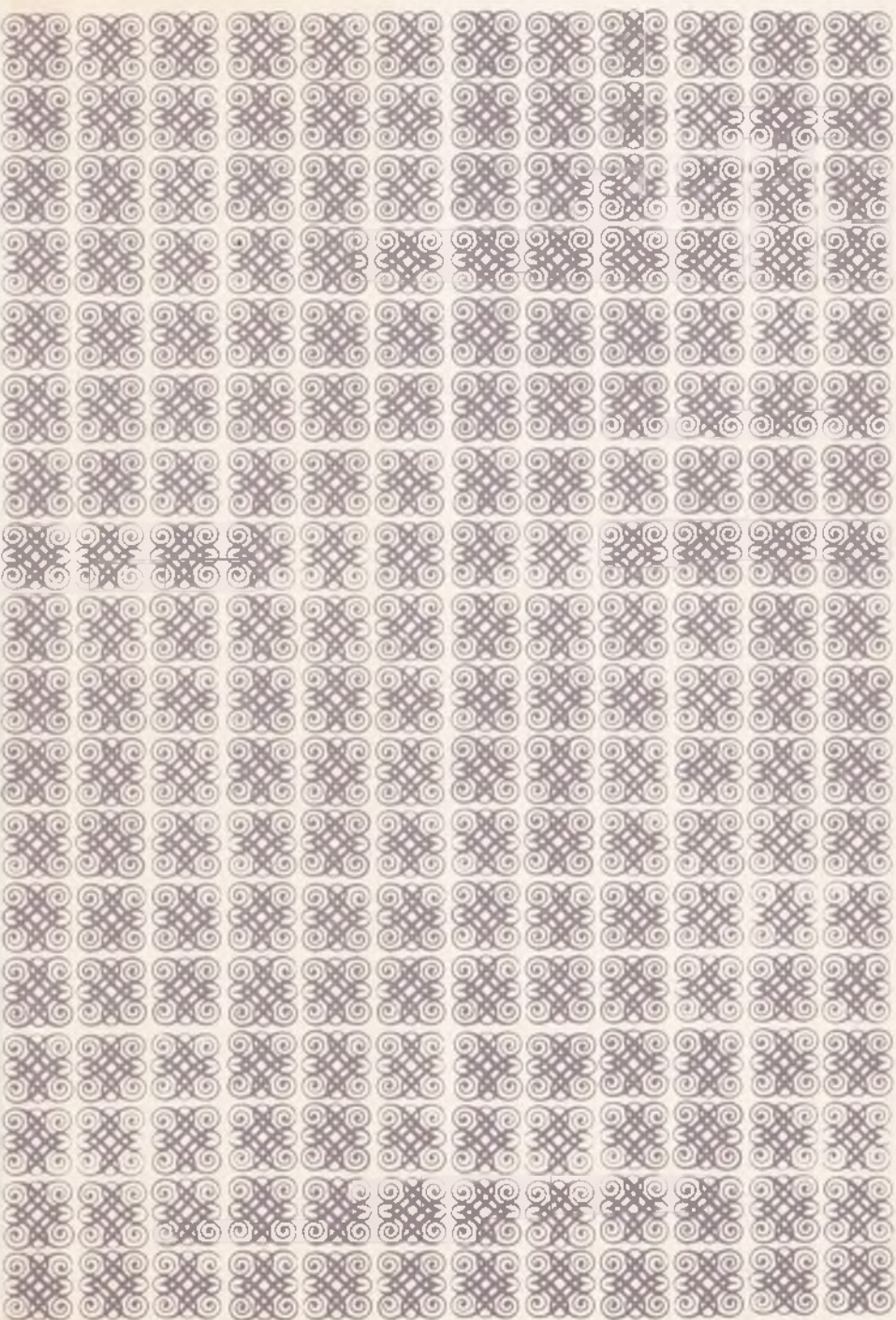


МОГИКАНЕ
ПАРИЖА



АЛЕКСАНДР
ДЮМА





Scan Kreyder - 01.10.2018 - STERLITAMAK

АЛЕКСАНДР
ДЮМА

Собрание сочинений
в тридцати пяти
томах

ТОМ
ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЙ

ALEXANDRE
DUMAS

LES MOHICANS
DE PARIS

PARIS

АЛЕКСАНДР
ДЮМА

МОГИКАНЕ
ПАРИЖА

ФРЭД
МОСКВА 1996

ББК 84.4Фр
Д96

Перевод с французского
Составитель *А. В. Кукаркин*
Художник *В. А. Белкин*

Текст романа
печатается по изданию 1886 г.
(Санкт-Петербург, типография П. Ф. Воинойской)

Д $\frac{4703010100-018}{771-96}$ Подписное

ISBN 5-7395-0060-5 (т. 28)
ISBN 5-7395-0001-X

© А. Кукаркин. Составление, 1996
© В. Белкин. Художественное оформление, 1996



Samuel Dumas

A highly decorative, symmetrical border in a black and white woodcut style. It features intricate scrollwork, floral motifs, and a central oval frame that encloses the title text.

МОГИКАНЕ ПАРИЖА

Часть
первая



ГЛАВА ПЕРВАЯ,

где автор поднимает занавес над сценой,
на которой будет происходить действие

Если читатель захочет возвратиться вместе со мной к временам моей молодости, то есть именно к половине моей жизни и именно ровно на двадцать пять лет назад, то мы остановимся с ним на 1827 году и расскажем последующим поколениям, чем был Париж физически и нравственно в последние годы Реставрации.

Начнем с наружного вида этого современного Вавилона.

С востока, юга и запада Париж был в 1827 году тем же, что и теперь, как и Париж левого берега, который, скорее, вымирал, чем населялся, так как вопреки путям цивилизации, направляющейся с востока на запад, он возрастает с юга на север — Монруж поглощает Монмартр.

Единственные капитальные работы, сделанные с 1827-го по 1854 год на левом берегу, составляют: площадь и фонтан Кювье, улица Юи-Лабросс, улица Жюссье, улица Эколь-Политехник, улица Бонапарт, вокзал Орлеанской железной дороги, вокзал Менской заставы и, наконец, церковь Святой Клотильды, высящаяся на площади Бельшасс, дворец государственного совета на набережной Орсе и здание министерства иностранных дел на набережной Инвалидов.

Совершенно иначе шло дело на правом берегу, то есть на пространстве между мостами Аустерлицким и Иенским вдоль подножия Монмартра. В 1827 году Париж простирался, собственно говоря, только до Бастилии, так что всего бульвара Бомарше еще не существовало: на севере он доходил до улиц Тур-д'Овернь и Тур-де-Дам, а на западе — до бойни Руль и аллеи де-Вев.

Но квартала Сент-Антуанского предместья, идущего от площади Бастилии до заставы Трона, квартала Попенкур, также идущего от Сент-Антуанского предместья до улицы Менильмонтан, предместья

Сен-Мартен, квартала Ла-Файетт, Бреда, Тиволи, Европейской площади, Божон, улиц де-Милан, де-Мадрид, де-Шапталь, де-Бурсо, де-Лаваль, де-Лондре, д'Амстердам, де-Константинополь, де-Берлин и т.д. и т.д. — не было тогда еще и в помине. Волшебный жезл богини, называемой Индустрией, точно из-под земли, вызывал улицы, кварталы, скверы, предместья, которые обратились как бы в почетную свиту князей торговли, называемых железными дорогами Лионской, Брюссельской, Страсбургской и Гаврской.

Оглядев тогдашний Париж с его физической стороны, взглянем теперь на нравственную.

На престоле уже два года сидел Карл X. В совете уже пять лет председательствовал де Вилель; Делаво уже три года как сменил Англе, так сильно скомпрометированного в деле Мобрель.

Король Карл X был человек добрый, религиозный, со слабым сердцем, но честный. Вокруг него спокойно развивались две партии, которым предстояло, думая о поддержке, довести его до падения. То были партия ультра (дворянская) и партия претр (клерикальная).

Де Вилель был, скорее, человеком коммерческим, чем политическим, и прекрасно распоряжался только общественными капиталами, и ничем больше. Но сам по себе он был безукоризненно честен и, несколько лет распоряжаясь миллиардами, вышел в отставку таким же бедняком, каким и поступил на свое важное место.

Делаво был человек ничтожный, вполне преданный не самому королю, но партиям, которые вокруг него волновались. От подчиненных своих он требовал больше всего какой-то внешней набожности, и даже в мушары¹ при нем нельзя было поступить, не представив свидетельства о том, что был на исповеди, по крайней мере, недели за две перед тем.

Двор был печален, и единственным источником веселости служили в нем молодость, художественные вкусы и потребность в развлечениях герцогини Беррийской.

Аристократия делилась на партии и жила тревожно. Одна часть ее держалась умеренно либеральных воззрений Людовика XVIII и была того мнения, что вся прочность и спокойствие будущего должны основываться на разделении полномочий между тремя главными властями страны: королем, палатой пэров и палатой народных представителей. Другая же часть силилась связать 1827 год с 1788-м, энергично отрицала надзор, революцию, Наполеона и находила, что не нуждается ни в каких иных опорах, кроме той, какой пользовались предок нынешних аристократов Людовик IX и его потомок Людовик XIV, то есть в правах милости Божьей.

Буржуазия была тем же, чем она бывает и всегда. Она любила порядок и мир, желала перемен и в то же время боялась, что они

¹ Осведомители. — Здесь и далее примеч. ред.

произойдут; кричала против национальной гвардии и тягости этой повинности, а в 1828 году, когда ее уничтожили, пришла от этого в бешенство. Вообще, она следовала за генералом Фуа, брала сторону отцов Грегуара и Эммануэля, подписывалась под изданиями Туке и миллионами раскупала табакерки с хартией.

Народ составлял явную оппозицию, хотя и не зная наверняка, что лучше, — бонапартизм или республиканство. Он знал только, что Бурбоны возвратились во Францию с целой ордой англичан, австрийцев и казаков. Ненавидя же англичан, австрийцев и казаков, он, естественно, ненавидел и Бурбонов и только выжидал удобного случая от них отделаться. Каждый новый заговор он встречал с восторгом и криками одобрения. Дидье, Бертон, Карре были, по его мнению, мучениками, а четыре рошельских сержанта — богами.

Осмотрев три ступени общественных положений — аристократию, буржуазию и народ, — заглянем теперь и на дно общества, едва освещенное тусклыми фонарями улицы Иерусалима.

Стоял вторник масленицы 1827 года.

Маскарадов от полиции не бывало уже два года. Все экипажи, в два ряда тянувшиеся вдоль бульваров и заполненные уличными женщинами и шутниками, которые то и дело останавливались и перекликались с каждым встречным, принадлежали частным лицам.

Некоторые из этих потешных колесниц составляли собственность премилого молодого человека по фамилии Лабаттю, которому года через два-три предстояло ехать умирать от чахотки в Пизу. Но в 1827 году он был в Париже и делал все на свете, чтобы толпа знала и помнила, что этот огромный маскарад, с трубачами, всадниками и экипажами, принадлежит именно ему. Но толпа и на этот раз была толпой — не хотела знать его имени и упорно продолжала думать, что обзавая всей этой веселой забавой лорду Сеймуру.

Самыми модными кабаками в то время были: *á la Куртий*, Денуайе, зала Флоры и Тоннелье, у заставы Мен.

Бальных зал было тоже немало. Больше всего отличалась Шомьер, содержавшаяся Лагиром. В ней танцевали два ныне уже исчезнувших народных типа — студенты и гризетки. Заменявшие их артуры и конетки были в то время еще неизвестны. За Шомьер следовали: зала Прадо, сиявшая своими огнями против Дворца Правосудия, Колизей, весело шумевший позади Шато д'О, Пор-Сен-Мартен и Франкони, в которых, наравне с Оперой, бывали и маскарады.

Само собой разумеется, что об Опере мы упоминаем лишь для памяти, так как в Опере не танцевали, а дамы в домино и кавалеры в черном только прохаживались и вели между собой более или менее интересные разговоры.

В залах же Денуайе, Флоры, Соваж, Тоннелье, Шомьер, Прадо, Колизея, Пор-Сен-Мартен и Франкони хотя тоже не танцевали, но шахютировали.

Этот “шахю” представлял собой безобразную пляску, бывшую по

сравнению с канканом тем же, что махорка по сравнению с гаванской сигарой.

Еще ниже всех этих переименованных мест, переходивших все степени, начиная с театра и кончая кабаком, были заведения, называвшиеся в то время в Париже “тапи-франками”.

Их было семь.

В Ситэ, на улице Старых Занавесок — “Черная Кошка”; против Гимназии — “Белый Кролик”; на улице Бонди — “Семь бильярдov”; на улице Сент-Оноре, против Сиветт — “Отель д’Англетер”; на Железной улице — “Поль Нике” и “Баратт”; наконец, на углу улиц Обри-де-Буше и Сен-Дени — “Бордьё”.

Два кабака были специализированными.

В “Черной Кошке” собирались замочники, а в “Белом Кролике” — извозчики.

Не станем утомлять читателя выражениями, созданными обитателями Бисетра и Консьержери, и поспешим объяснить те из них, что были употреблены нами в силу необходимости.

Постараемся с самого начала отделаться от этих выражений и дадим им, по возможности, обстоятельные объяснения.

“Замочниками” назывались воры, работавшие с помощью фальшивых ключей.

“Карманники” вытаскивали из карманов кошельки и носовые платки.

“Меняльщики” входили в лавки менял под видом нумизматов и под тем предлогом, что отыскивают монеты с изображениями известных государей, чеканки такого-то года, искусно запихивали себе за бошлага еще штук пятьдесят.

“Давильщиками” назывались те воры, которые набрасывали на шею своей жертвы веревочную петлю или платок, придавливали ее и поддерживали на своих плечах, пока практиковавшие вместе с ними “очищатели” обыскивали ее карманы.

Наконец, “потемщиками” называли тех, кто воровал по ночам, залезая в окна с помощью веревочных лестниц.

Остальные пять “тапи-франков” были просто притонами воров всех сортов и специальностей.

Для надзора за всем этим населением каторжников, мошенников, воров и девок существовало только шесть инспекторов и один офицер на каждый округ; современные же жандармы были введены только Бельвеем в 1828 году.

Все, захваченные полицейским персоналом, отводились в залу Сен-Мартен и там за шестнадцать су получали особую комнату на первую ночь, а за остальные платили всего лишь по десяти.

Отсюда, по истечении законного срока, мужчин препровождали в Ла-Форс или в Бисетр, девиц сомнительного поведения — в Маделоннетт, что на улице Тампль, а воровок в Сен-Лазар в предместье Сен-Дени.

Казни производились на Гревской площади.

“Мсье де Пари” жил на улице Марс, дом № 43.

Само собой разумеется, что, прочтя это описание, читатель, естественно, спросит:

— Если полиция так хорошо знала, где жили и пьянствовали воры и мошенники, почему же не хватала их сразу?

Но полиция может арестовывать преступников только с поличным. Закон высказывается в этом отношении очень ясно, и все воры отлично знают это.

Если бы полиции дано было право действовать иначе, то есть хватать мошенников и не на самом месте преступления и без неопровержимых улик, то так как она обыкновенно знает их всех наперечет, то, вероятно, в несколько дней совершенно очистила бы от них город или, по крайней мере, их осталось бы так мало, что обыватели почти не страдали бы от их зловредной деятельности.

В настоящее время этих “тапи-франков” больше уже не существует. Одни исчезли во время ломки домов при украшении Парижа, другие закрылись и угасли сами собой.

“Бордые” существовал долее всех остальных; но “тапи-франк” преобразился в красивую бакалейную лавку, в которой продают сушеные фрукты, варенье, ликеры и где нет и в помине той гнусной грязи, в какую нам предстоит ввести читателя, перенося его в эпоху 1827 года.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Джентльмены рынка

Мы уже упоминали о том, что первые страницы нашего рассказа относятся ко вторнику масленицы 1827 года. Этот день народного веселья клонился уже к самому концу — наступала полночь.

Трое молодых людей, держась под руки, шли вниз по улице Сен-Дени. Двое из них напевали самые популярные места из кадрили, которую только что слышали в Колизее, где провели начало ночи, а третий задумчиво грыз золотой набалдашник своей трости.

Двое распевавших были одеты в шутовские наряды.

Третий, который не пел, был старше, серьезнее и на целую голову выше своих товарищей и кутался в безрукавный плащ с бархатным воротником.

Он возвращался с артистического вечера, проходившего на улице Сент-Аполлен.

Под плащом на нем были короткие и узкие панталоны, плотно обтягивавшие стройные и тонкие ноги, ажурные шелковые чулки и глянцевиные башмаки. Фрак его был застегнут по-военному, на все пуговицы; так что только через верхний и нижний разрезы виднелся белый пикейный жилет. Шею свободно облегал черный шелковый гал-

стук, а на курчавой от природы голове сидела низенькая шляпа, которую, входя на бал, зажимали под мышкой, а выходя на улицу, натягивали до самых ушей.

Если бы кто-нибудь из редких прохожих по улице Сен-Дени мог бы приподнять плащ молодого человека, он тотчас же признал бы, что эти узкие панталоны, так стройно облегавшие ногу, красивый фрак и жилет из английского пике с золотыми резными пуговицами вышли из мастерской одного из известнейших портных на бульваре Ган и были заказаны одним из тех щеголей, которых тогда называли “денди”, а теперь обозначают несколько устаревшим названием “львов”.

Тем не менее, человек, одетый с таким изяществом, видимо, вовсе не претендовал на прозвание щеголя. И действительно, приглядевшись к нему, можно было убедиться, что он не принадлежал к разряду людей светских. В движениях его было слишком много свободы в сравнении с манерами манекенов, которые держатся в вечном рабстве у складок своего галстука или все повороты головы приурочивают к покрою и крепости своего воротничка. Только что выйдя из бальной залы, он поспешил снять перчатки, которые надоедали ему, и при этом на указательном пальце его руки оказался большой перстень, какие в старину употребляли вместо печати, для чего вырезали на них или какой-нибудь девиз, соответствовавший личному вкусу, или герб своей фамилии.

Двое остальных молодых людей составляли с этой байроновской фигурой резкую противоположность. На них были куртки из белого плюша с малиновыми воротниками, полосатые белые с синим панталоны, белые же шелковые чулки с золотыми стрелками и башмаки с бриллиантовыми пряжками. На плечах развевались плащи: на одном из желтого, на другом из красного кашемира, а вокруг косматых войлочных шляп вились гирлянды из белых и розовых камелий, из которых каждая в такое время года стоила у тогдашних модных цветочниц, мадам Байон или мадам Прево, по крайней мере, по одному золотому экю. Со свежим румянцем молодости, с веселым блеском глаз и беззаботностью они казались олицетворением истинно французского веселья.

Но что же свело этих троих, столь разных между собой людей, и куда шли они в такой поздний час по одной из пятидесяти грязных улиц, прорезавших Париж от бульвара Сен-Дени до Гревской набережной?

На этот вопрос существовал очень простой ответ. Двое замаскированных не нашли экипажа у подъезда Колизея, а молодым человеком в темном плаще случилось то же самое на улице Сент-Аполлен.

Двое шутов, уже достаточно разгоряченные пуншем и настойкой, решились зайти поужинать устрицами.

Молодой человек в темном плаще, удержавшийся в пределах благоразумия благодаря нескольким стаканам оршада и смородинового сиропа, шел домой на улицу Университета.

Случайно они столкнулись на углу Сент-Аполлен и Сен-Дени. Шуты тотчас узнали приятеля, который, вероятно, никак не признал бы их в таких костюмах.

— Жан-Робер! — крикнули они в один голос.

— Людовик! Петрюс! — ответил им молодой человек в темном плаще.

В 1827 году говорили не “Луи” или “Пьер”, а непременно — “Людовик” или “Петрюс”.

Все трое радостно пожали друг другу руки, после чего художник Петрюс и медик Людовик стали так усердно настаивать, что убедили поэта Жан-Робера идти с ними к “Бордье” есть устрицы.

Все трое шагали так быстро и твердо, что, казалось, не было ни малейшего сомнения в том, что решение было принято бесповоротно; однако, не доходя шагов двадцати до Батавского двора, Жан-Робер остановился.

— Да, так решено? — спросил он. — Мы будем ужинать... А у кого?

— У “Бордье”.

— Ну, хорошо... хоть у “Бордье”.

— Разумеется, решено! — в один голос подхватили Людовик и Петрюс. — Что за вопрос?

— Вопрос очень основательный! — возразил Жан-Робер. — Когда человек задумал сделать глупость, то для него всегда есть возможность вовремя остановиться.

— Глупость? Да какая же тут глупость?

— А такая, что, вместо того, чтобы идти спокойно поужинать у “Братьев Провансальцев”, или “Вери”, или у “Филиппа”, вы придумали провести ночь в грязном кабаке, где нам дадут сандаальной настойки вместо бордосского и жареную кошку вместо кролика.

— Да что у тебя сегодня за ненависть к сандалу и кошкам, поэт? — спросил Людовик.

— Дело в том, мой милый, что Жан-Робер только что имел большой успех во Французском театре, — сказал Петрюс. — Он получает теперь по пятьсот франков каждый день; все его карманы набиты золотом, и он становится теперь аристократом.

— Уж не скажете ли вы, что собрались идти в кабак из экономии?

— Нет, — ответил Людовик, — просто потому, что человеку следует знать и испытать всего понемножку.

— Ха! Какое мудрое изречение! — вскричал Жан-Робер.

— Объявляю, что оделся в этот дурацкий костюм, в котором я точно мельник, только затем, чтобы поужинать сегодня вечером на рынке! — сказал Людовик. — Теперь я в ста шагах от моей цели и буду ужинать здесь или нигде.

— А! — вскричал Петрюс. — Ты говоришь теперь как истинный живодед! Больница и анатомический театр приучили тебя к самым ужасным зрелищам. Ты материалист и философ и закален против всевозможных неожиданностей. А я художник, и мне не всегда

приходилось пить сандадную настойку и есть жареных кошек. Я посещал нищих обоого пола, в сущности — мертвецов, но они были хуже мертвецов, потому что в них еще душа держалась; я входил в клетки со львами и спускался в берлоги к медведям, когда у меня не было трех франков, чтобы заставить подняться к себе отца Сатурнена или мадемуазель Белокурую Родину, — я, слава Богу, не взыскателен! Но вот этот чувствительный поэт, этот наследник Байрона и продолжатель Гете, этот юноша по имени Жан-Робер, какой вид будет он иметь среди ужасов, в которые мы его ведем? Разве со своими маленькими ручками и ножками и прелестным креольским акцентом может он иметь хоть малейшее представление о том, как следует вести себя в обществе, в которое мы собираемся его ввести? Разве он, никогда не умевший во время своей службы в национальной гвардии ступить левой ногой вперед, какой-нибудь “тапи-франк”? Разве нежный слух его, привыкший к благородным звукам “Молодого больного” Мильвуа и “Молодой узницы” Андрэ Шенье, восприимчив к вольностям, какими обмениваются ночные джентльмены, посещающие такие заведения? Нет! Разумеется, нет! В таком случае, что же станет он делать среди нас? Мы не знаем его! Что это за незнакомец, который идет с нами на наши пирушки? *Vade retro*¹, Жан-Робер!

— Милейший Петрюс! — ответил молодой человек, которому был адресован этот монолог — его тон и красноречие, бывшие в ходу в те времена, мы постарались сохранить, — ты пьян только наполовину, но гасконец до мозга костей!

— А! Отлично! Я родом из Сен-Ло! Значит, если в Сен-Ло есть гасконцы, то нормандцы есть и в Тарбе!

— Хорошо, пусть ты и будешь гасконцем из Сен-Ло! Ведь ты хвастаешься пороками, которых в тебе нет, чтобы скрыть добродетели, которые у тебя есть. Ты представляешься кутилой, чтобы не казаться наивным; ты прикидываешься шалуном потому, что тебе стыдно быть добродетельным. Ты никогда не входил в клетки ко львам и никогда не лазал в берлоги к медведям, равно как не бывал и в кабаках на рынке; точно так же, как и Людовик, и я, и все молодые люди, себя уважающие, и даже все ремесленники, серьезно и честно занимающиеся своим делом.

— Аминь! — закончил Петрюс, зевая.

— Зевай, насмехайся, сколько тебе угодно, изображай всевозможные пороки, чтобы поражать окружающих, — ты слышал, что все великие люди имели свои пороки, что Андреа дель Сарто был вором, а Рембрандт — обжорой; корчи из себя буржуа, потому что ломаться и позировать в твоей натуре; но перед нами, людьми, которые тебя знают, и знают как человека хорошего, да передо мной, который любит тебя как брата младшего, оставайся-ка тем, кто ты есть на самом

¹ Отправляйся назад (латин.).

деле, — добрым, наивным, откровенным и увлекающимся Петрюсом. Слушай, милый, если когда-нибудь позволительно отуманивать себя развратом, — хотя, по-моему, это никогда не позволительно, — то для этого надо быть изгнанным, как Данте, непризнанным, как Макиавелли, или отверженным, как Байрон. А был ли ты, юноша, хоть в одном из этих положений? В праве ли ты смотреть на жизнь мрачно? Таяли ли в твоих руках миллионы, оставляя после себя единственным следом людскую неблагодарность и разочарование? Ты молод; картины твои продаются; твоя любовница тебя любит; правительство заказало тебе “Смерть Сократа” — не подлежит сомнению, что я буду позировать в роли Алкивиада, а Людовик в роли Федона... какого же черта хочешь ты еще?.. Поужинать в “тапи-франк”? Поужинаем, мой милый! Это будет, по крайней мере, дело с результатом — эти кабаки покажутся тебе до того отвратительными, что ты во всю жизнь не захочешь больше заглянуть в них.

— Кончил ты проповедовать, человек в черном одеянии? — спросил Петрюс.

— Да, почти кончил.

— Ну, так пойдем дальше.

Юноша быстро зашагал вперед, напевая полувакхическую, полудицидную песню и, видимо, стараясь убедить самого себя, что дружеский урок, который преподнес ему Жан-Робер, не произвел на него ни малейшего впечатления.

Когда он допевал последний куплет, они были уже среди рынка. На башне церкви святого Евстахия пробило полночь.

— А! — вскричал Людовик, который вообще мало принимал участия в разговорах друзей и покорно шел всюду, куда его вели, держась того мнения, что куда бы ни попал человек, он всюду найдет материал для наблюдения и размышления. — А! Теперь нужно выбрать... Куда мы пойдем: к “Полю Нике”, к “Баратту” или к “Бордье”?

— Мне рекомендовали “Бордье”! Пойдем к “Бордье”! — сказал Петрюс.

— Хорошо. К “Бордье” так к “Бордье”! — согласился Жан-Робер.

— Но, может быть, тебя тянет в какое-нибудь другое место, добродетельный вскормленник муз?

— О, мне решительно все равно. Ведь ты знаешь, что я даже не бывал никогда в этом квартале. Накормят нас здесь повсюду скверно, так не все ли мне равно, где именно.

— Ну, так вот мы и у пристани! Что, как тебе кажется, достаточно ли подслеповат этот кабак?

— Не то что подслеповат, а даже и совсем слепой.

— Тем лучше! Итак — идем.

Петрюс ловко нахлобучил свою шутовскую шапку на ухо и вошел в кабак с развязностью почтенного завсегдатая.

Друзья молча пошли за ним.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

“Тапи-франк”

Кабак был битком набит народом. Нижний этаж — ныне о нем едва ли можно было догадываться, глядя на заменивший его красивый магазин, — состоял из низкой закопченной залы, наполненной запахом сырости, водки и плохой кухни. Здесь собиралось несколько сотен мужчин и женщин в самых разнообразных костюмах, между которыми все-таки преобладали костюмы шутов и проституток. Некоторые из женщин — и притом, надо заметить, самые хорошенькие и кокетливые, — одетые под проституток, были декольтированы почти до талии, рукава были у них засучены до плеч, а хрипlostью голосов и множеством проклятий, превосходивших все требования их шелковых и кружевных костюмов, они доказывали, что, перерядившись, сменили не только общественное положение, но и пол. Однако по странной фантазии карнавала, толпа мужчин, составлявших добрую треть всего сборища, именно их-то и окружала своим исключительным вниманием.

Все это сидело, стояло, лежало, хохотало, болтало, пело и кричало самыми резкими голосами, а вообще составляло какую-то пеструю и до того компактную массу, что разобрать что-нибудь не представляло никакой возможности.

В непроходимой толкотне казалось, что мускулистые руки мужчин принадлежат женщинам, а свободно расставленные ноги женщин принадлежат мужчинам. Бородатая голова точно высилась над белоснежной шеей, а мускулистую грудь венчала худенькая головка пятнадцатилетней евреечки. Даже Петрюс, расставя все головы на принадлежащие им торсы, не мог бы разгадать, кому принадлежат все эти ноги, руки, локти, пальцы.

Тем не менее, и среди этого хаоса человеческих тел была одна группа, обращавшая на себя особое внимание. Она состояла из шута, казалось, спавшего, прислонясь к стене, и из маленькой шутихи, которая, сидя у него на плече, прикрывала его голову своей коленкоровой юбкой, так что он казался гигантом с непомерно маленькой головкой. Мальчик, одетый обезьяной, в костюме, введенном в моду Мазюрье, то прыгал с одного стула на другой, то, перебегая от одного кружка к другому, заставлял богинь веселости и богов карнавала издавать самые резкие и невеселые возгласы.

Троих друзей, вошедших в залу, встретили громоподобным “ура”.

Шут, скрывавший голову под юбкой шутихи, выглянул оттуда и доказал этим, что он не гигант, а обыкновенный смертный.

Турок вздумал было поднять обе ноги зараз, что кончилось его падением и сломанным столом, на который он свалился.

Полишинель перестал кататься колесом и остановился, как звезда, готовящаяся пристать к комете.

Обезьяна в один прыжок очутилась на плечах Петрюса и под хохот всей компании принялась расщипывать украшения его шляпы.

— Сделай милость, уйдем отсюда! Меня просто тошнит, — сказал Жан-Робер Петрюсу.

— Вот еще странная фантазия! Уходить! Только что успели войти! — ответил художник. — Ведь они вообразят, что мы их боимся, и примутся гоняться за нами по улицам, как его величество король Карл X гоняется за кабанами в Компьенском лесу.

— А ты что думаешь? — спросил Жан-Робер у Людовика.

— Думаю, что раз мы уже здесь, то нам следует идти до конца, — ответил тот.

— Однако послушай...

— На нас смотрят! — перебил Петрюс. — Ты ведь сам театрал и должен знать, что все зависит от дебюта.

Говоря это, он, все еще не сбрасывая со своих плеч обезьяны, подошел к кратеру, образовавшемуся от падения турка, который все еще лежал вверх ногами, и продолжал:

— Господин мусульманин, известно ли вам великое изречение патрона вашего, Магомета бен Абдаллаха, племянника великого Абу-Талеба, князя Меккского?

— Нет, не известно! — глухо ответил голос из глубины проломленного стола.

— Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе.

С этими словами Петрюс взял мальчугана, все еще сидевшего у него на плече, за шиворот, как щенка, и, хотя тот отбивался и визжал от боли, спокойно приподнял его над головой, как шляпу, и, кланяясь, проговорил:

— Привет тебе, почтенный мусульманин!

Он снова опустил обезьяну себе на плечо; но мальчик поспешно соскочил на землю и со слезливой гримасой забился в угол, в который не проникал свет трех или четырех ламп, освещавших залу.

Это доказательство веселости, остроумия и силы вызвало гром рукоплесканий.

Что касается турка, то тот ответил на привет, видимо, совершенно машинально, но зато довольно крепко вцепился в руку, которую протянул ему Петрюс, а художник одним взмахом выдернул его из проломленного стола и поставил на ноги, хотя они и вряд ли служили в ту минуту особенно надежной опорой для столь сильно расшатанного монумента.

— А действительно здесь очень тесно! — заметил Петрюс, освобождаясь от турка. — Пойдем-ка наверх.

— Как хочешь, — согласился Людовик, — хотя, по-моему, и здесь довольно интересно.

Гарсон, следивший за ними все время, полагая, что они спросят себе ужинать, ловко подвернулся к ним.

— Вам угодно наверх? — спросил он.

— Да, не мешало бы.

— Так вот лестница, — сообщил он, указывая на узенькую винтовую лесенку, при одном взгляде на которую невольно приходил на память подъем Матюрена Ренье в “Mauvais Giste” — ступеньки были круты, и подъем очень труден.

Но трое друзей не смутились предстоящими трудностям и стали взбираться на лестницу при криках и хохоте толпы, которая кричала и хохотала, сама не зная чему, а просто потому, что крики часто воодушевляют людей еще не пьяных и доводят до безобразия тех, кто только навеселе.

На втором этаже была такая же давка, как и внизу, такая же закопченная зала с продранными обоями и такие же красные занавеси с желтыми и зелеными разводами.

Но общество было здесь, по-видимому, еще ниже, чем в первой зале.

— Ого! — проговорил Жан-Робер, который взобрался на лестницу первым и отпер дверь. — Кажется, ад у “Бордье” устроен противоположно дантовскому — чем выше поднимаешься, тем ниже падаешь.

— Ну, что ты на это скажешь? — спросил Петрюс.

— Скажу, что сначала это было просто отвратительно, а теперь становится даже интересно.

— Так пойдем же выше! — решил Петрюс.

— Пойдем! — поддержал его Людовик.

И все трое начали взбираться по следующей лестнице, которая становилась все уже и круче.

На третьем этаже оказалось такое же сборище, почти такая же обстановка, и только потолок был несколько ниже, да воздух еще удушливее и зловоннее.

— Ну что? — спросил Людовик.

— Что ты скажешь, Жан-Робер? — обратился Петрюс к поэту.

— Полезем еще выше! — ответил тот.

На третьем этаже оказалось еще хуже, чем на двух предыдущих.

На столах и скамьях, под столами и скамьями лежало с полсотни людей, если создания, падшие до уровня животных, еще заслуживают быть названными людьми.

Тут были и мужчины, и женщины, и дети, уснувшие среди разбитых тарелок и недопитых бутылок.

Все мрачное пространство закоптелой залы освещалось единственной чадной стенной лампой.

Можно было бы подумать, что стоишь в каком-то подземном склепе среди мертвых тел, если бы громкий храп не свидетельствовал о том, что эти “мертвецы” — просто пьяницы.

Жан-Роберу сделалось почти дурно; но он был человек с характером, и воля его не уступила бы даже и тогда, когда разорвалось бы его сердце.

Петрюс и Людовик переглянулись, и оба были готовы поскорее уйти.

Но Жан-Робер заметил, что отсюда лестница поднималась уже не винтом, а лепилась прямо вдоль стен, как это устраивается на мельницах. Он превозмог свое отвращение и стал взбираться по ней, приговаривая:

— Ну, пойдемте, пойдемте выше, господа, вы сами этого желали.

На четвертом этаже он тоже первым отпер дверь.

Здесь декорация была та же, но сцена иная.

Вокруг стола сидело только пять человек. Перед ними лежали колбасные объедки и стояло около десятка бутылок.

Одеты эти люди были по-городски, другими словами, на них не было маскарадных костюмов, а лишь повседневные блузы и куртки.

Трое друзей остановились у двери. Гарсон, сопровождавший их по всем этажам, вошел вслед за ними.

Жан-Робер огляделся и кивнул головой, как бы говоря: “Вот это-то нам и нужно”.

Жест этот вышел у него так выразительно, что Петрюс тотчас подхватил его:

— Черт возьми, да мы расположимся здесь по-королевски!

— Совершенно верно, — согласился Людовик, — здесь у нас будет все, кроме воздуха для дыхания.

— Можно добыть и его — стоит только отпереть окно! — нашелся Петрюс.

— Где прикажете накрыть? — спросил гарсон.

— Вот там! — ответил Жан-Робер, указывая на противоположный конец залы.

Потолок здесь был так низок, что, входя, поневоле приходилось снимать шляпу; но Жан-Робер, даже и сняв свою, все-таки касался головой штукатурки.

— Чего прикажете подать? — спросил гарсон.

— Шесть дюжин устриц, шесть бараньих котлет и омлет, — распорядился Петрюс.

— А бутылок сколько прикажете?

— Три шабли первого сорта и сельтерской воды, если таковая у вас водится.

При этих словах, звучавших здесь особенно аристократически, один из пятерых, ужинавших у другого стола, оглянулся.

— Ого! — проговорил он. — Шабли первого сорта и сельтерской воды! Должно быть, какие-нибудь фертики!

— Наверно, сынки богачей аристократов! — подхватил другой.

— Или сами лапы-загребалы! — добавил третий.

Все пятеро громко расхохотались.

В те времена еще не существовало современных нам романов вроде “Воспоминаний Видока”, посвятивших людей порядочного общества в выражения воровского жаргона, а потому трое приятелей вовсе не

догадались, что соседи приняли их за воров, и не обратили внимания и на хохот, вызванный этим оскорблением.

Жан-Робер снял плащ и положил его на один из стульев.

Гарсон, видя, что услуги его в зале больше не нужны, хотел было идти за ужином, как вдруг тот из пятерых, который заговорил первым, схватил его за полу камзола.

— Ну что? — спросил он.

— Как — ну что? — удивился тот. — Разве у тебя не спрашивали карт?

— Спрашивали, но их в такие часы не выдают, и вы это очень хорошо знаете.

— Это почему?

— Спросите у господина Делава.

— Это кто ж такой?

— Господин префект полиции.

— А мне что до него за дело?

— Вам-то, может быть, до него дела и нет, а вот нам так есть.

— Да что ж он может вам сделать?

— Велит закрыть заведение, а нам было бы горько не видеть таких гостей, как вы.

— А если здесь нельзя играть, так что же нам у вас и делать?

— Мы вас и не задерживаем.

— Вот как! А знаешь, парень, ты, я вижу, не из вежливых. Я твоему хозяину скажу.

— Да говорите хоть самому папе, коли вам нравится.

— И ты думаешь, что этим от нас и отделаешься?

— Да уж надо быть, что так оно и будет.

— А если нам это не понравится?

— Ну тогда знаете что вы сделаете? — ответил гарсон с насмешливым хохотом, которым простолюдины всегда сопровождают свои шутки.

— Нет, не знаем. Что же?

— Вы возьмете карты...

— Ах, черт тебя возьми! Да никак ты надо мной шутить вздумал? — загремел пьяница, вскакивая со своего места и ударяя кулаком по столу так сильно, что тарелки и бутылки подпрыгнули дюймов на шесть.

Но гарсон был уже на половине лестницы, и пьяница тяжело опустился снова на свою скамью, очевидно, придумывая, на ком бы сорвать свою досаду.

— Кажется, этот болван забыл, что меня зовут Жаном Быком, — ворчал он, — забыл, что я одним кулаком убиваю быка. Надо ему об этом напомнить.

Он схватил со стола наполовину отпитую бутылку, приставил горлышко ко рту и в один прием опорожнил ее до дна.

— Ну, расходился наш Бык, — прошептал один из его собу-

тыльников на ухо другому, — наперед знаю, что кому-нибудь да не-сдобровать!

— Да уж, наверно, достанется этим франтикам! — ответил тот.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Жан Бык

Человек, сам прозвавший себя Быком, что, впрочем, вполне соответствовало и всей его фигуре, был действительно сильно не в духе и только выжидал случая излить свою досаду.

Случай этот тоже скоро представился.

Читатель, вероятно, не забыл, что, войдя в залу, Людовик сделал замечание насчет воздуха.

И действительно, пар от кушаний, вин, табачный дым, испарина пьяниц решительно не давали дышать. Можно было смело держать пари, что окна здесь не отпирались с прошлой осени. Само собою разумеется, что друзья прежде всего направились к окнам, чтобы отпереть их.

Петрюс подошел первым, поднял за ремень нижнюю часть рамы и пристегнул ее к верхней.

Это дало Быку повод, который он искал.

Он встал на стол и, обращаясь ко всем троим вообще, а к Петрюсу в особенности, громко проговорил:

— Кажется, вы открываете там окна, господа?

— Да, мой друг, как видишь, — ответил Петрюс.

— Я вам не друг! А окно вы заприте.

— Господин Жан Бык, — ответил Петрюс с насмешливой любезностью, — вот друг мой, Людовик, считается отличным медиком, и он в две минуты объяснит вам состав воздуха и что именно от него требуется, чтобы им можно было дышать.

— Что он там о своих составах болтает?

— Он говорит, господин Жан Бык, — подхватил Людовик тоном той же вежливости, — что для того, чтобы атмосферный воздух не был вреден при вдыхании в человеческие легкие, он должен состоять из шестидесяти или семидесяти пяти частей азота, двадцати двух или трех кислорода...

— Да никак они с тобой по-латыни разговаривают, Жан? — вмешался один из остальных четырех блузников.

— Хорошо ж! Так я поговорю с ними по-французски!

— А коли они тебя не поймут?

— Чего не поймут, то вколотить можно.

И Жан Бык показал два кулака величиной с голову ребенка.

Несколько секунд он молча и грозно смотрел на своих противников, потом голосом, который навел бы страх на каждого простолюдина, повелительно крикнул:

— Ну, говорят же вам, закройте окошко, да поскорее!

— Может быть, вам этого, господин Жан Бык, и хочется, но я этого вовсе не желаю! — возразил Петрюс, спокойно скрещивая на груди руки, но не отходя от окна.

— Что? Ты этого не желаешь? Да разве ж ты можешь желать чего-нибудь?

— Отчего же? Каждый человек может иметь свои желания, если даже каждая скотина себе это нынче позволяет.

— Слышишь, Крючком Ноги? — проговорил Жан Бык, мрачно хмуря брови и обращаясь к своему товарищу, в котором и без этого странного прозвища легко было узнать тряпичника. — Кажется, этот несчастный франтик назвал меня скотиной?

— Мне это тоже послышалось, — ответил Крючком Ноги.

— Ну и что же мне остается после этого делать?

— Прежде всего, запереть окно, потому что ты этого хотел, а потом поколотить его.

— Решено! Умные речи приятно и слышать.

Бык важно повернулся к приятелям и опять крикнул:

— Ну же! Запереть окно, вам говорят! Гром и молния!

— Грома и молнии нет, а окно запираТЬ не следует! — спокойно ответил Петрюс, не изменяя положения.

Жан Бык так сильно и шумно потянул в себя воздух, казавшийся приятелям таким отвратительным, что действительно был в эту минуту похож на мычащего быка.

Робер видел, что затевается ссора, и хотел вступить, хотя и понимал, что прекратить ее было теперь уже поздно. Однако если кто и мог это сделать, то единственно он со своим неизменным хладнокровием.

Он очень спокойно подошел к Жану Быку и сказал:

— Послушайте, любезный, мы только что пришли, а когда сюда войдешь с чистого воздуха, то действительно можно задохнуться.

— Еще бы! — подхватил Людовик. — Здесь вместо воздуха остается одна только углекислота.

— Так позвольте же нам отпереть окно для того, чтобы освежить воздух, а потом мы можем и запереть его.

— Да, а зачем вы отперли его, у меня не спросившись?

— Ну, так что же? — спросил Петрюс.

— А то, что следовало спроситься, так вам, может быть, и позволили бы.

— Однако довольно! — вскричал Петрюс. — Я отпер окно потому, что мне это так понравилось, и запру его, когда мне вздумается.

— Молчи, Петрюс! — перебил его Жан-Робер.

— Ну уж нет! Молчать я не стану! Неужели ты думаешь, что я позволю учить себя всяким придуркам?

При этих словах товарищи Жана тоже вскочили со своих мест и подошли ближе, видимо, готовясь отвечать на оскорбление.

Судя по их физиономиям, они были заодно с Жаном Быком и не прочь закончить свою последнюю карнавальную ночь хорошей потасовкой.

По костюмам их не трудно было разгадать и их профессии.

Тот, кого Жан Бык назвал Крючком Ноги, был, собственно говоря, не настоящий тряпичник, а только принадлежал к одной из разновидностей этого ремесла, называвшейся “грабителями” и состоявшей в том, что они рылись в городских клоаках своими крючьями и иногда находили там вещи довольно ценные.

Промысел этот уничтожен лет сорок тому назад, отчасти вследствие постановлений полиции, отчасти вследствие замены деревянных тротуаров каменными. Прежде же эти грабители находили в уличных канавках кольца, серьги, драгоценные камни и тому подобные предметы, попадавшие туда часто даже при встряхивании ковров и скатертей через окна.

Третьего пьяницу товарищи обыкновенно называли Известковым Мешком, а пятна извести, испещрявшие не только платье, но и лицо и руки его, явно свидетельствовали о ремесле каменщика.

К числу первых, то есть ближайших друзей его, принадлежал и Жан Бык. Случай, при котором они познакомились, настолько характерен и так ярко очерчивает силу человека, которому предстоит играть довольно видную роль в нашем рассказе, что мы находим уместным рассказать и его.

В Ситэ загорелся один дом. Лестница уже обвалилась. Наверху, у окна второго этажа, стояли мужчина, женщина и ребенок и громко в отчаянии кричали:

— Помогите! Спасите! Помогите!

Мужчина оказался каменщиком и молил только, чтобы ему дали веревочную лестницу или хоть просто веревку, с помощью которой он мог бы спасти жену и ребенка.

Но окружающие без толку суетились и приносили то лестницы, которые были слишком коротки, то чересчур тонкие веревки.

Огонь разгорался, дым черными клубами валил из окон.

В это время мимо проходил Жан Бык.

Он остановился.

— Да что ж это! — крикнул он. — Неужто у вас не найдется ни лестницы ни веревки? Разве вы не видите, что те, там наверху, сейчас сгорают?

Опасность была действительно велика.

Жан Бык осмотрелся и, не найдя ничего подходящего, прямо подошел к окну:

— Эй, слышь ты, Мешок с Известкой, кидай ребенка сюда!

Каменщик, к которому обратились с этим прозвищем в первый раз в жизни, не успел даже рассердиться. Он схватил ребенка, поцеловал его два раза, поднял и бросил вниз.

Вокруг раздался крик ужаса.

Жан Бык ловко подхватил несчастного ребенка на лету и, тотчас же передав его окружающим, опять обернулся к окну.

— Теперь кидай и жену! — крикнул он.

Каменщик взял жену на руки и, несмотря на ее крики и сопротивление, бросил Жану.

Бык молча принял эту новую ношу; но на этот раз пошатнулся и отступил один шаг назад.

— Ну вот и эта здесь, — проговорил он, спокойно ставя полумертвую от страха женщину на землю при громких восторженных криках толпы.

— Теперь скачи сам! — крикнул он каменщику, снова возвращаясь к окну и сильно расставляя свои могучие ноги. — Вали!

Каменщик влез на подоконник, перекрестился, закрыл глаза и бросился вниз.

— В руки твои, Господи, предаю дух мой! — прошептал он.

На этот раз удар был ужасен! Под Жаном подогнулись ноги, он сделал три шага назад, но все-таки не упал.

Толпа застонала.

Все бросились к герою минуты, каждому хотелось поближе взглянуть на человека, проявившего такое чудо силы; но Жан, поставя каменщика на землю, широко взмахнул руками и упал навзничь. Из рта у него хлынула кровь с пеной.

Ни на ребенке, ни на женщине, ни на самом каменщике не оказалось ни единой царапины.

У Жана лопнула жила в одном из легких.

Его отвезли в отель Дие, откуда он, впрочем, вышел на другой же день.

Третий из собутыльников был так же черен, как Мешок был бел, и, очевидно, принадлежал к почтенному цеху трубочистов. Звали его Туссеном, а Жан Бык, не лишенный природного остроумия и, вероятно, от архитекторов слышавший о гениальном негре, чуть не наделавшем в Сан-Доминго революции, прозвал его Туссеном-Скважиной.

Четвертому было лет под пятьдесят. Это был человек с чрезвычайно живыми глазами, быстрыми движениями и сильнейшим запахом валерьяны. Одет он был в бархатную куртку, такие же штаны, котиковый жилет и шапку. Хорошие знакомые называли его дядей Жибелоттом.¹

Человек этот снабжал все кабаки и трактиры низшего разряда кроликами, именно того сорта, которого так опасался съесть Жан-Робер, и пахло от него так сильно валерьяной потому, что этим запахом он приманивал к себе свои несчастные жертвы, которых потом убивал, мясо продавал кабатчикам по десяти су, а шкурки меховщикам, по шести су за штуку.

¹ От gibelott — фрикасе из кролика (франц.).

Промысел это был выгодный, но опасный, и я сам читал в 1834-м или 1835 году о процессе одного из собратьев дяди Жибелотта, которого, несмотря на красноречие защитника, доказывавшего несомненное превосходство кошачьего мяса над кроличьим, все-таки приговорили к тюремному заключению на год и к штрафу в пятьсот франков.

Наконец, пятым был сам Жан Бык, о котором уже сказано столько, что можно было бы не прибавлять ничего больше, если бы мы не собирались подробнейшим физическим описанием дополнить изображение самого странного характера, который нам доводилось встретить в жизни.

Жан Бык был пяти футов и шести дюймов ростом, прям и статен, как любая из дубовых балок, которые он обтесывал, ибо был он по ремеслу плотник. Это было нечто вроде Геркулеса Фарнезского, высеченного из одной скалы, либо самой этой скалы, способной тремя взмахами одного пальца насмерть уложить троих молодых людей, имевших неосторожность рассердить его.

Лет ему было тридцать пять или сорок, лицо его обрамляли черные, густые баки, а богатырская шея вполне оправдывала его могучее прозвище.

Одет он был в рубаху, штаны, жилет и зеленоватую бархатную шапочку, лихо заломленную набекрень.

Из кармана у него торчал конец рубанка из небольшого плотничьего ватерпаса.

Таковы были пятеро противников, с которыми предстояло иметь дело троим юношам — доктору Людовику, живописцу Петрюсу и поэту Жан-Роберу.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Драка

Петрюс стоял у открытого окна, спокойно скрестив руки и презрительно поглядывая на своих противников.

Людовик рассматривал Жана Быка с любопытством истинного ученого и был в таком восторге от этого великолепного экземпляра, что наполовину забывал опасность собственного положения. Он с радостью дал бы сто франков, лишь бы овладеть его трупом после его смерти.

Очень может быть, что вздумавшись он посерьезнее, то согласился бы дать даже и двести, потому что видеть Жана Быка на анатомическом столе было неизмеримо безопаснее, чем стоять с ним лицом к лицу во враждебной позиции.

Жан-Робер вышел на середину залы, отчасти затем, чтобы попытаться уладить дело миром, а отчасти затем, чтобы в случае неудачи принять первые удары на себя.

Несмотря на свою молодость, Жан-Робер прочел уже очень много

книг, и в особенности заняла его книга маршала Сакса о влиянии нравственной силы на физическую, а потому ему были известны критические моменты.

Кроме того, он долго изучал бокс в соединении с борьбой. В то время искусство это было еще совершенно новое и лишь впоследствии доставило своему изобретателю громкое имя. Но Жан-Робер изучал его из первых рук, и будь перед ним не такой страшный противник, как Жан Бык, он мог бы и не опасаться исхода борьбы.

Но сначала он хотел употребить меры примирительные, до тех пор, пока они не обратились бы в трусливое отступление.

С этой целью он заговорил первым.

— Позвольте, господа, — сказал он. — Прежде чем драться, лучше обьяснимся. Что вам угодно?

— Да это вы в насмешку, что ли, называете нас господами? — спросил тряпичник. — Мы не господа, слышите вы?

— Совершенно верно! — подхватил Петрюс. — Вы не господа, а сиволапые!

— Слышите, братцы, он назвал нас сиволапыми, — заворчал охотник на кошек.

— А вот мы им сиволапых-то покажем! — вскричал каменщик.

— Да вот только пропустите меня вперед! — проговорил угольщик.

— Молчите все! Это не ваше, а мое дело! — загремел Жан. — Жибелотт, на место!

— Да отчего же это именно твое дело?

— Во-первых, потому, что пятеро на троих не выходят, а особенно, когда и одного достаточно! Жибелотт, Крючком Ноги, по местам!

Оба приятеля хотя и с недовольным ворчаньем, но все-таки возвратились на прежние места и снова сели за стол.

— Вот так-то лучше! — заметил, оглядываясь в их сторону, Жан Бык. — А теперь, мои амурчики, — продолжал он, обращаясь к трем друзьям, — начнем песню сызнова, и притом с самого начала. Запрете вы окно?

— Нет, — в один голос ответили все трое молодых людей, которые, несмотря на всю громоподобность его голоса, не могли не расхохотаться над его интонацией и своеобразной вежливостью.

— Да неужто вы в самом деле хотите, чтобы я вас в порошок истер? — удивился великан, поднимая свои кулачищи, насколько позволяла высота потолка.

— Попробуйте, — холодно ответил Жан-Робер, делая шаг вперед.

Петрюс бросился вперед и в один прыжок очутился лицом к лицу с гигантом и заслонил собой Робера.

— Спровадь или держи в стороне тех двоих, а с этим я сам справлюсь, — проговорил Робер, отстраняя художника рукой.

Он подошел к Жану еще ближе и дотронулся до его груди пальцем.

— Кажется, вы обо мне говорить изволите, ваше сиятельство? — шутливо спросил колосс.

— О тебе.

— А за что это изволили выбрать именно меня?

— Я мог бы сказать тебе на это, что ты самый дерзкий, так тебя сильнее, чем всех, и проучить следует, да на этот раз дело не в том.

— Так в чем же?

— А в том, что мы с тобой тезки: ты Жан Бык, а я Жан-Робер; ну, так нам и считаться промеж себя следует.

— Что меня зовут Жаном Быком, это правда, — сказал гигант, — а вот про себя так ты солгал. Зовут тебя совсем не Жан-Робер, а Жан-Ф...

Но молодой человек в черном фраке не дал ему договорить. До сих пор руки его со сжатыми кулаками были скрещены на груди, но в это мгновение одну из них он выбросил вперед, точно стальную пружину, и кулаком ударил в висок великана.

Жан Бык, который не дрогнул, приняв на руки женщину, летевшую со значительной высоты, пошатнулся от этого удара, отпрянул на несколько шагов назад и упал навзничь на стол, у которого под его тяжестью отскочило сразу две ноги.

Почти то же самое происходило и между остальными противниками. Петрюс был мастер драться на палках; но так как на этот раз таковых не оказалось, он схватил каменщика под ногу и повалил его рядом с Жаном Быком. Людовик рассчитал свое дело по-научному и ударил доставшегося на его долю угольщика под седьмое ребро, прямо в печень, так что тот побледнел, несмотря на слой черной сажи, покрывавшей его лицо. Тем временем Жан Бык и каменщик снова встали на ноги.

Туссен, который удержался на ногах, едва переводя дух, добрался до скамейки и сел на нее, прислонясь к стене спиной.

Но молодые люди понимали, что все это было не больше как только прелюдией настоящего боя, и потому все трое стояли наготове.

Тем не менее, все действующие лица были и сами удивлены не меньше зрителей.

Увидя поражение своих товарищей, тряпичник и Жибелотт опять встали со своих мест и подошли к ним.

Каменщик скоро сообразил, что получил удар не опасный, и поднялся со своей скамейки, совсем сконфуженный.

Что касается Жана Быка, то ему казалось, что его ударили по голове камнем, выброшенным какой-то адской катапультой.

Потрясение мозга в одно мгновение сообщилось и всему его телу. Несколько секунд он был как бы в оцепенении, в ушах шумело, перед глазами носилось какое-то кроваво-красное облако.

Когда Жан-Робер ударил его кулаком в висок, то задел и по лбу, на котором образовалась ранка. Потекшая из нее кровь застлала великану один глаз.

— Ах, черт возьми! — вскричал Жан, подходя к противникам еще не совсем верными шагами. — Вот что значит, когда нападают невзначай. Малый ребенок, и тот может сшибить тебя с ног.

— Ну, хорошо, так соберись же на этот раз с силами, Жан Бык, да держись за землю крепче! — насмешливо посоветовал ему Жан-Робер. — Смотри, не оплошай, потому что я намерен заставить тебя сломать и остальные ножки у стола.

Жан Бык бросился вперед с поднятыми кулаками, чем тотчас же и сделал громадную ошибку, потому что открыл противнику себя всего. Все искусство бокса и основывается именно на том простом соображении, что для того, чтобы описать в воздухе кривую, кулаку нужно гораздо больше времени, чем для проведения прямой.

Однако на этот раз Жан-Робер принял систему не нападения, а только защиты. Правой рукой он только принял страшный удар, который наносил ему Жан, но зато в тот момент, когда кулак великана уже опустился, Робер быстро повернулся и нанес прямо в грудь тот страшный удар ногой, тайной которого в то время обладал только один Лекур.

Этим приемом Жан-Робер исполнил обещание, которое дал плотнику. Жан попятился на свое прежнее место и если не упал, то опустился снова на тот же стол.

Он не вскрикнул и даже не проговорил ни слова — у него пропал от удара голос.

Между тем Петрюс и Людовик тоже делали свое дело.

Петрюс, со свойственной ему подвижностью, заметя, что тряпичник направляется к нему, схватил табурет и швырнул ему в голову, а пока тот, ругаясь, барахтался на полу, он, как истинный британец, ударом головы в живот повалил навзничь и каменщика.

Но Людовик, вместо того, чтобы воспользоваться этим преимуществом и придавить врага коленом, задумался, почему от этого человека так сильно пахнет валерианой.

Он еще размышлял над этой трудной задачей, когда тряпичник и каменщик, видя поражение всех своих сторонников, принялись кричать:

— Берись за ножи, ребята! За ножи!

В это время в залу вошел гарсон с устрицами.

Он с первого взгляда понял, в чем было дело, быстро поставил посуду на стол и побежал с лестницы, очевидно, затем, чтобы предупредить кого следует.

Но сами участники сцены не обратили на его появление почти никакого внимания.

Они были слишком заняты сами собой, да и следом его прихода остались только устрицы.

Гораздо действенное оказалось появление гарсона на третьем этаже.

При шуме, который произвело падение Жана Быка, при треске изломанного стола, при криках: “За ножи, за ножи, ребята!” — спавшие пьяницы проснулись. Те, кто был трезвее, стали прислушиваться; один, шатаясь, добрался до двери и отпер ее, а те, кто был еще в состоянии видеть, видели, как пробежал встревоженный гарсон.

Как люди в подобных обстоятельствах опытные, они тотчас догадались, в чем дело, и через несколько минут на лестнице раздался стук поспешных шагов, крик, ругательство и вой, точно от стада сорвавшихся с цепи животных.

То поднималась самая пена рынка, и скоро в залу стали, один за другим, входить пьяные, полусонные, одурелые и взбешенные субъекты, готовые мстить за то, что их разбудили.

— Э! Да здесь драка! Настоящая поножовщина! — кричало двадцать хриплых голосов.

При виде этой толпы по телу Жан-Робера, бывшего впечатлительнее своих товарищей, пробежала холодная дрожь, охватывающая каждого человека при приближении пресмыкающегося. Он оглянулся на Петрюса, и у него невольно вырвалось восклицание:

— Ох, Петрюс, куда ты нас завел!

Но Петрюс уже задумал совершенно новый план защиты.

Каменщик и Туссен пришли в себя и тоже кричали:

— В ножи их, в ножи!

— На баррикады! — ответил им Петрюс возгласом, который получил в Париже историческое значение.

— На баррикады! — кричал Петрюс, помогая встать Людовику и вместе с ним увлекая и Жан-Робера в угол залы, который они тотчас же и огородили столами и скамьями.

Несмотря на всю краткость затишья, вызванного его победой над тряпичником и каменщиком, он успел тогда же овладеть палкой, которая поддерживала занавеску на окне. Жан-Робер захватил свою трость, а Людовик остался при том оружии, которым его наградила сама мать природа.

Таким образом друзья очутились под защитой некоторого рода крепости.

— А! Вот это очень кстати! — вскричал Петрюс, указывая друзьям на кучу сваленных в углу пустых бутылок, битых тарелок, изломанных ножей и вилок. — Это отлично! Значит, и за снарядами у нас дело не станет.

— Да, это хорошо, — согласился Жан-Робер. — А каково у нас насчет ран и увечий? Что касается меня, то я только угощал ими, а сам ничего не получил.

— Я тоже цел и невредим, — объявил Петрюс.

— А ты, Людовик?

— Мне, кажется, попало кулаком между скулами. Да меня не это занимает!

— А что же? — спросил Робер.

— Мне ужасно хочется знать, почему от субъекта, с которым я имел дело последним, так сильно пахнет валерианой?

В это время рев и ругательства пьяной толпы достигли таких пределов, что троим друзьям поневоле пришлось прекратить дальнейший разговор.

ГЛАВА ШЕСТАЯ
Господин Сальватор

Вид толпы произвел на простолюдинов совсем иное впечатление, чем на светских молодых людей.

Плотник Жан Бык и его товарищи поняли, что к ним подошла помощь.

Жан-Робер и его друзья видели во вновь пришедших пьяницах только новых врагов.

Свой своему поневоле брат.

Толпа, злобно поглядывая на баррикаду, устроенную друзьями, окружила Жана Быка и его товарищей, расспрашивая, в чем дело.

Рассказать это правдиво было довольно трудно, так как во всей неприятности был виноват сам Бык.

Во-первых, он сам раздражил молодых людей, требуя, чтобы они заперли окно. Во-вторых, — и по мнению слушателей, эта вина была гораздо важнее — он допустил, чтобы его ударили до крови в лицо и до потери голоса в грудь.

Он принялся рассказывать все это по-своему, но как ни хитрил, а скрыть правды все-таки не сумел.

— Я хотел запереть окно, а оно осталось открытым. Я хотел побить за это, а меня побили самого, — объявил он, наконец, коротко и ясно.

Толпа, как истинная толпа, все-таки носила в себе некое чутье на справедливость и, услыша признание Быка, принялась хохотать над ним, несмотря на всю свою ненависть к черным фракам.

Это еще больше взбесило плотника.

Он был зол и раньше, но этот хохот довел его до исступления.

Бык оглянулся на врагов и, видя, что они загородились в своем углу, а четверо товарищей его уже начали осаждать их, громко крикнул им:

— Эй, вы, стой! Оставьте-ка их. Дайте я сам сотру этого фращника в порошок.

Но тряпичник, угольщик, кошачий охотник и каменщик так увлеклись своей осадой, что не обратили на его окрик ни малейшего внимания.

Положение их было незавидное.

Людовик так ловко бросил в лицо тряпичнику осколок разбитой бутылки, что глубоко рассек ему щеку.

Жан-Робер швырнул в Туссена табуретом и расшиб ему голову.

Наконец, Петрюс сквозь отверстия баррикады весьма чувствительно ткнул своей палкой кошачьего охотника в грудь, а каменщика в бедро.

Все четверо ревели от боли и злости:

— Убить их! Убить!

Драка, действительно, начинала переходить в смертельный бой.

Окончательно разъяренный и хохотом окружающих, и видом

крови на одежде товарищей и на своей собственной, Жан Бык выхватил свой ватерпас и, занеся его над головой, один ринулся на баррикаду.

Петрюс и Людовик схватили по бутылке и бросились ему навстречу, собираясь размоzzжить ему голову. Но Жан-Робер, видя, что это единственный серьезный противник и что от него нужно, наконец, так или иначе отделаться, отдернул их назад, прошиб в баррикаде отверстие и, продев в него свою тонкую трость, громко крикнул Быку:

— Послушай, да ты никак с ума сошел? Разве тебе еще мало?

Толпа хохотала и аплодировала.

— Мало! — рывкнул Бык в ответ. — Я до тех пор не успокоюсь, пока не загоню тебе ватерпас в брюхо!

— Это значит, Жан Бык, что ты понимаешь, что ты не сильнее меня и хочешь быть злее. Ты не можешь победить меня, так собираешься убить.

— Я хочу отплатить тебе, гром и молния! — кричал Жан, разгораясь даже от звуков собственного голоса.

— Берегись, Жан Бык, — спокойно возразил молодой человек. — Даю тебе мое честное слово, что ты никогда еще не бывал в такой опасности, как теперь.

Вы ведь мужчины и люди, — продолжал он, обращаясь к толпе, — уговорите этого человека. Ведь вы видите, что я спокоен, а он совсем с ума сошел.

Четыре или пять человек выделились из толпы и стали между Быком и баррикадой.

Но это вмешательство не только не успокоило Жана, а еще больше раздражило его.

Он взмахнул рукой, и все пятеро отлетели в сторону.

— А! Так я никогда не бывал в такой опасности, как теперь? — кричал он. — Уж не этой ли щепкой собираешься ты напугать меня? Ну-ка!

Он замахал над головой ватерпасом и двинулся вперед.

— Вот в том-то и дело, что ты ошибаешься! — проговорил Жан-Робер. — Моя трость вовсе не щепка, как ты думаешь, а нечто совсем иное.

Он несколько раз повернул набалдашник и вынул из трости тонкую стальную рапиру. Трехгранный клинок превосходнойковки зловеще сверкнул в воздухе.

Толпа завывала от удовольствия и страха.

Эпизод развивался по всем правилам драматического искусства, — подробности становились чем далее, тем интереснее.

— Ага! — вскричал Бык, видимо, радуясь освобождению от упрека совести. — Значит, и ты не с голыми руками! Мне только этого и надо было!

Он опустил голову, поднял руку с ватерпасом и бросился на Жан-

Робера, что выглядело по меньшей мере наивно, потому что Бык открывал противнику всю свою грудь.

Но вдруг чья-то сильная рука так заломила ему кулак, что он выронил ватерпас и с ругательством оглянулся.

— Ах! Это вы, господин Сальватор! Это дело, разумеется, другое!.. — проговорил он, мгновенно смиряясь.

— А! Господин Сальватор! Господин Сальватор! — загудела толпа. — Хорошо, что вы пришли! Тут без беды не обошлось бы!

— Господин Сальватор? — проговорил Жан-Робер. — Это еще кто такой?

— Имя у этого молодца многообещающее! — заметил Петрюс. — Посмотрим, оправдает ли он эти обещания.

Человеку, который явился с неожиданностью *deus ex machina*, дабы дать кровавому делу благое окончание, было на вид лет тридцать. В этом возрасте красота достигает полного своего развития и возмужалости, и в тот момент, когда этот человек с кротким лицом стоял и смотрел на толпу своим повелительным взглядом, он был действительно хорош.

Но через секунду было бы уже трудно определить его возраст.

Когда он смотрел вокруг с участием и любопытством, лоб его был гладок и чист, как у юноши; но, если зрелище не нравилось ему, черные брови его хмурились, лоб покрывался глубокими морщинами.

Одним движением заставив Быка выпустить ватерпас, он оглянулся вокруг. Молодые люди хорошего общества, видимо, случайно попавшие в этот вертеп, стояли за кучей беспорядочно нагроможденной мебели. Тряпичник с рассеченным лицом припал к столу; все платье каменщика было залито кровью; лицо угольщика мертвецки бледно, а кошачий охотник, держась за бок, кричал, что он убит. При виде этой картины лицо Сальватора приняло такое строгое и жесткое выражение, что самые буйные опустили головы, а те, кто еще не совсем протрезвел, побледнели.

Сальватору предстоит играть главную роль в нашем рассказе, а потому необходимо дать возможно точнейшее описание его личности.

Как уже сказано, на вид ему было лет тридцать. Черные мягкие волосы его вились от природы, что заставляло их казаться гораздо короче, чем они были на самом деле. Глаза у него были кроткие, голубые и светлые, как вода в озере во время затишья, когда в него смотрится небо. При этом они поражали такой выразительностью, что передавали, казалось, малейшую его мысль.

Овал лица поражал рафаэлевской чистотой — ни одна линия не нарушала его гармоничности.

Нос был прям, тверд, но не широк; рот не велик с прекрасными белыми и ровными зубами, а губы прятались под парой красивых черных усов.

Все лицо, скорее матовое, чем бледное, обрамлялось черной бородой, к которой, видимо, никогда не прикасались ни ножницы, ни

брита. Эта девственная, мягкая и блестящая борода скорее смягчала общее выражение лица, чем придавала ему резкость.

Но что особенно поражало во всем существе его, так это удивительная белизна его кожи. То была не желтоватая бледность ученого, не белая отечность кутилы, не мертвенность преступника. Цвет этого лица вернее всего было бы сравнить с грустным светом луны, играющим на белом лотосе или на девственных снегах Гималаев.

Одет он был в нечто вроде черного бархатного пальто, которое стоило только несколько стянуть у кушака, чтобы оно стало совершенно подобием казакинов пятнадцатого века. Жилет и панталоны на нем были тоже черные, бархатные.

На голове небрежно и красиво сидела черная бархатная шапочка, так напоминавшая своей формой ток¹, что каждый невольно отыскивал на ней традиционное страусовое или соколиное перо.

Особенно аристократичный вид придавало этому костюму среди толпы то обстоятельство, что он был не из хлопка, который носили и все рабочие, а из настоящего шелкового бархата, как платье какой-нибудь герцогини или актрисы, да и ярко-красный галстук, небрежно повязанный вокруг шеи, красиво выделялся на мягком черном фоне.

Изящество и оригинальность этого костюма поразили и Жан-Робера и Людовика, но в особенности Петрюса. Он тут же заметил:

— Вот чудесная модель для моего “Рафаэля у Форнарины”. Я с радостью дал бы ему шесть франков вместо четырех за час, если бы он согласился позировать.

Что касается Жан-Робера, то его, как драматического автора, более всего ценившего театральные эффекты, больше всего поразила та почтительность, с которой встретила толпа оборванцев этого человека и которая напомнила ему *quos ego* Нептуна, умиряющего своим божественным трезубцем бурные волны сицилийского архипелага.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ,

в которой Жан Бык обращается в бегство,
а толпа следует за ним

Как только тридцать человек, бывшие в зале, заметили приход странного незнакомца, в ней воцарилась такая тишина, что слышалось только шумное дыхание людей, утомленных борьбой.

Жан Бык сначала растерялся и принял это молчание за выражение общего неодобрения; но, несколько придя в себя, заговорил как мог мягче:

— Господин Сальватор, позвольте мне объяснить вам...

¹ Шляпа с узкими полями и плоским верхом — *toque* (франц.).

— Во всяком случае, ты виноват! — возразил молодой человек тоном судьи, произносящего приговор.

— А все-таки я хотел сказать вам...

— Ты виноват! — настойчиво повторил молодой человек.

— Да как же вы можете это знать, когда вас тут вовсе и не было, господин Сальватор?

— Разве мне нужно было быть здесь, чтобы знать, что тут у вас происходило?

— Черт возьми! Но мне думается...

Сальватор протянул руку в сторону Жан-Робера и его друзей, которые стояли теперь рядом.

— Посмотри-ка сюда, — сказал он.

— Ну что ж? И смотрю! — ответил Жан Бык. — Что ж из этого?

— И что ты видишь?

— Вижу трех фертиков, которым обещал задать трепку, и задам непременно.

— Вот и врешь! Ты видишь трех порядочных молодых людей, которые виноваты только тем, что зашли в такой вертеп. Но из-за этого тебе еще не следовало ссориться с ними.

— Да разве я начал ссориться с ними?

— Уж не станешь ли ты рассказывать мне, что это они затеяли ссору и начали драться с тобой и с твоими товарищами?

— Однако ж они и при вас собирались защищаться.

— Оно и понятно! За них были и их ловкость и правда! Ты ведь воображаешь, что все дело в силе, и даже переименовал свое настоящее имя Бартелеми Лелонга на прозвище Жана Быка... Ну вот теперь и уверю, что это не так! Дай Бог, чтобы этот урок остался у тебя в памяти!

— Да говорю же вам, что они сами называли нас придурками, разбойниками, сиволапами...

— А за что они вас так называли?

— Они говорили, что мы пьяны.

— Нет, я тебя спрашиваю, за что они вас так называли?

— За то, что мы хотели запереть окно.

— А почему тебе так мешало, что оно отворено?

— Да потому что... потому что...

— Ну-ну, почему? Говори же!..

— Потому что я не люблю сквозного ветра, — с видимым усилием выговорил Жан Бык.

— Потому что, выпив, ты бываешь зол, любишь ссориться и уватился за первый попавшийся случай; потому что ты и перед этим с кем-нибудь поссорился и хотел на ком-нибудь сорвать злость за капризы и неверность мадемуазель...

— Молчите, мсье! Эта злодейка меня в могилу загонит!

— Ага! Видишь, значит, я попал метко!

Сальватор с минуту помолчал и нахмурился.

— Эти господа поступили очень хорошо, что отперли окошко, — продолжал он, — воздух здесь отвратительный! А так как на сорок человек одного отпертого окна мало, то сейчас же ступай и отвори еще одно.

— Я? — переспросил плотник и бессознательно крепче расставил ноги. — Чтобы я пошел отпирать второе окно, когда сам требовал, чтобы заперли и первое?! Ведь я все еще Бартеlemi Лелон, сын моего отца.

— Ты, Бартеlemi Лелон, — пьяница и задира, который позорит имя своего отца и который сделал хорошо, что принял вместо этого имени кличку. А я говорю тебе, что в наказание за то, что ты рассердил этих господ, ты пойдешь и отворишь второе окно.

— Пусть разразит меня гром небесный, если я тебя послушаюсь! — вскричал Бык, поднимая кулаки к потолку.

— Хорошо! В таком случае, я знать тебя не знаю ни под именем ни под кличкой. Обормот, грубиян — вот кто ты теперь для меня. И чтоб духу твоего около меня не было.

Сальватор повелительно указал на дверь.

— Ступай отсюда, — проговорил он.

— Не пойду! — отрезал плотник с пеной у рта.

— Именем твоего отца, которого ты сейчас помянул, приказываю тебе: ступай отсюда!

— Гром и молния — не пойду! — повторил Бык, садясь верхом на скамейку и хватаясь за нее руками, точно рассчитывал, в случае надобности, защищаться ею.

— Так, значит, ты хочешь довести меня до крайности? — спросил Сальватор так спокойно, что никому и в голову не пришло бы, что в этих словах заключалась серьезная угроза.

Говоря это, он медленно подходил к плотнику.

— Не подходите, господин Сальватор! — вскричал тот, быстро отодвигаясь на всю длину скамейки. — Не подходите ко мне!

— Уйдешь ты отсюда? — спросил Сальватор, делая еще шаг вперед.

Жан Бык вскочил и поднял скамейку, точно собираясь ударить ею молодого человека. Но вдруг отвернулся и бросил ее в сторону.

— Ведь вы знаете, что можете меня заставить сделать все, что захотите, — сказал он. — Лучше я сам отрежу себе руки, чем ударю вас. Но по доброй воле я отсюда все-таки не пойду!

— Ах ты, упрямый негодяй! — вскричал Сальватор, беря его за галстук и за кушак.

Жан Бык захрипел от ярости.

— Уносите меня, коли хотите, я вам не препятствую, а по доброй воле все-таки не уйду! — сказал он.

— Ну так пусть же будет по-твоему! — проговорил Сальватор.

Он сильно потрянул великана, точно вырвал с корнем дуб из земли, сшиб его с ног, поднял, донес до лестницы и раскачал над нею.

— Как ты хочешь, сойти с лестницы по ступенькам или слететь с нее одним махом? — спросил он.

— Я ведь в ваших руках, делайте со мной, что хотите, а по доброй воле я все-таки не уйду.

— Ну так ступай по моей! — ответил Сальватор и, как тюк, бросил его с четвертого этажа.

Вслед за тем послышался стук, с каким тело Быка скатывалось с последних ступенек.

Толпа не произнесла ни слова и даже не вскрикнула: она была довольна, она восторгалась.

Но трое молодых врагов несчастного Быка были глубоко взволнованы. Вечно веселый Петрюс был мрачен. У флегматичного Людовика сильно билось сердце. И только один впечатлительный поэт Жан-Робер был, по-видимому, спокоен.

Когда Сальватор вернулся в залу уже без плотника, Жан вложил папиру в ножны и вытер платком пот со лба.

— Благодарю вас, милостивый государь, что вы избавили меня и моих друзей от этого осатанелого пьяницы, — сказал он, протягивая Сальватору руку, — но, признаюсь, не повредило бы ему это падение?

— О, не беспокойтесь! — вскричал Сальватор, пожимая своей белой аристократической рукой, только что совершившей такое чудо силы, протянутую ему руку. — Он пролежит каких-нибудь две-три недели, а за это время успеет горько оплакать то, что теперь наделал.

— Неужели вы думаете, что это чудовище способно плакать? — с удивлением спросил Жан-Робер.

— Говорю вам, что он будет плакать горячими, кровавыми слезами... Это самый честный человек с прекраснейшим сердцем, которое я когда-либо знал. Следовательно, беспокойтесь не о нем, а о себе.

— Почему же обо мне-то?

— Да, о вас... Позвольте мне дать вам один дружеский совет?

— Сделайте одолжение!

— В таком случае, — проговорил Сальватор так тихо, что его мог слышать только один его собеседник, — не ходите больше сюда никогда, мсье Жан-Робер.

— Как?! Разве вы меня знаете?

— Знаю, как знают и все, — ответил Сальватор с безукоризненной вежливостью, — ведь вы один из наших знаменитейших поэтов.

Жан-Робер покраснел до корней волос.

— А теперь, — продолжал Сальватор, обращаясь к толпе и мгновенно изменяя тон, — надеюсь, вы довольны и получили за свои деньги все, чего могли желать? Сделайте же одолжение, уберитесь отсюда поскорее. Воздуху здесь достаточно только на четверых, это значит, что я хочу остаться с этими господами один.

Толпа повиновалась ему, как стая школьников учителю, и, кланясь молодому человеку, лицо которого было так же спокойно после предшествовавшей бурной сцены, как небо после грозы, стала молча спускаться с лестницы.

Четверо собутыльников Жана Быка прошли мимо него с опущенными головами и раскланялись перед ним так почтительно, как солдаты перед своим начальником.

Когда все они ушли, в дверях появился гарсон.

— Прикажете подать ужин, господа? — спросил он.

— Прикажем, и еще скорее, чем прежде, — ответил Жан-Робер. — Надеюсь, вы будете так любезны отужинать с нами, мсье Сальватор? — прибавил он, обращаясь к молодому незнакомцу.

— Очень охотно, — ответил тот, — но не заказывайте для меня ничего лишнего. Я уже заказал себе ужин внизу, но услышал шум и пришел сюда.

— Слышите? Ужин господина Сальватора подать сюда, — сказал Жан-Робер гарсону.

— Слушаю-с! — ответил тот и убежал.

Пять минут спустя четверо молодых людей сидели за ужином.

Выпили сначала за победителей, потом за побежденных и, наконец, за того, кто подоспел так вовремя, чтобы предотвратить еще большее кровопролитие.

— А вы, кажется, отлично знаете и бокс, и борьбу, и фехтование, — заметил Сальватор, с улыбкой обращаясь к Жан-Роберу. — Вы дали бедняжке Жану ловкого туза в висок, превосходно лягнули его в грудь и собирались угостить премилым уколом рапиры, но я вошел и помешал вам... Ну, да это все равно!.. Стояли вы превосходно, и, будь я на месте мсье Петрюса, я непременно нарисовал бы вас в этой позе.

— Как?! Вы знаете тоже и меня? — вскричал Петрюс.

— Да, знаю, — с легким вздохом ответил Сальватор, точно это воспоминание навяло на него облако грусти. — Прежде чем завести мастерскую на улице Уэст, вы жили на улице Дю-Регар, и там-то я и имел удовольствие видеть вас два или три раза.

Людювик все время молчал и сидел, задумавшись, точно сосредоточенно размышлял над какой-то трудной задачей.

— Что это с вами, мсье Людювик? — спросил его Сальватор. — Вы, кажется, чем-то озабочены? Так задумываться можно разве только перед экзаменами, а ведь у вас это дело, слава Богу, окончено уже три месяца тому назад.

Жан-Робер взглянул на Сальватора с удивлением. Петрюс расхохотался.

— Вот, кстати, мсье Сальватор, — совершенно серьезно заговорил Людювик, — вы знаете, кажется, все на свете...

— Вы очень любезны, — с улыбкой заметил Сальватор.

— Ну так, если вы знаете моего друга, поэта Жан-Робера и ху-

дожника Петрюса, знаете, что я доктор, не знаете ли вы также, почему от кошачьего охотника так сильно разило валерьянкой?

— Вы ловите иногда рыбу, мсье Людовик?

— Да, иногда, в свободные минуты, хотя вообще-то я всегда занят.

— В таком случае, как бы мало вы ни занимались рыболовством, вы, вероятно, знаете, что семена, которые употребляют для приманки карпов, сначала пропитывают мускусом или анисом.

— Ну, это знают не только рыболовы, но и натуралисты.

— Тем лучше. А валерьяна для кошек то же самое, что анис или мускус для карпов, — она их привлекает. А так как дядя Жибелотт занимается на них охотой...

— О! — перебил Людовик, обращаясь к самому себе, с той несколько комичной флегмой, которая составляла одну из черт его характера. — О, наука! О, таинственная богиня! Неужели края твоего покрывала всегда открываются перед глазами смертных только случайно? И подумать только, что если бы Петрюсу не пришла фантазия ужинать в кабаке, если бы мы не поссорились с женщинами, я не дрался бы с кошачьим охотником, а вы не пришли бы вовремя разнять нас, то наука, может быть, еще десять, двадцать, наконец, сто лет все еще не знала бы тайны, что валерьяна для кошек то же, что анис и мускус для карпов.

Ужинали весело.

Петрюс на жаргоне тогдашних мастеровских, рассказал, как ему однажды пришлось нарисовать в одном трактире двадцать портретов за неимением десяти франков двадцати сантимов, так что каждый портрет обошелся его счастливому обладателю по пятидесяти одному сантиму.

Людовик с математической точностью доказывал, что хорошенькие женщины никогда не могут быть больны серьезно, и с четверть часа поддерживал этот парадокс с жаром, какого почти нельзя было ожидать от такого флегматика.

Жан-Робер рассказал план драмы, которую собирался написать для Бокажа и мадам Дорваль, а Сальватор сделал по этому поводу несколько весьма метких замечаний.

Бутылки быстро сменялись одна другой. Петрюс и Людовик условились подпоить Сальватора, чтобы заставить его разговориться; но, так, как оно и всегда в подобных случаях бывает, кончилось тем, что Сальватор был совершенно трезв и спокоен, а сами они сильно запьянели.

Что касается Жан-Робера, то он даже и в кабаках пил только одну чистую воду.

Между тем вино разбирало Людовика и Петрюса все более и более. Они дошли до того, что стали нести явную бессмыслицу, повторяли одни и те же слова и остроты, наконец, осовели окончательно и заснули.

В то время, пока Людовик и Петрюс спали

Как только мерный храп возвестил, что двое младших собеседников окончательно отказались от всякого участия в разговоре, Сальватор поставил локти на стол, подпер голову руками и, пристально глядя в лицо Жан-Робера, спросил его:

— Скажите, пожалуйста, господин поэт, зачем вы пришли сюда сегодня ночью?

— Затем, чтобы доставить удовольствие моим друзьям, Петрюсу и Людовику.

— Только единственно за этим?

— Единственно!

— И ничто постороннее не побуждало вас оказать им эту любезность?

— Сколько мне известно, ничто.

— Вы в этом вполне уверены?

— Насколько вообще можно быть уверенным в самом себе.

— В таком случае, вы не обманываете меня, но обманываетесь сами... Нет, эти двое молодых людей, которые почивают теперь сном праведников, были вовсе не причиной, а только предлогом для вашего прихода сюда. И знаете ли, зачем вы сюда пришли? Ну так я скажу вам это. Вы пришли сюда ради наблюдений, необходимых для философа, поэта, романиста и драматурга. Вы пришли изучать сердце человеческое *in anima vili*¹, как выражаются в школе. Правда это?

— Да, в ваших словах есть своя доля правды, — улыбаясь, согласился Жан-Робер. — До сих пор я писал только для театра, но не хочу ограничиться этим; мне хотелось бы начать писать бытовые романы, но писать их так, как писал свои драмы Шекспир, охватывая целый исторический период и выводя на сцену все общество целиком от могильщика до принца Гамлета включительно. И, признаюсь вам, в драме Гамлета сцена с могильщиком не кажется мне хуже других, а гробокопателей и осквернителей трупов я не нахожу худшими философами, чем остальные.

— Да, я, может быть, даже вполне согласен с вашим мнением; но, говоря откровенно, вы взялись за это дело не так, как следовало, или, вернее, вы неправильно избрали место для своих наблюдений. Как и где показывает своих могильщиков Шекспир? По колено в могиле, с голым черепом в руках, на самом месте их назначения, а вовсе не в кабаке виноторговца Иогена, к которому первый могильщик посылает второго за скляницей водки. Если хотите быть поэтом, влюбитесь в женщину и бродите по лесу. Хотите сделаться драматургом, бывайте

¹ В низких душах (латин.).

в свете до полуночи, изучайте Мольера и Шекспира до двух часов дня, проспите часов шесть, закрепите свои воспоминания чтением и пишите от девяти часов утра до полудня. Если хотите написать роман, возьмите Лесажа, Вальтера Скотта и Купера, то есть художника характеров, нравов и природы, изучайте человека у него дома — в его мастерской, если он художник, за его конторкой, если он негоциант, в его кабинете, если он министр, на троне, если он король, но никогда не смотрите на них в кабаках, куда они приходят утомленные и откуда уходят пьяные. Вот именно на кабаках-то и следовало бы вывешивать знаменитую дантовскую надпись: "*Lasciate ogni speranza*"¹. И затем: что за отвратительную ночь выбрали вы для своих наблюдений! Последнюю ночь карнавала, когда ни один из этих людей не на своем месте, когда все они заложили все, до последнего тюфяка, чтобы раздобыть костюмы получше, чтобы под их прикрытием обворовывать людей богатых, — одним словом, в сегодняшнюю ночь они сами на себя не похожи! Да, господин наблюдатель, — закончил Сальватор, пожимая плечами, — нельзя не заметить, что вы делаете свои наблюдения довольно странным способом!

— Продолжайте, продолжайте, — проговорил Жан-Робер, — я вас слушаю.

— Хорошо. Что сказали бы вы о человеке, который вздумал бы изучать сердце человеческое в сумасшедшем доме? Не правда ли, вы могли бы и его самого принять за сумасшедшего? А между тем вы сами только что сделали то же самое. Послушайте, мсье Жан-Робер, нас свел случай, а жизнь, может быть, сейчас же и разведет нас так, что мы никогда больше не увидимся... Так позвольте мне дать вам один совет. Вероятно, я кажусь вам очень смелым?

— О нет! Клянусь вам — нисколько!

— Да если хотите, я сам сочиняю роман.

— Вы??!

— Да, да, но успокойтесь — это не из тех романов, которые печатают, — я конкурировать с вами не стану. Я хотел только сказать вам этим, что и я также имел претензию быть наблюдателем. Романы, многоуважаемый поэт, сочиняет само общество. Ищите у себя в мозгу, терзайте свое воображение три месяца, полгода, целый год и все-таки не создадите ничего подобного тому, что случайность, фатум или провидение — называйте это как хотите — создает в несколько мгновений, что оно связывает и развязывает в одну ночь, и в особенности в таком городе, как Париж. Есть у вас сюжет для вашего романа?

— Нет, нет еще. К вещам театральным я отношусь гораздо смелее, они почти не смущают меня. А вот романы с их эпизодами, перипетиями и лестницами от низших до высочайших ступеней общества,

¹ Оставьте всякую надежду (*итал.*).

роман с будуаром принцессы и мансардой простой ремесленницы, с Тюильри и “тапи-франком” вроде того, в котором мы сидим теперь, с Нотр-Дам и Гревской площадью, признаюсь вам, я с некоторым ужасом отступаю перед трудом, который кажется целым миром и в который мне предстоит вступить.

— Полагаю, что вы ошибаетесь, — возразил Сальватор.

— В чем же дело?

— В том, что вы намерены что-то сделать, создать.

— Разумеется.

— А вы не создавайте, а дайте ему сложиться как есть.

— Не понимаю.

— Вы знаете, как действовал Асмодей?

— Он поднимал крыши домов и говорил дону Клеофасу: “Посмотрите”.

— А разве у вас есть власть Асмодея? Разумеется, нет. Я же скажу вам: поступайте еще проще. Выйдите из этого вертепа и ступайте за первым человеком или за первой женщиной, которая вам попадется. Следите за ней по улицам, по переулкам, по набережным. Этот первый встречный или встречающая, может быть, и не будет героем или героиней вашего романа, но, наверно, окажется сыном или дочерью того колоссального, всеобъемлющего романа, какой сочиняет сам Господь Бог... Зачем Он это делает — известно только Ему одному. Сделайтесь просто-напросто его сотрудником и будьте уверены, что с первого же шага нападете на след какого-нибудь или ужасного или смешного происшествия.

— Да, но теперь ночь.

— Тем лучше. Ведь ночь, собственно, и создана для поэтов, влюбленных, часовых, патрулей, воров и романистов.

— Значит, вы хотите, чтобы я начал мой роман сейчас же?

— Да он уже начат.

— В самом деле?

— Разумеется.

— С какого же это часа?

— С той минуты, когда друзья ваши сказали вам: “Пойдем ужинать в кабак”.

— Вы шутите!

— Нет, честное слово, я вовсе не шучу. Жан Бык будет одним из действующих лиц вашего романа, так же, как и Жибелотт, Туссен и Известковый Мешок. Двое ваших друзей, которые теперь спят и вовсе не подозревают, что мы назначаем им роли, будут тоже действующими лицами вашего романа. Да и я сам, если вы почтете меня этого достойным, буду одним из действующих лиц вашего романа.

— А знаете что! Ведь то, что вы говорите, совершенная правда, и я готов последовать вашему совету.

— В таком случае, начните с того, что скажите себе, что вы сами автор великой человеческой драмы, и сценой вам служит весь мир с его

леса, городами, реками и океанами, где каждый действует, по-видимому, в своих интересах, по своей фантазии и капризу, а, в сущности, движется только по мановению невидимой, но всемогущей руки предопределения. Слезы, которые будут проливаться на этой сцене, — настоящие, кровь, которая хлынет там, будет настоящей теплой кровью, и вы сами можете примешивать к ним ваши слезы и вашу собственную кровь. Вы действительно именно такой человек, каким я вас воображал! Смотрите-ка, начало подмораживать, ночь чудная, светлая. Пойдем искать продолжения истории, первую главу которой мы если и не написали, то разыграли.

— Но ведь нельзя же мне оставить здесь своих друзей.

— Почему же нет?

— А если с ними что-нибудь случится?

— О! Об этом не беспокойтесь. Я переговорю с гарсоном, а когда здесь будут знать, что они состоят под моим покровительством, то ни один хотя бы даже самый наглый бродяга в этом вертепе не посмеет прикоснуться к их головам.

— Хорошо, — согласился Жан-Робер, — только будьте так любезны, отдайте это распоряжение при мне.

— Очень хорошо.

Сальватор подошел к лестнице, нагнулся над ней и свистнул каким-то особенным образом.

Казалось, что этого человека здесь никогда не заставляли ждать. Свист его еще не успел стихнуть, как на лестницу взбежал гарсон.

— Вы звали, господин Сальватор? — спросил он.

— Да.

Он указал на спавших молодых людей:

— Эти господа — мои друзья, мэтр Бабилас. Понял?

— Точно так, господин Сальватор, — коротко ответил гарсон.

— Теперь мы можем идти, — сказал молодой человек поэту.

Жан-Робер остался еще на несколько минут, спросил счет и расплатился.

Давая гарсону пять франков на чай, он прибавил:

— Скажи, братец, пожалуйста, кто этот господин, что сейчас велел тебе беречь моих друзей?

— Это не господин — это мсье Сальватор. А разве вы его не знаете?

— Нет. Поэтому-то я тебя и спрашиваю.

— Это комиссионер с улицы Фер.

— Что ты говоришь?!

— Я говорю-с, что это комиссионер с улицы Фер.

Гарсон проговорил это так серьезно и просто, что заподозрить его во лжи не было возможности.

— Да, кажется, этот господин Сальватор сказал правду, и мы начинаем с ним какой-то доселе небывалый роман! — проворчал Жан-Робер, поспешая за своим спутником.

Два друга Сальватора

Комиссионер с улицы Фер сказал правду — ночь стояла великолепная.

На часах рынка пробило два.

Когда молодые люди вышли из кабака, вправо от них блеснул шедевр единственного французского архитектора-скульптора Жана Гужона — фонтан Невинных, залитый фантастическим светом луны. Его прекрасные пилястры коринфского стиля четко вырисовывались на темном фоне во всей чистоте своих гармоничных линий. Казалось, наяды, эти капли кристальной воды, преобразенные в женщин, спускали со своих прекрасных тел легкие покровы, чтобы броситься в зеркальный бассейн или окунуть в него свои прелестные ножки.

Молодые люди, несмотря на разницу общественного положения, какая их, по-видимому разделяла, взяли друг друга под руку и направились на улицу Сен-Дени, мимо Пале-де-Жюстис. Дойдя до площади Шале, они остановились. Перед ними беззвучно струилась Сена. Нотр-Дам высился в своей величавой неподвижности; Сен-Шапель гордо поддерживал свою кружевную вершину над крышами домов, как Левиафан свой хобот над волнами. Можно было подумать, что судьба перенесла их в Париж пятнадцатого столетия.

В довершение иллюзии вдоль набережной шла толпа молодых людей в костюмах времен Карла VI.

— Два часа четырнадцать минут! — кричали они во все горло. — Мы успокоились! Спите, парижане!

И действительно, ничто не нарушало уверенности, что то была одна из тех депутатий, какие в свое время отправляла к королю Карлу VI царившая в те годы в Париже корпорация мясников, чтобы вытребовать у него какие-нибудь новые льготы. Тут были и Гуа, и Тиберий, и Люилье, и Мелотт со страшным живодером Кабошем во главе.

Казалось, они спокойно прогуливались по улицам, ожидая для начала своих проказ захода луны или пробуждения короля.

Сальватор и Жан-Робер пропустили маскарад мимо себя, быстро перешли Меняльный мост и очутились на небольшой площади, лежащей между мостом Сен-Мишель и улицей де-ла-Арп.

Человек тридцать студентов и гризеток с веселыми криками плясали вокруг нескольких снопов пылающей соломы.

Жан-Робер, который в это время изучал историю Франции, невольно искал глазами тумбу с человеческой головой и с кошельком на шее, так как французские хроникеры свидетельствуют, что тумба стояла на этой площади вплоть до начала семнадцатого столетия.

Казалось, вся эта молодежь, одетая в костюмы средних веков, которые в то время начинали входить в моду, собралась сюда, чтобы через четыреста лет протестовать против измены, совершенной на этой площади.

И действительно, 12 июля 1418 года стояла такая же ясная, тихая

ночь, когда Перине Леклер вытащил из-под подушки своего спавшего отца ключи от Сен-Жерменских ворот и отпер их восьмистам воинам герцога Бургундского, которые ожидали этого за стенами под предводительством Вильера, владельца Иль-Адама.

Всех, кто попадался под руку, бургундцы убивали без всякой пощады: детей, женщин, стариков. Епископы Кутанса, Сента, Байе, Сен-лиса, д'Евре были убиты в собственных постелях. Конетабля и великого канцлера вытащили на улицу, забили до смерти, разрубили на куски, части тел разбросали в разные стороны, а головы таскали по улицам.

Разгром продолжался целых восемь дней, но к концу этого времени парижане выгнали бургундцев и снова заперлись в своем городе. Тотчас после этого принялись отыскивать предателя, навлекшего столько позора и несчастий. Но, несмотря на все розыски, Перине Леклера в Париже не оказалось.

Он исчез, и никто никогда не узнал, когда и куда он бежал.

Какой-то скульптор наскоро сделал грубое изображение предателя. Толпа носила его по улицам, плевала ему в лицо, била по щекам, осыпала его проклятиями. Тот же скульптор вылепил голову этого Иуды пятнадцатого века на тумбе и повесил ему на шею кошелек. Историки того времени видели эту тумбу и упоминают о ней на страницах своих анналов.

Вспоминая обо всем этом, Робер отвернулся от ярко освещенной группы пляшущей молодежи и силился найти памятную тумбу в каком-нибудь из темных углов площади.

— Хотел бы я знать, где именно она стояла? — проговорил он вполголоса.

— На углу площади и улицы Сент-Андрэ-д'Арс, — ответил Сальватор, точно он все время следил за мыслью Жан-Робера, которая закончилась этим вопросом.

— Каким образом вы догадались, о чем я думал? — с удивлением спросил Жан-Робер.

— Во-первых, ваше удивление не очень-то мне льстит! — смеясь, заметил Сальватор. — А во-вторых, неужели вы думаете, господин поэт, что хорошо осведомлены только те люди, которым это подобает по специальности? Я думал, что незнание вашего друга Людовика относительно валерьяны, послужило вам достаточно назидательным примером.

— Извините, — ответил Жан-Робер, — сознаюсь, что у меня вырвалось глупое слово, и обещаю, что больше этого не будет. Я начинаю приходить к заключению, что вы знаете все на свете.

— Нет, это слишком сильно сказано, — возразил Сальватор. — Всего на свете я не знаю и знать не могу, но я живу с народом, а он знает очень многое. Это гигант, который осуществляет античный миф о стоглазом Аргусе и сторуком Бриарее, — он сильнее короля и умнее Вольтера. Одно из достоинств или, если хотите, один из пороков этого народа — память, притом такая, где особенно долго хранятся измены, за

которые он всегда готов мстить. Злодей, которого помиловал король и с распростертыми объятиями приняла аристократия, перед которым почтительно раскланивается буржуазия, для простого народа всегда, и несмотря ни на что, остается злодеем. Очень может быть, что недалеко уже время, — продолжал Сальватор, заметно омрачаясь, и лицо его стало до того жестким, каким еще минуту назад и вообразить было невозможно, — когда вы увидите яркое и убедительное подтверждение всего, что я вам говорю. А что касается имени Перине Леклера, подробности о котором известны только ученым, то могу сказать вам, что в народе оно еще живо и пользуется непримиримой и беспощадной ненавистью, которая говорит в нем тем ожесточеннее, что постыдное преступление его осталось до сих пор безнаказанным, не было искуплено соответствующей казнью, точно даже само провидение действовало на этот раз как усыпленный или подкупленный судья и как бы закрыло глаза, чтобы дать пройти преступнику. Однако пойдемте дальше.

Сальватор взял Жан-Робера опять под руку.

Поэт покорно шел за странным человеком, которого лишь случайность сделала его гидом, и вместе с ним очутился среди темных и пустынных улиц.

Между улицей Макон и площадью Сент-Андрэ-д'Арс Сальватор остановился перед белым и очень опрятным домиком, имевшим всего три окна по уличному фасаду.

Вход преграждала дверь, разделанная под дуб.

Сальватор достал из кармана ключ, видимо, собираясь войти.

— Не правда ли, решено, что мы проведем остаток ночи вместе? — спросил он, обращаясь к Жан-Роберу.

— Вы мне это предложили, а я принимаю ваше предложение с удовольствием. Или вы, может быть, передумали?

— Слава Богу, нет еще. Но, видите ли, хоть я человек и очень ничтожный, но есть два существа, которые стали бы тревожиться обо мне, если бы я не вернулся в известный час домой. Два существа эти — женщина и собака.

— Так ступайте и успокойте их, а я подожду вас здесь.

— Как! Вы отказываетесь войти ко мне из скромности? В таком случае, вы ошибаетесь. Я принадлежу к числу тех людей, кто ничего не скрывает и, тем не менее, остается таинственным и при свете солнца. Ведь еще Талейран сказал, что дипломат вернее всего обманет своих противников, если скажет им правду. Я именно такой дипломат, с той только разницей, что мне нет нужды обманывать, потому что мной никто не интересуется.

— В таком случае, я скажу, как итальянцы: "Permesso!"¹ — проговорил Жан-Робер, которому ужасно хотелось войти в дом странного комиссионера с улицы Фер.

¹ Здесь — "Решено!" (итал.).

Дверь отворилась, и молодые люди очутились в галерее.

— Пойдите, я посвечу, — сказал Сальватор.

Он вынул из кармана спички и только что хотел зажечь одну из них, как наверху лестницы появился свет.

Чей-то мягкий звучный голос проговорил:

— Это ты, Сальватор?

— Да, я, — отвечал молодой человек. — Теперь сами увидите, что я не обманул вас. — И прибавил, оборачиваясь: — Вы увидите женщину и собаку.

Собака явилась первой. Услышав голос хозяина, она кубарем скатилась с лестницы.

Наскочив на хозяина, она поставила свои передние лапы ему на плечи и, прижавшись головой к его щеке, стала радостно лаять и взвизгивать.

— Ну-ну, хорошо, хорошо, Роланд, пусти меня, — ласково отпихнул ее Сальватор. — Видишь, твоя хозяйка Фрагола хочет мне что-то сказать.

Но вдруг собака заметила Жан-Робера и, перекинув морду через плечо Сальватора, зарычала не то злобно, не то вопросительно.

— Свой, свой, Роланд, не дури! — сказал ей Сальватор.

Он поцеловал собаку в ее черную косматую голову и, оттолкнув еще раз, прибавил:

— Ну довольно, пусти.

Роланд посторонился, пропустил мимо себя и Жан-Робера, мимоходом обнюхал его, лизнул ему руку и пошел сзади.

Жан-Робер полюбовался им. То был великолепный сенбернар. Стоя на задних лапах, он был футов пяти с половиной ростом, а цветом шерсти напоминал льва.

Взобравшись с нижнего этажа на первый, Жан-Робер сосредоточил все свое внимание на Фраголе.

Это была женщина лет двадцати. Роскошные белокурые волосы ее обрамляли бледное, кроткое лицо, сквозь чрезвычайно нежную кожу которого просвечивал румянец. Свеча в хрустальном подсвечнике, которую она держала в руках, освещала ее большие синие глаза и прекрасные улыбающиеся и полуоткрытые губы, между которыми блестел ряд жемчужных зубов.

Под правым глазом у нее виднелось родимое пятнышко, в известное время года принимавшее цвет земляники. Вероятно, за него и называли ее поэтическим именем, поразившим Жан-Робера¹.

Появление незнакомца сначала встревожило и ее, как Роланда, но после слов Сальватора: "Свой, свой", — она тоже успокоилась.

Когда он поравнялся с ней, она несколько нагнулась вперед, и он нежно и почтительно поцеловал ее в лоб.

¹ По-видимому, от *fragola* — земляника (*итал.*)

— Друг моего друга — и мне друг! — сказала она, обращаясь к Жан-Роберу. — Милости просим.

В одной руке она продолжала держать свечу, другой обняла шею Сальватора и так вошла в комнату.

Жан-Робер шел следом, но, войдя в небольшую залу, служившую, по-видимому, столовой, он скромно остановился.

— Надеюсь, ты до сих пор не легла не из-за беспокойства, дитя мое? — сказал Сальватор. — А то я, право, не простил бы себе этого.

Он произнес это с оттенком отеческой нежности.

— Нет, — кротко ответила девушка. — Но я получила письмо от той подружки, о которой иногда рассказывала тебе.

— От которой же именно? — спросил Сальватор. — Ты часто рассказываешь мне о трех.

— Можешь прибавить еще одну. У меня их четыре.

— Верно! Но о которой же именно говоришь ты теперь?

— О Кармелите.

— С ней что-нибудь приключилось?

— Да, мне кажется. Мы хотели встретиться завтра во время обедни в Нотр-Дам: она, Лидия, Регина и я, как делаем это каждый год, и вдруг она почему-то назначает нам свидание в семь часов утра.

— Где же это?

Фрагола улыбнулась:

— Она просит сохранить это в секрете.

— Ну и храни его, мой ангел. Ты ведь знаешь мое мнение насчет всяких тайн. Это святая святых.

Сальватор обернулся к Роберу.

— Через минуту я буду к вашим услугам, — сказал он, — знаете вы Неаполь?

— Нет. Но года через два собираюсь туда съездить.

— Ну так займитесь обзором этой столовой. Это очень точная копия со столовой в доме поэта в Помпее. А когда окончите это, побеседуйте с Роландом.

С этими словами Сальватор вошел с Фраголой в соседнюю комнату и запер за собой двери.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Беседа поэта с собакой

Оставшись один, Жан-Робер взял свечу и подошел к стене, а Роланд со вздохом удовольствия опустился на толстый ковер, разостланный у той двери, за которой исчезли хозяева, и, по-видимому, составлявший его всегдашнюю постель.

Несколько минут Жан-Робер смотрел на стену и не видел ничего, ибо воспоминания нахлынули на него.

Перед ним стоял образ девушки, наклонившейся со свечой в руках

над темной лестницей, ее золотистые волосы, прекрасные глаза, в которых светилось небо даже тогда, когда настоящего неба не было и в помине, ее тонкая, почти прозрачная кожа, подобная листку чайной розы, ее грация, какую придает некоторым людям и животным излишне удлинённая шея. Из людей здесь напомним о Рафаэле, из животных — о лебеде.

Все в ней казалось ему необыкновенным, даже это родимое пятнышко под глазом, за которое, вероятно, Сальватор дал ей имя Фрагола, а из него так легко складывалось сладкозвучное уменьшительное — Фраголетта.

Затем имя Регина, которое произнесла девушка, вызвало в воображении Жан-Робера воспоминание об аристократке, которая, разумеется, не могла иметь ничего общего со скромным мирком, лишь на мгновение его обступившим, но, тем не менее, тотчас заставившим зазвучать чуткие струны его поэтической души.

Но мало-помалу завеса воспоминаний начала редеть, и он, как сквозь туман, увидел картины, изображенные на стене.

Чутье артиста брало верх над мечтательностью; воображение отступало перед действительностью. Перед Жан-Робером был образец поразительно точной копии с декоративной живописи древности.

Четыре главные части стены составляли рамы, окруженные кессонами. В каждой раме было по пейзажу, который виднелся как бы сквозь колоннаду перистилия или из окна комнаты.

Кессоны представляли все те фантастические фигуры, что снова вызвала к жизни археология, — часы дня и ночи, пляшущих стрекоз, правящих двумя улитками, запряженными в колесницу, голубков, пьющих из одной вазы.

Все это было скопировано с поразительной точностью и верностью колорита.

Присутствие таких вещей в доме комиссионера могло бы удивить Жан-Робера, если бы и сам Сальватор со всем, что его сколько-нибудь касалось, не был для него предметом непрерывного удивления.

Он задумчиво поставил свечу на круглый стол, занимавший посреди столовой место не более шести футов в окружности, и сел на ближайший стул.

Взор его бессознательно скользил несколько времени по различным частям обстановки и наконец остановился на собаке.

Ему припомнились слова Сальватора:

“Когда окончите осматривать столовую, побеседуйте с Роландом”.

Жан-Робер улыбнулся.

Эти слова, которые всякий другой мог бы принять за грубую шутку, показались ему совершенно естественным советом и внушили ему еще большую симпатию к новому знакомцу.

Жан-Робер со своим чистым, нежным и добрым сердцем не допускал мысли, что Бог наградил душой только человека. Он, как восточный поэт или индийский брахман, склонен был думать, что животное

тоже имеет душу, но будто уснувшую или заколдованную. Часто он воображал себе, как при сотворении мира появлению человека предшествовало создание младших его братьев — зверей и даже растений, и ему казалось, что именно эти прежде явившиеся младшие братья и были руководителями и воспитателями. Ему думалось, что они своим уже окрепшим инстинктом руководили еще шатким разумом человека, и что с нашей стороны теперь несправедливо презирать их.

“Побеседуйте с Роландом”.

Он оторвался от своих размышлений и окликнул собаку. При звуке своего имени, произнесенного с привычной охотничьей интонацией, Роланд, который лежал, вытянув морду вдоль лап, поднял голову.

Жан-Робер позвал его еще раз и хлопнул себя по колену.

Роланд поднялся на передние лапы и сидел в позе сфинкса.

Жан-Робер окликнул его в третий раз.

Роланд встал, подошел к нему, положил голову к нему на колени и дружески взглянул на него.

— Что, милый? — ласково спросил поэт.

Роланд заскулил не то жалобно, не то дружественно.

— Ага! Кажется, хозяин твой, Сальватор, сказал правду! Мне кажется, что мы пойдем друг друга.

При имени Сальватора пес твякнул с видимым удовольствием и оглянулся на дверь.

— Да, да, он там, в той комнате, с твоей хозяйкой. Верно? Так ведь?

Роланд подошел к двери, приложил морду к щели у пола и шумно втянул в себя воздух, потом вернулся к Жан-Роберу, вновь положил ему голову на колени и закрыл свои умные, почти человеческие глаза.

— Ну-ка, посмотрим, кто такие были твои родители, — сказал Робер. — Дай-ка сюда лапу.

Пес поднял лапу и с удивительной осторожностью опустил ее в руку поэта.

Тот раздвинул и пристально осмотрел его пальцы.

— Ну да, я так и думал, — заметил он. — Ну а лет тебе сколько?

Он поднял губу Роланда, под которой оказалось два ряда страшных, белых, как слоновая кость, зубов, но в глубине пасти челюсти уже заметно ослабли.

— Так! — сказал Робер. — Мы с тобой, Роланд, уже не первой молодости. Если бы мы были дамами, то уже лет десять скрывали бы свои года.

Пес сидел перед ним невозмутимо. Ему, очевидно, было совершенно безразлично, знал ли Жан-Робер его настоящий возраст или нет, а тот продолжал свой бесцеремонный осмотр, силясь найти подробность, которая более заинтересовала бы его косматого собеседника.

Через несколько минут он нащупал то, что искал.

Шерсть у Роланда напоминала львиную и только на животе была несколько длиннее и курчавее. Но на правом боку Жан-Робер заметил

между четвертым и пятым ребром белый клочок величиной волосков в семь или восемь.

— Что ж это у тебя такое, мой бедный Роланд? — спросил он, нажимая на эту точку пальцем.

Роланд слегка заскулил.

— Эге! Это рана! — проговорил Робер.

Он знал, что возле ран или на рубцах, которые от них остаются, окрашивающие шерсть масла теряют свою силу и что на конских заводах, пользуясь этим обстоятельством, делают лошадям белые звездочки на лбах, прикладывая к ним раскаленное железо.

Но у Роланда была, скорее, рана, чем ожог, потому что под пальцем складки шрама выступали довольно чувствительно.

Жан-Робер принялся внимательно осматривать другой бок.

Там оказался точно такой же след, с той только разницей, что он приходился несколько ниже.

Робер и его нажал пальцем, а Роланд взвизгнул на этот раз несколько сильнее прежнего. Рана была, как оказывалось, сквозная.

— А, мой милый! — вскричал поэт. — Значит, ты воевал, как и твой великий тезка.

Роланд поднял голову и подал голос так грозно, что Робер невольно вздрогнул.

Этот ответ добродушного пса заставил Сальватора выйти из спальни.

— Что у вас тут случилось? — спросил он.

— Ничего особенного... Вы посоветовали мне побеседовать с ним, — ответил Жан-Робер, смеясь, — я стал расспрашивать о его истории, и он только что собрался мне рассказать ее.

— Ну и что же рассказал он вам? Это, в самом деле, становится любопытно. Нужно же узнать о нем наконец правду.

— Да зачем же стал бы он лгать? — возразил Жан-Робер. — Ведь он не человек.

— Тем более оснований, чтобы вы повторили мне ваш разговор! — вскричал Сальватор с нетерпением, в котором слышалась и тревога.

— Извольте. Вот вам наш разговор с Роландом слово в слово: я спросил его, чей он сын. Он ответил мне, что он помесь сенбернара с ньюфаундлендом. Я спросил, сколько ему лет, он ответил — девять или десять. Я спросил, что значат белые пятна у него на боках, он ответил, что это след пули, которая переломила ему ребро и вышла сквозь левый бок.

— Все это совершенно верно! — подтвердил Сальватор.

— И доказывает вам, что я наблюдатель, достойный ваших уроков.

— Это доказывает, по-моему, просто только то, что вы охотник, а следовательно, по перепонкам между пальцами Роланда и по его шерсти вам не трудно было узнать, что он помесь водолаза с горной собакой. Вы посмотрели ему в зубы и по цвету десен увидели, что он уже не молод. Вы пощупали два пятна у него на боках и по неровностям

на коже и по вогнутости кости узнали, что пуля вошла через правый бок, а вышла через левый. Верно я вас понял?

— До того верно, что я чувствую себя просто уничтоженным.

— А больше этого он не сказал вам ничего?

— Вы вошли именно в тот момент, когда он сказал мне, что помнит свою рану и при случае, наверно, узнает и того, кто ее нанес ему. Рассказать же мне все остальное я попрошу уже вас самого.

— К сожалению, я и сам знаю не больше вашего.

— Неужели?!

— Да. Лет пять тому назад я охотился в окрестностях Парижа...

— Охотились в окрестностях Парижа?!

— То есть, вернее, браконьерствовал... Ведь комиссионерам прав на охоту не полагается. Я нашел этого пса в канаве, он был прострелен навывлет, весь в крови и едва дышал. Красота его меня просто поразила. Мне стало жаль его. Я донес его до ручья и обмыл ему рану водой с водкой. От этого он точно ожил. Мне подумалось, что если хозяин решился оставить его в таком положении, то значит, не особенно дорожил им, и мне захотелось взять его себе. Мимо проезжала телега на рынок, я уложил его на нее и отвез домой. Стого же вечера я стал лечить его так, как лечили у нас в Валь-де-Грасе раненых людей; мне удалось его вылечить, и вот и все, что я сам знаю о Роланде. Впрочем, нет, виноват, я забыл прибавить, что с тех пор он относится ко мне с беспредельной преданностью и готов дать убить себя за людей, которые мне дороги. Так ведь, Роланд?

При этом обращении пес весело залаял и опять оперся передними лапами на плечи хозяина.

— Ну, хорошо, хорошо! — сказал Сальватор. — Ты у меня хороший, честный пес! Я это знаю. А теперь лапы долой!

Роланд покорно опустил на пол, отошел и улегся на прежнее место у двери.

— Хотите отправиться со мной сейчас же? — спросил Сальватор.

— С радостью! Хотя, право, я боюсь стеснить вас.

— Это чем?

— Мадемуазель Фрагола хотела идти куда-то сегодня утром, и, стало быть, вам нужно проводить ее.

— Нет! Ведь вы же сами слышали, что она не может даже сказать мне, куда идет.

— И вы не боитесь так отпускать ее совершенно одну, да еще в такие места, которых она не хочет даже назвать? — смеясь, спросил Жан-Робер.

— Дорогой поэт, знайте, что там, где нет доверия, нет и любви. Я люблю Фраголу всем сердцем и, кажется, скорее заподозрю родную мать, чем ее.

— Прекрасно, но для молодой девушки вообще не безопасно выезжать так рано за город с одним только кучером.

— Совершенно верно, но ведь с ней будет Роланд, а под его защитой я отпущу ее одну хоть на край света.

— Вот это другое дело.

Жан-Робер не без некоторого щегольства закутался в свой плащ.

— Ах да, кстати, — сказал он. — Мне показалось, что мадемуазель Фрагола упомянула имя Регины.

— Да.

— Это имя необыкновенное. Я знал дочь маршала Ламот-Гудана. Ее тоже звали так.

— Да это она и есть подруга Фраголы... Пошли.

Жан-Робер молча пошел за своим проводником.

Этот человек удивлял его все больше и больше.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Душа и тело

В те несколько минут, что Сальватор провел в спальне, он совершенно переоделся.

Теперь вместо оригинального и изящного черного бархатного костюма на нем был белый косматый казакин, пестрый жилет, застегнутый доверху и темные панталоны. В этом костюме невозможно было бы определить, к какому классу он принадлежал. Это можно было узнать по тому, как он надевал шляпу: если он надвигал ее на ухо, то казался принарядившимся ремесленником, а если надевал прямо, то имел вид небрежно одетого светского человека.

Жан-Робер, пристально наблюдавший за всем, заметил и этот тонкий оттенок.

— Куда хотите вы отправиться? — спросил Сальватор, выходя на улицу и запирая дверь.

— Куда вы найдете лучшим. Ведь вы обещали быть моим проводником сегодняшнюю ночь.

— Так поступим же, как поступали древние, — ответил Сальватор. — Бросим перо по ветру, и в какую сторону он отнесет его, туда мы и направимся.

Сальватор вырвал листок из своей записной книжки и подбросил его. Ветер подхватил листок и понес на улицу Пупе.

Следуя за ним, друзья дошли до улицы де-ла-Арп.

Здесь они бросили вторую бумажку, и она привела их к улице Сен-Жак.

Они шли, сами не зная куда, руководствуясь только случайностью, — без цели, без направления, обмениваясь мыслями и впечатлениями еще свежих и сильных душ.

Жан-Робер несколько раз пытался проникнуть в тайну жизни странного молодого человека, но Сальватор каждый раз ловко увертывался от него, как лисица увертывается от преследующей ее гончей.

Но на прямой вопрос он ответил:

— Ведь мы вышли с вами искать материал для романа, не правда

ли? А то, до чего вы доискиваетесь, теперь есть роман уже оконченный. Если бы я уступил вашей просьбе, то это значило бы, что я веду вас назад. Так лучше пойдем вперед.

Жан-Робер понял, что спутник его твердо решил остаться неизвестным, и перестал настаивать.

Кроме того, мысли их скоро приняли другое направление, благодаря одной случайности.

Небольшая толпа собралась около какого-то человека, лежавшего на мостовой.

— Он пьян! — говорили одни.

— Нет, он умирает! — возражали другие.

Человек продолжал хрипеть.

Сальватор раздвинул толпу, опустился возле него на колени, приподнял его голову, заглянул ему в лицо и, обращаясь к Жан-Роберу, сказал:

— Это Бартелеми Лелонг. У него прилив крови в мозг, и если я сейчас же не пущу ему кровь, то он умрет. Здесь должна быть где-то аптека, сходите туда. Аптекари должны вставать во всякое время.

Жан-Робер осмотрелся. Сами того не замечая, они дошли до середины предместья Сен-Жак и были недалеко от больницы Кошен.

Напротив больницы красовалась вывеска: "Аптека Луи Рено".

До имени аптекаря ему, впрочем, не было никакого дела — лишь бы он поскорее отпер. Он громко и сильно постучался.

Минут через пять дверь со скрипом отворилась, и в амбразуре появилась фигура Луи Рено в ночном бумажном колпаке.

Он спросил Жан-Робера, что ему нужно.

— Приготовьте таз и перевязки, — ответил тот. — Там на улице лежит человек, которому грозит удар. Ему необходимо пустить кровь.

В это время внесли больного, который был совершенно без сознания.

— А есть с вами доктор? — спросил Луи Рено. — Я пускать кровь не умею, и вообще я, скорее, травяник, чем аптекарь.

— Об этом не беспокойтесь, — возразил Сальватор. — Я учился хирургии и сделаю все, что будет нужно.

— Да у меня и ланцетов нет.

— У меня мой футляр с собой.

Толпа мало-помалу наполняла аптеку.

— Господа, хотите вы быть полезны этому человеку? — спросил Сальватор.

— Известное дело — хотим, господин Сальватор, — отвечали зрители, протягивая руки.

— Так вот в чем дело — пока я стану пускать ему кровь, сходите в больницу, достучитесь там и предупредите, что сейчас принесут больного.

Трое или четверо из толпы ушли в больницу. Между тем остальные с помощью аптекаря развязали галстук бедного Жана Быка, сняли с него казакин и стащили с одной руки рукав рубашки.

Жилы шеи были до того напряжены, что казалось, они вот-вот лопнут.

— Нужно перевязать руку? — спросил Жан-Робер.

— А есть готовые перевязки? — обратился Сальватор к аптекарю.

— Пойду поищу, — ответил Луи Рено.

— Сожмите руку покрепче над локтем, мсье Робер, — сказал Сальватор, — надеюсь, что и этого будет достаточно.

Робер нагнулся и сделал то, что ему поручили. Один из толпы взял руку за кисть, другой держал таз, третий — лампу.

— Следите за артерией, — проговорил Жан-Робер с тревогой.

— О! Не беспокойтесь! — ответил Сальватор. — Мне не раз приходилось пускать кровь по ночам лишь при свете луны или уличного фонаря. Это очень часто случается с бедняками, особенно когда они выходят из кабаков.

С этими словами он коснулся руки Жана Быка ланцетом, и из нее хлынула кровь.

— Черт возьми! — продолжал он, покачивая головой. — Чуть-чуть не опоздал!

Всю операцию он произвел с быстротой и ловкостью привычного практиканта.

Жан Бык вздохнул.

— Скажите мне, когда крови выйдет достаточно, — проговорил возвратившийся аптекарь.

— У него ее можно выпустить сколько хочешь, не жалея, — ответил Сальватор. — Он на малокровие пожаловаться не может. Оставьте, оставьте, пусть ее течет.

Когда крови натекло около двух тазов, Жан открыл глаза. Первый взгляд его был мутен и как бы бессознателен, но затем мало-помалу прояснился и остановился на хирурге-любителе.

— А! Господин Сальватор! — проговорил он. — Это хорошо! Бог мне свидетель — я рад вас видеть.

— Тем лучше, тем лучше, мой милый! — ответил молодой человек. — И я тоже рад вас видеть! А ведь чуть было не лишился я этого удовольствия навсегда.

— Гм! Значит, это вы пустили мне кровь? — спросил Жан, все больше и больше приходя в себя.

— Да, я, — проговорил Сальватор, тщательно вытирая ланцет и укладывая его обратно в футляр.

— Значит, вы не хотели, чтобы я умер?

— Я? Да с чего же бы мне этого хотеть?

— Когда вы меня сбросили с лестницы, я думал, что это всегда делают, чтобы убить человека.

— Полноте! Вы просто с ума сошли!

— Нет, я понимаю, что можно убить человека, когда он вас взбесит, а я вас взбесил тем, что не хотел открыть окно. А только вы сами рассудите, если я сам требовал, чтобы его заперли, то как же было

мне идти самому же и отпирать его, хоть и вы мне это приказали? Ведь это ж было бы осрамиться в моих собственных глазах! А эти франтики еще стоят да смеются!

— Один из этих франтиков сейчас помог мне спасти вас от смерти, Бартелеми. Из этого вы видите, что и они вам зла не хотели.

Жан Бык повернул голову, взглянул на Жан-Робера и улыбнулся.

— А ведь и в самом деле! — вскричал он.

Жан-Робер протянул ему руку.

— Ну, полно, забудем ссору! — сказал он добродушно.

— О! Я человек не злопамятный! — ответил Бартелеми. — И если вы сами протягиваете мне руку...

— Да и раньше с этого бы начал, — ответил поэт, — но признайтесь, что вы сами этого не хотели.

— Это правда! — согласился плотник, хмуря брови. — Глупы мы, по правде сказать! Накликать на себя вот хоть бы такую беду из-за того, что женщина... Да вы только поймите, господин Сальватор, ведь она опять вернулась от Бобино с этим капельным уродом. А я все-таки не могу расколотить его вдребезги, и он этим пользуется!.. О, она знает, эта несчастная, что делает, если не хочет взять человека!..

— Полно, полно, успокойтесь, Бартелеми.

— Да, вам это легко сказать! Вы живете с ангелом. Вы этого и стоите, потому что только затем и живете, чтобы делать добро для других, а чтобы сделать вам зло, надо быть настоящим извергом!.. Ну да и про себя скажу, я хоть и стар, а отец я хороший и вовсе не заслуживаю, чтобы у меня отнимали мою девочку. Вот уж целых три дня, что я как сумасшедший разыскиваю этого ребенка. Она, наверно, запрятала ее где-нибудь у своей мошенницы матери... а ведь у той не пойдешь да не обещешь! Она, знаете, что придумала: как только меня увидит, так и принимается кричать благим матом, что ее убить хотят! До того ведь дошло, что я из-за нее уже две ночи в зале Сен-Мартен ночевал. Ну да это-то еще Бог бы с ним — я не прочь переночевать так и пять и десять ночей, лишь бы опять увидеть мою девочку!.. Ведь истинный она херувимчик!.. В Иванов день два годочка исполнится.

И колосс заплакал, как женщина.

— Ну и что я вам говорил? — спросил Сальватор, обращаясь к Жан-Роберу, который с удивлением следил за всей этой странной сценой.

— Да, правда! — ответил он.

— Ну, слушай, Бартелеми, тебе отдадут твою дочку, — сказал Сальватор больному.

— Вы их заставите, господин Сальватор?

— Обещаю тебе это.

— Ну да, да!.. Простите!.. Я совсем одурел!.. Ведь уж если вы сказали, то исполните, так тому и быть! Ах, сделайте это, господин

Сальватор... сделайте! Тогда, вот ей-Богу же, я не заставлю вас больше трудиться кидать меня с лестницы. Тогда вы только скажете мне: "Жан Бык, кинься с лестницы", — я сейчас и кинусь!

— Господин Сальватор, — сказал, входя в аптеку, человек, которого посылали в больницу, — там все готово, отперто.

— Это уж не для меня ли? — спросил Бартелеми.

— Что ж? Разве это тебе не нравится? — сказал Сальватор.

— Нет. Я туда не пойду.

— То есть как же это?

— Я не люблю больниц. Они годятся только для всякой дряни да для нищих, а я, слава Богу, еще достаточно богат, чтобы лечиться на свой счет и лежать в своем углу.

— Все это очень хорошо, только за тобой не станут так хорошо ухаживать. Дома ты и поешь не вовремя, и выпьешь некстати; ну а если человек так хорошо угостит себя раза три или четыре дома, да потом попадает в больницу уже поневоле, то и не выходит оттуда никогда. Полно, не дурачься.

— Нет, не хочу я в больницу! Как хотите, не пойду!

— Ну, хорошо, так отправляйся домой и ищи свою дочку, как знаешь. Ты мне надоел, наконец!

— Господин Сальватор, я пойду всюду, куда вы прикажете!.. Где эта больница? Я туда с радостью!.. Ну, ну... где же она?

— Вот так-то лучше.

— Ну а вы ведь возьмете у нее мою маленькую Фифиночку?

— Обещаю тебе, что не пройдет даже и трех дней, как ты узнаешь, где она.

— Ах ты, Господи! А что я стану делать в эти три дня?

— Ты будешь лежать спокойно.

— Ну а раньше-то, пораньше разве нельзя узнать о ней, господин Сальватор?

— Будет сделано все, что возможно. А теперь ступай с Богом.

— Иду, иду! Вишь ты, ведь как смешно! Ноги точно не мои... Не слушаются!

Сальватор махнул рукой. Двое мужчин подошли к плотнику и подхватили его.

— Ну вот, ну вот я и ушел, господин Сальватор, — слабым, разбитым голосом лепетал великан. — А вы не забудьте, что дня через три обещали известить меня, где моя девочка.

Дойдя до противоположной стороны улицы, до дверей больницы, которые должны были поглотить его, он еще раз крикнул:

— Так не забудьте же мою Фифиночку, господин Сальватор.

— Ваша правда, — проговорил Жан-Робер, — людей следует наблюдать не в кабаке.

Операция кровопускания была закончена, больной отправлен в больницу, и молодым людям оставалось только уйти, утешая себя мыслью, что если бы им не пришла фантазия бродить по улицам Парижа в три часа ночи, то умер бы человек, которому предстояло, может быть, прожить еще тридцать или сорок лет. Но прежде чем уйти, Сальватор спросил у аптекаря таз и воды, чтобы вымыть испачканные кровью руки.

Вода, которую ему подали, была обыкновенная, но таз был редкостью в аптекарском обиходе. Тот, в который Сальватор выпустил кровь Жана Быка, оказался единственным, а хирург-любитель непременно настаивал, чтобы кровь эту сохранили и показали доктору, который станет лечить больного.

Аптекарь огляделся и сказал:

— Черт возьми! Если вы хотите вымыть руки, так ступайте во двор и вымойтесь под краном... Там и воды больше.

Сальватор беспрекословно согласился. Несколько капель крови попало и на руки Жан-Робера, а потому и он последовал во двор.

Но у входа во двор оба остановились.

Среди тишины прекрасной лунной ночи до них доносились откуда-то чрезвычайно гармоничные звуки музыки.

Откуда лились они? Рядом со двором высилась мрачная каменная стена монастыря. Может быть, то был западный ветер, который, проникая под своды храма, выкрадывал оттуда сладкие и стройные звуки органа и доносил их до редких прохожих на улице Сен-Жак.

Уж не сама ли святая Сесилия слетела с небес, чтобы ознаменовать в святой обители наступление Великого Поста? Или то были души юных послушниц, умерших в ангельском возрасте, которые возносились к небесам под звуки райских арф?

Действительно, мелодия, доносившаяся до слуха молодых наблюдателей, не походила ни на оперную арию, ни на песню юного музыканта, возвращающегося с маскарада.

То был не то хвалебный гимн, не то песнь покаяния, а вернее, отрывок древнебиблейской духовной пьесы — песнь Рахили, оплакивающей сынов своих, павших в Риме, и не желающей внимать утешениям потому, что они погибли.

Если бы человеку, обладающему чутьем и пониманием, предложили дать этим звукам название, он, наверно, не задумываясь, назвал бы их "Покорностью". Ни одно другое название не соответствовало бы им. Но, так или иначе, они в высшей степени располагали слушателя к музыканту.

Можно было поручиться, что он был так же грустен и кроток, как его музыка, и обоим молодым людям это пришло в голову в один и тот же момент.

Тогда первое, что они сделали (зачем и пришли), это вымыли руки, а затем решились во что бы то ни стало отыскать таинственного и талантливому музыканта.

Когда они умылись, аптекарь подал им полотенце, а Жан-Робер дал ему в награду пять франков.

За эту цену Луи Рено согласился бы, чтобы его будили ночью хоть каждый час.

Он рассыпался в благодарностях.

Жан-Робер попросил у него позволения остаться во дворе еще несколько минут, чтобы дослушать этот жалобный мотив, который развивался с неистощимостью вдохновенной импровизации.

— Да оставайтесь, сколько вам угодно! — ответил аптекарь.

— Но вы-то сами? — спросил Жан-Робер.

— О! Меня это ничуть не стесняет! Я запру дверь и улягусь спать.

— Ну а мы? Как же мы потом выйдем?

— Калитка на улицу запирается только на задвижку и щеколду. Вам стоит поднять щеколду, и вы — на улице.

— А кто же запрет за нами?

— Калитку-то? Хотелось бы мне иметь столько тысяч дохода, сколько раз она остается не запертой!

— В таком случае, все в порядке.

— Да, да, да! — подтвердил аптекарь.

Он вошел в дом, запер за собой дверь и предоставил молодым людям полную свободу.

Между тем Сальватор подошел к одному из окон нижнего этажа, сквозь ставень которого виднелся свет.

Волшебные-грустные звуки слышались именно оттуда.

Сальватор потянул ставень к себе, и оказалось, что он не был заперт изнутри и легко отворился.

Оконные занавеси были спущены, но сквозь случайно оставшуюся между ними щель виднелась внутренность комнаты, посреди которой на довольно высоком табурете сидел молодой человек и играл на виолончели.

Перед ним на пюпитре лежала раскрытая тетрадь нот, но он не смотрел в нее и даже, по-видимому, сам не сознавал того, что играет. Во всей фигуре его сказывалось состояние духа человека, глубоко ушедшего в себя. Рука его бессознательно водила смычком, но мысль, очевидно, витала далеко.

Казалось, в сердце его происходила тяжелая душевная борьба — борьба боли со страданием. По временам чело его омрачалось, и он тогда извлекал из инструмента самые жалобные звуки. Вдруг виолончель, как человек, терзаемый агонией, издала ужасный, душу раздирающий крик, и смычок выпал из рук музыканта. Он плакал.

Музыкант достал платок, отер глаза, снова положил его в карман, нагнулся, поднял смычок, положил его на струны и опять заиграл именно с того места, на котором оборвал.

Сердце было побеждено, а дух величаво витал над личным страданием.

— Вот вам роман, который вы искали, дорогой поэт, он в этом бедном доме, в этом страждущем человеке и рыдающей виолончели.

— А вы знаете этого человека?

— Я? Нисколько! — ответил Сальватор. — Я никогда не видал его и даже не знаю, как его зовут. Но мне вовсе и не нужно знать его, чтобы сказать вам, что в нем олицетворяется одна из самых мрачных страниц истории человеческого сердца. Человек, который утирает слезы и снова берется за дело с такой простотой, наверно, человек сильный. Я могу в этом поклясться! А для того, чтобы такой человек заплакал, необходимо, чтобы страдание его было невыносимым. Хотите, войдем и попросим его рассказать нам, что его мучит.

— Послушайте! Да ведь это же просто невозможно! — вскричал Жан-Робер, останавливая его.

— Напротив, я нахожу это больше чем возможно, — ответил Сальватор, подходя к двери и отыскивая молоток.

— И вы думаете, — продолжал Жан-Робер, еще раз останавливая его, — вы думаете, что он расскажет о своем горе каждому, кому вздумается о нем расспрашивать?

— Во-первых, мы не “каждые”, мсье Робер... мы...

Сальватор остановился. Жан-Робер обрадовался, рассчитывая услышать такое, что дало бы ему возможность открыть что-нибудь в прошлой жизни своего таинственного товарища.

— Мы философы, — закончил Сальватор.

— Ах да, философы!.. — повторил, несколько растерявшийся Робер.

— Кроме того, — продолжал Сальватор, — мы не похожи ни на пьяных бакалавров, ни на сплетничающих буржуа, ни на расшалившихся студентов. Наше звание порядочных людей у нас на лбах написано. Не знаю, какое впечатление произвел я с первого взгляда на вас, но я вполне уверен, что каждый, кто только увидит вас, хотя бы даже впервые, так же охотно сообщит вам свою тайну, как я протягиваю вам руку.

И он пожал руку Жан-Роберу, точно выдавая ему диплом порядочности.

— Итак, пойдем смело, — продолжал он. — Все люди братья и обязаны помогать друг другу, все горести сестры и должны сочувствовать одна другой.

Эти последние слова он произнес с глубокой грустью.

— Ну если хотите, то пойдем, — сказал Жан-Робер.

— Как неуверенно вы это сказали! Разве я не достаточно разбил ваши сомнения?

— Нет, не то... Но я все-таки далеко не так уверен, как вы, что музыкант этот будет доволен нашим приходом.

— Он страдает, а следовательно, у него есть потребность жаловаться, — наставительным тоном произнес Сальватор, — и мы будем для него посланниками Божиими. Человеку, доведенному до отчаяния,

терять уже нечего, и, делясь своим горем, он может только выиграть. Говоря откровенно, теперь меня влечет к этому человеку уже не любопытство, а обязанность.

Не дожидаясь ответа Жан-Робера и не найдя ни звонка, ни молотка, Сальватор по-масонски постучал три раза в дверь.

Между тем Жан-Робер сквозь окно наблюдал за впечатлением, которое это произведет на виолончелиста.

Тот встал, положил смычок на табурет, прислонил инструмент к стене и направился к двери без малейшего признака удивления.

Это спокойствие вполне совпадало с мнением Сальватора.

Этот человек или ждал кого-то, или ему было все равно, кто бы ни пришел.

Да, было очевидно, что все дела мира стали ему настолько чужды, что уже ничто не могло удивить его, а поэтому и к приходу ночных посетителей он отнесся без удовольствия, но и без досады.

— С кем имею честь говорить? — спросил он, увидя Сальватора и Жан-Робера.

— С незнакомыми вам друзьями вашими, — ответил Сальватор.

Виолончелист, по-видимому, удовольствовался этим ответом.

— Войдите, — сказал он, как бы почти не обращая внимания на всю странность этого посещения и данного ему объяснения.

Они пошли за ним. Жан-Робер, вошедший последним, запер за собой дверь.

Они очутились в той самой комнате, в которой сидел виолончелист, когда они наблюдали за ним через окно.

Эта комната поражала простотой, придающей ей особенную прелесть. Стены были простые, белые, но безукоризненно чистые, точно в келье монахини, а обстановка — как в спальне молоденькой девушки. Даже странно было видеть в ней молодого человека. Так и казалось, что за белой кисейной занавеской сладко спит прелестная девочка, а маленькие букетики роз поставлены в хрустальные стаканы ее нежной ручкой. Очевидно, или виолончелист зашел сюда случайно, или жил здесь с сестрой. Вся комната производила своей изящной чистотой такое впечатление, что казалось, будто здесь могла жить именно только сестра. Женщины, уже покорившиеся греху, в таких комнатах не живут.

Но все эти впечатления молодых наблюдателей объяснялись очень просто. В комнате действительно жил молодой человек, но устраивала и убирала ее его сестра.

Почему же тосковал он так в своем веселом уголке?

Виолончелист пригласил их сесть, и они начали с того, что объяснили ему причину своего прихода.

— Позвольте мне, прежде всего, предложить вам один вопрос, — начал Сальватор. — Вы, очевидно, огорчены чем-то. Скажите, возможно ли уничтожить причину вашего горя?

Виолончелист взглянул на него с тем же равнодушием, с каким отпер дверь в три часа ночи, даже не спросив заранее, кто стучался.

— Нет, — ответил он просто.

— В таком случае, нам остается только уйти, — сказал Сальватор. — Но мне все-таки хотелось бы объяснить вам, почему именно мы позволили себе вас беспокоить. Этот господин, — продолжал он, указывая на Жан-Робера, — собирается писать книгу о человеческих страданиях и наблюдает их, где только можно. Войдя во двор этого дома, мы услышали вашу игру, подошли к вашему окну и заметили, что вы плакали.

Молодой человек вздохнул.

Сальватор продолжал:

— Какова бы ни была причина этого горя, слезы ваши глубоко тронули нас обоих, и мы пришли предложить вам наши кошельки, если вы бедны, наши руки, если вы слабы, наши сердца, если вы огорчены.

На глазах виолончелиста опять заблестали слезы, но на этот раз они были вызваны чувством глубокой благодарности.

В словах Сальватора, в тоне, каким они были произнесены, наконец во всем существе этого прекрасного молодого человека было столько величия, простоты, глубокой любви к ближнему, что он увлекал окружающих даже против их воли.

Поддаваясь этому обаянию, виолончелист горячо пожал ему руку.

— Я одобряю тех, кто скрывает свои раны от ближних, — сказал он. — Но показывать их братьям — значит, научить их, как избежать этих ран. Сядьте, братья, и послушайте меня.

Молодые люди устроились каждый по-своему. Жан-Робер бросился в кресло, а Сальватор остался стоять, прислонясь к стене.

Виолончелист вздохнул, призадумался, потом начал свой рассказ.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Ученик и его учитель

Этот человек был настолько порядочен и скромен, что, передавая свою историю, умалчивал о многих подробностях, которые, однако, тем более важны, если мы намерены понять его личность. Вследствие этого мы вынуждены повести его рассказ уже от своего лица, приводя все те факты, упоминать о которых он считал недостойным себя самохвальством.

Семь лет назад эта комната имела совершенно иной вид.

Вместо белых кисейных занавесок, которые скрывали кровать и придавали алькову вид капеллы, вместо гипсовой статуэтки Богоматери на камине, как бы благословлявшей присутствующих распростертыми руками, вместо свечей в прекрасных подсвечниках — здесь были тьма, сырость и запустение старых мрачных стен, даже не оклеенных обоями.

Украшали печальное жилище лишь офорт “Меланхолия” Аль-

брехта Дюрера да висевшее напротив четырехугольное зеркало в простой раме и с двумя усохшими и привязанными накрест ветками. Задняя половина комнаты скрывалась за зеленой саржевой занавеской, которая была прибита к одной из балок потолка и спускалась до плит, заменявших пол. Не было сомнения, что она скрывала за собой какое-нибудь жалкое, нищенское ложе.

Одним словом, эта комната представляла одно из самых убогих и печальных убежищ в цивилизованном мире. При взгляде на него невольно сжималось сердце, и глаз нигде не находил отрадного предмета. Стены были темны и сыры; потолочные балки безобразно выгнулись под тяжестью, которая давила на них уже целых триста лет; воздух был сырой и спертый. Это было нечто среднее между кельей схимника и казематом беснующегося умалишенного.

За исключением старого дубового стола, черной классной доски и старого же пюпитра, на котором лежала толстая нотная тетрадь сочинений Генделя или псалмов Марчелло, да длинной скамейки чело-век на восемь или десять и одного соломенного стула, комната была совершенно пуста.

Обитателем этого убогого жилища был бедный школьный учитель квартала Святого Жакоба.

В 1820 году терпением, трудолюбием и выносливостью ему удалось основать в предместье школу. За жалкие пять франков в месяц, которые ему выплачивали, и то неисправно, он обязывался обучать чтению, письму, закону Божьему и четырем правилам арифметики, но в сущности учил гораздо большему.

Он был сыном провинциального фермера. С десяти лет его стали посылать в коллеж Святого Людовика, и как только он несколько освоился с книгами, те, кто понимал дело, тотчас признали за ним исключительные дарования и желание учиться.

Один из них был хороший, скромный человек, с юным любящим сердцем, который, если бы на него приветливо глянуло солнце, был бы одним из видных столпов своего отечества, и только потому, что несчастливо сложилась судьба, он зачах в сырых стенах провинциального коллежа. Через год после поступления нового ученика он горячо привязался к нему, как отец к своему Вениамину.

Тридцать лет тому назад он так же пришел в Париж, потому что родом был тоже из глубокой провинции и тоже чувствовал себя чуждым среди мирка, составлявшего коллеж. Он был беден, а рядом жили и обучались сыновья знатных фамилий, так что как бы единственным человеческим существом, способным понять его, оказался этот ребенок, так напоминавший ему его самого и также часто вздыхавший о зеленеющих лугах отцовской фермы.

Эта общность бедности, талантливости и одиночества скоро внушила учителю глубокую симпатию к ученику, к маленькому Жю-стену, как его называли.

Передавая ему первые начала науки, он старался смягчить их

сухость и горечь, устранял от него острия шипов и жгучесть крапивы и вообще не жалел труда и изобретательности, чтобы облегчить ему доступ в эту неизвестную и таинственную страну знания.

Со своей стороны, и Жюстен скоро почувствовал горячую привязанность к своему учителю.

Как только раздавался звонок на перемену, он запирал свои тетради и книги, и потому ли, что у него не было товарища одних с ним лет, или не нравились школьные забавы, или же, наконец, самым симпатичным человеком в этом мире был для него его старый профессор, он одним прыжком перемахивал через двор, оказывался в комнате своего наставника, и между ними начинались самые душевные разговоры.

Они говорили об истории, о мифологии, о путешествиях, о творениях древних поэтов или о произведениях современных художников.

В мрачную и сырую комнату вдруг точно врывается веселый солнечный луч, приносящий с собой воспоминание о раздольных полях, об аромате лесов и о стихах Гомера и Вергилия, этих двух великих жрецов природы. Старик восхищался поэзией, просвечивающей через природу, и заставлял ребенка изучать природу, просвечивающую сквозь поэтические творения великих писателей.

Особенное наслаждение и свободу приносили дни воскресные.

В эти дни можно было оставаться непрерывно вместе — зимой в уголке у камина, летом под зелеными сводами Версальского, Медонского леса или Монморанси.

Этого дня оба ожидали в течение целой недели и заранее обдумывали свои беседы по поводу какого-нибудь вопроса.

В одно из воскресений к старому профессору приезжал один из его друзей; в другое они вместе перечитывали старое семейное письмо, в третьем толковали о сельской жизни, но, так или иначе, разговор между ними бывал всегда поучительный, интересный и душевный.

Если иногда, а это случалось всего два-три раза в году, учителя приглашали участвовать в какой-нибудь церемонии или на парадный обед к поставщикам или высшим чинам университета, куда ему нельзя было взять с собой и Жюстена, ребенок проводил воскресенье с одним бедным и одиноким соклассником, который, однако, полностью уступал ему в уме и познаниях.

Этот мальчик был, по сути, единственным близким ему человеком в коллеже, и не то чтобы все остальные сверстники были ему антипатичны. Напротив, он был готов любить их всех, но они сами отталкивали его от себя.

Неравенство имущественное сказывается даже на школьной скамье, и два школьника, расхаживающие, обнявшись, по двору или саду школы, наверно, или оба богаты, или оба бедны.

Однажды учитель Жюстена предстал перед ним в совершенно ином качестве.

Он уже давно готовил мальчику сюрприз, полный неожиданности и

глубокой нежности. Комната, в которой жил добрейший старик Мюллер, как звали профессора, располагалась над лазаретом коллежа. Пол в ней был так тонок, что внизу совершенно явственно слышался каждый его шаг, каждое движение. По доброте своего честного сердца старик старался жить как можно тише и неподвижнее, чтобы не тревожить шумом больных, и вследствие этого отказался от единственной страсти, когда-либо волновавшей его сердце, — он боготворил музыку и играл на виолончели с искусством и любовью истинно немецкого виолончелиста.

Но в течение тех трех лет, которые он прожил над лазаретом, что почти совпадало с поступлением Жюстена в колледж, он не прикасался к виолончели и терпеливо, без малейшей жалобы, ожидал, когда ему отведут другую комнату, которую ему обещали уже целых восемнадцать месяцев.

Наконец, этот так горячо ожидаемый день наступил.

Трудно передать восторг и удивление Жюстена, когда он, весело войдя в новую квартиру учителя, увидел того с инструментом в руках и услышал звуки печальные и могучие, как жалоба леса.

С этой минуты он стал не давать покоя Мюллеру, постоянно упрашивая играть ему еще и еще и учить его самого.

Мальчик стал брать эти уроки каждый день и употреблял на это все свое свободное время, которое, впрочем, и прежде было ничем иным, как трудом обучения, скрытым под увлекательной формой задушевной беседы.

Скоро они начали разбирать творения великих мастеров, сравнивать старинных с новейшими: Порпору с Вебером, Баха с Моцартом, Гайдна с Чимарозой; осуждали похитителей чужих творений и в таких разговорах прошли всю историю музыки от начала грегорианского пения до Гвидо д'Ареццо, а от него до наших времен; потом от музыки они переходили к эпизодическому изучению поэзии и живописи, и таким образом учитель, введший юношу сперва в зеленые долины науки, вознес его теперь в лазоревые сферы искусства.

Все эти семена, заброшенные в сердце юноши кроткой и умелой рукой, принесли в уединении, в котором жили эти странные друзья, роскошные плоды.

Уединение имеет, между прочим, одно достоинство: оно вынуждает человека осознать необъятную пропасть, которая таится в его сердце и которой, затерявшись среди эгоистического общества, он никогда не осознал бы. Одиночество вынуждает человека постоянно сосредоточиваться на самом себе.

В уединении в душе человека складывается совершенно новое отношение к жизни и ее явлениям — дурное становится сносным, хорошее — лучшим. В уединении сам Бог беседует с душой человека, а человек обращается мыслью к самому сердцу своего Творца.

Такая жизнь составляла заветную мечту старого учителя и тянулась целых семь лет, но вдруг налетело несчастье и с беспощадной грубостью оборвало ее тихое, поэтическое течение.

В одно из февральских воскресений 1814 года Жюстену подали письмо с родины, какие обычно приходили ему каждую неделю. Оно было запечатано черным сургучом. Адрес на конверте был написан незнакомым почерком. Неужели отец и мать умерли?

Если бы кто-то из них остался в живых, то, разумеется, сам известил бы сына о постигшем их несчастье. Жюстен, дрожа всем телом, распечатал письмо.

Оказалось, что несчастье, постигшее их семью, превосходило все, что могла изобрести его встревоженная дурным предчувствием фантазия.

Казаки разграбили их запасы, истоптали посевы, сожгли ферму. Мать бросилась спасать крепко спавшую дочь и опалила себе глаза. Она ослепла. Но отец? Почему же не мог он написать сыну?

То был старый республиканский солдат. Увидя весь ужас своего несчастья, он потерял голову, схватил ружье и принялся охотиться за казаками, как за дичью. Он убил их девять человек. Но в тот момент, когда он целил уже в десятого, его окружили, и сразу грянуло двенадцать выстрелов. Две пули попали в грудь навывлет, третья размозила ему голову. Он умер на месте.

Учитель искренне разделял горе своего любимца, и слезы старика смешивались со слезами юноши. Но слезы и огорчение делу не помогают, а Жюстену нужно было действовать.

Он решился ехать на родину, обнял своего второго отца, давшего ему жизнь духовную, и отправился в путь.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Борьба житейская

Отец убит, мать ослепла; сестра была еще слишком мала, чтобы зарабатывать себе на пропитание; дом сгорел; жатва погибла. Что оставалось делать со всем этим юноше, которому только что исполнилось шестнадцать лет?

Тотчас по приезде на родину он написал обо всем этом учителю, прося его совета. Мюллер находил, что для Жюстена лучше всего возвратиться в Париж, так как в столице легче найти заработок.

Кроме того, он и сам может здесь сделать для сирот гораздо больше.

Добряк учитель был беден, но одинок, а это своего рода богатство.

Он отдал Жюстену все, что накопил в течение десяти лет, и предложил ему поселиться в соседнем доме.

Жюстен даже и не думал отказаться от этой так искренне предложенной помощи и согласился.

Вот тогда-то и возвратился он в Париж и занял ту комнату в квартале Святого Жакоба, где его застали Жан-Робер и Сальватор. Убогий, мрачный вид ее не смутил юношу. Целый год бился он в поисках уроков. Его принимали довольно ласково, но, узнав, что этот

шестнадцатилетний мальчик воображает, что уже способен учить других, хохотали ему прямо в лицо.

Только на второй год своих исканий ему удалось добиться нескольких занятий по повторению с детьми уроков, заданных им в школе. Но того, что он получал за них, далеко не хватало на то, чтобы прокормить троих человек.

Все эти занятия вместе занимали у него только по три часа в день, и он стал размышлять, чем мог бы заняться кроме этого.

Между прочим, он узнал, что в одном женском пансионе нуждались в учителе музыки. Мюллер дал ему рекомендательное письмо, и он отправился к начальнице.

Его приняли с распростертыми объятиями.

Старик откровенно признавался в своем письме, что если ученику его предоставят это место, то ему самому окажут этим величайшую услугу, тем более, что молодой человек нуждается, — прибавлял он.

Начальница сообразила, что и сам Мюллер беден, а потому учителя можно будет нанять очень дешево. Она предложила Жюстену по двадцать франков в месяц.

Мюллер, который знал ему цену и гордился им, посоветовал ему отказаться. Но Жюстен был рад и этому и согласился. С двадцатью франками и с тем, что он получал за репетиции, можно было существовать, хотя и очень скромно, но материальная сторона жизни была все-таки обеспечена.

Происшедшее было так тяжело, что даже и этакая жизнь казалась сносной.

Однако ему становилось до тягости неловко всякий раз, когда кто-нибудь произносил имя добряка Мюллера. Ведь он должен был ему всю сумму его сбережений — целую тысячу франков, а для него это были огромные деньги, которых Жюстен не мог заработать даже за целый год. Необходимо было достать еще работы!

И он искал ее повсюду.

Мать была слепа, а сестра, хотя девочка и трудолюбивая, но слабая и почти всегда больная, следовательно, на их сотрудничество нечего было и рассчитывать.

Один торговец дровами на бульваре Монпарнас искал счетовода, который приходил бы к нему проверять дела два раза в неделю. Жюстен пошел к нему.

Одет он был хотя и опрятно, но чрезвычайно скромно. Его предшественнику торговец платил по пятьдесят франков, но тот был франт из предместья, который приходил только тогда, когда оставался без гроша или когда ему было больше нечего делать.

Жюстену торговец предложил всего двадцать пять франков, и он мог расплатиться с Мюллером все-таки не раньше, чем через четыре года.

Его греческие и латинские уроки, музыкальные классы и счетоводство занимали у него теперь по восемь часов в день. Таким обра-

зом, оставалось свободных четыре часа днем и двенадцать часов ночью.

Он снова принялся за поиски дополнительной работы. Ему казалось, что ради двух своих обязанностей — содержать мать и сестру и рассчитаться с Мюллером, — он способен на все на свете.

Невдалеке от дома, где он жил, была типография, в которой печаталась одна ежедневная газета. Корректору, славному веселому парню, вероятно, уже предчувствовавшему приближение 1830 года, наскучило десять лет подряд поправлять роялистские элегии своего патрона, служившего в важных чинах в министерстве, и он разорвал свои цепи, расправил крылья и в один прекрасный день улетел из своей душной клетки.

Издатель и типограф в один прекрасный вечер оказались в весьма затруднительном положении — держать корректуру было некому, а замедлить с выходом номера тоже нельзя. По счастью, кто-то сказал им, что неподалеку живет молодой человек, вполне способный на этот мучительный труд. Они отправились к Жюстену спросить, согласится ли он работать у них за корректора. Молодому человеку показалось, что он попал на землю обетованную.

До сих пор ему некогда было заниматься политикой, и он совершенно не знал ее. Из всей этой области ему был известен только неприятель, ворвавшийся во Францию, и казаки, которые сожгли его родное пепелище, выжгли глаза его матери, осиротили их с сестрой, и он ненавидел их всеми силами своей души.

Политических же убеждений у этого честного юноши не было или, вернее, у него было одно: содержать мать и сестру и расплатиться с Мюллером.

Оговорив условия, издатель предупредил его, что ему предстоит работать две трети ночи. Он согласился.

Когда его спросили о гонораре за труд, он добродушно ответил:

— Я этим никогда не занимался, вам лучше знать.

Таким образом в середине 1818 года он сделался корректором.

Ровно — день в день — через год, он уплатил Мюллеру тысячу франков.

В конце следующего года у него была тысяча франков экономии.

Какие чудные планы строил бедняк! Ему мечталось, что через четыре года у его сестры будет три тысячи приданого и тысяча четверста франков на свадьбу.

Но он сам? Что он такое? Ремесленник, работающая машина, не останавливающаяся с двух часов ночи до шести утра.

Вот именно про таких людей один святой человек сказал:

— Работать — значит молиться.

Но мечты Жюстена постигла судьба многих человеческих мечтаний. Они не сбылись. Жюстен серьезно заболел и восемь дней провел в борьбе между жизнью и смертью. Затем у него начался тиф, который продержал его в постели еще два месяца.

Русская пословица говорит, что беда никогда не приходит одна. Это верно и для французов, и для испанцев.

На заболевшего Жюстена посыпались несчастья. Его музыкальные классы перешли к модному пианисту, который в них вовсе не нуждался, но был в моде и приходил на урок только тогда, когда ему было нечего делать. Ведение книг перешло в руки какого-то денди. Роялистский листок обанкротился. Для несуществующего журнала корректор представлял совершенно излишнюю роскошь, а потому Жюстен потерял и эту работу, и за ним осталось одно репетиторство. Но, к несчастью, подошли каникулы, и ученики разъехались.

Единственным спасением несчастной семьи вновь оказался Мюллер. Ему отдали его тысячу франков, и теперь можно было опять занять ее у него.

Жюстен и отправился к нему, как только был в состоянии встать на ноги. Он шел, то пошатываясь, то придерживаясь за стены. Старик был в своей комнате и сидел на небольшом чемодане, который только что уложил и запер.

— А! Вот и ты, мой мальчик! — проговорил он. — Я очень рад, что тебе лучше!

— Да, да, мне лучше, дорогой учитель, и, как видите, я пришел к вам к первому.

— Спасибо, друг!.. А я только что собирался идти к тебе, проститься.

— Как? Разве вы уезжаете? — тревожно спросил Жюстен.

— Да, мой милый, — отправляюсь в путь далекий.

— Куда же это?

— Я никогда не говорил тебе об этом, а то ты не занял бы у меня тысячи франков.

— Боже мой! — прошептал Жюстен.

— Я ведь рассказывал тебе, что я родом из одного города с великим Вебером. Когда мы были детьми, то играли вместе, когда же выросли, то подружились, а когда я стал понимать его, то преклонился перед ним. Ну и вот, видишь ли, я дал себе клятву, что не умру без того, чтобы еще раз не взглянуть на великого творца “Фрейшютца” и “Оберона”. Ради этого я с усиленной экономией и трудом скопил тысячу франков — ты по опыту знаешь, что это не легко! Но зато ведь эта поездка будет венцом моей жизни! Я уж было и собирался ехать, да тебе понадобились деньги. “Что ж? — думаю. — Ведь мы с Вебером еще не такие старики, доживем до тех пор, как Жюстен отдаст мне деньги!”

— Милейший вы, добрый!

— Ну вот тогда я тебе их и отдал. Видел я, как ты старался мне их вернуть, видел, как ты был мучеником своей чести, и следовало бы мне сказать тебе: “Не работай ты так много, успеешь! Сильна молодость, да ведь и ее силам мера есть!” — Но я, старый эгоист, не сказал тебе этого... Прости меня!.. Правда, что очень тревожил меня и Вебер. Все говорили: “Вебер опасно болен, у него расстроена грудь, он долго не

протянет!" — Ну да и в музыке его слышались нотки души, готовой улететь в иной мир... И вот намучился ты, а все-таки отдал мне деньги... только признайся, ведь я никогда не напоминал тебе о них?

— О, дорогой учитель...

— Нет, нет! Ты мне это скажи! Мне это очень нужно! Только что ты их мне отдал, я и подумал: "Отлично! Это как раз к лету!" — Сам рассуди, что вышло бы, если бы Вебер умер? Но, слава Богу, он жив, и я еще успею обнять его! О, чудный, великий человек! Ведь я получил от него письмо. Он в Дрездене, пишет оперу для короля саксонского. Сегодня я уложился и взял билет до Страсбура, а вечером и отправлюсь. Вот хотел только сходить к тебе. Пойдем, позавтракаем вместе.

— Да ведь мне еще нельзя есть, да и аппетита нет! — едва владея собой, хрипло проговорил Жюстен.

— А, какая жалость, что ты не можешь поехать со мной! Неужели это невозможно?

— Решительно невозможно!

— Понимаю!.. Ведь у тебя уроки музыки, репетиторство, двойная бухгалтерия, корректура... Ты мог бы потерять все это.

— Да, — вздохнул Жюстен.

Мюллер был так весел, что не заметил этого вздоха.

А между тем этот вздох был даже грустнее "Последней мысли" Вебера — в нем сказывалась утрата последней надежды.

Жюстену стоило только сказать: "Мне нужна ваша тысяча франков, чтобы выздороветь, чтобы кормить мать и сестру. Вы можете и позднее увидеться с Вебером, а теперь останьтесь, добрый учитель, останьтесь!"

И Мюллер, может быть, и вздохнул бы так же горько, как и Жюстен, но, наверно, не отказал бы ему. Но Жюстен даже и не подумал ни о чем подобном, обнял старика со слезами на глазах, вернулся домой и в изнеможении бросился на свою постель.

В тот же день в пять часов вечера старый Мюллер уехал в Дрезден. Это было полным крахом.

Несмотря на все еще продолжавшуюся слабость, Жюстен стал хлопотать о возвращении своих прежних уроков и о появлении новых. Но большинство родителей отделялось от него человеколюбивым ответом:

— У вас здоровье слишком слабое.

Наконец, выбившись из сил и почти утратя всякую надежду, молодой человек решил открыть частную школу, тем более, что детей в этом бедном околотке было много, а учебных заведений мало.

Первым, кто отдал к нему сына, был один ремесленник. Сосед его, поденщик, не могший присматривать за своим мальчиком, отвел его в школу, скорее, чтобы отделаться от него, чем ради науки, третий привел к Жюстену двух семилетних близнецов.

Через шесть месяцев у него в учении было восемь славных белокурых и краснощеких мальчуганов, но ему приходилось проводить с ними

целый день, а все они вместе доставляли ему всего сорок франков в месяц.

В бедных кварталах несчастные школьные учителя и теперь получают такую же плату.

Наконец, через два года, в июне 1820 года у Жюстена было уже восемнадцать учеников. Он получал за них девяносто франков и жил на них с матерью и сестрой, но слово “жить” часто перефразируется словами “не умирать с голоду”.

Мюллер побывал в Дрездене, виделся с Вебером, провел с ним целый месяц и, возвратясь, сказал Жюстену:

— Я издержал мою тысячу франков до последнего сантима, но, клянусь виолончелью, я не жалею их.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Домашняя жизнь школьного учителя

В доме, в котором жил Жюстен, было всего два этажа. На втором этаже располагались две комнаты и кухня. Там жили мать и сестра Жюстена.

Этот флигель стоял в глубине двора, соприкасаясь с другими домами лишь фасадом, и был построен, вероятно, для смотрителя фабрики, развалины которой еще виднелись неподалеку.

И вот в этом-то темном углу с трудом и лишенные всего на свете прозябали мать, дочь и сын.

Слепая мать проводила большую часть времени в первой комнате, куда сходились по вечерам и дети. Ужасное положение свое она переносила с терпением, на какое способны только люди глубоко религиозные. Она никогда не жаловалась и держала себя с достоинством древней матроны. Спартанцы превознесли бы ее до божеского достоинства, а римский сенат издал бы указ, по которому каждый должен был бы снимать перед ней шляпу, как перед старшей жрицей великой богини.

Но французское общество относилось к ней с жестокостью палача. О! Это общество достойно строгого суда, и каждый вправе произнести над ним слово осуждения. Больше чем вероятно, что и мы в этом случае потерпим такое же поражение, какое потерпел Иаков в борьбе с ангелом, но, когда мы предстанем на суд Божий и Бог спросит нас: “Что вы делали?” — мы ответим ему: “Победить было невозможно, но мы боролись!”

Дочь была слабым, худеньким существом, как полевой ландыш, пересаженный в темный и холодный погреб. Она унаследовала некоторые из добродетелей матери, но ей было далеко до материнской силы самоотречения.

Она страдала аневризмом, который мог разрешиться при сильном волнении внезапной смертью, и, как бы предчувствуя близость

могилы, иногда не выдерживала и роптала. Резких и горьких слов она не произносила никогда, потому что была воспитана в строго христианских правилах, но по временам в душе ее скапливалось столько горя и боли, что мать, следившая за ней с прозорливостью любящего сердца, замечала это и страдала и за нее.

Жюстен, с утра до ночи занятый со своими учениками, мог заходить к родным днем лишь изредка, да и то только тогда, когда приходил старик Мюллер и заменял его в классной комнате.

Летом школа открывалась в восемь часов утра и запиралась в шесть вечера, а зимой дети собирались в девять часов утра и расходились в пять вечера.

Почти все это были дети ремесленников квартала, которые не сегодня-завтра должны были приняться за ремесло отцов, а следовательно, и не нуждались в знании латинского и греческого языков.

Но двое из них были сыновьями разбогатевшего механика, который хотел отдать одного в политехническую школу, другого в школу ремесел и искусств.

В двенадцать лет им предстояло поступить в колледж, так что старшему приходилось оставаться у Жюстена два года, а младшему три. Жюстен заметил в них необыкновенные способности и, как истинный непризнанный Прометей, заронил и в них искру того священного огня, который воспитал в нем старый Мюллер.

За исключением этих двух мальчиков, все остальные не хотели учиться, да и родители их не заботились о том, чтобы их чему-нибудь выучивали, кроме чтения, письма да четырех правил арифметики.

Вследствие таких скромных требований клиентов сложилось так, что мать и сестра Жюстена могли помогать ему в трудах преподавания.

Когда сестра бывала здорова, она сходила вниз и, пока брат уходил поболтать с матерью, заставляла детей читать или учила их счету, выводя цифры мелом на большой классной доске.

Мать же каждый день забирала добрую треть класса в свою комнату. Восемь младших учеников усаживались на полу вокруг ее соломенного кресла, и она учила их молитвам или рассказывала волнующие эпизоды Ветхого Завета.

Трогательно было видеть эти белокурые головки перед величавой слепой фигурой матроны.

Когда они, стоя на коленях, в один голос произносили молитвы, казалось, что они и собрались сюда только затем, чтобы единодушно молить Бога, чтобы он возвратил ей зрение.

Так скучно и однообразно тянулась жизнь скромной и честной семьи до июня 1821 года.

За исключением посещений старика Мюллера, который часто приходил посидеть с ними на несколько часов, ничто не прерывало этого монотонного существования.

Изредка летом они отправлялись на прогулку, но ходили обыкновенно только в сторону Монружа.

Леса Версаля, Медона, Монморанси пришлось заменить вытоптан-ными окраинами канав, потому что слепая мать и слабая сестра не могли предпринимать длинных прогулок, которые когда-то составляли для сорокапятилетнего учителя и двенадцатилетнего ученика невинную отраду.

Да и Монруж представлял для них путь слишком дальний, так что до него доходили редко и по большей части останавливались на половине или на одной трети пути, садились у дороги и несколько часов грелись на солнце.

Зимой же все собирались вокруг маленькой изразцовой печки, в которой бережно сжигали два-три полена, и вечер заканчивался в девять часов.

В доме был и камин, но его не топили, потому что в нем сразу пришлось бы сжечь столько дров, сколько у них выходило в неделю.

Чтобы прекратить тягу из этой громадной трубы, которая охлаждала всю квартиру, ее заколотили.

Если старый Мюллер приходил незадолго до девяти, непременно предлагали подбросить в печку еще поленце, но он тоже непременно отказывался, говоря, что ему и без того жарко от ходьбы. После этого все снова усаживались потеснее у потухающей печки.

Старый добряк, спеша замаять неприятную мысль о лишениях, начинал рассказывать какую-нибудь смешную историю, как это делала вдова Скаррон, чтобы заставить забыть об отсутствии жаркого, и его веселость согревала слушателей, как благотворный луч солнца.

И действительно, веселость можно сравнить с солнцем, которое светит и зимой и для бедных, и для несчастных.

За последние два года Жюстен особенно много занимался музыкой и вполне оценил ее благотворное влияние.

Как только часы на башне церкви Сен-Жак били девять, а Мюллер все еще не приходил, молодой человек целовал мать и сестру и шел к себе вниз.

В своей комнате он зажигал свечу, несколько минут просматривал старую тетрадь нот, вынимал из футляра виолончель, тщательно обтирал ее и сжимал в руках как старого друга.

Да разве инструмент для мастера не истинный друг? А виолончель Жюстена божественно могучим голосом в какие-нибудь два вечерних часа воспевала всю его скорбь, усталость и лучшие мечты. Эти часы были отдыхом его сердца, а виолончель его двойником, который выслушивал все движения души и пересказывал их в возвышенной и облагороженной форме.

Несмотря на молодость, у Жюстена не было никого, кроме слепой матери, больной сестры и старого учителя, а молодость требует откровенных излияний, и он сделал другом и поверенным свою виолончель.

В эти вечерние часы он черпал в музыке новый запас сил, которые растрчивал за день. Но настало время, когда и этот художественный

и поэтический отдых уже не мог удовлетворить его. Жюстен затосковал. Мюллер тотчас же заметил это и всячески старался развлечь его.

— Ты раньше времени состаришься, — говорил он юноше, — тебе необходимо выходить, бывать в обществе, и уж если ты не можешь принимать участия в его жизни, то нужно хоть видеть ее. Вот скоро наступят каникулы, нужно нам с тобой куда-нибудь проехаться. Ты так и знай: пятнадцатого августа я явлюсь за тобой, и мы отправимся.

И действительно, бедный школьный учитель начинал вянуть в лучшие годы человеческой жизни. Лицо у него было бледное, бесцветное, глаза мутные, щеки ввалились, на лбу появились морщины, кожа пожелтела, как пергамент, в который были переплетены его старые книги. На вид ему можно было дать лет тридцать, тогда как, в сущности, ему едва минуло двадцать. Но жизнь, которую он вел, должна была его состарить. Люди, с которыми он проводил время, комната, в которой жил, его собственное лицо, походка, наконец, все существо его носили на себе отпечаток окружавшей их обстановки, ее бедности и тесноты.

Можно сказать почти наверняка, что он не вынес бы этого больше, если бы его не потрясло новое несчастье, снова вызвавшее его к жизни.

Есть в жизни горести, которые исцеляют одна от другой.

Жюстен зарабатывал тысячу восемьдесят франков в год. Это гарантировало его от крайней нужды, но о том, чтобы отложить что-нибудь на черный день, нечего было и думать.

— Если не можешь принимать участия в жизни общества, то нужно хоть видеть ее, — говорил старый Мюллер.

Сказать это было гораздо легче, чем исполнить. Разве можно было являться в общество в одежде, которая уже четыре года, зиму и лето не сходила с плеч вечно работающего человека?

Да и все в доме так же нуждалось в обновлении, как костюм Жюстена.

Сестра только и делала, что чинила белье. Простыни матери представляли из себя какое-то чудо штопального искусства; носки Жюстена состояли, скорее, из штопок, чем из чулочной ткани. Семья давно уже решила покупать вещи только в случае крайней необходимости; но мало-помалу дошло до того, что вещи, которые они не хотели менять, сами изменяли им.

Жюстену оказывалось необходимым найти новый заработок, и притом делать это безотлагательно, так как близко было то время, когда платье обратится в совершеннейшие лохмотья, а люди в таком виде не внушают доверия. А ждать того, чтобы занятия нашлись сами собой, значило ждать слишком долго.

И Жюстен снова начал погоню за работой. Во многих местах его не принимали вовсе, в других отвечали отказом. Вся семья стала прогуливаться вечером, когда стемнеет, потому что выходить днем в своих изношенных платьях было совестно.

Однажды вечером Жюстен ходил взад и вперед неподалеку от

заставы Мен, поджидая старого Мюллера, с которым хотел навестить одну даму, нуждавшуюся в репетиторе для сына.

Проходя мимо одного из людных кабаков, он услышал перебранку между контрабасистом и вторым скрипачом.

Жюстен почти не обратил на это внимания, но вдруг до него долетели следующие слова:

— После этого, клянусь вам, мсье Дюрюфле, что ноги моей не будет в том доме, где бываете вы. А в доказательство моих слов я уйду сейчас же и отсюда!

И действительно, несколько минут спустя контрабасист вышел, размахивая смычком, как будто он был мечом огненным.

— О! — вскричал Жюстен и ударил себя рукой по лбу. У него блеснула в голове счастливая мысль.

В тот же миг в конце улицы появилась фигура старого Мюллера.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Музыкант

Жюстен дожидался своего учителя, не делая навстречу ни шагу; он точно боялся, что если сойдет со своего места, то упустит счастливый случай.

Когда к нему подошел Мюллер, он рассказал ему все, что слышал и что задумал.

— А! — проговорил старик: — Это хорошо, значит, тут есть место.

Затем он подумал, что как кабак ни гадок, но занятия в нем разнообразят губительное однообразие жизни Жюстена. Кроме того, и заработок был бы большим подспорьем для несчастной семьи.

— Но примут ли тебя там? — опасливо спросил он.

— Надеюсь! — скромно ответил Жюстен.

— Да, да, и я тоже думаю, — поспешил ободрить его Мюллер, — а уж если не примут, то, значит, они тут дьявольски требовательны!

— Так я пойду, спрошу.

— Да, да, иди, и я схожу с тобой.

Жюстен вошел в кабак.

Само собой разумеется, что появление в таком месте молодого человека с серьезным и бледным лицом и почтенного старца, скромно одетых во все черное, произвело на кутящую толпу сильное впечатление.

Мужчины указывали на них пальцами, женщины громко хохотали.

Мюллер и Жюстен не обратили на этот хохот внимания или сделали вид, что не замечают.

Подойдя к одному из гарсонов, они сказали ему, что желают переговорить с хозяином заведения.

Толстый трактирщик, круглый, как Силен, и красный, как вино,

которое он подавал своим посетителям, тотчас же предупредительно подошел к ним, вероятно, рассчитывая на какой-нибудь доходный заказ.

Старик и юноша застенчиво высказали ему свое предложение.

И сердце развитого человека, талантливого музыканта, сына, трудом содержавшего мать и сестру, словом, одного из лучших граждан, мучительно билось от страха в ожидании ответа содержателя увеселительного заведения!

Но ведь с получением этого места для Жюстена была связана надежда на приобретение приличной пары платья для себя и удобной одежды для сестры и матери.

О, смейтесь, смейтесь, вы, которым никогда не приходилось бояться холода и голода ни за себя, ни за дорогих существ! Но для меня, который сам долго боролся с нуждой и на сто франков в месяц содержал мать, сына и себя, — смеяться над такими вещами было бы святотатством.

В ответ на предложение Жюстена хозяин сказал, что это его не касается, а вполне зависит от капельмейстера оркестра.

Впрочем, он прибавил, что готов сам переговорить с ним и, вернувшись минут через пять, объявил Жюстену, что если он окажется действительно способным занять место контрабаса в оркестре, то может приняться за дело сейчас же с платой по три франка за вечер.

В этом увеселительном заведении устраивалось три бала еженедельно, следовательно Жюстену предстояло получать тридцать шесть франков в месяц — именно то, что ему приносили его первые восемь учеников. Это показалось ему целым Перу (нам сказали бы: целой Калифорнией), и он тотчас же согласился, сказав только, что сейчас сходит домой за инструментом.

Но хозяин возразил, что этого вовсе не нужно. Капельмейстер предвидел уход контрабасиста и заранее приготовил контрабас, на котором, в крайнем случае, мог играть второй скрипач. Таким образом, все устраивалось как нельзя лучше, точно в мире Панглосса.

Жюстен был в душе чрезвычайно рад, что его благородная виолончель будет избавлена от этого испытания.

Он хотел уже проститься с Мюллером, но старик объявил, что хочет присутствовать на дебюте своего ученика и уйдет только по окончании бала.

Картина, которую представлял из себя этот оркестр, состоявший из восьми музыкантов, игравших адские кадрили, воодушевлявшие триста или четыреста танцующих пар, была поистине достойна кисти художника.

Бледное, серьезное лицо Жюстена напоминало между ними музыканта-мученика, играющего с веревкой на шее для увеселения толпы дикарей. Сверху голову его заливал свет, и она поражала своей выразительностью. Хорош собой Жюстен не был, но всякий, глядя на него, невольно сознавал, что его портило именно это страдальческое

выражение и что если бы оно сменилось радостью и счастьем, если бы на губах этого труженика-страдальца заиграла улыбка, все существо его преобразилось бы истинно ангельским и исполненным достоинства характером.

Держа контрабас, который был вдвое выше его, с белокурыми волосами, мягко сбежавшими ему на лоб и плечи, с голубыми влажными глазами и выражением грусти во всем существе своем, он имел какое-то неотразимое обаяние, внушавшее участие каждому, кто его видел.

Он напоминал вдохновенного Листа в молодости.

После первой же кадрили капельмейстер убогого оркестра обратился к нему с очень лестным отзывом, а товарищи-музыканты принялись аплодировать.

Старик Мюллер не помнил себя от радости. Он тоже хлопал в ладоши и плакал от умиления.

Успех всегда остается успехом, в каком бы месте он ни достигался.

В одиннадцать часов Жюстен спросил, до какого времени обыкновенно продолжаются балы.

— Иногда часов до двух утра, — ответили ему.

Он оглянулся, отыскал глазами Мюллера и сделал ему знак подойти.

Старик подошел, и Жюстен попросил его сходить к ним домой и предупредить мать, чтобы она о нем не тревожилась, так как до сих пор он никогда еще не возвращался домой позднее десяти.

Мюллер отнесся к его заботе с полнейшим уважением и тотчас же пошел к мадам Корби. Он застал слепую матрону и ее дочь за молитвой.

— Ну вот, добродетельная мать и святая дочь, ваша молитва и исполнена, — проговорил он, входя. — Жюстен нашел место в тридцать шесть франков в месяц.

Обе женщины радостно вскрикнули. Старик обстоятельно рассказал им все, что произошло. Мать и дочь с истинно женской тонкостью чутья поняли всю цену жертвы, которую приносил им Жюстен.

— Добрый, милый Жюстен! — повторяли они, и в словах этих было столько нежности, что она даже граничила с жалостью.

— Да вы его не жалейте, — утешал их Мюллер, — он там настоящий триумфатор! Просто великолепен! Он мне напомнил Вебера во времена его молодости.

После такой похвалы Мюллер не мог уже сказать ничего лучшего и, простившись с женщинами, вернулся в увеселительное заведение.

Вышли они оттуда с Жюстеном ровно в два часа ночи. Калитка во двор была отперта, о чем позаботилась сестра Жюстена. К концу месяца он сыграл в оркестре двенадцать раз и получил тридцать шесть франков.

На эти деньги можно было купить, по крайней мере, предметы первой необходимости.

Из всего этого достаточно видно, насколько честен и нежен был Жюстен, так что для полноты изображения его остается только прибавить еще несколько штрихов.

Вообще очертить этот характер нетрудно. Весь он выказывался в главе, которую Жан-Робер назвал "Покорностью providению".

Мы же скажем, что, если бы эта, хотя несколько и отрицательная, добродетель вздумала спуститься на землю и принять осязательные формы, она едва ли нашла бы более подходящее олицетворение, чем личность Жюстена.

И вот проследить, что стало с этим сердцем под влиянием горя и радости, и составляет одну из задач нашего обширного труда.

Устоит оно или разобьется?

То что мы передаем здесь, не рассказ о нескольких приключениях нескольких лиц, а правдивая история человеческого сердца, всегда заключающая в себе много назидательного, а потому уже стоящая труда и внимания.

Итак, перед нами человек, совершенно чистый и девственный. До сих пор он жил, как птица небесная, отыскивая в полях и долинах зерна и крохи, которые заботливо относил в свое гнездо. До сих пор единственную заботу его составляло удовлетворение материальных потребностей жизни. Непомерным трудом и подчас ценой собственной крови ему удалось доставить своей несчастной семье если не благосостояние, то хотя бы возможность существовать.

Но что же сделал он за это время для самого себя?

Ничего!

Будь он один на свете, он, разумеется, сумел бы найти средства продолжать свое образование, достиг бы звания бакалавра, может быть, даже доктора, а теперь вместо профессорской кафедры, он жил в чем-то вроде каземата, по рукам и по ногам скованный чувством сыновнего долга.

Разумеется, никто из нас, воспитанных матерью и наслаждавшихся ее ласками, не стал бы тяготиться своими обязанностями по отношению к сестре.

Но, если случайно пострадавшая семья, не находя поддержки в обществе, падает всей тяжестью своего существования на одного из своих членов и хоть невольно, но душит его, к этому человеку поневоле относишься с сожалением.

Все несчастья Жюстена проистекали из-за его семьи, но для его прекрасного сердца не было мысли ужаснее, чем мысль о возможности потерять ее. Следовательно, положение оказывалось безысходным.

Да Жюстен и не хотел менять его. Ему хотелось жить завтра, как он прожил вчера. Он посвятил матери и сестре отрочество, юность и молодость, хотел посвятить им же и весь остаток жизни.

Но ведь когда-нибудь должно же было настать для него время, когда заговорит сердце, когда молодая любимая женщина внесет в мрачную пустыню его существования все чары, радости и наслаждения жизни?

Да, но где было взяться этой женщине? Он не мог купить себе Рахиль у Лавана даже ценой десятилетнего труда. У него не было даже знакомых. А для того, чтобы жениться, еще недостаточно смотреть сквозь окошко на существа, называемые молодыми девушками.

Да и, кроме того, разве честный дощепетильности Жюстен посмел бы когда-нибудь жениться? Он знал, что брак связывает не только руки, но и душу. А разве его душа и его руки принадлежали ему самому? Разве он имел возможность привести к очагу матери постороннюю женщину? Ведь ту нежность, которую он мог бы посвятить жене, пришлось бы отнять у матери и у сестры.

Вот как обстояли его сердечные дела.

А в смысле заработка и издержек положение было еще сложнее. Молодая женщина с ее естественными потребностями жить, есть, пить, одеваться и веселиться еще больше отяготила бы бюджет этой бедной семьи.

Итак, брак был не его уделом. Ему суждено было жить в вечном самоотречении. Жюстен так и жил.

Умереть от непосильного труда? Он был готов и на это. Оставалось еще ждать неожиданного чуда от милости Божьей.

Но Господь до сих пор не баловал эту несчастную семью, и она была вправе без богохульства сомневаться в существовании таких чудес. Но, тем не менее, только рука провидения могла извлечь Жюстена из окружавшей его безысходной пропасти.

В один прекрасный июньский день он возвращался со стариком Мюллером с прогулки по Монружской долине и вдруг увидел во ржи девочку лет девяти. Вокруг нее были разбросаны васильки и колокольчики, а сама она крепко спала.

В образе этого ребенка Господь послал одного из своих ангелов для спасения Жюстена.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ Ниспосланная Богом

Ученик и учитель с удивлением остановились, отыскивая глазами кого-нибудь из старших, с кем могла прийти сюда эта девочка. На ней было белое платье, перехваченное на поясе голубой лентой. Белокурая головка сладко покоилась на блестящих побегах отогнувшейся ржи, а опустившиеся над ней колосья и головки васильков образовали легкий, подвижный свод, так что она была похожа на голубку в гнезде.

Маленькие ножки, обутые в голубые башмачки, свесились на край канавы и висели так бессильно, что было ясно: она заснула, потому что очень устала. Она казалась ангелом жатвы, случайно заснувшим, пока он осматривал поле.

Жюстен и Мюллер пришли от нее в восторг и готовы были просто-

ять над ней всю ночь, но мысль, что становится уже сыро, и что о ней кто-нибудь мучительно тревожится, заставила их отказаться от этого художественного наслаждения.

Но кто же была ее мать, если могла оставить такого нежного ребенка одного в поле и притом чуть ли не ночью? По ее положению и дыханию следовало, что спит она уже давно.

Мюллер и Жюстен, всегда останавливавшиеся во время своих прогулок при каждом оживленном споре, остановились и теперь и принялись рассуждать о весьма интересном вопросе: всегда ли красота внешняя соответствует и красоте нравственной?

Разговор этот тянулся около четверти часа, но за девочкой все-таки никто не приходил. Где же была ее мать?.. Уж не отдыхали ли ее родители тоже где-нибудь во ржи? Башмаки на девочке были так запылены, что не оставляли сомнения в том, что она пришла очень издалека.

Жюстен и Мюллер опять огляделись, потому что были уверены, что мать не может далеко уйти от своего ребенка. Но и на этот раз поблизости не оказывалось никого.

Они переглянулись и как бы по общему молчаливому уговору осторожно вошли в рожь, стараясь не разбудить ребенка.

Исходив поле вдоль и поперек, обойдя его кругом, как охотники за дичью, они все-таки не нашли никого. Оставалось только разбудить девочку и расспросить.

Она проснулась и с удивлением окинула их взглядом больших прекрасных синих глаз. Но во взгляде этом не было и тени страха.

— Что ты тут делаешь, дитя? — спросил Мюллер.

— Отдыхаю, — ответила она.

— Как — отдыхаешь? — с удивлением переспросил Жюстен.

— Так. Я очень устала... не могла больше идти, прилегла вот здесь да и заснула.

Странно, ребенок проснулся, увидел чужих и не стал звать матери.

— Так ты очень устала? — с участием спросил старик.

— Да, сударь, очень! — подтвердила она, встряхивая головой, чтобы оправить свои кудри.

— Значит, ты издалека?

— Очень издалека.

— А где же твои родители?

— Родители? — спросила она, приподнимаясь и глядя на них с таким удивлением, будто ее спросили о чем-то, ей совершенно неизвестном.

— Да, родители? — повторил Жюстен ласково.

— У меня родителей нет, — сказала девочка так же просто, как если бы сказала: я не знаю, о чем это вы спрашиваете!

Друзья печально переглянулись.

— Да как же это может быть, чтобы у тебя родителей не было? — настаивал Мюллер. — Где же твой отец?

- У меня отца нет.
- Ну а мать?
- И матери тоже нет.
- Так у кого же ты жила?
- А у кормилицы.
- Где же она?
- В земле.

С этими словами девочка горько, но тихо заплакала.

У Жюстена и Мюллера тоже навернулись на глаза слезы.

Девочка стояла, как бы ожидая дальнейших вопросов.

— Как же ты попала сюда совсем одна? — продолжал Мюллер.

Она вытерла слезы руками и несколько успокоилась.

— Я иду с нашей стороны, — ответила она все еще дрожащим голосом.

— Это откуда же?

— Из Буйи.

— Это возле Руана? — спросил Жюстен так радостно, будто встретил землячку.

Она действительно была истинным цветком с полей Бретани: беленькая и розовенькая, как молоденькая яблонька в цвету.

— Кто же привел тебя сюда?

— Я сама пришла.

— Пешком?

— Нет. До Парижа ехала в дилижансе.

— То есть, как это — до Парижа?

— Ну да, до Парижа, а оттуда сюда, пешком.

— Куда же ты шла?

— В квартал Святого Жакоба.

— А зачем тебе туда?

— Наш кюре велел мне отнести письмо к брату моей покойной кормилицы.

— Наверное, чтобы он взял тебя к себе?

— Да, сударь.

— А сюда-то ты как попала?

— Там пассажиры говорили, что дилижанс опоздал и они заночевали в предместье, а я увидела заставу и подумала, что за ней поля, что там хорошо, и пошла, да и зашла сюда.

— Значит, ты хотела переночевать здесь, а утром отнести письмо?

— Да, сударь. Только спать-то я не собиралась, думала, так просижу... да перед этим я в дороге две ночи не спала и очень устала. Присела — вижу, и лечь ужасно хочется, а только что легла, так сейчас и заснула.

— Разве ты не боишься в поле ночью, одна?

— Да что ж тут бояться? — спросила девочка с уверенностью, свойственной детям и слепым, не видящим угрожающей опасности.

— А сырости и холода ты не боишься? — спросил Мюллер, удивляясь простоте и прямоте ее ответов.

— Чего же их бояться? Ведь ночуют же птицы и звери в поле и в лесу.

Эта душевная чистота и такое полнейшее одиночество ребенка глубоко взволновали обоих друзей.

Казалось, сам Бог поставил эту девочку на пути Жюстена, чтобы показать ему, что под звездным сводом неба есть существа еще более одинокие, чем он.

Словно по молчаливому уговору, оба в один голос предложили девочке взять ее с собой.

Но она вдруг отказалась.

— Покорно вас благодарю, господа, — сказала она, — ведь мое письмо не к вам писано.

— Это все равно! — сказал Жюстен, — пойдемте к нам только переночевать, а завтра, как только захотите, так и пойдете к брату своей кормилицы.

Говоря это, он подал ей руку, чтобы помочь перепрыгнуть через канаву.

Но девочка опять отказалась и, поглядывая на луну, сказала:

— Часа через три рассветет. Не стоит вам из-за меня и беспокоиться.

— Уверяю вас, что вы нас ничуть не обеспокоите! — вскричал Жюстен, по-прежнему предлагая ей руку.

— Да и подумай только, — подхватил Мюллер, — ведь если здесь проедут жандармы, они непременно арестуют тебя!

— Да за что ж им арестовать-то меня? — возразила девочка с непрекращаемой логикой ребенка, которая часто озадачивает самых искусных юрисконсультов. — Я ведь никому ничего худого не сделала.

— Вас арестуют потому, что если найдут в поле одну, то подумают, что вы бродяга, — сказал Жюстен, — пойдемте лучше с нами!

Услыша слово "бродяга", девочка сама, без посторонней помощи, перескочила через канаву и с испуганным видом молящим голосом пролепетала:

— Возьмите, возьмите меня с собой, добрые господа!

— Разумеется, возьмем, — поспешил ее успокоить Мюллер.

— Вот и прекрасно! — обрадовался Жюстен. — А я отведу вас к моей матери и сестре. Они все очень добрые... накормят вас, обогреют, умоют и уложат спать. Вы, наверное, давно уже ничего не ели?

— Да, с утра ничего.

— Ах ты, бедная девочка! — с ужасом и сочувствием вскричал старик, который с математической точностью ел по четыре раза в день.

Девочка не поняла этого восклицания, в котором слышался и эгоизм и сострадание. Ей показалось, что Мюллер обвинял кюре за то, что он посадил ее в дилижанс и не позаботился о ее пропитании, и она тотчас поспешила оправдать его.

— В этом я сама виновата, — проговорила она. — У меня были, и хлеб, и вишни, только скучно было и есть не хотелось! Вот, посмотрите, — продолжала она, доставая из гуши колосьев корзинку с несколькими помятыми вишнями и ломтем зачерствелого хлеба, — вот у меня и провизия есть.

— Вы так устали, что дальше идти, верно, не можете, — сказал Жюстен. — Хотите я вас понесу.

— Ах нет, не надо! — вскричала девочка. — Мне все нипочем, я и милю могу еще пройти.

Но друзья не поверили этому, переплели руки, посадили ее на них и, неся ее на этих живых носилках, двинулись к заставе, которая виднелась всего шагах в трехстах от того места, где они нашли девочку. Она по-прежнему была в своем венке из васильков.

По всей вероятности, она сохраняла его инстинктивно, как последнее воспоминание о первых часах одиночества, которое пережила на земле. Так, по крайней мере, думал Жюстен.

Выглядела она в этом венке поистине прелестно! Черные сюртуки Жюстена и Мюллера представляли чрезвычайно эффектный фон для ее белого платья и ангельского личика. В особенности лоб ее, освещенный луной, казался челом небесного существа.

Она сидела, точно юная друидская жрица, которую торжественно несли к священному лесу.

На время смолкший разговор завязался сызнова. Жюстену чрезвычайно нравились звуки чистого голоса этой девочки.

— А чем занимается брат вашей кормилицы? — спросил он.

— Он колесник, — ответила она.

— Колесник? — переспросил Жюстен таким тоном, будто предвидел какое-то несчастье.

— Да, в квартале Святого Жакоба.

— Я знаю там только одного, в доме № 111.

— Вот это, кажется, он и есть.

Жюстен замолчал. Около года тому назад заведение колесника в доме № 111 внезапно закрылось, а вскоре на этом месте появился слесарь. Но Жюстену не хотелось огорчать девочку раньше, чем она сама не разузнает все как есть.

— Ах да, да, да! — говорила между тем девочка. — Теперь я точно вспомнила! Это он самый и есть. Я несколько раз перечитывала адрес. Мне даже говорили, чтобы я выучила наизусть, на случай, что потеряю письмо.

— Значит, вы помните имя того, кому оно было адресовано?

— Конечно, помню!.. Господину Дюрье... так и на конверте написано.

Друзья опять переглянулись, но промолчали.

Девочка подумала, что они сомневаются в ее словах и гордо прибавила:

— Я ведь уж давно умею читать!

— Я в этом и не сомневаюсь! — очень серьезно объявил Мюллер.

— А что же вы собирались делать у брата вашей кормилицы? — спросил Жюстен.

— Что же, как не работать?

— А что вы умеете делать?

— Да что скажут. Я ведь уже много чего умею.

— Что же, например?

— Шить, гладить, стирать, вышивать, штопать, отделявать чепчики, плести кружева.

Чем больше они ее расспрашивали, тем больше она им нравилась.

Скоро они знали уже всю ее историю.

В одну из ночей 1812 года в Буйи въехала карета и остановилась у одного из уединенных домов на конце деревни.

Из нее вышел человек со свертком весьма неопределенной формы.

Подойдя к двери уединенного домика, он достал из кармана ключ, отомкнул ее, пробрался впотьмах в комнату, положил сверток на постель, а какое-то письмо и кошелек на стол, снова вышел, запер дверь, сел в карету, и она покатилась дальше.

Час спустя одна женщина, возвращавшаяся с рынка в Руане, остановилась перед дверью того же самого дома, тоже достала ключ и тоже отомкнула дверь. К ее великому удивлению, изнутри комнаты послышался крик ребенка.

Она поспешно зажгла лампу и увидела, что на постели с плачем барахтается что-то белое.

Это нечто оказалось маленькой девочкой.

Женщина оглянулась вокруг с еще большим удивлением и увидела на столе письмо и кошелек.

Она распечатала письмо, прочла следующее:

“Мадам Буавен, Вас все знают за добрую и честную женщину, и эта почтенная репутация Ваша побуждает отца, готовящегося покинуть Францию, поручить Вам воспитание своей дочери.

В прилагаемом кошельке Вы найдете тысячу двести франков. Это плата за первый год содержания девочки.

Начиная с 18 октября будущего года, через посредство кюре деревни Буйи, Вы станете получать по сто франков ежемесячно.

Эти сто франков будут доставляться Вам через один из банкирских домов в Руане, и сам кюре, который получит их там, не будет знать, от кого они.

Дайте этому ребенку самое лучшее воспитание, какое сумеете, а в особенности постарайтесь сделать из девочки хорошую хозяйку. Одному Богу известно, каким испытаниям придется ей подвергнуться.

Крещена она именем Мины и никогда не должна называться иначе, как я сам называл ее.

28 октября 1812 года”.

Чтобы хорошенько понять смысл этого несложного письма, ма-

дам Буавен прочла его трижды. Потом, разобрав, в чем дело, положила его в карман, взяла кошелек и ребенка и пошла к кюре посоветоваться.

Ответ священника можно было предвидеть. Он сказал ей, что она обязана принять ребенка, которого ей так неожиданно посылает Господь, и всю жизнь заботиться о том, чтобы дать ему самое лучшее воспитание.

Мадам Буавен возвратилась домой с ребенком, письмом и кошельком.

Ребенка она положила в чистенькую колыбельку своего сына, который умер десять лет назад, письмо спрятала в портфель, в котором хранился послужной список ее мужа, сержанта старой гвардии, участвовавшего теперь в походе в Россию, а тысячу двести франков положила в тайник, где хранила все свои сокровища.

О сержанте Буавене не было ни слуху ни духу.

Жене его никогда не удалось узнать, был ли он убит, попал ли в плен или погиб от мороза.

В течение семи лет плата за девочку получалась исправно, но затем она вдруг прекратилась, что не помешало доброй женщине любить Мину по-прежнему, потому что она привязалась к ней, как к родной дочери.

За восемь дней до того, как Мюллер с Жюстеном обнаружили Мину, мадам Буавен скончалась, а перед смертью просила кюре отправить девочку к своему брату, колеснику, с которым не виделась очень давно, но за честность которого могла поручиться.

Брата этого звали Дюрье, и жил он в нижнем этаже дома № 111, в квартале Святого Жакоба.

Все это девочка рассказала своим покровителям прежде, чем они успели дойти до квартиры Жюстена.

Если молодой человек иногда опаздывал вернуться домой, то его всегда дожидалась сестра.

В этот раз Селеста, по обыкновению, ждала его, не ложась спать.

При звуке его шагов, она отперла дверь и услышала, что он окликнул ее по имени.

Она побежала к нему, и первой, кого она увидела, была Мина.

Ее так поразила красота девочки, что она принялась целовать ее, даже не спрашивая, откуда она взялась.

Потом она подхватила ее на руки и понесла в комнату матери.

Несчастная слепая не могла рассмотреть ребенка, но, как и все слепые, отличалась поразительной тонкостью осязания. Проведя рукой по лицу сиротки, она поняла, что та рождена красавицей.

Вскоре к старушке вошли и мужчины и рассказали ей всю печальную историю Мины. Селесте тоже очень хотелось послушать их рассказ, но брат указал ей на девочку, которая совсем засыпала, и ей пришлось пойти в свою комнату и как можно скорее приготовить для нее постель.

Все дело устроилось очень легко. Из нижнего этажа принесли классную доску, положили ее на четыре табурета, а сверху расстелили матрац, белье и подушки. Старушка Корби обеими руками благословила девочку, как мать, хозяйка дома и слепая, моля Бога даровать ей всякое счастье.

Ребенок, едва очутившись в постели, крепко заснул.

На другой день, прежде чем начали собираться ученики, Жюстен пошел в дом № 111 к одному из бывших соседей Дюрье, честному угольщику Туссену, и спросил его, не может ли он сообщить ему что-нибудь о колеснике, который жил прежде в квартире, которую занимал теперь слесарь?

Жюстену повезло — в том смысле, что Туссен был дружен с Дюрье. Оказалось, что колесник принимал горячее участие в заговоре Нанта и Берара, имевшем целью приступом взять Венсен, что было бы знаком для восстания, охватившего всю Францию и не удавшегося только благодаря разоблачениям Берара.

Туссен рассказал, что вовлек его в это дело корсиканец Сарранти, который особенно хлопотал об участии Дюрье, так как у него было много рабочих.

Накануне дня, в который должно было вспыхнуть восстание, Туссен услышал, что в квартиру Дюрье кто-то сильно стучится. Он встал, выглянул в форточку и узнал иностранца, который за последнее время часто бывал в мастерских колесника. Несколько минут спустя и гости и хозяин вместе вышли на улицу и со всех ног побежали к заставе. После этого ни Дюрье, ни Сарранти больше не возвращались.

Но это было еще не единственное, что могло послужить обвинением если и не против Дюрье, то против Сарранти. Туссен узнал от полицейских, которые делали потом обыск в квартире Дюрье, что корсиканец украл у одного из своих друзей сумму чуть ли не в шестьдесят тысяч франков.

По всей вероятности, с помощью этих денег они добрались до Гавра и успели сесть на корабль, отправлявшийся в Индию.

С тех пор ни о том ни о другом не было ни слуху ни духу.

— Может быть, — прибавил Туссен, — о них можно узнать еще что-нибудь от сына Сарранти, который учится в семинарии Сен-Сюльпис, но едва ли этот молодой человек станет откровенно говорить об отце, зная, какое тяжелое обвинение на него падает.

Жюстен попробовал было расспросить угольщика поподробнее, но Туссен и сам больше ничего не знал.

Молодой человек вернулся домой, считая неловким обращаться с расспросами к сыну Сарранти.

В глубине души ему даже хотелось, чтобы колесник исчез и никогда больше не возвращался.

Вернувшись домой, он в первый раз в жизни солгал матери и сестре, сказав, что собрал вести “нерадостные”.

— А по-моему, так весть твоя не печальная, а именно радостная и

благая! — возразила ему мать. — Это весть хорошая, потому что девочка — ангел небесный, посланный нам Господом.

По-видимому, их совместная жизнь подошла к такому рубежу, когда близость нуждается в обновлении извне.

Они слишком долго переживали потоп, запершись в своем ковчеге, и вдруг к ним влетела голубка с оливковой ветвью. Потому-то мысль оставить ребенка навсегда у себя была принята всеми с искренним восторгом.

Семья, которая только что изнемогала под гнетом бедности, решилась стать еще беднее.

Им казалось, что включить это маленькое существо в свой домашний обиход не только не значит обеднеть, но, напротив, — обогатиться.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Приходский священник

Прошло несколько лет... По одной из улиц квартала Святого Жакоба шел бодрого вида священник, лет семидесяти. Появление его произвело на жителей предместья необычайно сильное впечатление, и с возгласами: “Вот и аббат”, — около него собралась небольшая кучка местных кумушек. Одна торговка, заметив, что аббат озирается по сторонам, поглядывая на номера домов, сочла нужным помочь ему.

— Доброе утро, господин аббат.

— Доброе утро, моя милая! — отвечал с достоинством аббат и продолжал свой путь.

— Господин аббат спешит, может быть, на свадьбу? — спросила кумушка.

— Вы угадали, — отвечал священник, останавливаясь.

— На свадьбу, которая должна произойти в доме номер двадцать? — прибавила от себя другая.

— Именно! — ответил еще более удивленный священник.

Заслышав, что башенные часы Святого Жакоба пробили половину десятого, он заспешил дальше.

— Вы прибыли на свадьбу мсье Жюстена? — спросила третья кумушка.

— На свадьбу с маленькой Миной, которой вы состоите опекуном? — произнесла четвертая.

Священник глядел на кумушек с возраставшим изумлением.

— Да оставьте же, наконец, в покое этого достойного человека, болтушки! — крикнул бочар, набивавший обручи на винную бочку. — Разве вы не видите, что он спешит!

— Да, действительно, я спешу, — сказал добрый священник. — Однако где же квартал Святого Жакоба? Если бы я знал, что это так далеко, я взял бы карету.

— Да вот, вы уже и пришли, господин аббат, остается несколько шагов.

— Будьте покойны, господин кюре, вы не заблудитесь. Мы проводим вас до самых дверей.

— Эй! Баболен! Беги вперед и сообщи мсье Жюстену, чтобы он не беспокоился, — господин аббат, которого он поджидал, сейчас прибудет.

— Вы никогда не были у Жюстена, господин священник?

— Нет, мои хорошие друзья, я никогда не был в Париже.

— Вот как! Откуда же вы?

— Из Буйи.

— Из Буйи? Где это? — спросил чей-то голос.

— Во внутреннем департаменте Сены, — ответил другой голос.

— Внутренняя Сена, правильно, — подтвердил аббат Дюкорне, — это восхитительная местность, которую называют Руанским Версалем.

— О! Вы найдете, что они прелестно устроились.

— А в особенности хорошо меблировали квартиру. Вот уже три недели только и видишь, что возят им мебель.

— Значит, он богат, этот мсье Жюстен?

— Богат?.. Да, богат, как церковная крыса!

— В таком случае, как же может он это делать?..

— Есть люди, которые расходуют то, что они имеют, а есть такие, кто тратит то, чего не имеет, — пояснил цирюльник.

— Уж не хочешь ли ты сказать что-либо дурное о бедном школьном учителе, потому только, что он сам бреется.

— Ха, ха, ха! Он очень хорошо бреется! Три недели тому назад у него на подбородке был порез шириной в полдюйма.

— Ну так что ж, — заметил мальчишка, закадычный друг Баболена, — ведь подбородок-то его собственный, и он может делать с ним, что ему угодно; никому до того дела нет, рассадит он себе на нем хоть душистый горошек, и то он будет прав!

— Поспешайте скорее, господин аббат, — произнес Баболен, исполнивший данное ему поручение, — только вас и ждут.

Минут через пять почтенный священник поравнялся с домом № 20. Жюстен и Мина поджидали его у дверей. Теперь Мина была уже не той маленькой девочкой, которую мы видели в предыдущей главе. Она выросла, сделалась красавицей и теперь приехала к Жюстену из пансиона г-жи Демаре, чтобы выйти за него замуж.

При виде этих двух прекрасных молодых людей священник остановился и улыбнулся.

“А! — произнес он про себя. — Воистину, мой Боже, ты создал их друг для друга”.

Мина подбежала к нему и повисла у него на шее. Она знала его еще в то время, когда этот добрый священник приходил навестить мадам Буавен и когда ей было всего восемь лет от роду.

Он обнял ее, а затем отстранил от себя, чтобы лучше разглядеть.

Он никогда не узнал бы в этой прелестной молодой девушке, готовой стать женщиной, дитя, которое он шесть лет тому назад отправил в Париж в ее белом платьице, подпоясанном голубым пояском и в голубых туфельках...

До отправления в церковь оставалось еще пять минут. Его ввели в комнату, где находились мать Жюстена, сестра его, мадам Демаре, начальница пансиона, мадемуазель Сюзанна де Вальженез, подруга Мины, и старый Мюллер.

— Наш дорогой кюре из Буйи, мама Корби, — представила его Мина, — господин аббат Дюкорне.

— Да, да, — подтвердил аббат с сияющим лицом, — это я пришел благословить вас и принес приданое этой красавицы.

— Какое приданое?

— Да, приданое... представьте себе, что дня три тому назад я получаю письмо из Австрии и в этом письме перевод на получение десяти тысяч восьмисот франков от банкиров в Руане, Леклерка и Луи. При переводе приложено письмо.

— Письмо? — пробормотал Жюстен.

— Письмо? — также повторила мадам Корби.

— А! а! Письмо... — произнес Мюллер, пораженный этим не менее других.

— Вот это самое письмо.

И аббат развернул письмо, которое действительно было помечено иностранным штампом, и прочел следующее:

“Дорогой мой аббат!

Поездка моя в Индию была причиной того, что я должен был прервать мои сношения с Францией и что Вы около девяти лет не имели обо мне никаких сведений. Но я Вас знаю; я знаю и достойную мадам Буавен, которой я доверил свое дитя. Мина не могла пострадать от этого.

Теперь, возвратясь в Европу и задержанный в Вене делами, не терпящими отлагательства, которые могут продлиться еще неопределенное время, я спешу переслать Вам перевод на банкиров Леклерка и Луи в Руане, на сумму в десять тысяч восемьсот франков, которые я не мог вам выслать ранее.

Кроме этого, Вы получите еще до моего возвращения, дня которого я не могу определить, сто двадцать тысяч франков, составляющих собственность моей дочери... Вена в Австрии. Отец Мины”.

Мина захлопала в ладоши и воскликнула:

— О, какое счастье, Жюстен! Папа мой жив!

Жюстен взглянул на свою мать. Она была бледна, поднялась со своего места и протянула руки по направлению к сыну.

— Ты понимаешь, не правда ли, сын мой, — произнесла она твердым голосом, — ты понимаешь?..

Жюстен не отвечал: он плакал.

Мина глядела на всю эту сцену, ровно ничего не понимая.

— Но что с вами, мама Корби? — спрашивала она. — Что с тобой, Жюстен?

— Ты понимаешь, не правда ли, мое бедное дорогое дитя, ты понимаешь, — продолжала мать, — что ты мог жениться на Мине бедной и сироте?..

— Боже мой! — воскликнула Мина, начиная догадываться.

— Но ты понимаешь также, что ты не можешь жениться на Мине богатой и зависящей от отца? Это была бы кража, сын мой! — произнесла слепая, подняв руку к небу, точно призывая в свидетели Бога. — Ты не можешь жениться на ней без согласия отца!..

Жюстен опустилсся на колени перед своей матерью.

— Подведи меня к моему креслу, дитя мое, — чуть слышно произнесла слепая, — я чувствую, что силы оставляют меня.

Селеста подошла к ней.

— Но в чем же дело, Боже мой! В чем же дело? — спрашивала Мина.

— Дело в том... дело в том, Мина, — произнес Жюстен, разражаясь рыданиями, — дело в том, что до того дня, пока отец твой даст свое согласие на наш брак, а вероятнее, что он его никогда не даст! — дело в том, что мы можем быть друг для друга не более как брат и сестра.

Мина, в свою очередь, заплакала.

— О! — заговорила она. — По какому праву отец мой, которого я не знала, который кинул меня маленькой, признает меня только теперь? Пусть оставит он себе свои деньги, лишь бы оставил мне мое счастье! Оставил бы мне моего бедного Жюстена! Но не как брата, но, прости меня, Господи, как мужа!.. Жюстен!.. Жюстен!.. Мой возлюбленный, не покидай меня!..

И молодая девушка с болезненным криком упала в обмороке на руки Жюстена.

Час спустя, вся в слезах, Мина уезжала в Версаль, держа за руку своей подруги Сюзанны.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ Покорность Провидению

Итак, брак Жюстена с Миной расстроился. Жюстен спустился в свою крошечную комнатку. Все, что он уносил с собой из первого этажа, — это был венок из флердоранжа, который ему бросила на прощание Мина, сорвав с головы при расставании. Добряк Мюллер спустился к Жюстену.

Что касается кюре, ему более нечего было делать в Париже; в шесть часов вечера он сел в почтовую карету, отправлявшуюся в Руан, увозя с собой проклятые деньги, расстроившие счастье стольких лиц.

Мюллеру сумрачное лицо ученика внушало серьезные опасения.

В надежде рассеять его он было принялся говорить с Жюстеном о школе, о времени, предшествовавшем моменту, когда тот встретился с маленькой девочкой. Но Жюстен, в свою очередь, вспомнил довольно обстоятельно, день за днем ту блаженную жизнь, которую он вел в продолжение шести лет.

— Мы были слишком счастливы! — заключил он. — Я забыл, что мне всегда следовало быть готовым рано или поздно поплатиться за ту победу, которую я вырвал у моей злосчастной судьбы... но не трудитесь успокаивать и ободрять меня, дорогой мой учитель. Не считайте меня способным на какое-либо темное решение... Разве я прежде всего принадлежу сам себе? Разве я не обязан заботиться о матери и сестре? Нет, нет, дорогой учитель, моя участь вполне выяснилась: я боролся и борюсь с бедностью; я буду бороться и с горем... Дайте несколько дней зажить моей ране. Позвольте уединиться на это время. Покорность судьбе, дорогой учитель, это сила для слабых, и вы увидите меня, вновь вступившим в битву с жизнью, более крепким и опытным.

Старый учитель вышел, пораженный, почти даже испуганный этой великой покорностью молодого человека, но зато он вполне успокоился за последствия его отчаяния.

Проводив Мюллера, Жюстен вернулся в свою комнату и начал медленно ходить по ней взад и вперед, скрестив руки и опустив голову. До трех часов утра ходил он таким образом. Горе его сосредоточилось, если можно так выразиться, в груди и душило его. Он бросился на постель; усталость взяла свое, и он, наконец, заснул.

По счастью, следующий день был вторник масленой недели, а потому он был свободен вполне отдаться своему горю, чтобы побороться с ним своими силами. Борьба длилась целый день. Под вечер, простившись с матерью и сестрой, он пошел вновь посетить то место, где одной прекрасной июньской ночью он нашел во ржи малютку.

Теперь не было более видно ни васильков, ни мака, ни других полевых цветов: зима сковала землю так же, как горе сковало его сердце.

Надежды никакой ему больше не оставалось. Ему было ясно, что Мина принадлежала к какой-либо богатой аристократической семье; какой же шанс мог представиться для того, чтобы ее отдали за него, низкого происхождением и бедняка?

Он вернулся к себе домой в десять часов вечера, сделав пятнадцать лье в течение дня, но все же не чувствовал ни малейшей усталости. Мать и сестра ожидали его, обе полные беспокойства.

Он пришел с улыбкой, обнял их обеих и спустился в свою комнату, вынул из шкафа виолончель и ноты и заиграл ту самую торжественную и меланхолическую мелодию, которую слышали Сальватор и Жан-Робер за два часа до начала этого рассказа...

Историю эту оба молодых человека слушали каждый по-своему.

Сальватор слушал его с кажущимся равнодушием, но Жан-Робер

не скрывал тяжелого впечатления. Оба понимали, что всякие соболезнования и утешения здесь были не к месту.

— Милостивый государь, — произнес, наконец, Жан-Робер, — было бы недостойно и вас и нас, если бы мы позволили себе предлагать вам банальные утешения... Вот наши адреса, и, если вы когда-нибудь будете нуждаться в друзьях, мы просим вас отдать нам предпочтение перед другими.

С этими словами он вырвал листок из своей записной книжки и, написав на нем оба имени с адресами, передал листок Жюстену.

В этот самый момент кто-то сильно постучал в дверь. Кто бы мог стучаться в эту пору? Ведь уже начинало светать. Сальватор, выходявший уже с Жан-Робером, отворил дверь.

Стучавший оказался ребенком тринадцати или четырнадцати лет, с белокурыми кудрявыми волосами, розовыми щечками и в немного изорванной одежде.

Это был тип парижского гамена, в синей блузе, фуражке без козырька и в стоптанных башмаках.

Он поднял голову, чтобы взглянуть на того, кто отворил ему дверь.

— Так это вы, господин Сальватор! — произнес он.

— Зачем ты пришел сюда в эту пору, господин Баболен? — спросил комиссионер, дружески схватив гамена за воротник его блузы.

— А! Я принес мсье Жюстену, школьному учителю, письмо, которое нашла Броканга этой ночью, во время своего обхода.

— Кстати, о школьном учителе, — сказал Сальватор, — ты ведь помнишь, что обещал мне выучиться читать к 15 марта?

— Ну что ж! Сегодня только еще 7 февраля: время еще есть!

— Ты знаешь, однако, что если ты не будешь в состоянии бегло читать к 15-му, то 16-го я отнимаю у тебя книги, которые дал тебе?

— Как, даже и те, с рисунками?.. О! Господин Сальватор!

— Все без исключения!

— Ну если так, то знайте, что мы умеем читать, — сказал ребенок.

И, взглянув на адрес, он прочел:

“Господину Жюстену, предместье Святого Жакоба, № 20.

Луидор награды тому, кто доставит ему это письмо”.

Как адрес письма, так и приписка на нем написаны были карандашом.

— Неси скорей! Неси скорей, дитя мое! — произнес Сальватор, толкнув Баболена в сторону помещения школьного учителя.

Баболен в два шага пересек двор и вошел с криком:

— Господин Жюстен! Господин Жюстен! Вам письмо!..

— Что нам делать? — спросил Жан-Робер.

— Останемся, — ответил Сальватор, — очень возможно, что письмо это возвещает что-нибудь новое, и наше присутствие может быть полезно этому мужественному молодому человеку.

Сальватор не закончил еще своих слов, как Жюстен появился на пороге своей комнаты, бледный, как привидение.

— А! Вы еще здесь! — воскликнул он. — Слава Богу! Читайте, читайте...

И он протянул письмо молодым людям. Сальватор взял письмо и прочел следующее:

“Меня увозят насильно, меня тащут, не знаю куда! Спаси меня, Жюстен! Спаси меня, брат мой! Или же отомсти за меня, мой жених!

Мина”.

— О, мои друзья! — вскричал Жюстен, протягивая руки к молодым людям. — Само Провидение привело вас сюда!

— Ну, — обратился Сальватор к Жан-Роберу, — вы так желали романа. Надеюсь, теперь он начинается, мой друг!

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Прямая линия короче ломаной

С минуту молодые люди переглядывались. Первый момент был моментом оцепенения, второй был возвращением самообладания к Сальватору.

— Прежде всего, хладнокровие! — произнес он. — Дело, кажется, серьезное.

— Но ведь ее хотят похитить! — вскричал Жюстен. — Ее увозят!.. Она призывает меня на помощь!

— Все это совершенно верно, а потому и нужно сперва узнать, кто ее похищает и куда ее увозят.

— О! Как узнать это? Боже мой! Боже мой!

— Все узнается со временем, только нужно терпение, мой дорогой Жюстен. Вы ведь уверены в Мине, не правда ли?

— Как в самом себе.

— Когда так, будьте покойны: она сумеет защитить себя... Баболен здесь еще?

— Да.

— Спросим его.

— В самом деле, — подтвердил Жан-Робер, — с этого мы и должны начать.

Все вернулись в комнату школьного учителя.

— Прежде всего, — сказал Сальватор, — дайте луидор этому мальчишке для матери и сколько-нибудь мелочи ему самому.

Жюстен достал из рваного кошелька два луидора и две пятифранковые монеты, которые и передал Баболену.

Но Сальватор схватил ребенка за руку в тот самый момент, когда он взял протянутые деньги, насильно разжал кулак и, к великому отчаянию Баболена, отнял у него один из луидоров и одну пятифранковую монету, возвратив таковые Жюстену.

— Положите эти двадцать пять франков в ваш кошелек обратно, — произнес он, — через час они, может быть, вам пригодятся.

Затем, повернувшись к ребенку, он сказал:

— Где твоя мать нашла это письмо?

— А я почему знаю? Спросите ее сами, — ответил гамен недовольным тоном.

— Он прав, об этом нужно спросить ее самое. Очень возможно, что она рассчитывает на ваше посещение... Позвольте! Укрепим хорошенько наши батареи... Господин Жюстен, вы должны последовать за этим ребенком к его матери.

— Я готов.

— Погодите... Жан-Робер, вы должны себе достать оседланную верховую лошадь и приезжайте на ней на Кишечную улицу, 11. Я же отправляюсь сделать заявление в полицию. Я знаю там человека, который нам, может быть, нужен... Встретимся на Кишечной улице, 11, у матери этого ребенка, и там обдумаем дальнейший план наших действий.

— Пойдем, малыш! — сказал Жюстен.

— Оставьте предварительно записку для успокоения вашей матушки, — продолжал Сальватор, — возможно, что вы вернетесь домой очень поздно или даже и вовсе не вернетесь.

— Вы правы, — заметил Жюстен, — бедная мама! Я забыл о ней.

И он набросал наскоро несколько строк на лоскуте бумаги, который и оставил открытым на столе в своей комнате.

Он извещал свою мать без дальнейших объяснений, что полученное им только что письмо потребовало у него целый день.

— Ну, теперь идем! — сказал он.

Трое молодых людей вышли из дому, было не более половины седьмого утра.

— Вот ваш путь, — сказал Сальватор, указав Жюстену вдоль улицы Урсулинок. — Вот это ваша дорога, — прибавил он, указывая Жан-Роберу на Грязную улицу, — а это моя дорога, — продолжал он, направляясь на улицу Сен-Жак.

Кишечная улица, как известно, не что иное, как переулок, идущий параллельно Щепенной улице.

Весь этот квартал напоминал в то время Париж времен Филиппа-Августа. Луки грязи, окружавшие стены тюрьмы Святой Пелаги, придавали этому зданию вид древней крепости, построенной среди острова. Эти улицы, шириной не превосходившие восьми или десяти футов, были завалены кучами навоза и мусора; короче, это были клоаки, где прозябали несчастные обитатели зданий, более похожих на чуланы, чем на дома.

Перед одним из таких чуланов Баболен остановился.

— Вот здесь, — произнес он. — Ухватитесь за край моей блузы.

Жюстен ухватился за подол блузы Баболена и, шаг за шагом, стал взлезать по крутым уступам, претендовавшим на название лестницы и ведущим к помещению Броканты.

Они достигли двери конуры. Жилище Броканты, казалось, во всех

отношениях оправдывало это название, так как стоило им подняться на площадку, как раздался пронзительный лай дюжины собак, которые таякали, рычали и визжали на всех нотах гаммы, точно свора гончих, напавших на след.

— Это я, мама, — произнес Баболен, сложив руки наподобие слуховой трубы и приставляя их к замочной скважине. — Откройте! Я с гостем!

— Молчать! Фу! Бешеная стая! — раздался из комнаты голос Броканты. — Ничего не слышно... Молчать, Цезарь!.. Молчать, вы все!

И при этой команде, произнесенной угрожающим голосом, водворилась полнейшая тишина.

— Ты можешь войти теперь, ты и твой гость, — послышался тот же голос. — Толкни дверь, засов не задвинут.

Баболен, приподняв защелку, толкнул дверь, в которую пропустил Жюстена, и глазам их представилось зрелище, которое, хотя и не было очень поэтичным, тем не менее, заслуживает нескольких слов.

Это был не что иное, как чердак с осевшей ветхой крышей. Дюжина собак — догов, пуделей и других пород — сгрудилась в одном из углов комнаты, причем вся эта дюжина была заключена в огромную, из прутьев, корзину, в которой их никак не могло поместиться более четырех или пяти.

На кресте из двух бревен, поддерживавших крышу, сидела ворона, которая махала крыльями, вероятно, именно так выражая свою радость во время собачьего концерта.

На скамейке, прислоненной к нижнему основанию бревна, под подобием полога из лоскутьев всех материй и цветов, который поднимался по стене на высоту трех-четырёх футов, сидела женщина, на вид лет пятидесяти, высокая, худая и костлявая. Между ее ног стояла на коленях девочка, которой старуха с особым старанием расчесывала длинные черные волосы.

Вся эта сцена, не лишенная своеобразной живописности, освещалась глиняной лампой, поставленной на опрокинутую корзину и достаточно похожей на те римские светильники, которые находят при раскопках Геркуланума и Помпеи.

Женщина, которую Баболен назвал именем Броканты, была одета в темное платье, состоящее из такого количества всевозможных заплат, что казалось образчиками материй у портного.

Девочка, которой она расчесывала волосы, была одета только в рубашку из небеленого холста. Рубашка эта имела вид блузы, перетянутой в поясе подобием веревки из серой с лиловым бумаги; шея и грудь ребенка были прикрыты совершенно изорванным вишневого цвета шерстяным шарфом. Ноги ее были босы.

Когда она повернулась к вошедшим, стало видно, что она бледна той болезненной бледностью, какая свойственна бедным, чахлым растениям наших предместий. Черты ее лица отличались поразительной правильностью и тонкостью, но очертания исхудалой фигуры, глаза,

окруженные синевою, их впалость, беспокойный взгляд, неровности впалых щек этого казавшегося тридцатилетним ребенка — все это, вместе взятое, производило какое-то странное и фантастическое впечатление, которое, вероятно, дало бы нашему другу Петрюсу, окажись он перед этой очаровательной моделью, мысль воспользоваться ею как идеей для изображения Медеи в детстве.

Но в конце концов, история Жюстена и Мины не более чем эпизод, а потому перейдем к истории этого загадочного и поэтичного ребенка. С Жюстеном и Баболоном мы еще встретимся.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Рождественская Роза

Однажды вечером, около девяти часов, Броканта возвращалась домой в маленькой тележке, запряженной осликом, с бумажной фабрики Эссона, где она продала тюк тряпок, как вдруг увидела показавшуюся сбоку дороги и словно вышедшую из канавы фигуру ребенка. Ребенок бросился к ней, бледный, запыхавшийся, дрожащий всем телом и с перекошенным от ужаса лицом.

— Помогите! Помогите! Спасите меня! — кричал он. Броканта принадлежала к той разновидности цыган, которые имеют особую склонность красть детей наподобие того, как хищные птицы захватывают жаворонков и голубей. Она остановила своего осла, соскочила с тележки, взяла девочку на руки, вновь забралась с ней в тележку и пустила осла вскачь.

Все это произошло быстро, в пяти лье от Парижа, между Жювизи и Фромантом.

Занятая лишь тем чтобы скорее убраться прочь, Броканта позволила себе взглянуть на ребенка не ранее, чем через четверть лье непрерывной скачки.

Девочка была с непокрытой головой, ее длинные косы расплелись, то ли пока она бежала, то ли пока с кем-то боролась, по лицу струился пот; по ногам ее было видно, что она бежала через поле, а белое платье было исполосовано струйками крови, которая сочилась, к счастью, из неглубокой ранки, нанесенной чем-то острым.

Очутившись в тележке, девочка, на вид не более пяти или шести лет, воспользовавшись тем, что обе руки Броканты были заняты вожжами, соскользнула с колен женщины на дно тележки и на все вопросы повторяла лишь одно и то же:

— Она не бежит за мной? Она не гонится?

На это Броканта, казалось, не меньше ее опасавшаяся погони, то и дело оглядывалась из-под своего холщового капюшона на дорогу и, не видя на ней никого, уверяла в этом девочку, которая была так перепугана, что не замечала даже боли от раны.

Наконец, уже к полуночи достигли они заставы Фонтенбло. Когда

у городских ворот ее остановили сборщики, Броканта вновь выглянула из-под капюшона и сказала: "Это я, Броканта". Сборщики уже привыкли видеть ее проезжающей раз в месяц с грузом тряпок, а затем на следующий день возвращавшейся с пустой тележкой, потому старуху с ребенком пропустили в город беспрепятственно.

Едва спрыгнув с тележки, девочка устремила в коридор и до удивления быстро бросилась вверх по лестнице, точно удирающий котенок.

Броканта поднялась за ней, отворила дверь своего чулана и сказала:

— Иди сюда, малышка! И не волнуйся — никто не узнает, что ты здесь.

Броканта захлопнула дверь и заперла ее на ключ, затем спустилась вниз, чтобы поместить свою тележку под навес, а осла в конюшню.

Вернувшись, она зажгла огарок свечи, вставленный в разбитую бутылку и, осветив себя этим слабым светом, стала смотреть на бедную маленькую беглянку. Та пробралась ощупью в самый отдаленный уголок чердака, встала там на колени и молилась.

Броканта ее окликнула. Но малютка отрицательно покачала головой. Старуха за руку притянула ее к себе и начала расспрашивать. Но на все ее вопросы ребенок твердил лишь одно:

— Нет, она убила бы меня!

Так и осталось тайной, откуда она родом, кто ее родители, как ее звали, даже за что хотели убить и кто.

Почти год девочка не произносила ни слова, лишь во сне она иногда вскрикивала:

— Пощадите, пощадите, мадам Жерар! Я вам ничего не сделала... Не убивайте меня!

Стало быть, женщину, которая хотела убить ее, звали мадам Жерар. Однако же девочку следовало как-то назвать, а так как она была бледна, точно роза, цветущая среди зимы, то Броканта, несколько не сомневаясь в поэтичности своей выдумки, назвала ее Роз де Ноэль (Рождественская Роза). Так это имя и осталось за ней.

В тот же вечер, видя, что девочка не хочет ничего говорить, и надеясь, что на следующий день она будет разговорчивее, старуха указала ей на колченогую кровать, в которой спал ребенок одним или двумя годами старше, и велела лечь рядом.

Но девочка наотрез отказалась. Ясно было, что цвет матраца, грязь покрывала вселяли в нее отвращение. Ее тонкое белье и элегантный покрыв платяница показывали, что она происходила вовсе не от бедных родителей.

Она взяла соломенный стул и, приставив его к стене, уселась на него, уверяя, что ей тут отлично. И действительно, она провела всю ночь на этом стуле.

Около шести часов утра, пока девочка еще спала, Броканта встала и вышла из дома.

Она направилась на улицу Святого Медара, чтобы купить ребенку одежду. Эта одежда включала платье из синей бумажной материи в белый горошек, желтый платок в красный цветочек, детский чепчик, две пары шерстяных чулок и пару башмаков.

Все это вместе стоило семь франков. Но Броканта рассчитывала продать старое платье девочки вчетверо дороже.

Час спустя она возвратилась со своей покупкой и нашла девочку, по-прежнему примостившуюся на соломенном стуле и отказывавшуюся поиграть с Баболеном.

Когда ключ повернулся в замке, девочка задрожала; когда дверь отворилась, она стала бледнее смерти.

Видя, что она готова лишиться чувств, Броканта спросила, что с ней.

— Я полагала, что это она! — отвечала девочка.

“Она!..” Итак, это, без сомнения, женщина, которой она избегала.

Броканта развесила на скамейке ее синее платье, желтый платок, чулки и башмачки.

Ребенок с беспокойством следил за ней.

— Ну-ка, подойди сюда! — сказала Броканта.

Девочка застыла на стуле и, указывая пальцем на одежду, произнесла презрительно:

— Это что, для меня?

— А для кого же?

— Я этого не надену.

— Значит, ты хочешь, чтобы она узнала тебя?

— Нет, нет, я этого не хочу!

— В таком случае, нужно переодеться.

— А разве в этой одежде она меня не узнает?

— Нет.

— Переоденьте меня скорее!

И уже без сопротивления она позволила снять с себя свое хорошенькое беленькое платьице, тонкие чулочки, батистовые юбочки и крошечные башмачки.

Все это было запачкано кровью, которую следовало замывать, чтобы не возбудить подозрения у соседей.

Итак, девочка облечена в позорное покрывало нищеты, откровенный символ жизни, ее ожидающей.

Броканта выстирала ее старую одежду, просушила ее и продала за тридцать франков.

Это была уже хорошая сделка. Но старая колдунья сильно надеялась сделать со временем еще лучшую, если отыщет родителей и продаст девочку обратно в семью.

Не меньшее отвращение девочка выказала, когда ей пришлось садиться к завтраку со всем семейством.

Кусок говядины, разогретый на сковороде, и кусок черного хле-

ба, купленный ли по-соседству или выпрошенный Христа ради в городе, — вот что составляло обыденную пищу Броканты и ее сына. Баболен, который никогда не ел ничего, кроме того, что ему давала мать, не имел особых вкусов, но Рождественская Роза была воспитана совсем по-другому. Она, конечно, привыкла к более изысканным блюдам и, только взглянув на то, что ели Баболен и Броканта, проговорила:

— Я не хочу есть.

За обедом все повторилось.

Броканта поняла, что девочка эта из приличной семьи, что она, скорее, уморит себя голодом, чем прикоснется к такой еде.

— Чего тебе надо? — спрашивала она девочку. — Фазанов с апельсинами или пулярок с трюфелями?

— Я не хочу ни пулярок с трюфелями, ни фазанов с апельсинами, — отвечала девочка, — но мне бы очень хотелось кусок белого хлеба, какой у нас подавали бедным по воскресным дням.

Как ни была груба Броканта, она была тронута этим простым ответом; она дала Баболену одно су и сказала:

— Пойди принеси маленький хлебец из булочной.

Баболен в один прыжок спустился с лестницы и через пять минут возвратился с маленьким полубелым хлебцем со светло-желтой коркой.

Бедная Роза была очень голодна и съела этот хлебец, не оставив ни крошки.

— Ну что, теперь тебе лучше? — спросила Броканта.

— Да, мадам, и я вас благодарю, — ответила девочка.

Броканта, которую до сих пор никто не называл “мадам”, рассмеялась:

— Хороша мадам! Ну а теперь, мадемуазель принцесса, что вы хотите на десерт?

— Мне бы хотелось стакан воды, — отвечала девочка.

— Дай сюда горшок, — сказала Броканта сыну.

Баболен подал горшок и предложил его девочке.

— Вы пьете из него? — спросила она ласковым голосом Баболена.

— То есть это мать пьет из него, а я пью залпом.

И, приподняв горшок на полфута над головой, он принялся лить воду прямо в рот с ловкостью, свидетельствовавшей о привычке.

— Я не буду пить.

— Почему же? — спросил Баболен.

— Потому что не умею пить, как вы.

— Ну что ты, не понимаешь, что мадемуазель нужен стакан, — произнесла Броканта, пожимая плечами.

— Стакан? — переспросил Баболен. — Здесь должен где-то быть стакан.

Через минуту он отрыл стакан в одном углу.

— Получай, — сказал он, наполняя стакан водой и предлагая его девочке, — пей!

— Нет, — произнесла она, — я не буду пить.

— Почему?

— Потому что не хочу.

— Да ведь ты просила!

Девочка покачала головой.

— Я не могу пить из грязного стакана, — тихо и робко произнесла она. — А все-таки я страшно хочу пить! — и расплакалась.

Баболен спустился, побежал к соседнему фонтану, вымыл стакан и принес его обратно прозрачным, как богемский хрусталь, наполненным свежей и чистой водой.

— Мерси, мсье Баболен, — сказала девочка.

И она тут же выпила всю воду.

— О! Мсье Баболен! — вскричал гамен, перекувырнувшись. — Скажи на милость, мать, когда это о нас будут говорить: “Мсье Баболен и мадам Броканта”!

— Простите, — возразила Роза, — меня учили говорить всем мсье и мадам, я не буду больше говорить так, если это нехорошо.

— Нет, мое дитя, нет, это хорошо, — сказала Броканта, помимо воли покоренная тонкостью воспитания, которую простонародье иногда осмеивает, но которое, вместе с тем, производит на них всегда нужный эффект.

Вечером та же сцена, что и накануне, повторилась, когда ложились спать.

Мать с сыном спали на одном матраце, брошенном среди тряпья в углу комнаты, а Роза эту ночь опять спала на стуле.

Потому на следующее утро Броканте опять пришлось уступить, и с тридцатью франками в кармане, вырученными за одежду девочки, она отправилась купить кроватку за сорок су, матрац за десять франков, пусть и тонковатый, но зато чистый, подушку за три франка пятьдесят сантимов, две пары простынь из мадаполама и бумажное одеяло; все это отличалось безукоризненной белизной, было принесено в ее чулан и стоило ровно двадцать три франка.

— Это для вас, мадемуазель. Оказывается, вы принцесса, а потому с вами обращаются, как с принцессой, а?

— Я не принцесса, — ответила девочка, — но там у меня была беленькая постель.

— Ну так вы и здесь будете иметь такую же. Вы довольны?

— Да, вы очень добры ко мне! — сказала девочка.

— Теперь, где думаете вы поместиться? Не нанять ли вам на улице Риволи квартиру на антресолях?

— Может быть, в этом углу? — спросила девочка.

И она указала на углубление в чердаке, захватывавшее часть соседнего чердака. Постельку втиснули в этот угол, который малопомалу стал заполняться мебелью и походить на комнату.

Броканта была далеко не так бедна, как хотела казаться, но ужасно скупа, и ей стоило страшных усилий достать деньги из копилки, в

которой они у нее хранились. Но она обладала одной прибыльной способностью: умела гадать на картах.

И вот, вместо того, чтобы брать деньгами, да это было и затруднительно для обитателей ее бедного квартала, она не отказывалась брать себе плату натурой.

У ветошницы она вытребовала занавес из подобию персидской материи, у столяра — маленький столик, у старьевщика — ковер, так что уголок, где жила Роза, к концу месяца оказался достаточно обставленным, во всяком случае, настолько, что выглядел очень уютно.

Роза была почти счастлива. Почти, потому что ее платье из синей бумажной материи, желтый платок с красными цветами, шерстяные чулки и треугольный чепчик очень ей не нравились. И по мере того как эти вещи изнашивались, она составляла себе костюм по своему вкусу, и особенно занималась своими роскошными длинными волосами, которые ниспадали к ее красивым ножкам.

Но так как девочка никогда не выходила, а солнце не проникало на чердак иначе как только через узкие просветы; так как она не ела ничего, кроме хлеба, и не пила ничего, кроме воды; так как холод проникал со всех сторон в чулан Броканты, и, наконец, не различая времени года, она была одета почти всегда одинаково — и в десять градусов мороза и в двадцать пять жары, — выглядела она очень болезненно и страдальчески.

О семье и об ужасном событии, которое привело ее к Броканте, успевшей даже привязаться к девочке (насколько, разумеется, она способна к этому), — об этом никогда не говорилось более того, что мы уже знаем.

Вот какова была Рождественская Роза — девочка, стоявшая на коленях между ног Броканты, когда Баболен и школьный учитель показали на пороге.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Зловещий ворон

Зрелище, представшее перед глазами Жюстена, могло бы привлечь внимание любого человека, менее погруженного в свои мысли, но он поднялся на чердак будучи нечувствительным ко всему, кроме того, что сжимало ему сердце.

— Мать, — произнес Баболен, входя с молодым человеком, — вот господин Жюстен, школьный учитель, который пожелал лично прийти к тебе, чтобы спросить о том, чего я не мог рассказать ему.

Старуха усмехнулась с таким видом, будто она ожидала этого посещения.

— А луидор? — спросила она вполголоса.

— Вот он, — отвечал Баболен, опуская ей в руку золотую монету. — Но нам не мешало бы купить на это хорошее ватное пальто для Розы.

— Мерси, Баболен, — сказала девочка, подставляя свой лоб гаме-ну, который братски поцеловал ее, — но мне не холодно.

И при этих словах она два или три раза сильно кашлянула, что решительно противоречило сказанному.

— Мадам... — начал Жюстен.

При слове “мадам” Броканта подняла голову, точно желала убедиться, к ней ли это обращались.

Жюстен был вторым человеком, назвавшим ее “мадам”, первым была Роза.

— Мадам, — повторил Жюстен, — это вы нашли письмо?

— Ну, конечно, — отвечала Броканта, — если я переслала его к вам.

— Да, — продолжал Жюстен, — и я вам за это очень благодарен, но я бы хотел спросить вас, где вы нашли его?

— В квартале Святого Жакоба, наверное.

— Я бы хотел знать, на какой улице?

— Не заметила надписи, но это должно было быть примерно между улицами Дофина и Муффетар...

— Пойдите, — перебил Жюстен, — умоляю вас, припомните, пожалуйста!

— Да, наверное, — отвечала Броканта, — это было на улице Сент-Андрэ-д'Арс.

Для всякого, кто более чем Жюстен знаком с подобного сорта цыганками, было бы ясно, что Броканта вела дело по заранее обдуманному плану.

Жюстен, казалось, понял, в чем дело.

— Вот, — сказал он, — возьмите это, чтобы возбудить свою память.

И он дал ей еще один луидор.

— Послушай, мать, — вмешался Баболен, — сделай же одолжение мсье Жюстену. Он не то что другие, и его достаточно уважают в квартале Святого Жакоба...

— Чего ты мешаешься, мальчишка? — перебила его старуха. — Пойди-ка лучше вон.

— Броканта, — произнесла Роза своим кротким певучим голосом, — вы видите, что этот молодой человек очень беспокоится, скажите же ему все, я вас прошу.

— О! Заклинаю вас, прелестное дитя, — начал школьный учитель, складывая свои руки, — просите за меня!

— Она вам скажет, — ответила девочка.

— Она скажет! Она скажет!.. Конечно, я скажу, — ворчала старуха, — ты хорошо знаешь, что я ни в чем не могу отказать тебе.

— Ну что же, мадам? — спросил Жюстен, едва сдерживая нетерпение. — Одно только усилие памяти! Вспомните... вспомните, ради Бога!

— Я полагаю, что это было... Да, это именно там и было: теперь я уверена в этом... можно и погадать. Карты скажут.

— В таком случае, — произнес Жюстен, говоря сам с собою и не обращая внимания на последние слова Броканты, — они должны были переправиться через Сену у Нового моста, по направлению к заставе Фонтенбло или к заставе Святого Жакоба...

— Именно, — прибавила Броканта.

— Почему вы знаете? — спросил молодой человек.

— Я ничего не знаю, — возразила Броканта, — кроме того только, что я нашла на площади Мобер письмо на ваше имя, которое я вам и послала.

— Броканта, — вмешалась Роза, — вы злая! Вы знаете еще что-то и не хотите сказать.

— Нет, — отрезала грубо Броканта, — я ничего больше не знаю.

— Ты, мать, худо делаешь, поступая так с этим мсье, — он друг господина Сальватора.

— Я не гоню мсье, я говорю ему только, что не знаю того, о чем он меня спрашивает. Когда чего-то не знают, то спрашивают у того, кто знает.

— У кого же следует спросить?

— У того, кто знает все: у карт.

— Хорошо, — сказал школьный учитель, — спасибо вам за то, что вы мне сообщили. Теперь я пойду в полицию — там господин Сальватор.

С этими словами молодой человек сделал несколько шагов по направлению к двери. Но Броканта, вероятно, одумавшись, снова заговорила:

— Господин Жюстен!

Молодой человек обернулся. Старуха указала ему пальцем на ворону, которая хлопала крыльями над его головой.

— Взгляните на птицу, — продолжала она, — взгляните на птицу!

— Я ее вижу, — отвечал Жюстен.

— Видите, она бьет крыльями? Это доказывает, что надеяться вам особенно не на что.

— Но разве это имеет какое-либо значение?

— Господи Иисусе! И вы это спрашиваете! Человек, столько учившийся! Неужели школьный учитель не знает, что ворона — пророческая птица! Это хлопанье крыльями означает, что не так-то скоро найдете вы особу, которую ищете... Я бы вам посоветовала, прежде чем приняться за розыски, послушать, что скажут карты. Может, это и пригодилось бы вам...

Как утопающий хватается за соломинку, Жюстен воротился назад, если и не расположенный верить картам, то понимавший, что старая колдунья хочет что-то высказать ему.

— Как вам гадать — в малую или большую игру? — спросила Броканта.

— Делайте, как знаете... Вот вам луидор.

— О! Я вам разложу большую игру... Поддай мне карты, Роза.

Девочка поднялась, и при этом выяснилось, что она и стройна и гибка. Она подошла к большому сундуку, скрытому в одном из углов, вынула карты и передала их старухе своими тонкими белыми ручками.

Баболен, хотя и видевший, без сомнения, не раз эти кабалистические опыты, все же приблизился к старухе, сел на пол, скрестив под собой ноги, и приготовился смотреть на сцену магии.

Броканта вытащила из-за спины большую сосновую доску в форме подковы и положила ее себе на колени.

— Кликни Фареса, — сказала она девочке, кивнув головой в сторону сидевшей на бревне птицы.

— Фарес! — произнесла своим певучим голосом девочка.

Ворона перескочила с бревна на правое плечо девочки, а та присела возле старухи, наклонив немного в ее сторону плечо, на котором сидела птица.

Броканта издала какой-то странный, гортанный звук, одновременно походивший и на свист и на крик.

На этот пронзительный звук вся дюжина собак одним прыжком, сталкиваясь друг с другом, выскочили из своей клетки и с видом ученых животных (каковыми они и были на самом деле) расселись справа и слева от чародейки, образовав при этом вокруг стола правильный круг, в центре которого находилась Броканта.

Она попеременно оглядела птицу и собак и торжественным голосом произнесла какие-то слова на совершенно неизвестном языке, который, надо думать, был арабским или каким-то еще в том же роде.

Трудно сказать, поняли ли Баболен, Роза и Жюстен смысл этих слов, но, и это несомненно, его очень хорошо поняли дюжина собак и ворона, как можно было судить по ровному, ритмическому лаю и пронзительному карканью.

Вся эта группа была освещена красноватым светом низкой лампы.

Наконец, колдунья протянула свою руку в пространство и начала описывать ею большие круги в воздухе.

— Тихо, все! — произнесла она. — Карты станут говорить.

Собаки и ворона притихли.

Старая сивилла стасовала карты и дала их снять левой рукой Жюстену. Карты начали свое откровение.

— Вот, — сказала Броканта, — вы пришли сюда спросить об одной личности, которую очень любите?

— О! Которую я обожаю! — перебил Жюстен.

— Она бубновая дама, это значит, кроткая и любящая женщина.

Относительно Мины это было, по крайней мере, верно.

Каждый раз, как выходили карты одной масти, она брала старшую карту, клала ее перед собой, приставляя следующие за ней карты по старшинству от левой руки к правой.

После шести таких раскладов она имела перед собой шесть карт.

Затем она вновь стасовала карты, вновь заставила Жюстена снять их левой рукой и возобновила фокус по той же системе.

Так она продолжала, пока не получила семнадцать карт.

— Вот, — снова заговорила она, — та, которую вы любите, — молодая девушка, блондинка, лет шестнадцати или семнадцати.

— Это верно, — подтвердил Жюстен.

Она отсчитала еще семь карт и указала на опрокинутую семерку червей.

— Несостоявшийся план!.. Вы имели относительно ее намерение, которое не удалось.

— Увы! — пробормотал Жюстен.

Старуха опять отсчитала семь карт и указала на девятку треф.

— Предположения ваши расстроились через деньги, которых не ожидали... И, странная вещь, — продолжала она, — эти деньги, какие обыкновенно приносят радость, заставили вас плакать!.. Но вот письмо, которое я переслала вам, принадлежит молодой особе, которой угрожают тюрьмой...

— Тюрьмой! — воскликнул Жюстен. — Это невозможно!

— Да, тут эти карты... тюрьма, заключение...

— Впрочем, и в самом деле, — пробормотал Жюстен, — если ее похищают, то для того, чтобы скрыть... Продолжайте, продолжайте! Вы правы до сих пор.

— Зло идет к вам от черной женщины, которую та, что вы любите, считает своей подругой.

— Неужели это мадемуазель Сюзанна де Вальженёз, ее подруга?

— Карты говорят: черная женщина — значит брюнетка, они не называют по имени... О, о, тут есть заговор... Но вам помогает сейчас один верный человек.

— Сальватор! — пробормотал Жюстен. — Это имя, которое он сообщил мне.

— Но, — продолжала старуха, — кажется, его предприятие запоздало... Ай, ай!.. Эта девица похищена молодым человеком, брюнетом...

— Женщина! — вскричал Жюстен. — Где она? Где она? И все, что я имею, я отдаю тебе!

Пошарив в карманах, он вытащил горсть денег, которые хотел было бросить на стол, на котором гадала Броканта, но вдруг почувствовал, что его схватили за руку.

Он обернулся: это был Сальватор, который вошел незамеченным.

— Положите эти деньги обратно в карман, — сказал он Жюстену. — Сойдите лучше вниз, садитесь на лошадь Жан-Робера и скачите в Версаль. Теперь половина восьмого: в половине девятого вы можете быть у мадам Демаре.

— Но... — начал было Жюстен, колеблясь.

— Поезжайте, не теряя ни минуты, — сказал Сальватор, — так нужно, иначе я ни за что не отвечаю.

— Я еду, — сказал Жюстен.

Он быстро сошел вниз, принял уздечку из рук Жан-Робера, вскочил в седло и пустился галопом кратчайшим путем, ведущим на дорогу к Версалю.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Почему карты всегда говорят правду

Когда Жан-Робер, освободившись от лошади, кое-как взобрался на чердак, то увидел группу, которая могла бы привлечь внимание его друга Петрюса.

Эта группа состояла из старой гадалщицы, сидевшей на скамье, Баболена, улегшегося у нее в ногах, и Розы, стоявшей возле них и опирающейся о балку.

Броканта, очевидно, выжидала с беспокойством, что скажет Сальватор.

Что же касается обоих детей, то они улыбались Сальватору как другу, но каждый с различным выражением. У Баболена эта улыбка была веселая, у Розы — меланхолическая.

Но, к великому удивлению Броканты, Сальватор, казалось, не обратил никакого внимания на происходившее до этого.

— Это вы, Броканта? — спросил он. — Как здоровье Розы?

— Хорошо, господин Сальватор, очень хорошо, — ответила девочка.

— Я не у тебя спрашиваю об этом, бедняжка, а у Броканты.

— Она кашляет немного, господин Сальватор, — сказала старуха.

— Доктор приходил?

— Да, господин Сальватор.

— Что же он сказал?

— А то, что прежде всего следовало бы оставить эту квартиру.

— Он хорошо сделал, что сказал вам об этом. Я уже давно вам говорил, Броканта.

Затем более строгим тоном и сдвинув брови он прибавил:

— А почему ребенок ходит босиком?

— Она не хочет надеть ни чулок, ни башмаков, господин Сальватор.

— Это правда, Роза? — спросил кротко молодой человек, но с легким упреком в голосе.

— Я не хочу надевать чулок, потому что они из очень толстой шерсти, я не хочу надевать башмаки, потому что они толстые и кожаные. А других у меня нет.

— Почему же Броканта не купит тебе нитяных чулок и тонких башмаков?

— Потому что это слишком дорого, господин Сальватор, а я бедна...

— Молчи и слушай хорошенько...

— Я слушаю, господин Сальватор.

— И ты исполнишь?

— Постараюсь.

— Ты исполнишь? — повторил молодой человек более повелительным тоном.

— Исполню.

— Если через неделю — ты слышишь? — если через неделю ты не найдешь комнаты, просторной и светлой, для этого ребенка, а также отдельной псарни для своих собак, я отниму у тебя Розу.

Старуха обняла за талию девочку и крепко прижала к себе, как будто Сальватор хотел тотчас же выполнить свою угрозу.

— Вы отняли бы у меня мое дитя! — воскликнула старуха. — Мое дитя, которое с семи лет при мне?

— Во-первых, это вовсе не твое дитя, — произнес Сальватор. — Это дитя тобой уворовано.

— Спасено, господин Сальватор, спасено!

— Уворовано или спасено, об этом ты будешь разбираться с Жаклем.

Броканта молча и еще крепче прижимала к себе Розу.

— Впрочем, — продолжал Сальватор, — я пришел не за тем. Я пришел ради этого бедного юноши, которого ты готовилась обобрать при входе моем сюда.

— Я не обирала его, господин Сальватор, я брала только то, что он мне добровольно отдавал.

— Ты его обманывала.

— Я не обманывала его, я говорила ему одну правду.

— Как могла ты знать правду?

— Через карты.

— Ты лжешь!

— Тем не менее, карты...

— Средство для плутовства!

— Господин Сальватор, клянусь вам, все, что я сказала ему, одна правда.

— Что же ты ему сказала?

— Что он любит молодую девушку шестнадцати или семнадцати лет.

— Кто тебе сказал об этом?

— Это было на картах.

— Кто тебе сказал об этом? — повторил повелительно Сальватор.

— Баболен узнал об этом в квартале.

— А! Так вот каким ремеслом ты занимаешься, — сказал Сальватор, обращаясь к Баболену.

— Извините, господин Сальватор, я не думал, что делаю дурно, сказав об этом матери: всем и так было известно в предместье Святого Жакоба, что мсье Жюстен был влюблен в мадемуазель Мину.

— Продолжай, Броканта. Что ты еще говорила ему?

— Я ему сказала, что молодая девушка любит его, что они имели намерение пожениться, но что предположение это не осуществилось из-за суммы денег, которой никак не ожидали.

— Это ты откуда знаешь?

— Один добрый священник, господин Сальватор... один священник, седой, который уж конечно не лгал. Он говорил среди толпы, окружавшей его: "И как подумаешь, что эта сумма в двенадцать тысяч франков..." Я не знаю наверное, было ли то десять или двенадцать тысяч...

— Это безразлично!

— "И как подумаешь, — говорил священник, — что эта сумма в двенадцать тысяч франков, которую я привез, стала причиной всего несчастья..."

— Хорошо, Броканта! Что еще ты сказала ему?

— Я сказала ему еще, что мадемуазель Мина была похищена молодым человеком, брюнетом.

— Откуда ты это знаешь?

— Господин Сальватор, пиковый валет вышел на картах, видите? А пиковый валет...

— Откуда ты знаешь, что молодая девушка была похищена? — повторил Сальватор, топнув ногой.

— Я видела сама.

— Как ты ее видела?

— Видела так же, как вас теперь вижу, господин Сальватор.

— Где же ты видела ее?

— На площади Мобер. Этой ночью, господин Сальватор, этой ночью... Я только что прошла улицу Голанд и стала переходить площадь Мобер, как вдруг промчалась мимо меня карета, так скоро, что можно было подумать, что ее понесли лошади, но вот одно стекло опустилось, я слышу крик: "Ко мне! Помогите! Меня похищают!" — и хорошенькая головка блондинки, вроде херувимчика, высунулась из дверцы кареты. В тот же момент показалась другая голова... голова молодого брюнета с усами... он оттащил кричавшую от окна и поднял каретное стекло, но та, которую похищали, имела время выбросить письмо.

— Ну и это письмо?

— Это то самое, которое я отослала мсье Жюстену.

— В каком часу это было, Броканта?

— Это было около пяти часов утра, господин Сальватор.

— Хорошо! Это все?

— Да, это все.

— Зачем же ты не рассказала мсье Жюстену дело просто, как оно произошло?

— Я поддавалась искушению, господин Сальватор: я рассчитывала, что он будет рассказывать про то, что произошло с ним, а это принесло бы мне деньги.

— Вот, Броканта, получай луидор за высказанную тобой правду, — перебил Сальватор, — но на этот луидор ты купишь ребенку три пары нитяных чулок и одну пару козловых башмаков.

— Я хочу красные башмаки, господин Сальватор, — произнесла Роза.

— Ты выберешь того цвета, который пожелаешь, дитя.

Затем, обратясь опять к Броканте, он сказал:

— Ты слышала? Если ровно через неделю, ровно в этот час, я еще найду вас здесь, я увожу Розу... Не забудь, Броканта, — прибавил он вполголоса, — что ты головой отвечаешь мне за этого ребенка! Если ты уворишь ее от холода на своем чердаке, я тебя уморю холодом, голодом и прочим в подвале.

Произнеся эту угрозу, он наклонился к девочке, которая тут же подставила ему лоб для поцелуя.

Жан-Робер бросил прощальный взгляд на старуху и обоих детей и в свою очередь вышел следом за Сальватором.

— Что это за странная девочка? — спросил он Сальватора, выйдя с ним на улицу.

— А Бог ее знает! — ответил тот и рассказал Жану все, что знал о девочке, то есть уже известное и нам.

Рассказ этот был недолог, и, когда они приблизились к Новому мосту, он был окончен.

— Здесь! — произнес Сальватор, опершись на решетку статуи Генриха IV.

— Зачем же мы остановились?

— Мой милый, вы слишком любопытны.

— Однако...

— В качестве драматического поэта вам должно быть известно, что это своего рода талант, кто умеет хранить тайну.

Впрочем, они ждали не долго.

По прошествии десяти минут карета, запряженная парой бодрых лошадей, свернула с набережной Ювелиров и остановилась против статуи Генриха IV.

Мужчина лет сорока открыл каретную дверцу и, выглянув, произнес:

— Торопитесь, господа!

Молодые люди влезли в карету.

— Ты знаешь куда, — произнес тот же мужчина из кареты кучеру.

Лошади пустились вскачь и, повернув посредине Нового моста обратно, направились вдоль Школьной набережной.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Господин Жакаль

Расскажем теперь читателям то, что Сальватор счел лишним рассказать Жан-Роберу.

Расставшись с Жюстеном и Жан-Робером на улице предместья Святого Жакоба, Сальватор, как мы сказали, направился в полицию.

Он добрался до той глухой, безлюдной улицы, которая носит название

Иерусалимской и представляет из себя тесное, темное и грязное пространство, куда солнце заглядывает разве лишь украдкой.

Сальватор смело и свободно вступил в ворота префектуры, как человек, коротко знакомый с этим помещением.

Было семь часов утра, иначе сказать, день начал только заниматься.

Сторож остановил его.

— Эй, мсье! — закричал он ему. — Вы куда идете?.. А? Мсье!

— Что? — сказал Сальватор, оборачиваясь.

— Ах! Извините, господин Сальватор, я было не узнал вас.

— Господин Жакаль уже в конторе? — спросил Сальватор.

— Вернее сказать, что он еще там: он ночевал в конторе.

Сальватор пересек двор, вошел в дом, расположенный против ворот, по маленькой лесенке слева поднялся на третий этаж, прошел коридор и спросил у охранника о Жакале.

— Он сильно занят, — отвечал охранник.

— Доложите ему, что я Сальватор, комиссионер с улицы Фер.

Охранник исчез за дверью и почти тотчас же появился обратно.

— Через две минуты господин Жакаль к вашим услугам.

В самом деле, минуту спустя дверь растворилась и, прежде чем кто-либо показался в ней, послышался голос:

— Ищите женщину! Ей-ей! Ищите женщину!

Затем уже показался и человек, которому и принадлежал этот голос.

Попытаемся изобразить портрет Жакаля. Это был мужчина лет сорока, с чрезмерно длинным туловищем, худощавый, вытянутый, по выражению натуралистов, червеобразный и, вместе с тем, с короткими крепкими ногами. Корпус его доказывал гибкость, а ноги проворство.

Голова принадлежала, казалось, сразу ко всем семействам отряда плотоядных, волосы, или, если угодно, грива, были желто-бурой масти; длинные, торчащие уши, заостренные и покрытые шерстью, походили на уши бобра; глаза вечером отливали желтым огнем, днем — зеленым и походили и на рысьи и на волчьи. Зрачок, вертикально удлинённый, подобно кошачьему зрачку, сокращался и расширялся в зависимости от силы света или от обстановки; нос и подбородок были вытянуты, как у зайца.

В общем же — голова лисицы, а туловище хорька.

Он прищурился и заметил в полумраке коридора того, о ком ему доложили.

— А! Это вы, мой дорогой господин Сальватор! — произнес он, быстро устремляясь навстречу. — Что доставляет мне удовольствие видеть вас так рано?

— Мне сказали, что вы были очень заняты, — отвечал Сальватор, видимо, силясь преодолеть отвращение, которое внушал ему полицейский.

— Это совершенно верно, мой дорогой господин Сальватор, но вы также знаете, что нет такого дела, которого я не бросил бы тотчас, чтобы иметь только удовольствие побеседовать с вами.

— Послушайте, войдем к вам в кабинет, — перебил его Сальватор, не отвечая на любезную фразу.

— Это невозможно, — сказал Жакаль, — там двадцать человек ждет меня.

— Много ли у вас дела с этими людьми?

— Почти на двадцать минут — по минуте на человека. В девять часов мне нужно быть в Нижнем Медоне.

— Черт возьми! Это очень некстати, что я не могу поговорить с вами столько, сколько мне нужно: я имел сообщить вам нечто важное.

— Постойте!.. Вот идея!..

— Слушаю!

— Я еду в карете, и еду один, поезжайте со мной: вы сообщите мне о вашем деле дорогой. А теперь объясните мне в двух словах, в чем ваше дело?

— В похищении...

— Ищите женщину!

— Да мы ее и ищем!

— О! Нет, я говорю не про похищенную женщину.

— В таком случае, про какую же?

— Ту, которая приказала похитить другую.

— Вы полагаете, что в деле этом замешана женщина?

— Во всем и во всех делах всегда замешана женщина, господин Сальватор, это и составляет главное затруднение нашей службы. Вчера приходят мне сказать, что один кровельщик убит, сорвавшись с крыши...

— И вы сказали: "Ищите женщину!"

— Да, это первое, что я сказал.

— Ну и что же?

— Надо мной посмеялись; говорили, что я чудак! Стали все-таки искать женщину и нашли!

— Вот как!

— Чудак обернулся, чтобы поглядеть на женщину, которая одевалась на мансарде противоположного дома, и так увлекся созерцанием, что забыл, где он находится; он оступился и полетел вниз!

— Насмерть?

— Сильно разбился, глупец! Так вы согласны и поедете со мной в Нижний Медон?

— Да, но со мной мой друг.

— Карета четырехместная. Фарго, — обратился Жакаль к охраннику, — велите запрягать.

— Дело в том, что я должен предварительно зайти на Кишечную улицу, но затем вернуться.

— Я даю вам полчаса.

— Где же мы сойдемся?

— Место свидания у статуи Генриха IV, я велю остановить карету, вы войдете в нее, и мы поедем.

После этого Жакаль вернулся в свой кабинет, а Сальватор отправился на поиски Жан-Робера.

Все шло по намеченному плану: оба молодых человека уселись в карету Жакаля и покатали по направлению к Нижнему Медону.

Жакаль был старым комиссаром полиции, его блестящие способности возвели его до высшего положения — начальника полиции по охране порядка.

Жакаль знал всех воров, мошенников, цыган Парижа; освобожденные каторжники, воры патентованные, воры новички, воры заслуженные, воры, отказавшиеся от своего ремесла, — все они обитали под его недремлющим оком; как бы ни была темна ночь, она никогда не была слишком темна для Жакаля. Он знал все вертепы, картежные дома, волчьи притоны и западни, как Филидор — клетки своей шахматной доски; при одном взгляде на оторванный ставень, на разбитое оконное стекло, на рану, нанесенную ножом, он говорил: “О! Это сделал такой-то”. И редко ошибался.

У Жакаля, казалось, не было никаких природных влечений или потребностей. Если ему некогда было позавтракать, он оставался без завтрака; некогда было пообедать, он не обедал; некогда было поужинать, он не ужинал; некогда было поспать, он не спал!

С одинаковым удовольствием и равной свободой Жакаль менял свой облик: торговца на рынке, генерала Империи, швейцара в богатом доме, привратника, бакалейщика, аптекаря, гаера, пэра Франции, вольтижера из цирка — он бывал всеми и заставил бы покраснеть самого ловкого и даровитого актера.

Протей в сравнении с ним казался кривлякой из Тиволи или с бульвара Тампл. У Жакаля не было ни отца, ни матери, ни жены, ни брата, ни сестры, ни сына, ни дочери — он был одинок во всем мире и, казалось, лишен семьи по прихоти внимательной к нему судьбы, которая, избавив его таким образом от свидетелей его таинственной жизни, развязала ему руки для дела.

В его библиотеке, помещавшейся на четырех полках, стояли четыре различные издания Вольтера. В эту эпоху, когда все, а в полиции в особенности, духовные и светские иезуитствовали, он один говорил, совершенно не стесняясь, при всяком удобном случае цитировал из “Философского Словаря” и знал “La Pucelle”¹ наизусть. Упомянутые четыре экземпляра произведений автора “Кандида” были переплетены в шагренё с серебряным обрезом — этот печальный памятник погребенных убеждений их обладателя.

¹ Имеется в виду поэма Вольтера “Орлеанская девственница”.

Жакаль не признавал добра; зло, по его понятию, господствовало над всем миром. Искоренять зло представлялось ему единственной целью в жизни, он не признавал мира на иных началах. Он был в своем роде архангелом Михаилом для низших слоев. Последний суд уже настал для него, и он пользовался правами, которые ему доверило общество, подобно ангелу-истребителю, пользующемуся своим мечом.

Люди казались ему не более, чем коллекцией марионеток и паяцев, упражняющихся в различного рода профессиях, за нитки этих марионеток и паяцев, по его мнению, всегда дергали только женщины. Всякий раз, как ему доносили о заговоре, убийстве, краже, похищении, взломе, святотатстве, самоубийстве, он давал один и тот же ответ: "Ищите женщину!".

Женщину искали, и, когда она отыскивалась, можно было ни о чем больше не заботиться: остальное находилось само по себе. Жакаль видел в женщине основную причину даже там, где другой видел лишь одну неосторожность.

Таков был (о, портрет, конечно же, не полон!) Жакаль, с которым Сальватор и Жан-Робер ехали вдоль Тюильрийской набережной. Да, вот еще одна характерная особенность Жакаля: он носил зеленые очки не для того, конечно, чтобы лучше видеть, но чтобы его было видно похуже.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Ищите женщину!

Приняв молодых людей к себе в карету, Жакаль начал с того, что приподнял очки и устремил на Жан-Робера один из тех испытующих взглядов, которые ему вскрывали человека и физически и нравственно.

Через секунду очки его опустились — потому ли, что он узнал в Жан-Робере поэта, который, как мы сказали, прошел уже первый круг популярности, или потому, что честные черты лица юноши были достаточны, чтобы уверить Жакаля, что ему не придется иметь дела с этим человеком.

— А! — сказал он, удобно устроившись в мягком углу кареты, том самом углу, который он уступал Сальватору и от которого Сальватор отказался наотрез. — Итак, дело идет о похищении.

Жакаль достал табакерку — прелестную табакерку, которая более походила на изящную, деликатную бонбоньерку с лепешечками для Помпадур или Дюбарри — и с жадностью потянул в себя добрую щепотку табаку.

— Послушаем, расскажите-ка мне об этом.

Каждый человек имеет свою слабую сторону, свою пятку, не омытую водами Стикса. Жакаль мог обойтись без еды, без питья, без

сна, но не без табака. Табак и табакерка были ему вещами необходимейшими. Можно было бы сказать, что в этой табакерке он черпал те бесчисленные гениальные идеи, бесконечным и ежеминутным воспроизведением которых он удивлял своих современников.

Итак, он услаждался своей шепоткой табаку, когда произнес: "Послушаем, расскажите-ка мне об этом".

Сальватор передал ему дело со всеми подробностями, которые узнал от Броканты.

— И до сих пор не искали еще женщину? — спросил он.

— Не имели времени: мы узнали о происшедшем лишь в семь часов утра.

— Черт возьми! — продолжал он. — Они должны были перевернуть все в темноте и вытоптать весь сад.

— Кто?

— Да эти дуры!

Жакаль имел в виду содержательницу пансиона, ее помощниц и учениц.

— Нет, — сказал Сальватор, — с этой стороны опасности нет.

— То есть?

— Жюстен поехал на лошади этого господина, — Сальватор указал на Жан-Робера, — и станет стражем у ворот.

— Ну, ладно. Теперь, если только найдут женщину, все пойдет хорошо.

— Но, — осмелился было возражать Сальватор, — я не знаю возле нее ни одной женщины, которой следовало бы опасаться.

— Следует всегда остерегаться женщины.

— Не имеете ли вы какого-либо предположения, господин Жакаль?

— Вы говорите, что молодой человек похитил вашу Мину?

— Мою Мину? — переспросил Сальватор, улыбаясь.

— Ну, этого школьного учителя... Мину как таковую, наконец!

— Да, Броканта, которая видела, как они проезжали около четырех часов утра, как я рассказал вам, признала молодого человека, она даже утверждает, что он был брюнет.

— Ночью все кошки серы!

И, произнеся эту поговорку, Жакаль покачал головой.

— Вы сомневаетесь в чем-нибудь? — спросил Сальватор.

— Да, и вот в чем... Мне кажется неестественным, чтобы молодой человек похищал девушку: теперь это вовсе не в наших нравах, разве что он принадлежит к очень знатной фамилии при дворе и не боится сейчас, в девятнадцатом веке, отважиться подражать Лозану и Ришелье...

— Однако это так.

— В таком случае, опять-таки будем отыскивать женщину! Женщина неизбежно должна играть какую-либо роль в этой таин-

ственной драме. Вы говорите, что не видите ни одной женщины возле нее, а я только и вижу что женщин: содержательница пансиона, помощницы ее, сотоварки, горничные... А! Вы еще не знаете, что такое пансионы. Как вы наивны!

Жакаль вынюхал вторую щепотку табаку.

— Все эти пансионы, видите ли, господин Сальватор, — продолжал он, — это те же пылающие костры, в которых живут и бьются молодые пятнадцатилетние девушки, подобно саламандрам, о коих повествуют древние натуралисты. Что же касается меня, я знаю хорошо только то, что, если бы я имел дочь невесту, я, скорее, запер бы ее у себя в подвале, чем поместил в пансион... Вы не имеете и понятия о тех жалобах, которые приходят в “полицию нравов” на пансионы. Не думайте, что я обвиняю в чем-либо начальниц пансионов — нет, но что девочки влюбляются, это старая басня Евы. Начальницы, помощницы их, сторожихи, напротив, постоянно бодрствуют, как собаки вокруг фермы или телохранители вокруг царя. Но как вы воспрепятствуете волку войти в овчарню, если овца сама открывает ему дверь?

— В данном случае это не так — Мина обожала Жюстена.

— Ну так это дело подруги. Вот почему я сказал и повторяю: “Будем искать женщину!”

— Я начинаю склоняться к вашему убеждению, господин Жакаль, — начал Сальватор, наморщив лоб и как бы сосредоточиваясь на некой неясной и подозрительной догадке.

— Я, конечно, — продолжал полицейский, — не сомневаюсь в целомудренности вашей Мины... Говоря “ваша Мина”, я хочу сказать: Мина вашего школьного учителя... Я верю, что она, поступая в пансион, не внесла с собой ни одного преступного умысла, могущего испортить растения, ее окружающие. Хорошо воспитанная, она могла иметь в себе лишь сокровища доброты и искренности, которые она восприняла под надзором своей воспитательницы. Но для чистого благоухающего цветка сколько дурных растений распространяют свои вредные испарения! Ведь семья, сама того не ведая, делает ребенка беззаботным и легкомысленным. Никогда не надо ничего забывать, господин Сальватор, усвойте это хорошенько. Ребенок лет десяти, видевший однажды невинные феерии в комическом театре Амбигю, если он мальчик, попросит в пятнадцать лет копьё всадника, чтобы заколоть гигантов, стерегущих или преследующих принцессу его сердца. Если же это девочка, то она вообразит себя непременно этой принцессой, преследуемой своими родными, и употребит все усилия, которые ей откроют чародей или фея, только чтобы воссоединиться со своим обожателем. Наши театры, музеи, стены, магазины, наши прогулки, все это способствует возбуждению в душе ребенка тысячи капризов, которые и без отца с матерью объяснит ему всякий прохожий или нянька. Все способно возбудить и поддерживать в ребенке эту страсть сознания, которая составляет зло детства: и мать, которая за-

трудняется объяснить дочке, зачем при входе в церковь красивый молодой человек предлагал святой воды молодой девушке; зачем в летний день парочка влюбленных целовалась в поле; зачем женятся, ходят к обеду, когда другие не ходят; наконец, мать, не способная открыть своей дочери ни одной из тайн, которые та видит мельком, и, испугавшись ее любознательности, отсылает ее в пансионат, где все эти секреты она выведывает у старших подруг, и тем разрушает и здоровье свое и добродетель, а затем также “просвещает” уже своих младших подруг. Вот, мой дорогой господин Сальватор, каким образом молодая девушка, происходящая из самой честной семьи, вступает в пансион, неся в себе ядовитое семя, которое позднее заражает все поле!.. Вот и доходит до того, что неразумная молодежь, не имея возможности удовлетворить свою в большинстве случаев ложную фантазию, решается Бог знает на что!..

Молодой человек влюбляется в девушку, которая его и не успела полюбить еще, он не дожидается того, чтобы она его полюбила, и убивает себя! Молодая девушка любит молодого человека, который разлюбил ее, но на которого она рассчитывала, что он уже как муж поможет ей скрыть плод ее любви к нему, и также обрывает свою жизнь. Двое молодых людей любят друг друга, но родители отказываются повенчать их, и опять готово двойное самоубийство... Вот, хоть сегодня: я еду констатировать в Нижнем Медоне самоубийство мадемуазель Кармелиты и мсье Коломбо. Ну и что же...

Молодые люди вздрогнули.

— Извините, — сказали они одновременно, перебивая Жакаля.

— Что такое?

— Мадемуазель Кармелита, не ученица ли Сен-Дени? — спросил Сальватор.

— Точно.

— А Коломбо — не бретонский ли дворянин? — спросил Жан-Робер.

— Совершенно верно.

— Теперь, — пробормотал Сальватор, — я понимаю то письмо, что сегодня получила Фрагола.

— О! Бедный юноша! — произнес Жан-Робер. — Я слышал его имя от Людовика.

— Но молодая девушка была чистейший ангел! — сказал Сальватор.

— А молодой человек — просто святой! — прибавил Жан-Робер.

— Без сомнения! — саркастически произнес старый волтерьянец. — Вот потому-то они и попали на небо: они считали себя на земле не на своем месте, бедные дети!

— Причины этой смерти уже известны? Вы можете нам рассказать о них? — спросил Жан.

— Рассказать вам о катастрофе во всех ее подробностях? Бог мой, да вам стоит только переменить имена, чтобы воспользоваться этой катастрофой для поэмы или романа: материала хватит, я вам это обещаю.

И пока они катили по набережной до Севрского моста, Жакаль передал молодым людям, внимательно его слушавшим, следующий рассказ, который хоть и кажется на первый взгляд не идущим к делу, о котором мы повествуем, но кончится тем, что, рано или поздно, все получит должную связь.

А потому пусть наши читатели вооружатся терпением: мы лишь в начале повествования и только представляем всех наших действующих лиц.

A highly decorative, symmetrical border in a black and white woodcut style. It features intricate scrollwork, floral motifs, and a central oval frame that encloses the title text.

МОГИКАНЕ ПАРИЖА

Часть
вторая



ГЛАВА ПЕРВАЯ,
в которой доказывается, что можно невзначай,
причем в одном случае из ста,
найти хороших соседей

Двенадцатый округ представлял в 1827 году, как и ныне, самую бедную часть населения французской столицы, что явствует даже и из ежегодно публикуемых официальных статистических сведений.

Если к этому прибавить, что в этом округе живут по большей части только тряпичники, угольщики, мелкие разносчики, дворники, поденщики всякого рода и извозчики, то окажется, что и в имущественном отношении жизнь в нем оставляла желать лучшего.

Но так как большая часть событий, о которых нам предстоит рассказать, происходила именно в этом округе, то необходимо ознакомиться и с тем, что он из себя представлял, как выглядел в ту пору.

Самую живописную часть составлял квартал Святого Жакоба, между улицами Валь-де-Грас и Ла-Бурб, называемой нынче улицей Пор-Рояль.

И действительно, если приходилось тогда идти по улице Святого Жакоба от улицы Валь-де-Грас, то все старые, безобразные и скверно настроенные дома оказывались окруженными прекрасными садами, какие ныне встречаются только вокруг нескольких богатейших отелей Парижа.

Дом под номером 350 по улице Сен-Жак представлял из себя мир, наверно, совершенно незнакомый большинству порядочных людей в обществе. Обыкновенно каждый из нас, отправляясь в такие места, ожидает, что его охватит нестерпимое зловоние, неизбежно свойственное всем притонам нищеты, но здесь, напротив, поражал прелестный аромат роз и жасминов в цвету, а из окон виднелся клочок истинного рая земного.

Фасад дома, в котором обитали герои ужасной истории, рассказанной Жакалем, был того темного цвета, в который время и непогоды окрашивают и все стены старого Парижа.

Вход в этот дом составляла узенькая дверь, ведущая в коридор, в котором было совершенно темно даже ясным летним днем.

Тому, кто появлялся здесь в первый раз, невольно приходило в голову, что он попал или в мастерскую трапичников или в притон фальшивомонетчиков, но только что он спускался с последней ступеньки, как оказывался в каком-то эдеме.

Выход из коридора вел во двор, за которым виднелся сад. Посреди него стоял совершенно белый домик с зелеными ставнями. Фундамент его опирался на ярко-зеленый дерн, а по стенам вились всевозможные ползучие растения.

Дом этот был трехэтажным, и все окна его выходили в сад. Все три этажа разделялись на шесть отдельных и совершенно одинаковых квартир, состоявших из трех комнат и кухни.

Четыре из этих квартир, а именно в нижнем и среднем этажах, были заняты семьями ремесленников. Все это были люди тихие, воздержанные и домоседы. По воскресеньям они не ходили с товарищами по кабакам, а занимались возделыванием участков сада, приданных их квартирам.

На верхнем этаже по той же лестнице жили друг против друга два главных действующих лица этого рассказа.

Тот, кто жил в маленькой квартире налево, был молодой человек лет двадцати двух с красивым, открытым лицом, светлыми глазами и с белокурыми волосами, падавшими на его сильные плечи. Ростом он был скорее мал, чем велик, но в ширине плеч в нем сказывалась замечательная физическая сила. Родился он в Кэмпере, но стоило только посмотреть на него самого, не заглядывая в его метрическое свидетельство, чтобы знать, что он бретонец, так энергично и честно было выражение этого галльского лица.

Отец его, старый разорившийся дворянин, живший в башне, единственной уцелевшей части разрушенного во время Вандейской войны замка, отпустил сына в Париж для окончания юридического образования. Выйдя из колледжа в 1823 году, молодой Коломбо де Пенюэль тотчас поселился в этой маленькой квартире на улице Святого Жакоба и жил в ней уже целые три года.

Отец выдавал ему скромное содержание в тысячу двести франков в год, деля с ним пополам все, что получал с уцелевшей доли своих наследственных владений.

Квартира обходилась Коломбо всего в двести франков в год, а остававшаяся за их уплатой тысяча составляла при скромности воздержанного молодого человека целое богатство.

Стоял январь 1823 года. Коломбо поступил на третий курс.

На церкви Святого Жака пробило десять часов вечера.

Молодой человек сидел у камина, сосредоточенно изучая кодекс

Юстиниана, как вдруг где-то недалеко раздались душу раздирающие крики и стоны.

Он вскочил, отпер дверь на лестницу и увидел у противоположной двери молодую девушку. Волосы у нее были растрепаны, лицо мертвенно-бледно. Она рыдала, ломая руки, и звала на помощь.

В квартире, бывшей напротив той, в которой помещался Коломбо, жили мать с дочерью. Мать была вдовой капитана, убитого при Шампобер во время кампании 1814 года, и существовала пенсионом в тысячу двести франков да кое-какой работой, которую ей доставляли знакомые белошвейки из квартала.

Сначала она поселилась одна, но месяцев шесть спустя, поднимаясь домой по лестнице, Коломбо встретил какую-то высокую и чрезвычайно красивую девушку, которой до сих пор никогда еще не видал.

По натуре он был не особенно общителен, а потому только после двух или трех таких встреч решился расспросить одного из соседей и узнал, что девушку эту зовут Кармелитой, что она дочь его соседки по лестничной площадке и как дочь офицера и кавалера почетного легиона получила образование в институте Сен-Дени, а теперь окончила курс и поселилась у матери.

Первая встреча молодого человека с Кармелитой случилась во время каникул в сентябре 1822 года. Недели через две Коломбо уехал на два месяца к отцу и, возвратясь оттуда в январе 1823 года, встречал ее только изредка. Встречаясь, они обменивались вежливыми поклонами, но никогда не разговаривали. Девушка была для этого слишком застенчива, Коломбо — слишком почтителен.

Но однажды Коломбо встал несколько раньше обыкновенного и когда возвращался домой со своим ежедневным завтраком, то встретил на лестнице Кармелиту, которая в этот день, наоборот, несколько опоздала.

Коломбо, по обыкновению, поклонился ей, не по-студенчески, а как истинный джентльмен. Но она, вместо того, чтобы с молчаливым видом пройти мимо, вспыхнула и сказала ему:

— Могу ли я попросить вас об одолжении? Мы с матушкой очень любим музыку и каждый вечер с удовольствием слушаем, как вы играете и поете. Но вот уже несколько дней, как матушка заболела, и хотя она никогда не жаловалась, но вчера у нас был врач и, услышав музыку, сказал, что она слишком утомляет больную.

— Извините меня! — вскричал молодой человек, в свою очередь краснея до корней волос. — Но я совершенно не знал, что ваша матушка заболела! Поверьте, я никогда не прошу себе, что потревожил ее своей забавой.

— Напротив, это я должна просить у вас извинения, что из-за нас вам пришлось лишиться удовольствия, и очень благодарю вас за то, что вы на это согласны.

Они раскланялись, а Коломбо, избежав к себе, запер свой инструмент, чтобы не раскрывать его до тех пор, пока мадам Жерье не выздоровеет окончательно.

С этих пор он встречал Кармелиту гораздо чаще. Болезнь ее матери усилилась, и она беспрестанно бегала от доктора в аптеку. Даже ночью Коломбо несколько раз слышал, как она спускалась по лестнице. Ему очень хотелось предложить ей свои услуги, и он сделал бы это от чистого сердца и без всякой задней мысли, но Коломбо был чрезвычайно застенчив, он решительно не знал, как начать, как высказать свое предложение, и бросился к ней на помощь только тогда, когда девушка сама стала звать его громкими криками.

Но, к сожалению, было слишком поздно. Крики девушки были вызваны не необходимостью в чем-нибудь содействии, а ужасом.

У мадам Жерье был аневризм в последней стадии, хоть доктор и не предупредил об этом Кармелиту, не желая огорчать ее заранее. Бедную больную терзало удушье. Чтобы несколько освежиться, она попросила воды. Дочь хотела приготовить ей питье и пошла в другую комнату, но вдруг услышала не то зов, не то стон. Бросившись к матери, она нашла ее лежащей с запрокинутой головой. Она подсунула ей руку под спину и приподняла. Глаза больной как-то страшно уставились на дочь. У Кармелиты от ужаса удвоились силы. Продолжая поддерживать мать, она поднесла ей к губам стакан. Но в тот момент, когда мадам Жерье коснулась края стакана, она вдруг мучительно вздохнула, тело ее мгновенно стало гораздо тяжелее, и, несмотря на все усилия, Кармелита принуждена была вновь опустить ее на подушки.

Девушка еще раз собралась с силами и снова приподняла мать, поднеся ей стакан.

— Пей же, пей, мамочка! — лепетала она.

Но губы больной были крепко сжаты, и она не отвечала. Кармелита несколько наклонила стакан. Вода полилась по обеим сторонам губ, но в рот не попала.

Глаза больной были неестественно широко раскрыты и как бы не могли оторваться от дочери.

На лбу девушки выступил холодный пот.

Однако в этих широко раскрытых глазах ей виделся луч надежды.

— Пей же, пей, напейся, мама! — твердила она.

Больная по-прежнему молчала.

Вдруг Кармелите показалось, что шея, которую она держала, обхватив рукой, стала быстро холодеть. Она с ужасом опустила ее на подушки, поставила стакан на стол, бросилась на тело матери, обвивая его руками и глядя на него почти такими же, как и у покойницы, глазами; потом принялась, как безумная, целовать ее лицо и руки. В первый раз в жизни сердце несчастной девушки сжалось болезненным предчувствием того, что она может лишиться единственного существа, которое любило ее на всем свете. Но ведь всего за минуту перед тем мать говорила с ней, и она никак не могла поверить, чтобы ужасный переход от жизни к смерти совершился так просто, без малейшего потрясения, судорог, стонов, криков и шума. Она поцеловала мать в лоб, но ее лихорадочно горевшие губы кос-

нулись мертвенно холодной кожи, и она отпрянула, испуганная, но все еще не убежденная.

Голова умершей тяжело скатилась на подушки, тусклые глаза продолжали смотреть на дочь с последним проблеском материнской нежности. Но взгляд их вместо того, чтобы успокоить девушку, начинал ее все больше пугать.

В конце концов ее охватила паника. Она пыталась не смотреть на мать, но взгляд роковым образом останавливался на ее страшных глазах, и Кармелита вдруг испуганно закричала:

— Мама! Мама! Да скажи же хоть слово! Ответь же мне! А не то я подумаю, что ты умерла!

Она снова нагнулась к матери, но видя неподвижность трупa, и сама каменела. Теперь она уже только звала ее, но дотронуться не решалась. Наконец, убедившись, что ответа не будет и не смея дольше оставаться в комнате под взглядом страшных мертвых глаз, и страшась, и не веря самому ужасному, она бросилась к двери, отперла ее и громко крикнула:

— Помогите!

На этот крик из своей квартиры выбежал Коломбо.

— О, послушайте! — вскричала она. — Мама смотрит на меня, но не отвечает.

— У нее, вероятно, обморок! — успокоил ее Коломбо, которому тоже не пришла в голову мысль о смерти.

Он вбежал в спальню.

Увидя уже коченеющий труп, он с ужасом остановился. Рука, которую он схватил, чтобы пощупать пульс, была холодна, как лед.

Ему вспомнилось, что, когда ему было пятнадцать лет, он видел, как лежала на кровати его мать, и что тогда он заметил у нее те же перемены в лице, которые видел теперь.

— Ну?.. Ну что же? — спрашивала Кармелита, рыдая. Коломбо успел овладеть собой и продолжал делать вид, будто думает, что у больной обморок, чтобы дать девушке время приготовиться к ужасной истине.

— Да, вашей матушке очень нехорошо! — сказал он.

— Но отчего же она не говорит ничего?

— Подойдите к ней, — предложил Коломбо.

— Не могу... не смею! Зачем она смотрит на меня так страшно? Чего она хочет?

— Она хочет, чтобы вы закрыли ей глаза и чтобы мы с вами вместе помолились за упокой ее души.

— Но ведь она же не умерла, не правда ли? — вскричала девушка.

— Встаньте на колени, мадемуазель Кармелита, — сказал Коломбо, ободряя ее собственным примером.

— Что вы хотите этим сказать?

— То, что Бог, дарующий нам жизнь, всегда вправе и взять ее от нас.

— А! Понимаю! — вскричала несчастная Кармелита, словно пораженная громом. — Мама умерла!

Она отшатнулась назад, точно и сама умирала.

Коломбо подхватил ее и отнес на кровать, стоявшую в алькове соседней комнаты.

На крик Кармелиты прибежали с нижнего этажа жена одного из ремесленников и бывшая у нее в гостях подруга.

Войдя в отворенную квартиру Жерье, они застали Коломбо в хлопотах возле потерявшей сознание девушки.

Но так как все старания его оставались безуспешны, одна из них взяла графин, стоявший на туалете, и облила лицо несчастной сироты водой.

Кармелита задрожала всем телом и очнулась. Женщины хотели было раздеть ее и уложить в постель, но она, хоть и с усилием, поднялась на ноги и, обращаясь к Коломбо, проговорила:

— Вы сказали, что мама просит, чтобы я закрыла ей глаза... Отведите меня к ней... отведите... прошу вас!.. А не то ведь она станет вечно смотреть на меня так страшно! — прибавила она с ужасом.

— Пойдемте, — ответил Коломбо, которому показалось, что она начинает бредить.

Опираясь на его руку, она вошла в комнату матери и тихо приблизилась к кровати. Глаза умершей уже потускнели, но все еще смотрели тем же упорным, неподвижным взглядом. Кармелита осторожно и почтительно опустила ей веки.

Но, очевидно, это стоило ей страшного усилия над собой, потому что она тотчас снова потеряла сознание и упала на труп матери.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Брат Доминик Сарранти

Коломбо опять поднял Кармелиту на руки и, как ребенка, отнес в соседнюю комнату, где были две женщины. Теперь ее можно было раздеть и уложить.

Коломбо ушел к себе, но попросил жену ремесленника зайти к нему, как только она уложит Кармелиту.

Минут десять спустя она была у него уже в квартире.

— Ну что, как? — спросил он.

— Да хорошего мало, — ответила женщина. — Очнуться-то она очнулась, а только все держится за голову да болтает какие-то несуразности.

— Есть у нее родственники?

— Мы ихних никого не знаем.

— Ну, может быть, у них есть друзья по соседству.

— Друзей-то уж, наверно, нет! Они ведь бедные были, да такие тихие, что и знакомым-то у них откуда взяться?

— Что ж тогда делать? Ведь нельзя же оставить ее в одном месте с покойницей. Надо ее перенести куда-нибудь.

— Я взяла бы ее к себе, да у нас всего одна кровать... Ну, да все равно, — продолжала добрая женщина, как бы говоря уже сама с собой. — Пошлю мужа в чулан, а сама посижу и на стуле.

Такая готовность помочь даже и совершенно незнакомому человеку особенно свойственна простым женщинам. Они готовы уступить и свою постель, и свой стол с такой же простотой и любезностью, с какой приказчик в лавке подает вам стакан воды. Простая женщина бросается на помощь больному, огорченному или умирающему с таким целостным великодушием, которое в глазах как моралиста, так и философа составляет одну из прекраснейших черт ее характера.

— Нет, — сказал Коломбо, — сделаем лучше вот как: перетащим кровать девушки в мою квартиру, а мою к ним. Вы сходите за священником для умершей, а я пойду за доктором для больной.

Женщина, видимо, чем-то затруднилась.

— Что такое? — спросил Коломбо.

— Уж лучше за доктором пойду я, а за священником — вы, — предложила она.

— Почему?

— Да потому, что покойница-то скончалась неожиданно.

— Да, ваша правда, никто этого не ждал.

— Ну, вот видите, значит, умерла она...

— Я вас не понимаю...

— ... не исповедовавшись.

— Да ведь вы же сами говорите, что она и добрая и честная, чуть не святая, была.

— Это все равно, да только патер-то... Не станет он наших речей слушать — не пойдет!

— Как? Священник не пойдет читать молитвы над умершей?

— Известное дело — не пойдет! За то, что она умерла без причастия.

— Хорошо! Так ступайте за доктором, а я пойду за священником.

— Доктор-то здесь недалеко — напротив.

— А не знаете ли вы человека, который отнес бы от меня письмо на улицу По-де-Фер?

— Да вы напишите письмо, а я уж найду, с кем отправить.

Коломбо сел к столу и написал:

“Дорогой друг, поспешите ко мне. В Вас нуждаются два существа — одно живое, другое мертвое”.

Сложив письмо, он надписал и адрес:

“Брату Доминику Сарранти.

Улица По-де-Фер, №11”.

Подавая письмо женщине, он сказал:

— Отошлите это, и священник явится.

Она спешно пошла вниз.

Оставшись один, Коломбо несколько прибрал комнату и перетасил свою кровать к соседям, а кровать Кармелиты к себе.

Женщина, бывшая в гостях у жены ремесленника, обещала посидеть с больной до возвращения своей подруги, а если окажется нужным, то и до утра.

Бред усиливался с каждой минутой.

Женщина уселась возле кровати, а Коломбо сбегал в лавку, купил восковую свечку и поставил ее в головах умершей.

Пока он ходил, вернулась соседка из нижнего этажа с доктором, и, предоставив больную ему и своей подруге, сама отдала последние заботы умершей — скрестила ей на груди руки и положила на грудь распятие.

Коломбо зажег свечку, встал на колени и начал читать заупокойные молитвы.

Обеим женщинам необходимо было оставаться при больной. Доктор объяснил, что у нее воспаление в мозгу, сделал все нужные предписания и прибавил, чтобы их исполняли, как можно строже, потому что воспаление может осложниться.

Что касается матери, то она скончалась от разрыва сердца.

Многие из современных умников расхохотались бы, увидев, как молодой человек, стоя на коленях, читает заупокойные молитвы по молитвеннику, украшенному его гербами, над телом совершенно незнакомой ему женщины. Но Коломбо принадлежал к числу старинных бретонцев, всегда высоко державших знамя религии. Предки его продали свои владения, чтобы последовать за Готье-Бессребреником в Иерусалим, приводя при этом одну причину: "Так хочет Бог".

Юноша молился горячо и искренне, силясь отогнать от себя все земные помыслы, но вдруг услышал позади себя скрип отворявшейся двери.

Он оглянулся.

То был брат Доминик в своем живописном белом с черным костюме.

За исключением товарищей по колледжу, которых принято называть друзьями, этот молодой монах был единственным другом Коломбо в Париже.

Однажды, проходя мимо церкви святого Жака, молодой студент заметил, что туда стеклось чуть не все население предместья. Когда он спросил, в чем дело, ему ответили, что какой-то монах в белом одеянии говорит проповедь.

Он вошел.

На кафедре, действительно, стоял молодой, но изнеможенный страданием или постом монах.

Говорил он на тему о покорности.

Он делил ее на две сильно различающиеся между собой части. В случаях несчастий, посланных самим Богом (смерть, ужасные события, неизлечимые болезни), он советовал:

“Покоряйтесь, братья! Преклоняйтесь под рукой Карающего и молитесь ему с кротостью. Покорность есть одна из величайших добродетелей”.

Но в несчастях, происходящих от злобы или заблуждений человеческих, он этой покорности не допускал.

“Боритесь с ними, братья! — говорил он. — Действуйте против них всеми силами, данными вам Господом. Укрепляйтесь верой в Бога, в ваше право и в самих себя! Начинайте борьбу и бейтесь до последней капли крови. Покорность против злобы есть трусость!..”

Коломбо дождался конца проповеди и при выходе из церкви пошел позвать руку монаху, не как священной особе, но как человеку, который умеет ценить три добродетели, составлявшие главную основу его собственного характера: простоту, кротость и силу.

Чтобы понять личность этого молодого монаха, необходимо взглянуть и на его прошлое.

Звали его Домиником Сарранти, и во всем существе его было много общего с мрачным святым, которого случай сделал его покровителем.

Родился он в маленьком городке Вик-Десо, лежащем в шести лье от Фуа и в нескольких шагах от испанской границы.

Отец его был корсиканец, мать — каталанка, и он походил на обоих родителей. В нем чувствовались и злопамятство корсиканца, и поразительная выносливость каталанки. Достаточно было увидеть его на кафедре, величаво жестикулирующим, или услышать мрачные речи, чтобы принять его за испанского монаха, попавшего во Францию по делам миссии.

Отец его родился в Аяччо, в один год с Наполеоном I, связал свою участь с судьбой гениального земляка и вместе с ним переносил все ее превратности — был с ним и на Эльбе, и на Святой Елене. В 1816 году возвратился во Францию. Когда его спрашивали, почему он покинул прославленного пленника, он отвечал, что не выносит слишком жаркого климата.

Люди, хорошо его знавшие, не верили ему; они знали, что Сарранти принадлежит к числу тех тайных эмиссаров, которых император рассылает по всей Франции, чтобы подготовить свое возвращение со Святой Елены, как подготовлено было возвращение с Эльбы, или, по крайней мере, если это окажется невозможным, то хотя бы отстаивать интересы его сына.

Он поступил воспитателем к двум детям в дом очень богатого человека по фамилии Жерар. Дети эти были Жерару не родные, а приходились ему племянниками. Но в 1820 году, как раз в пору заговора Нанте и Берара, Гаэтано Сарранти вдруг исчез. Говорили, что он направился в Индию, к одному бывшему наполеоновскому генералу, поступившему на службу к лахорскому принцу.

Мы уже упоминали об этом бегстве Гаэтано Сарранти, говоря об исчезновении колесника с улицы Святого Жакоба, вследствие чего маленькой Мине пришлось остаться в семье Жюстена. По этому же

поводу упоминали мы и о сыне Сарранти, получившем образование в семинарии Сен-Сюльпис.

Этот сын и стал впоследствии братом Домиником, которого за его испанский тип обыкновенно называли фра Доминико.

Молодой человек уже издавна посвятил себя духовному званию. Мать его умерла, отец уехал на Святую Елену, и он был вправе располагать собою по своему усмотрению.

Возвратясь в 1816 году во Францию, Гаэтано с горестью и удивлением узнал о таком, по его мнению, странном призвании сына и употребил все усилия, чтобы отвратить его от него. Он привез с собой сумму, вполне достаточную для того, чтобы поставить молодого человека в обществе независимо, но сын не хотел об этом и слышать.

В 1820 году, когда Гаэтано Сарранти снова исчез, его сына, еще пансионера Сен-Сюльпис, несколько раз вызывали в полицию.

Однажды товарищи заметили, что он возвратился гораздо мрачнее и бледнее обыкновенного. На отца его падало обвинение гораздо позорнее, чем участие в заговоре и посягательство на спокойствие государства. Его обвиняли не только в действиях, противных общественному спокойствию, и в похищении у Жерара суммы в триста тысяч франков, но и в исчезновении, и, как впоследствии говорили, даже в убийстве двоих его племянников.

Правда, следствие по этому делу было скоро прекращено, но, тем не менее, на беглеце продолжало висеть то же подозрение.

Все это делало Доминика все мрачнее как человека, и все строже как священника.

Когда настала пора его пострижения, он объявил, что хочет вступить в один из самых строгих орденов, и принял монашество в ордене святого Доминика, носившего во Франции официальное название ордена яковинцев, так как первый монастырь этого ордена был построен в Париже, на улице Святого Жакоба.

После пострижения, на другой день своего совершеннолетия, он получил сан священника.

Таким образом, в то время, к которому относится начало нашего романа, брат Доминик священнослужительствовал уже два года.

Это был человек лет двадцати восьми с большими черными живыми и пронизательными глазами, высоким лбом и бледным мрачным лицом. При высоком росте он обладал плавностью и сдержанностью движений и величавой походкой. Глядя на него, когда он шел теневой стороной улицы, несколько печально опустя голову, казалось, что это один из красавцев монахов Сурбарана сошел с полотна и мерным величавым шагом идет в бурные волны житейского моря.

Но вообще в энергии и непреклонности воли, отличавших это лицо, сказывалась, скорее, непоколебимая верность раз признанному принципу, чем борьба властолюбивых страстей.

Разум у этого человека был ясен и трезв, отношение к вещам и людям — прямое, сердце — открытое чужим страданиям.

Единственным непростительным грехом он считал равнодушие к интересам человечества, потому что, по его мнению, любовь к человечеству лежала в основе всякого народного благосостояния. Когда он говорил о той чудной гармонии, основанной на братстве, которая в будущем, хоть и весьма отдаленном, должна воцариться между народами, соответственно гармонии, существующей между мировыми телами, им овладевало пламенное вдохновение.

О свободе народов он говорил с блистательным красноречием, которое увлекало слушателей неотразимым обаянием, слова его вырывались из глубоко убежденной души, они вдыхали в человека силу, зажигали в нем огонь энергии, каждый из слушателей был готов прикоснуться к полам его рясы и воскликнуть:

— Иди вперед, пророк! Я последую за тобой!

Но было нечто, постоянно угнетавшее эту сильную душу, и то было обвинение в воровстве, падавшее на его отца.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Симфония роз и весны

Таков был молодой монах, появившийся на пороге комнаты умершей вдовы, возле которой усердно молился молодой студент. При виде этого странного зрелища он остановился.

— Друг, — проговорил он своим звучным голосом, которому умел при случае придавать какой-то удивительно мягкий и утешительный оттенок, — надеюсь, успошая не мать и не сестра вам?

— Нет, — ответил Коломбо, — сестер у меня никогда не было, а мать умерла, когда мне было всего пятнадцать лет.

— Бог сохранил вас для опоры старости вашего отца, Коломбо.

Монах подошел ближе и хотел опуститься на колени.

— Пойдите, Доминик, — проговорил Коломбо, — я послал за вами, потому что...

— Потому что я был вам нужен, а я по этой же причине и пришел. Я к вашим услугам.

— Я послал за вами, друг, потому что женщина, труп которой вы видите, умерла от разрыва сердца. Жизнь она вела честную, соседи считали ее святой, но исповедаться и причаститься перед смертью она не успела.

— Судить о том, в каком настроении душевном она скончалась, может один только Бог, — возразил монах. — Помолимся!

Он подошел к Коломбо и встал рядом с ним на колени.

Коломбо, однако, пробыл с ним недолго. Возле больной была сиделка, возле умершей — священник, но ему самому предстояло позаботиться еще о многом.

Мимоходом он справился о том, как чувствует себя Кармелита.

Оказалось, что доктор прописал ей какую-то микстуру с опиумом, и она уснула.

Коломбо захватил с собой все свои деньги до последнего сантима и устроил все дела с гробовщиками, духовенством и кладбищенскими старостами.

Он вернулся домой только в семь часов вечера. Доминик задумчиво сидел у изголовья умершей. Ревностный служитель Божий ни на минуту не отошел от нее. Коломбо уговорил его сходить пообедать. Казалось, что этот странный человек вовсе не подчинен необходимым, составляющим суть жизни других людей. Он послушался Коломбо, но минут через десять возвратился и снова занял свое место.

Между тем Кармелита проснулась в сильном бреду. Но в этом было и свое преимущество — она не осознавала предстоящего. Страдания физические переживаются гораздо легче, нежели душевные.

Соседи приняли горячее участие в похоронах доброй вдовы. Гробовщик принес гроб и, вместо того, чтобы заколотить его гвоздями, привернул крышку винтами, чтобы Кармелита даже в бреду не слышала зловещего стука.

Так как вдова скончалась скоропостижно, тело ее можно было отнести в церковь Святого Жака только на третий день после смерти. Заупокойную обедню служил в малом притворе брат Доминик. После этого тело отвезли на Западное кладбище.

За гробом шли Коломбо и двое ремесленников, которые решились пожертвовать своим дневным заработком, чтобы исполнить долг христианского братолюбия.

Болезнь Кармелиты меж тем текла своим чередом. Доктор оказался знатоком своего дела и вел лечение чрезвычайно искусно. Через восемь дней больная пришла в себя, через десять была уже вне всякой опасности, а через пятнадцать встала с постели.

Узнав о смерти матери, она горько заплакала, и это спасло ее. Сначала она была так слаба, что с трудом могла разговаривать.

Когда она в первый раз открыла глаза, то увидела возле своей постели благородное лицо Коломбо. Он же был и последним человеком, которого она видела, прежде чем потерять сознание.

Она слабо кивнула в знак благодарности, приподняла исхудалую руку и протянула ее молодому человеку, а тот, вместо того, чтобы пожать ее, поцеловал с таким почтением, будто в его глазах страдание уравнивало бедную девушку с величественной королевой.

Выздоровление Кармелиты длилось целый месяц, и только в начале марта была она в силах перебраться к себе на квартиру, так что и Коломбо мог вернуться к себе.

С этого дня близость, установившаяся между молодыми людьми, прервалась, но в памяти Коломбо сохранился образ этой красивой девушки.

В сердце же Кармелиты запало чувство беспредельной благодар-

ности и преданности своему молодому спасителю. Но видятся они стали редко — только как соседи.

При встречах они обменивались несколькими словами и снова расходились, никогда не заглядывая один к другому.

Наступил май. Садик, принадлежавший квартире Коломбо, отделялся от садика Кармелиты только низеньким забором.

Таким образом, они бывали как бы в одном общем саду, и осыпавшиеся цветы в саду одного засыпали своими лепестками сад другого.

В один из вечеров Коломбо, по просьбе Кармелиты, раскрыл свой давно покинутый рояль, и в сумерках полились сладкие, ласкающие звуки. Они вырывались из окна, дрожали в пахучей зелени сада и вместе с ароматом влетали в соседние окна Кармелиты. Но на всем этом лежало чувство невыразимой грусти.

Кармелита была в таком настроении, когда измученное тоской сердце неотступно просит сочувствия и ласки, притом, что девушкой она была красивой, способной расположить к себе любого юношу.

Она была высока, стройна, гибка, а прекрасные темно-каштановые волосы ее были так густы, что казались даже жесткими, хотя на ощупь были мягче шелка. Глаза ее напоминали сапфиры, губы были пунцовыми, а зубы белыми до синевы перламутрового отлива.

В один прекрасный майский вечер Кармелита сидела у окна, глядя в сад и вдыхая душистый свежий воздух. Ее пьянили и этот сад, и его аромат. Весь день было душно и жарко; часа два или три шел дождь, а в семь, открыв окно, Кармелита была поражена тем, что те самые розы, которые она видела утром в бутонах, теперь совершенно распустились.

Сойдя в сад, она застала там и Коломбо и, подойдя к отделявшему их низенькому забору, попросила его объяснить ей это странное явление. Сама она не очень-то разбиралась в ботанике — в те времена наука эта считалась для девушки совершенно излишней.

Коломбо, который уже не раз замечал этот пробел в ее познаниях, тотчас подошел к забору и начал читать ей лекцию по физиологии растений, избегая тех научных и непонятных женщинам выражений, которыми ученые почему-то загромождали науку.

Он говорил просто, ясно, увлекательно, переходя от простейшего к более сложному, сопровождая речь свою живыми примерами, которые брал тут же, в саду, начиная со стебелька, едва пробившегося из семени, и кончая одной из распутившихся и удививших ее роз.

Несколько раз он прислушивался сам к себе и хотел закончить лекцию, чтобы не утомлять девушку и даже не надоесть ей. Но если бы темнота и густота листвы не мешали ему хорошо видеть лицо своей слушательницы, он заметил бы на нем выражение живейшего интереса.

Вдруг по небу пронеслась и упала звезда, и разговор незаметно перешел с цветов земли на светила неба, на мифологические имена, которыми обозначило их человечество, на Грецию, Египет и Индию, на этих прародителей человеческого сознания.

О людях они не думали и не говорили, и оба даже не подозревали, что все эти цветы, волны, облака, звезды и ветры мало-помалу сведут их на почву той короткости, с которой начинается чисто платоническая любовь двух разумных существ.

А между тем увлеченность, с какой говорил Коломбо, и то сосредоточенное внимание, с которым его слушала Кармелита, были именно зачатками этой любви.

Ей было семнадцать лет, ему двадцать два. Днем воздух очистила гроза, и теперь он дышал живительной влажностью и ароматом, которые действуют неотразимо на каждое человеческое существо.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Могила де ла Вальер

Итак, в этот вечер, пропитанный ароматом и жизненной силой весны, сердца девушки и юноши бессознательно открылись для любви.

Между тем на церковной башне пробило полночь. Оба, досчитав двенадцать звонких и четких ударов, помимо воли удивленно ахнули, обменялись мимолетным приветом и разбежались, как люди, сами себя заставшие за неожиданным преступлением.

Поднявшись на второй этаж, они остановились у открытого окна, залитого яркими лучами лунного света. Вдали четко рисовалась чья-то могила, обсаженная розами.

— Что это за могила? — спросила Кармелита, облокачиваясь на подоконник.

— Там похоронена де ла Вальер, — ответил Коломбо, становясь рядом с ней в тесной амбразуре лестничного окна.

— Каким же образом могила такой женщины оказалась здесь? — с истинно женским любопытством продолжала Кармелита.

— Все пространство, которое вы отсюда видите, — сказал Коломбо, — составляло прежде сад монастыря того ордена, поэтическое имя которого вы теперь носите. Старинные легенды повествуют, что посередине стояла церковь, построенная на развалинах храма Цереры. Кто и когда построил эту церковь, с точностью неизвестно. Есть, однако, предположение, что она была основана во времена короля Робера Благочестивого. Достоверно же известно только то, что в десятом веке ее занимал приорат монахов-бенедиктинцев из аббатства Мармутье под названием Нотр-Дам-де-Шан, а в 1604 году она была уступлена монахиням-кармелиткам устава Святой Терезы. Екатерина Орлеанская, герцогиня Лонгвильская, бывшая под влиянием нескольких духовных лиц, которые соблазняли ее титулом основательницы, выпросила у короля через Марию Медичи все полномочия на основание этого учреждения. С согласия короля Генриха IV и с благословения папы Клементя VIII из Авилы в Париж привезли шесть монахинь, бывших под

непосредственным началом святой серафимоподобной Терезы. Эти шесть монахинь были первыми агентами их ордена во Франции. Они поселились в монастыре, которого теперь не существует, молились, пели и умерли в церкви, от которой ныне не осталось ничего, кроме этой могилы.

— Как это интересно! — вскричала Кармелита, не перестававшая удивляться естественнонаучным и историческим чудесам, которые весь вечер открывал ей молодой человек. — А известно, как звали этих монахинь?

— Я это знаю, — с улыбкой ответил бретонец. — Я ведь страстный охотник до легенд. Их звали: Анна де Жезю, Анна де Сен-Бартельми, Изабелла дез Анж, Беатриса де ла Консепсион, Изабелла де Сен-Поль и Элеонора де Сен-Бернар. Герцогиня Лонгвильская сама выезжала к ним навстречу и пожелала, чтобы въезд их в приорат сопровождался торжествами.

Очень может быть, что, в сущности, все это вовсе не было так интересно, как воображали Кармелита и Коломбо, но если оба они и кривили при этом душой, то единственно ради того, чтобы иметь благовидный предлог оставаться вместе, а в подобных случаях все кажется необыкновенно увлекательным.

— Ах, как бы мне хотелось увидеть духовные торжества того времени! — вскричала Кармелита.

— Хорошо! — ответил Коломбо. — Закройте глаза, слушайте меня и заставьте поработать свое воображение. Представьте себе, что слева от вас темная, массивная громада монастыря с высокими стенами... Прямо перед вами — церковь... Да вот подождите, — оборвал он сам себя и побежал наверх, в свою квартиру.

— Куда это вы? — спросила Кармелита.

— Сейчас принесу книгу! — крикнул он сверху.

Минуты через две он опять был возле нее с большой книгой в руках.

— Ну, теперь опять закройте глаза.

— Закрыла.

— Видите вы слева монастырь?

— Да, вижу.

— А перед собой церковь?

— Вижу и ее.

Коломбо открыл книгу.

Луна достигла своего зенита и светила так ярко, что молодой человек мог читать свободно, как днем.

“В среду 24 августа 1605 года, в день святого Бартоломью, в Париже состоялся новый крестный ход сестер-кармелиток, которые в этот день вступали во владение своим домом. Народ следовал за ними огромной толпой. Они шествовали в строгом порядке, а во главе их шел доктор Дюваль с жезлом в руке.

Но, к несчастью, это прекрасное священное шествие было нарушено звуками двух скрипок, которые начали наигрывать плясовую, что

смutilo народ, а кармелиток заставило быстро удалиться в их церковь, где они, очутившись в безопасности, стали петь "Te Deum laudamus...".

— Вы все увидели? — спросил Коломбо.

— Да, но только мне виделось не то, что я хотела видеть, — улыбувшись, ответила Кармелита.

— Даже с открытыми глазами часто видишь не то, что хочется, — сказал Коломбо, — а уж с закрытыми тем более.

— Так в этот монастырь и поступила девица де ла Вальер?

— Да, и провела в нем тридцать шесть лет в постоянных религиозных подвигах, и скончалась 6 июня 1710 года.

— Значит, и прах несчастной герцогини лежит вот в той могиле.

— Утверждать это наверняка не берусь, можно и ошибиться.

— Так ее выкопали?

— В 1790 году одним из декретов народного собрания монастырь этот был упразднен... церковь разрушили... Кто знает, что случилось в это время с прахом бедной герцогини, которую Ле Брэн изобразил в виде Магдалины. Но так как вы даже целое столетие спустя после ее смерти все еще принимаете в ней горячее участие, то я скажу вам, что есть поверие, что прах ее пощадили и что он все еще покоится в подземелье под этой часовней.

— А можно войти в это подземелье? — спросила Кармелита с нерешительностью, точно опасаясь отрицательного ответа.

— Да туда не только что ходят, там даже живут.

— Кто это решается на такое святотатство?

— Садовник, который вырастил все эти чудные розы, ароматом которых мы теперь дышим.

— Ах, как бы мне хотелось сходить в эту часовню.

— Это очень легко.

— Как же это сделать?

— Нужно только спросить позволения у садовника.

— А если он откажет?

— Если он откажется провести вас в часовню, вы попросите его, чтобы он показал вам свои розы, а из любви к ним он покажет вам и часовню.

— Значит, все эти розы — его?

— Да.

— Куда же он деваает такую массу цветов?

— Продает.

— О, злой человек! — скаким-то детским негодованием вскричала Кармелита. — Продавать такую прелесть! Я думала, что он выращивает их из религиозного чувства или хотя просто потому, что очень любит их.

— Нет, он ими торгует. Да вот нагнитесь, на моем окне три куста, которые он мне продал на днях.

Девушка перегнулась через подоконник и ее прекрасные волосы коснулись лица Коломбо, отчего тот вздрогнул.

Она тоже почувствовала его дыхание, покраснела и выпрямилась.

— Ах, как мне хотелось бы иметь хоть одну розу с этой могилы! — неосторожно вскричала она.

— Позвольте предложить вам одну из моих! — поспешно предложил Коломбо.

— О нет, благодарю вас! — спохватилась Кармелита. — Мне хотелось бы самой выкопать свою розу из земли, на которой жила сестра Луиза Милосердная и в которой, может быть, и теперь еще хранится ее прах.

— Почему бы вам не пойти туда завтра же утром?

— Нет, одной неловко.

— Если позволите, я провожу вас.

Девушка призадумалась.

— Послушайте, мсье Коломбо, — заговорила она с заметным усилием, — я вам очень благодарна и очень вас уважаю, но если бы я вышла с вами под руку днем, все сплетницы нашего квартала пришли бы в ужас и волнение.

— Так пойдемте вечером.

— Да разве же вечером можно?

— Почему же и нет?

— Мне кажется, что садовник должен ложиться в одно время со своими цветами и вставать тоже вместе с ними.

— В котором часу он ложится, я не знаю, но встает он наверно раньше своих цветов.

— Почему вы так думаете?

— Иногда, когда мне ночью не спится (Коломбо произнес эти слова с заметной дрожью в голосе), я сажусь к окну и вижу, как он бродит по саду с фонарем в руках... Да вот и теперь... разве вы не видите, что между кустами роз носится точно блуждающий огонек?

— Зачем это он так бежит?

— Вероятно, гоняется за какой-нибудь кошкой.

— Да, но если он теперь уже встал, то ему, кажется, еще очень рано, а так как мы еще не ложились, то для нас теперь поздно, — заметила Кармелита, улыбаясь.

— Поздно? — переспросил Коломбо.

— Разумеется! Какой может быть теперь час?

— Часа два, — нерешительно произнес юноша.

— Ах, Господи! Я никогда не ложилась так поздно! — вскричала девушка. — Два часа! Прощайте, мсье Коломбо. Очень вам благодарна за ваши объяснения, а когда-нибудь вечером, когда все соседи улягутся, — прибавила она тише, — мы пойдем вместе выкапывать розы.

— Лучшей ночи, чем сегодняшняя, нам не дожидаться, — возразил Коломбо, сию же минуту не дрожать всем телом.

— О да, если бы я не боялась, что меня увидят, я пошла бы сейчас же! — откровенно призналась девушка.

— Да кто же может теперь вас увидеть?

— Да прежде всех — швейцарша.

— О ней не беспокойтесь. Я могу отпереть дверь и без нее.

— Неужели у вас есть отмычка?

— Нет! Я заказал себе ключ, потому что засиживаюсь иногда в кабинете за чтением далеко за полночь, а так как швейцарша наша женщина болезненная, то мне и было совестно часто будить ее.

— Хорошо, в таком случае, пойдем туда сейчас же. Мне кажется, что если я теперь лягу, то все равно не засну.

О, юная Кармелита, одна ли роза влекла тебя к этой прогулке?..

Она сбегала домой, надела шляпку, набросила на плечи косынку, и они тихонько спустились с лестницы.

Перейдя улицы Святого Жака и Валь-де-Грас, они очутились на улице Анфер перед большими решетчатыми воротами, закрывающими вход в бывший сад кармелиток.

Коломбо позвонил.

Звонок в такие часы был для садовника делом необычным, и он отпер не сразу.

Однако на второй звонок он подошел, поднял свой фонарь и, осветив лица ночных посетителей, тотчас узнал молодого человека, которого часто видел у окон его квартиры и слышал, как тот поет и играет.

Садовник отпер калитку и впустил в свой рай современного Адама с его Евой.

Роскошный сад, видневшийся из окон Коломбо и Кармелиты, был ничто иное, как огромный питомник роз, и только роз.

Кармелита шла под руку с Коломбо и слушала, как шедший впереди садовник с гордым удовольствием перечислял все мыслимые сорта роз, которые выращивал. Наконец, они подошли к капелле сестры Луизы Милосердной.

Кармелита нерешительно остановилась. Коломбо уговорил ее войти, она было послушалась, но тотчас с испугом вышла.

Вид стен, увешанных не образами или картинами, а лопатами, вилами, косами, кирками, граблями и огромными ножницами, произвел на нее чрезвычайно тяжелое впечатление.

Ей захотелось опять на чистый воздух, под лазорево-серебристое сияние луны, и она сказала, что лучше ей осмотреть часовню снаружи.

Оказалось, что вокруг нее густой чащей разрослись кусты роз, футов в шесть высотой.

— Что это за чудные великаны розового царства? — спросила Кармелита с восторгом.

— Это роза Александрийская и цветет белыми цветами, — отвечал садовник. — Они растут или на самом юге Европы, или на Берберских берегах¹, и из ее цветов выделяют розовую эссенцию.

— Можете вы продать мне один из этих кустов?

¹ То есть в Северной Африке.

— Который?

— Вот этот.

Кармелита указала на тот, что рос ближе всех к могиле.

Садовник сходил в часовню и принес лопату.

В нескольких шагах от них запел соловей.

Луна мгновенно перестала быть обыкновенной луной, а обратилась в Феду греков, влюбленными глазами смотрящую на Землю, отыскивая на ней тень прекрасного Эндимиона.

Воздух дрогнул от легкого ветерка, напоминавшего нежный поцелуй любящего существа.

Высокая фигура девушки, одетой в траур, молодой человек, также весь в черном, и садовник, выкапывающий розовый куст у надгробного памятника, составляли поистине поэтическую и таинственную картину. Казалось, каждый из них каждым своим дыханием повторял: “Жизнь — чудесный дар! Благодарю Тебя, Создатель, что наградил им нас в одно и то же время!”

Но первый же удар лопаты садовника отозвался в сердцах молодой пары болью. Им казалось, что нарушать покой земли, в которой хранился прах святой жертвы царственного эгоиста, называвшегося Людовиком XIV, было каким-то святотатством.

Они ушли из питомника, унося с собой желанный розовый куст, но с таким же страхом на душе, с каким бегут домой дети, унесшие цветок с кладбища.

Впрочем, очутившись на улице, они, тотчас забыв печальные мысли, наслаждались и собственной болтовней, и ароматом цветов, и видом звезд, и в душе обоих звучала полубессознательно благодарность к Творцу за все блага и восторги их юного существования.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Коломбо

Сердце молодого бретонца Коломбо было настоящим бриллиантом, главные грани которого — доброта, кротость, невинность и честность.

Некоторые из виднейших личностей колледжа, где он учился, то есть именно те философы, которые кутят в восемнадцать, а в двадцать два становятся уже плешивыми львами, прозвали его Коломбо Денье¹, за некоторые добрые порывы, когда его доверчивость была дурно истолкована.

Благодаря своей геркулесовой силе он, разумеется, мог бы заставить молчать всех этих насмешников, но он относился к ним с тем же презрением, с каким сенбернары обнюхивают спаниелей.

¹ Возможно, от *colombe* (голубок) и *denier* (деньги).

Но как-то раз один из самых тщедушных креолов, Камилл Розан, только что приехавший в колледж из Луизианы, поглядев на неистощимое терпение, с которым Коломбо выслушивал обидные прозвища, вообразил, что угодит сотоварищам и добьется их признания, если хорошенько дернет Коломбо сзади за волосы.

Если бы это было простой шуткой, Коломбо, разумеется, промолчал бы. Но он видел, что затевалось нечто совсем иное. Случилось это во время вечерней перемены, когда все прогуливались в гимнастическом дворе. Маленький креол взобрался для большего удобства и безопасности на плечо одного из самых высоких воспитанников и уже оттуда схватил Коломбо за волосы и принялся весьма чувствительно дергать их.

Почувствовав сильную боль и сознавая всю неловкость своего положения, Коломбо, однако, и виду не подал, что ему больно или он разозлен, но обернувшись, схватил Камилла за шиворот, сдернул его с чужих плеч и отнес к трапедии, с которой свисала веревка, завязанная узлами. Обвязав Камилла веревкой, он раскачал его и оставил болтаться.

Остальные школьники сначала хохотали, потом притихли и даже начали протестовать, но их крики не произвели на Коломбо ни малейшего впечатления. Высокий мальчик, с плеч которого он сорвал назойливого Камилла, подошел к нему и потребовал, чтобы он отвязал маленького креола.

Но Коломбо достал из кармана часы и, взглянув на них, хладнокровно ответил:

— Он провисит так пять минут.

Между тем Камилл и без того уже провисел не меньше пяти минут.

Высокий ученик, на голову выше Коломбо, злобно бросился на него, но бретонец ловко обхватил его поперек туловища, сжал его до боли, как Геркулес Антея, о чем они все читали на курсе мифологии, и спокойно повалил на землю.

Все неистово заплодировали — наша молодежь уже со школьной скамьи привыкает преклоняться перед сильнейшими.

Между тем Коломбо так придавил коленом грудь своего противника, что тот чуть не задохся и стал просить пощады, но упрямый бретонец опять вытащил свои часы и сказал:

— Нет, еще две минуты.

Двор задрожал от восторженных криков.

Тем временем, Камилл Розан раскачивался все медленнее, и ровно через пять минут Коломбо, не уступавший в верности своему слову даже знаменитому земляку Геклену, отпустил своего рослого противника и отвязал маленького. Первый и думать не мог сводить с ним счеты, а второму пришлось отправиться в больницу, где он и провел целый месяц.

Само собой разумеется, что оба они тотчас сделались предметом

неистошимых насмешек, а Коломбо принимал поздравления. Но он, по-видимому, невысоко ценил эти восторги.

— Вы сами теперь видели, господа, на что я способен, и знайте, что с первым, кто вздумает надоедать мне, я сделаю то же самое.

С этими словами он спокойно отправился по делам.

Что же до Камилла Розана, то жизнь его была в течение целого месяца в опасности, и все очень тревожились за исход его болезни. Но больше всех отчаянно терзался сам Коломбо. Он совершенно забыл, что начал ссору не сам, а только вынужден был защищаться, и искренне считал себя единственной причиной страданий мальчика.

Ясно, что, когда Камилл стал выздоравливать, Коломбо проникся к мальчику той нежностью, какую испытывает сильный к слабому, победитель к побежденному и которая составляет лучшую черту человеческого сердца.

Мало-помалу эта нежность обратилась в серьезную покровительственную дружбу, и Коломбо любил Камилла, как старший брат любит младшего.

Маленький креол тоже привязался к Коломбо, с той, правда, разницей, что к его привязанности примешивалась немалая доля страха. Физически слабому, ему было приятно ощущать себя под чьим-нибудь покровительством, в то же время его самолюбие ставило невидимую, но непреодолимую преграду между ним и его покровителем.

Характер у него был заносчивый, и он каждый день рисковал получить от кого-нибудь из товарищей такой же назидательный урок, какой дал ему Коломбо. Но тот был всегда настороже, и стоило ему только обернуться и спросить спокойным голосом: “Ну, что там опять такое?” — как все угрожавшие Камиллу покорно отступали.

С годами внешняя гордость креола, казалось, стихла, и в душе его не оставалось ничего, кроме чистой и искренней симпатии к Коломбо, что он ему и доказывал при каждом удобном случае. Они были разного возраста, а потому учились в разных классах, спали в разных дортуарах и могли видаться только во время перемен. Но привязанность креола к Коломбо была так велика, что как только он его не видел, то принимался писать ему. Мало-помалу между ними установилась постоянная переписка, столь же подробная и душевная, как между влюбленными.

Вообще, первая юношеская дружба имеет всю горячность первой любви. Сердце, как человек, долго проживший в заточении, ждет только свободы, чтобы раскинуть под солнечными лучами теплого чувства свои сокровеннейшие порывы.

Таким образом, отношения между друзьями становились все теснее, а когда на следующий год Камилл перешел в одно с Коломбо отделение, они стали неразлучны, и все вещи, бумага, перья, белье и деньги стали их общей собственностью.

Если родные присылали Камиллу из Америки варенье и консервы,

он делил все пополам и откладывал одну половину в ящик Коломбо. Когда же старый граф присылал сыну соленья из Бретани, Коломбо поступал с ними так же, как Камилл с вареньем.

Дружба эта, с каждым днем становившаяся сильнее, была вдруг прервана тем, что, когда Камилл окончил курс философии, родители его потребовали, чтобы он возвратился в Луизиану. Дружбы обнялись и расстались, обещая друг другу переписываться, по крайней мере, раз в две недели.

Первые три месяца Камилл был верен данному слову, но затем стал писать только по одному разу в месяц, а наконец и всего по одному разу в три месяца.

Что же касается честного бретонца, то он строго исполнял свое обещание и ни разу не пропустил оговоренного двухнедельного срока.

На другое утро после весенней ночи, о которой мы только что рассказывали, часов в десять старушка привратница принесла молодому человеку письмо, автора которого он тотчас узнал по почерку.

Письмо было от Камилла. Он возвращался во Францию. Письмо могло опередить его самого всего на несколько дней.

Он просил Коломбо начать те же отношения, что существовали между ними в школе.

— Ты сообщал мне, — писал креол, — что у тебя кухня и три комнаты. — Позволь же мне занять половину кухни и полторы комнаты.

— Еще бы! — вскричал Коломбо, радостно взволнованный неожиданным возвращением друга.

Вдруг ему пришло в голову, что к приезду милейшего Камилла нужно будет приготовить кровать, умывальник, туалетный стол и в особенности диван, на котором беспечный креол мог бы курить свои превосходные сигары, которых наверно навезет с собой из Мексики. Коломбо тотчас оделся, захватил с собой все свои скопленные триста или четыреста франков и отправился делать покупки.

На лестнице он встретил Кармелиту.

— Господи, какой у вас сегодня счастливый вид, мсье Коломбо! — вскричала девушка, глядя ему в лицо.

— Да, я сегодня чрезвычайно счастлив! — сказал он чистосердечно. — Из Америки, из Луизианы, ко мне возвращается друг. Мы сошлись с ним еще в школе, и я люблю его, кажется, больше всех остальных.

— Отлично, — сочувственно заметила она. — А когда он приедет?

— Наверняка не знаю, но мне хотелось бы, чтобы он был уже здесь! Кармелита рассмеялась.

— Право, я был бы очень рад! — повторил Коломбо. — Наверно, он вам ужасно понравится. Это олицетворенная красота и веселость. Я никогда не видал такого красавца даже среди идеалов красоты, созданных мечтами художников! Единственный недостаток в нем, может быть, некоторая женственность, — прибавил он не для того, чтобы уменьшить достоинства красоты, которой сам восхищался, а только во

имя правды. — В нем есть что-то женственное, но даже и это к нему чрезвычайно идет. Наверное, у сказочных принцев были такие же прелестные головы. Сами бакалавры Саламанки не умели ходить изящнее его, а беззаботностью он перещеголял даже наших парижских студентов. Кроме того — вот уж этим он, наверно, очарует вас, такую любительницу музыки, — у него прелестнейший тенор, и поет он мастерски! Когда-нибудь мы споем вам старинные дуэты, которые распевали в школе. Ах, кстати, о музыке!.. Сегодня ночью мне пришло в голову сделать вам одно предложение. Вы ведь говорили мне, что в Сен-Дени учились музыке?

— Да, я пела там сольфеджо, и говорили, что у меня порядочное контральто, и если я о ком жалела, выходя из Сен-Дени, то это единственно о трех подругах, с которыми была так же дружна, как вы с вашим другом из Луизианы, и о моих уроках пения, которых мне нельзя было продолжать. А мне кажется, что при некотором старании из меня что-нибудь да вышло бы.

— Ну, так вот, видите ли, я и хотел предложить вам не то, что я стану давать вам уроки, потому что с моей стороны это было бы слишком смело, — но что я стану разучивать некоторые вещи вместе с вами и, может быть, буду вам полезен, потому что в школе учился у очень хорошего профессора, у старика Мюллера. Да и с тех пор я много занимался и все свои познания предлагаю к вашим услугам.

Коломбо сам испугался, что сказал так много, но весть о приезде дорогого друга совершенно преобразила скромного и добродушного юношу.

Кармелита приняла его предложение с величайшей благодарностью. Если бы ей предложили целое состояние, ее это так не порадовало бы, и она уже собиралась высказать ему это, как увидела на последних ступеньках лестницы доминиканского монаха, который читал молитвы над ее матерью и которого она уже несколько раз встречала, когда он поднимался к Коломбо.

Девушка вспыхнула и убежала.

Коломбо был тоже, видимо, смущен.

Монах взглянул ему в лицо с удивлением и упреком, как бы желая сказать ему: “Я отдал тебе всю мою дружбу и думал, что и ты поверишь мне все свои тайны. А вот тайна важная, а ты и не упомянул о ней!”

Коломбо вспыхнул, как молоденькая девочка, и, отложив покупку мебели до другого раза, возвратился домой.

Пять минут спустя, Доминик знал сердечную тайну своего друга гораздо лучше, чем он сам.

Коломбо рассказал ему все, не исключая события последней ночи, которое все еще наполняло его сердце любовью и поэзией.

Упрекая Коломбо за эту чистую и честную любовь, молодой монах очутился бы в безвыходном противоречии со своей теорией всемирной любви, потому что он называл любовь чувственную, в какой бы форме она ни проявлялась, “центром” жизни.

В силу этого брат Доминик увидел в зарождающейся страсти своего юного друга не больше, как оживляющую лихорадку, симптомы которой были скорее полезны, чем вредны.

Он даже не сердился на Коломбо и за то, что тот раньше не признался ему в своем чувстве, потому что видел, что тот и сам еще не сознает его ясно.

Когда молодой бретонец сам понял, наконец, что в нем заговорило сердце, он сильно покраснел, точно чего-то испугавшись.

Монах улыбнулся и взял его за руку.

— Для вас такая любовь необходима, друг мой, — сказал он, — иначе вся ваша молодость прошла бы в безысходной апатии. Благородная страсть, которая одна только и сродни вашему сердцу, может воодушевить его, возродить его к новой жизни. Взгляните на эти сады, — продолжал монах, указывая на питомник, — вчера земля в них была суха, все растения ее опустились и поблекли. Но вот прогремела гроза, и из-под земли появились новые побеги, кусты покрылись бутонами, бутоны обратились в цветы. Люби же, юноша, цветы и красуйся плодами, юное дерево! Никогда не цвели цветы и не зрели плоды на стволе благороднее, чем ты.

— Значит, вы не только не осуждаете меня, но еще поощряете слушать советов моего сердца?! — вскричал Коломбо.

— Я рад тому, что вы полюбили, друг! И если я за что-нибудь упрекаю вас, то только за то, что вы скрыли от меня свое чувство, потому что обыкновенно скрывают только любовь порочную. Я не знаю в мире ничего лучшего зависимости хорошего человека от его собственного сердца, потому что насколько в натуре низкой страсть унижает человеческое достоинство, настолько в натуре возвышенной она его возвышает. Взгляните хоть на все отдаленнейшие центры земного шара, друг, и везде вы увидите, что внутренними пружинами царств руководили, скорее, живые силы страсти, чем премудрые соображения гениев. Как ни обширен разум человеческий, он все-таки слаб, труслив и всегда готов отступить перед первыми же встречными препятствиями. Но сердце — наоборот! Оно вечно волнуется, вечно быстро и энергично в своих решениях, твердо в их исполнении, и никто не может сдерживать стремительный поток его страстей. Разум — это основа покоя, а сердце — это жизнь. Следовательно, покой в вашем возрасте, Коломбо, составляет опасную праздность, и, если бы мне пришлось выбирать, я, скорее, согласился бы, чтобы во мне кипели силы жизни, которыми я стал бы потрясать столбы храма, чем чтобы во мне царил покой, во время которого меня безвозвратно погребли бы под собой каменные своды.

— А между тем, почтенный брат, сами вы все-таки не смеее любить, — заметил Коломбо.

Монах грустно улыбнулся.

— Ваша правда, — проговорил он, — я не могу любить вашей чувственной, земной любовью, потому что меня избрал Бог. Но, лишая

меня любви личной, он вознаградил меня любовью ко всем вообще. Вы страстно любите одну женщину, друг, а я страстно люблю всех вообще. Для вашей любви необходимо, чтобы предмет ее был и молод, и прекрасен, и богат, и платил вам взаимностью. А я, наоборот: я люблю прежде всего всех бедных, уродливых, несчастных и страждущих, и если у меня нет силы духовной любить тех, кто ненавидит меня, то я, по крайней мере, глубоко жалею их. Думая, что мне запрещено любить, — вы жестоко ошибаетесь, друг Коломбо. Бог, которому я посвятил себя, есть, напротив, Бог всякой любви, и бывают минуты, когда я способен, как святая Тереза, плакать над судьбой сатаны, потому что он есть единственное существо, которое не способно любить.

Разговор продолжался еще долго, и все на ту же благодарную тему, к которой его свел брат Доминик. Монах указывал своему молодому другу, когда разум и духовная сила одерживают блистательные победы над страстью, и задумчиво слушавшему его Коломбо казалось, что он послан для того, чтобы приподнять перед ним одну из темнейших завес жизни, а он сам чувствовал себя под влиянием услышанного выше и достойнее любви. Ему ни разу не пришла в голову мысль, что любимая девушка не разделяет его чувства. Судя по его рассказам, он мог казаться и поэтом, и живописцем, поэтом по силе и образности его выражений, художником — по той пластичности, с какой говорил о чувстве своего воодушевленного сердца.

По всей вероятности, они провели бы весь день вместе в этой беседе, если бы чей-то голос на лестнице раза три не произнес имени Коломбо.

— О! — вскричал честный бретонец. — Ведь это Камилл!

Он не слышал этот голос целые три года и все-таки узнал его.

— Коломбо! Коломбо! — радостно повторял человек, быстро взбиравшийся по лестнице.

Студент отпер дверь и очутился в объятиях Камилла.

Едва ли был во всемирной истории случай, когда слепец, не увидев в друге беды, обнимал бы его с большим жаром и искренностью.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Камилл

При появлении Камилла, с которым он раньше знаком не был, брат Доминик, несмотря на все упрасивания Коломбо, ушел. Камилл проводил его глазами до двери.

— Ого! — проговорил он, когда дверь затворилась. — Будь я римлянином, это было бы для меня дурным предзнаменованием!

— То есть как это?

— Разве ты забыл наставление: “Если, выходя из дома, запнешься ногой о камень или увидишь слева черную ворону, то возвратись домой”.

По лицу Коломбо пробежало грустное, почти страдальческое выражение.

— Ты все тот же, мой милый! — проговорил он. — И твое первое слово составляет разочарование для друга, который ждал тебя с таким нетерпением.

— Это почему?

— Потому что эта черная ворона, как ты выразился...

— Совершенно верно! Я ошибся — мне следовало бы назвать его сорокой, потому что он наполовину белый, наполовину черный.

Коломбо показалось, что его второй раз ударили по сердцу.

— Потому что эта ворона, или сорока, один из лучших и умнейших людей в мире, — продолжал он. — Когда ты узнаешь его покороче, то сам пожалеешь, что принял его за одного из тех попов, которые борются против Бога, вместо того, чтобы бороться за него. Тебе станет тогда стыдно своих детских насмешек.

— А! Ты тоже, как и прежде, важен, серьезен и назидателен, словно миссионер! — расхохотался Камилл. — Ну, пусть будет по-твоему — я виноват и жалею, что неправильно отнесся к твоему другу. Ведь этот красавец монах, вероятно, друг твой? — прибавил он уже серьезнее.

— Да, и притом друг очень мне дорогой, — веско заметил бретонец.

— Очень сожалею о своей шутке, но, когда мы были в школе, ты не отличался особенной набожностью, а потому я и удивился, когда застал тебя в уединенной беседе с монахом.

— Повторяю тебе — когда ты узнаешь брата Доминика, перестанешь удивляться. Но теперь дело не в этом, — продолжал Коломбо, меняя серьезный тон на прежний, добродушный и веселый. — Теперь дело не в брате во Христе, Доминике, но в брате во дружбе, Камилле. Наконец, ты здесь! Обнимем друг друга еще раз. Я не могу тебе выразить, как меня обрадовало сначала твое письмо, а потом и твой приезд. Теперь мы опять заживем по-старому, по-школьному.

— Даже гораздо лучше, чем жили в школе! — подхватил почти так же весело и добродушно Камилл. — Теперь нас не станут стеснять ни надоедливые товарищи, ни воспитатели, и мы сможем по целым дням гулять, заниматься музыкой, бывать в театрах по вечерам и болтать по ночам, что в школе было уж решительно невозможно, потому что за это жестоко попадало.

— Да, помню я эти ночные разговоры! — со вздохом сказал Коломбо. — Милое то было время!

— А помнишь ночи с воскресений на понедельники?

— Да, — задумчиво и не то с веселой, не то с грустной улыбкой проговорил Коломбо. — Я выходил из школы редко. Родных в Париже у меня не было, и я целые дни проводил на школьном дворе со своими мыслями и — я горжусь этим — со своими мечтами. А ты просыпался в воскресенье рано, как жаворонок, и улетал одному Богу известно куда.

Когда ты уходил, я тебе не завидовал, но мне было грустно. Но вечером ты приходил ко мне с целым грузом новых впечатлений, и у нас хватало материала для болтовни на целую ночь.

— Вот и теперь мы заживем точно так же, и, будь спокоен, мудрец, за рассказами у меня дело не станет, потому что я жил там, как достопочтенный Робинзон, и хочу теперь вознаградить себя в Париже за потерянное время.

— Да, да, вижу, что годы тебя не изменили! — ласково, но озабоченно проговорил серьезный бретонец.

— Нет. А особенно хорошо то, что они оставили в целости всю мою любовь к жизни и наслаждениям. Скажи, пожалуйста, где можно здесь поест, когда проголодаешься?

— Если бы я знал наперед, когда именно ты приедешь, то мы пообедали бы в нашей столовой.

— А разве ты не получил моего письма?

— Получил, но не больше как час тому назад.

— Ах да! Совершенно верно! Письмо это пришло в Гавр на одном пакетботе со мной и опередило меня настолько, насколько почта обгоняет дилижанс. Итак, я повторяю свой вопрос: где здесь едят?

— Я очень рад, что ты только что уподобил себя Робинзону Крузо, — сказал Коломбо, — это мне доказывает, что ты привык к лишениям.

— Ты меня приводишь в трепет и ужас! Ради Бога, не пугай меня так! Это шутка нехорошая! Ведь я не герой романа, я должен и люблю есть. Еще раз спрашиваю тебя: где здесь едят?

— Здесь условились с привратницей или с одной из соседок, и она кормит на славу.

— Хорошо, это ежедневно, но в случаях необыкновенных?

— Идут к Фликото.

— А! Это тот чудеснейший Фликото на площади Сорбонны! Он все еще существует? Значит, он съел еще не все бифштексы?

И Камилл расхохотался:

— Фликото! Бифштекс и целую гору картофеля!

Он подошел к столу и взял шляпу.

— Ты куда это? — спросил Коломбо.

— Иду к Фликото! Пойдем вместе.

— Нет, я не пойду.

— Почему?

— Потому что мне нужно купить тебе кровать, стол, диван, на котором ты будешь курить.

— Ах, кстати, о куреве! У меня есть чудеснейшие гаванские сигары, то есть, вернее, они у меня будут, если таможня соизволит мне их отдать. Я думаю, что эти таможенные чиновники всегда курят чудеснейший табак.

— Сочувствую твоему горю, но совершенно бескорыстно. Я не курю.

— Однако ты удивительная дрянь, братец, и, право, я не знаю, найдется ли на свете женщина, которая согласится полюбить тебя.

Коломбо покраснел.

— А! Она уже нашлась? — вскричал Камилл. — Это хорошо.

Он протянул другу руку.

— Поздравляю тебя, мой милый! Значит, в отношении женщин у вас здесь лучше, чем в отношении стола. Ну и будь уверен, что как только я позавтракаю, то тотчас примусь за разведку! Право, я теперь очень жалею, что не привез тебе негрityнку... Пожалуйста, не гримасничай! Между ними есть — прелесть какие! Одно досадно, пожалуй, таможенники отняли бы у меня и ее!.. Ну что же, идешь ты?

— Я ведь уже сказал, что нет.

— Ах да! Ты уже сказал! А почему ты это сказал?

— Экий ты ветрогон! Право, ты совершенно пустоголовый!

— Пустоголовый! Ну, в этом отношении ты расходишься во мнениях с моим отцом. Он убежден, что череп у меня набит мозгами. Так почему ты не пойдешь?

— Потому, что мне нужно купить для тебя мебель.

— Это верно. Итак, беги меблировать мою квартиру, а я пойду меблировать мой желудок, но через час мы будем оба здесь.

— Хорошо.

— Нужны деньги?

— Нет, спасибо, у меня есть.

— Ну, так возьмишь потом, когда их у тебя не будет.

— Где это я их возьму? — смеясь, спросил Коломбо.

— Как — где? В моем кошельке, если только они там останутся. Я ведь — богач! Правда, Ротшильд мне не дядя, и Лафитт мне не тесть, но у меня шесть тысяч годового дохода — пятьсот ливров в месяц, или шестнадцать франков, тринадцать су и полтора сантима в день. Если хочешь, можешь купить Тюильри, Сен-Клу или Рамбуйе. Вот в этом кошельке лежат мои доходы ровно за три месяца вперед.

С этими словами Камилл действительно вытащил из кармана кошелек, сквозь петли которого сверкало золото.

— Ну, об этом мы потолкуем в другой раз.

— Так через час ты придешь сюда?

— Разумеется.

— В таком случае: “Ступай умирать за своего принца, а я погибну за родную страну!” — вскричал Камилл и побежал с лестницы — только не умирать за родную страну, как поэтически выразился Казимир Делавень, а завтракать к Фликоту.

Коломбо тоже сошел вниз, но спокойно и рассудительно, что и соответствовало его характеру. Таким образом, насмешливое легкомыслие, с которым Камилл относился даже к вещам серьезным, сказилось в первых же словах, произнесенных им при встрече со старым другом.

Обыкновенно нас, французов, упрекают в легкомыслии, беззабот-

ности и насмешливости. Но на этот раз француз вел себя со всей серьезностью англичанина, а американец — со всем легкомыслием француза.

Если бы не возраст, красота, манеры и изящество костюма, то Камилла можно было бы принять за одного из парижских гаменов. В нем было столько же живости, такой же склад ума, он так же беззастенчиво хохотал.

Можно было припереть его в угол, удержать в амбразуре окна, зашемить створками дверей и Бог знает сколько времени изощряться в красноречии, дабы приохотить его хоть к одной серьезной мысли — стоило пролететь мухе, как он увлеклся ею, уже не обращая внимания ни на какие слова.

Впрочем, одно было хорошо: чтобы понять его характер, не требовалось говорить с ним долго — через пять минут он был весь как на ладони. Его выдавали слова, походка, лицо, каждое движение. Прежде всего, это был красавец в полном смысле слова, как Колумбо и говорил Кармелите. На стройном, изящном и гибком теле красиво держалась прекрасная голова. Продолговатые живые карие глаза оттенялись длинными ресницами. Черные, как вороново крыло, волосы обрамляли слегка вытянутое бледное и несколько смугловатое лицо. Прямой правильный нос плавно продолжал линию лба, как на самой совершенной скульптуре. Небольшой рот с полосками свежих пунцовых губ, навевающих ощущение поцелуя.

Вообще вся его фигура, даже несмотря на то, что он, как истый южанин, предпочитал слишком яркие галстуки и слишком пестрые жилеты, заключала в себе столь несомненные достоинства, что даже старые маркизы приняли бы его за аристократа старинного рода.

Его капризная, нервная и утонченная красота составляла странный контраст с серьезной, сдержанной, почти мраморной красотой Колумбо.

Один напоминал древнего Геркулеса, другой обладал мягкостью и почти женственной грацией Кастора или Антиноя.

Глядя на них, когда они стояли обнявшись, трудно было разгадать, какая симпатия, какое утончение таинственной духовной природы влекло сильного Колумбо к слабому и изнеженному юноше. Братьями они быть не могли — природа не допускает контрастов, — а потому сделались друзьями.

Покровительство, которое Колумбо оказывал Камиллу в школе, обратилось мало-помалу в дружбу. Колумбо, человек вообще сосредоточенный и цельный, отдал ему все свои симпатии.

Встретил он своего любимца после разлуки, как родного брата, и так был рад ему, что забыл ради него о том расположении, которое выразил ему брат Доминик.

Маленькую гостиную, в которой он, обыкновенно, принимал приходивших навестить его товарищей по школе, он обратил в спальню для Камиллы.

Таким образом, кровати их разделяла только тонкая деревянная переборка, сквозь которую было все слышно.

Коломбо пошел было сначала к мебельщику квартала Сен-Жан, но не нашел у него ничего, кроме ореховой мебели, и, хотя сам спал на простой крашеной кровати, решил, что его аристократический друг должен спать на постели непременно черного дерева.

Мало-помалу, удаляясь от квартала Сен-Жан и перейдя два рукава Сены, он очутился на улице Клэри. Здесь он нашел все, что ему было нужно: кровать, бюро, диван и шесть стульев из черного дерева.

Стоило все это пятьсот франков.

Но так как в кармане у Коломбо была ровно половина этих денег, другую половину пришлось задолжать.

Чтобы застлать кровать, он положил на нее свои два тюфяка, две подушки и одеяло, а сам остался при одном пружинном матраце, маленькой подушке и при зимнем пальто вместо одеяла.

Возвращаясь домой, он спешил как на пожар, воображая, что Камилл ожидает его уже целый час.

К счастью, оказалось, что тот все еще не возвращался.

“Тем лучше! — подумал добряк. — Он придет и застанет свою комнату уже готовой!”

Камилл пришел домой только в одиннадцать часов вечера.

Коломбо с торжеством ввел его в отведенную ему комнату.

— Ух! — вскричал Камилл. — Мебель черного дерева! Милый мой, у нас ее употребляют только негры.

Сердце Коломбо болезненно сжалось.

— Ну да это все равно, — продолжал Камилл, — ты ведь хотел сделать лучше. Дай я тебя поцелую. Спасибо тебе.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

История княгини де Ванвр

Первые дни совместной жизни друзей были потрачены на рассказы и воспоминания, в которых Камилл являлся то жертвой, то героем.

Все радости этой богато одаренной и эгоистичной натуры состояли в удовлетворении прихотей; все горести возникали из невозможности удовлетворить их.

Камилл много путешествовал — был в Греции, в Италии, на Востоке, в Америке, и беседа с ним могла бы доставить для любознательного Коломбо истинное наслаждение.

Но Камилл путешествовал не как ученый или артист и даже не как обыкновенный путешественник. Он бывал всюду, как птица, и каждый новый ветер сдувал с его крыльев те пылинки, которые на них попадали в стране, откуда он улетал.

Было только одно, что занимало его всегда, — женская красота,

которая ослепляла, поражала и увлекала его повсюду. Камилл был человеком, скорее, чувственным, чем впечатлительным; наслаждение скользило по его телу, не проникая к сердцу. Он отдавался счастью, сладострастию и любви совершенно так, как другие принимают ванну. И тем, и другим, и третьим он пользовался дольше или короче, смотря по тому, насколько ему это нравилось.

Оказывалось, что он готов был променять все леса, озера, саванны и прерии, всю Грецию с ее руинами, Иерусалим, со всеми его воспоминаниями, весь Нил с его тысячей городов за один поцелуй хорошенькой девушки, которая ему встречалась.

Напрасно силился Коломбо с упорством, доказывавшим только его собственную наивность, заставить Камилла говорить серьезно, с той пластичностью, которая свойственна рассказу очевидца. На минуту он покорялся, говорил красноречиво и поэтично, но переносило ли его воображение на берега Огайо или в великую низменность Нила, перед ним вставал образ краснокожей красавицы или черноокой гречанки, и серьезная сторона рассказа рассеивалась, как дым.

Однажды они разговорились о Греции, которая больше всего интересовала молодого бретонца. Коломбо вынужден был выслушать историю любви Камилла к одной девушке в Дарданеллах.

Наконец, он заговорил об Афинах и просил своего легкомысленного друга рассказать о том впечатлении, которое произвели на него древние развалины, составлявшие для них обоих предмет поэтического восторга еще на школьной скамье.

— Ах, ты говоришь об Афинах? — спросил Камилл.

— Да, я хочу, чтобы ты сказал мне, какое они произвели на тебя впечатление.

— Впечатление? Да черт знает! Не знаю, что и сказать.

— Как — не знаешь?

— Да так... Ну, видал ты Монмартр? Так и Афины стоят на такой же возвышенности, с той только разницей, что ниже их расстилается Пирей.

Весь характер и склад ума Камилла сказался в одном этом описании Афин. К самым серьезным сторонам дела он относился с точно такой же небрежностью и легкомыслием. Но иногда у этого же странного человека оказывались неистощимые сокровища воспоминаний.

Однажды утром Коломбо, взявший на себя функцию разумного наставника, сказал ему:

— Послушай, Камилл, нельзя же жить всю жизнь, ничего не делая. Ну, веселись и наслаждайся, насколько выдержит здоровье, но ведь невозможно же сделать из этого цель жизни, потому что цель эта заключается в труде. Надо же приняться за какое-нибудь дело. Ведь работа уже увеличивает прелести наслаждения. Кроме того, и состояние твое вовсе не так велико, чтобы оно оказалось для тебя достаточным, когда ты женишься и обзаведешься семьей. Если же ты

смолоду привыкнешь к праздности, то никогда от нее не избавишься и не будешь мил никому, потому что каждый час, когда ты ничего не делаешь, увеличивает нагрузку на остальных. Будь ты человек ограниченный, без воображения, я, может быть, даже не стал бы тебе говорить всего этого, но ты, наоборот, чрезвычайно талантлив. Чем ты можешь заняться? Этого я еще и сам не знаю, и мы можем обсудить это, когда вздумается, но я считаю тебя способным ко всякого рода деятельности, как научной, так и художественной. Ты можешь быть и хорошим адвокатом, и доктором, и даже композитором, потому что у тебя есть несомненный талант к музыке. У меня сохранились вещи, которые ты писал в школе. С тех пор прошло пять лет, а они и теперь поражают меня свежестью и оригинальностью своих мотивов. Так, ради же Бога, избери себе какое-нибудь дело! Ну, изучай законы или медицину, сделайся ученым или артистом, но непременно сделайся кем-нибудь. Я не знаю, что тебе советовать, не знаю даже твоих теперешних вкусов, так как мы давно не видались, но поверь мне, лучше делать даже дело, которое тебе не по душе, чем не делать ничего вовсе.

— Хорошо, я об этом подумаю, — сказал Камилл, которому хотелось думать не более, чем повеситься.

— Если бы я был уверен, что я настолько же дорог тебе, как ты мне, то сказал бы, что если ты не изберешь себе деятельность, то лишишься моей дружбы. Брат Доминик называет людей, которые ничего не делают, бесчестными, и он, по-моему, прав.

— Хорошо, хорошо! Дело будет выбрано и сделано! — сказал Камилл не то весело, не то серьезно. — Я уж и сам об этом думал, хотя ничего не говорил. Каждый вечер, когда я раздеваюсь, то непременно размышляю о том, почему мои подтяжки, которые я всегда надеваю по утрам очень аккуратно, к вечеру скручиваются, как веревки. Ты сам поймешь, что усовершенствование производства подтяжек составляет дело очень серьезное и важное.

Коломбо вздохнул.

— Послушай, Коломбо, если ты так вздыхаешь из-за невинной шутки, то что же станешь ты делать при несчастье? Говорю тебе: завтра я записываюсь в школу правоведения, покупаю свод законов и прикажу переплести его в шагреню, чтобы он был в пандан к мебели, которую ты мне завел.

— Ах, Камилл, Камилл! — вскричал Коломбо, покачивая головой. — Ты приводишь меня в отчаяние! Я просто теряю надежду, что ты когда-нибудь станешь человеком!

Камилл сообразил, что пора перевести разговор на другой предмет, а иначе он грозил сделаться серьезным, значит, скучным.

— Гм! — сказал он. — Ты боишься, что я никогда не сделаюсь человеком, настоящим мужчиной? Ну, так могу же тебя успокоить тем, что прачка твоя этого вовсе не опасается.

Коломбо взглянул на него с таким удивлением, с каким посмотрел

бы на человека, который среди разговора вдруг заболтал бы с ним на совершенно ему неизвестном языке.

— Моя прачка? — переспросил он почти испуганно.

— Да, голубчик, теперь нечего увертываться! — продолжал Камилл. — Ты ведь не сказал мне о ней ничего!.. Так позвольте мне, господин доктор, господин ученый, господин Сен-Жером, сообщить вам, что я знаю, что у вас есть прачка, которой всего восемнадцать лет и которую за поразительную красоту прозвали княгиней де Ванвр и царицей Ми-Карем. И вдруг к вам приезжает старый друг со всей неистощимой жадой жизни, которую он мог почерпнуть в могучих девственных лесах Америки, а вы нарушаете даже основное правило гостеприимства, скрывая от него ваши лучшие сокровища!

— Хочешь верь мне, хочешь — не верь, но я едва знаю в лицо мою прачку! — наивно вскричал Коломбо.

— Что?! Ты едва знаешь ее в лицо?

— Клянусь тебе!

— Ну, стоит ли после этого бедной девочке иметь прелестнейшее личико, когда молодой двадцатипятилетний человек, на которого она работает целых три года, не обратил на нее ни малейшего внимания?! Я нарочно спросил ее, сколько времени она на тебя стирает, и она ответила мне: “Три года”.

— Очень может быть. Зачем же мне было бы менять прачку, если она стирает хорошо?

— Ну а если она при этом хорошенькая?

— Видишь ли, есть женщины, красотой или уродством которых я вовсе не занимаюсь.

— А! Понимаю вас, господин виконт де Пеноэль! Ах ты, аристократ! Значит, Беранже со своей Лизеттой — сиволапый мужик, что-то вроде Камилла Розана! Кто такая была Лизетта, если не прачка Беранже? Положим, что у Беранже есть песня, в которой он говорил, что он неблагородный... этим и объясняется и Лизетта, и Фретийон, и Сюзанна... Но ведь мы, господин Коломбо, виконт де Пеноэль, черт возьми!

— Что делать, мой милый, но это так.

Камилл с комическим состраданием воздел руки к небу.

— Как! — вскричал он. — Творец в своей неисчерпаемой благодати ставит все прелести красоты, соединив их в одном существе, перед твоими глазами, а ты, язычник, воображаешь, что у тебя есть дела важнее созерцания этого совершенства! Но пойми же, что если бы покойный Рафаэль относился к Форнарине с таким же презрением, как ты к княгине де Ванвр, то у нас не было бы Сикстинской Мадонны! А кто такая была Форнарина? Прачка, которая мыла его белье в Тибре. Не пробуй и отрицать этого! Я сам расспрашивал о ней в гавани Рипетта.

— Ты с ума сошел! — ответил Коломбо, пожимая плечами.

— А можешь ты дать мне слово, что княгиня де Ванвр тебя не интересуется?

— Клянусь тебе в этом честью дворянина.

— Значит, начать ухаживать за этой водяной нимфой не будет значить охотиться на твоих землях?

— Нет, и тысячу раз нет!

— Хорошо. В таком случае, слушай внимательно. Я начинаю:

Первая встреча Гийома-Феликса-Камилла де Розана, креола из Луизианы, с ее высочеством Шан-Лилой, княгиней де Ванвр, прачкой вышеназванного княжества. Это было вчера... Будь я романистом, то сказал бы, что это случилось вскоре после ослепительно яркого майского полудня, но при этом я солгал бы, потому что в то время шел дождь, что тебе известно, потому что ты выходил и брал с собой зонтик. По этой же причине и ввиду того, что извозчики встречаются в странах цивилизованных, и здесь их не водится, пока ты ходил в училище, я сидел дома. Но на это лишение я вовсе не жалуясь, потому что в твоё отсутствие к нам явилась прачка. Она была мокрая, точно ее облили тем вином, какое мы пивали в школе. Помнишь ты наши тогдашние кутежи?.. Да, так вот какая она была мокрая!.. Первое, что мне пришло в голову, когда я ее увидел, было то, что необходимо купить еще один зонтик... Разве я не философ?.. Потому что, размышляя я, в хорошую погоду зонтики никуда не годятся, а когда идет дождь и двое людей хотят идти каждый в свою сторону, то одного зонтика для двоих оказывается мало.

— Ну, это дело второстепенное.

— Итак, прачка явилась в твой ковчег, как белая голубка, с той лишь разницей, что не в конце, а в начале потопа, так что, увидев из окна, как воды, выражаясь языком библейским, "достигали высочайших мест", она очень охотно согласилась на мое предложение остаться и переждать. Скажи по правде, Коломбо, что бы стал ты делать на моем месте? Только говори откровенно.

— Ну, да уж лучше продолжай рассказывать, проказник! — сказал бретонец, которого, против воли, забавляла болтовня его беззаботного приятеля.

— Насколько я тебя знаю, ты, разумеется, или предоставил бы прачке совершать свой поход под всеми хлябями небесными, или же, если бы в припадке человеколюбия и предложил бы ей убежище под своей крышей, то повернулся бы к ней спиной, лишая ее лицецерения твоего прекрасного образа, или принял бы читать, лишая ее прелестей твоей беседы. Это сделал бы ты под тем неосновательным предлогом, что для господ благородных дворян существует особая порода женщин. А я, ведь я просто дикарь, а потому и сделал то, что индеец делает в своем вигваме, а араб в своей палатке, — я самым тщательным образом исполнил все требования гостеприимства. Мне казалось, прежде всего, обязательным заставить ее снять косыночку, так как вода текла с нее, как с зонтика. Без этой благоразумной предосторожности княгиня де Ванвр непременно получила бы насморк, которого бы я себе никогда не простил!.. Вижу, вижу, ты уже вообразил себе что-нибудь

неподходящее! И ошибаешься! Я могу, как Ипполит, сказать, что “самый свет дня не мог быть чище моих тогдашних мыслей”. И червоточинки в них не было, и я этому очень рад, потому что терпеть не могу червяков!.. Повторяю тебе, я сделал это единственно из сострадания и в доказательство этого прибавлю, что, опасаясь адского холода, которым всегда отличается твоя комната, я предложил ей фуляр, который лежал здесь на твоём кресле.

— Ха, ха, ха! Надеюсь, и господин Тартюф не придумал бы лучшего!

— Это был твой лучший белый фуляр, и я считаю долгом предупредить тебя, что принцесса унесла его, считая его своей собственностью.

— Но это опять вещь второстепенная!

— Когда она закуталась, я предложил ей сесть в кресло, но должен сознаться, что она отказалась от этого — не потому, чтобы она, княгиня де Ванвр, считала себя недостойной сесть в присутствии покорнейшего из слуг своих, а просто потому, что она была вымокшей и боялась испортить утрехтский бархат на твоей мебели... По крайней мере, мне это так показалось, судя по тому, как она села рядом со мной на диван, который был в чехле, а потому казался ей в большей безопасности, чем остальная мебель.

Ты, может быть, и станешь отрицать Лизетту, презирать Фретион и не переваривать Сюзанну, но если человек родился между 29-м и 33 градусами северной широты, то он уже не может безнаказанно сидеть возле молодой девушки, хотя бы она даже и была прачкой. Понимаешь ли, между ними сейчас же устанавливается нечто вроде того, что наш профессор физики в школе называл электрическим током. Ты, о Сократ, не знаешь этих токов, а между тем они вдруг доводят человека до цветущего состояния; во всем теле его рождается дотоле неведомая сила, в мозгу возникают мысли, которые никогда не вошли бы в состав даже и самого увлекательного свода законов. Вот одна из таких мыслей и побудила меня сказать ей:

— Княгиня, клянусь честью, вы прекрасны!

По всей вероятности, и ей пришлось в голову что-нибудь подобное, потому что она покраснела.

А знаешь, женщина никогда не бывает так мила, как когда краснеет! Таким образом, княгиня мгновенно сделалась прелестнейшей из княгинь, и у меня уже начинала кружиться голова.

Но твой фуляр, о друг, превратился в моем воображении в тебя. Я, не зная твоего отвращения к нимфам и ундинам, побоялся нарушить святость дружбы, и это благородное чувство спасло меня на краю пропасти.

Теперь ты сказал мне, что даже не заметил княгини де Ванвр. Это очень хорошо! Я ведь родом из страны пропастей и не боюсь их. Пусть мне только представится удобный случай, и я брошусь туда очертя голову!

Коломбо хотел было возразить, но Камилл вдруг запел своим чудным тенором:

Лизетта, Лизетточка,
Всегда ты меня обманывала!
А все-таки слава гризеткам!
Выпьем же, Лизетточка,
За нашу любовь!

При звуках его юношеского голоса, который так и хватал за сердце, Коломбо не мог не прийти в восторг и начал аплодировать.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Дуб и трость

Этот рассказ о первой встрече Камилла с княгиней де Ванвр дает лучшее представление о его беззаботном и веселом характере, чем то могли бы сделать многие страницы анализа и описаний. Но эта веселость в мужском обществе, не лишенная цинизма, производила на серьезного бретонца впечатление визга кошки и трескотни сороки. Камилл всегда начинал с того, что был виноват, и кончал тем, что оставался прав. Тем не менее, было обстоятельство, о которое разбилась даже его настойчивость.

Регулярная монотонная жизнь, которую вел Коломбо, вовсе не составляла идеала Камилла, ему было даже неприятно в этой скромной обстановке. Самая мебель друга производила на него такое же впечатление, как мрачная келья монаха на полного жизненных сил и увлечений юношу.

Однажды, возвратясь домой, Коломбо увидел, что над изголовьем его кровати нарисован череп, а поверх — две накрест лежащие кости. Все это было обрамлено словами: “Коломбо, надо умереть!”

Он, разумеется, даже не содрогнулся при виде этого странного орнамента и оставил его там, куда его поместил Камилл.

Тихое убежище, которое так нравилось ему, казалось Камиллу чем-то вроде семинарии. Его раздражала и приводила в уныние даже поэтическая могила де ла Вальер, которая навевала на Коломбо чудные мечтания. Этот символ смерти, заключавший в себе для человека верующего столько утешительного, возмущал Камилла, и он отпуская на его счет самые едкие шутки.

— Право, напрасно ты теперь же не купишь себе место на кладбище, — говорил он Коломбо. — Построился бы, велел бы обтянуть стены черным сукном и наслаждался бы помещением, которым тебе предстоит пользоваться после смерти.

Раз двадцать предлагал он Коломбо переменить “тюрьму”, как он выражался, и переселиться “в Париж” или “хоть в одно из его предместий, вроде улицы Турнон или дю-Бак”. Но Коломбо ни за что не соглашался.

Камилл, по-видимому, уступал, переставал заговаривать о переселении, но не упускал его из виду и лишь постоянно острил над их монашеским помещением. Несмотря на то, что по натуре он был нетерпелив, встречаясь с препятствием более сильным, чем его воля, он, с виду, как бы подчинялся ему, но, в сущности, как ящерица, искал возможности или пробраться сквозь его тончайшие щели, или подкопаться под его основание. Так и по отношению к Коломбо он всегда пользовался силой и преданностью его дружбы, разыгрывая перед ним слабого и избалованного ребенка. В отношении его квартиры он как бы покорился, но, в сущности, только выжидал удобного случая и продолжал мечтать, как бы выехать с улицы Сен-Жак. К несчастью для него, кроме дороговизны квартир в других кварталах, которая заставила бы Коломбо жить не по средствам, кроме того, что этот дом по своей тишине вполне соответствовал потребностям его трудовой жизни, его привязывало к этой местности еще и то, что здесь впервые заговорила в нем любовь.

Опасаясь легкомыслия Камилла, он до сих пор еще не говорил ему о чудной тайне, наполнявшей его сердце, так что тот решительно не понимал, что именно удерживает его в этом уединенном квартале.

Камилл уже несколько раз встречался с Кармелитой, приходил в неистовый восторг от ее красоты и расспрашивал о ней Коломбо. Она все еще носила траур по матери, и это особенно интересовало его.

— У нее умерла мать, — отвечал Коломбо сухо. — Надеюсь, что хоть это горе заставит тебя не нарушать ее покой.

Камилл как бы покорился и более не заговаривал об этой девушке.

Но однажды, возвратясь из Парижа, как он выражался, он бросился в кресло, закурил сигару и объявил:

— А я был в Люксембурге¹!

— Что ж, и отлично! — ответил Коломбо.

— И встретил нашу соседку.

— Где?

— Я шел домой, а она уходила.

Коломбо промолчал.

— У нее был в руках какой-то сверток.

— Что ж в этом интересного?

— Да ты подожди...

— Ну, я жду.

— Я спросил у привратницы, что она понесла.

— Это зачем?

— Затем, чтобы знать.

— А!..

— Она сказала, что то были рубашки.

Коломбо опять промолчал.

¹ То есть в Люксембургском саду.

— А знаешь, для кого были эти рубашки?
— По всей вероятности, для какого-нибудь магазина.
— Ну нет, для больниц и монастырей.
— Бедная девушка! — прошептал Коломбо.
— Тогда я спросил Марианну...
— Это еще кто такая?
— Да кто же, как не привратница! Разве ты до сих пор не знал, что ее зовут Марианной?

— Нет.
— Чудак! Три года живет в доме и ничего не знает.
Коломбо пожал плечами, как бы говоря: “А что мне до того, что привратницу зовут Марианной или как-нибудь иначе?”

— Впрочем, это в твоём характере, да и не в том теперь дело, — продолжал Камилл. — Я спросил еще у Марианны, сколько может заработать эта девушка на рубашках для больниц и монастырей, и знаешь, что она мне ответила?

— Нет, но, наверно, очень мало.
— По франку за рубашку.
— Боже мой!
— Ну а как ты думаешь, сколько времени тратит она на то, чтобы сшить одну такую рубашку?

— Почему же я знаю?
— И то правда! Я забыл, что ты нелюбопытен! На то, чтобы сшить рубашку, требуется целый день работы, и притом работы каторжной, с шести часов утра до десяти вечера, а если ей захочется заработать еще тридцать су, то есть ровно столько, чтобы порядочно поесть, то придется просидеть и ночь.

На лбу у Коломбо выступили крупные капли пота.

— Не правда ли, ведь это просто ужасно? — продолжал Камилл.
— Да отвечай же ты, гранитное твоё сердце! Разве это возможно, чтобы прекрасные создания Божьи должны были вести жизнь рабочего животного?

— Ты совершенно прав, Камилл, — ответил Коломбо, почти столь же тронутый добротой своего друга, сколь и несчастьем бедной девушки. — Я даже очень рад, что ты так хорошо понял положение несчастных трудящихся женщин, этих святых, искупающих перед Богом леность других людей.

— Отлично! Ты это на мой счет прогулялся? Спасибо!.. Ну да, впрочем, все равно! Я и сам с тобой совершенно согласен... Это действительно безобразие! Женщина... женщина, которую Бог создал для счастья, для рождения, кормления, воспитания детей... Это чудное существо, состоящее из лепестков розы, аромата всех цветов и капель росы... это богиня, одна улыбка которой для человека все равно, что луч солнца для природы... и вдруг она наемница монастырей и больниц и шьет на них рубашки, да еще за один франк в день! За вычетом воскресений и праздников, это не составляет и трехсот франков в год!..

Значит, чтобы остаться в квартире, в которой жила ее мать, твоя соседка Кармелита... А ты знал, что ее зовут Кармелитой?

— Да, знал.

— Она платит домовладельцу полтора франков, так что на стол, одежду, отопление и освещение ей остается тоже полтора франков в год, или сорок сантимов в день. Если же ей понадобится что-нибудь сверх того, она должна просиживать за работой и ночи, что принесет ей, может быть, еще франков пятьдесят. И подумать только, что это такое же существо, как и я! Да еще гораздо лучше меня! И вдруг именно оно осуждено на такие мучения! Но ведь в человечестве справедливости нет, и, чтобы изменить это, нужно сделать революцию.

— Кажется, она получает еще франков триста пенсионера.

— А! Неужели! Значит, триста франков пенсионера и полтора, заработанных собственным трудом! И это кажется тебе достаточным! — тебе, который получает сам тысячу двести ливров в год. О, господин филантроп! Вы находите, что четырехсот пятидесяти франков на триста шестьдесят пять и даже триста шестьдесят шесть дней в год достаточно на квартиру, одежду, завтрак, обед и ужин? Но, несчастный, знаешь ли ты, что если бы правительство вынуждено было кормить растения, то стоимость кислорода и углекислоты, которые оно издерживало бы на каждое из них, была бы гораздо выше этой суммы?

— Это верно! — согласился бретонец, который до сих пор никогда не вдумывался в бедственное положение девушки до таких мелочей. — Это верно и чрезвычайно грустно. Я просто не понимаю, как она может сводить концы с концами!

— Не понимаешь! — вскричал Камилл в восторге, что на этот раз оказывался впереди Коломбо. — Не понимаешь! Ну, так я скажу тебе, в чем дело: она работает каждую ночь до трех часов.

— Тебе сказала об этом привратница?

— Нет, не привратница, я сам видел.

— Ты?!

— Да, я самый, Камилл де Розан, креол из Луизианы, видел это своими собственными глазами.

— Когда же?

— Да вчера... третьего дня... и все предыдущие ночи.

— Но как ты видел-то?

— Думаю, что она не настолько богата, чтобы жечь лампу или свечку, когда она спит, и раз у нее в комнате светло, то ясно, что она еще не ложилась. Ну а в ее комнате свеча или лампа горит каждый день или, вернее, ночь, до трех часов.

— Да ведь сам-то ты никогда не засиживаешься до этого часа, так как же ты это видел?

— Это я-то не засиживаюсь? Вот и ошибаешься. Например, третьего дня была опера, не так ли?

— Да, кажется... Я ведь не знаю.

— О, изверг! Он не знает, по каким дням бывает опера! По поне-

дельникам, по средам и по пятницам, дикарь ты этакий! Третьего дня был понедельник, а следовательно, шла опера.

— Ну, хорошо.

— Да хорошо это или худо, а это было так. И вот, идя из оперы, я встретил одного школьного товарища.

— Нашего?

— А то чьего же?

— Кого?

— Людовика.

— А! Право, славные люди встречались в нашей школе! Просто удивительно, как скоро мы теряем друг друга из виду.

— Ради Бога, не говори об этом! Просто грустно становится, как об этом призадуматься!

— А что он поделывает?

— Занимается медициной. Ведь вы все помешаны на том, чтобы чем-нибудь заниматься.

— Да, и один только ты...

— А! Я так этого и ждал. Ну, теперь ты меня царапнул — и будь доволен! Да, так Людовик занимается медициной.

— И, наверно, достигнет больших успехов! Он человек замечательно умный, только, к сожалению, слишком реалист.

— Да, реалист, реалист! Спроси-ка об этом княгиню де Ванвр.

— Так что...

— Да, *ad eventum*¹. Но оставим эти подробности! Людовик сам придет к тебе. Он живет недалеко, и я дал ему твой адрес.

— Ну и болтун ты! И какое же отношение имеет Людовик...

— К Кармелите?

— Да!

— А вот подожди... слушай дальше. Ты до удивления невнимателен к развитию событий! Кажется, будь ты Тезеем, перебил бы даже рассказ Терамены на десятом стихе! Да, черт возьми! Если у отца чудовище съедает сына, то ему очень полезно знать, какое оно именно было, потому что если чудовище было красивое, у него остается хоть то утешение, что он может говорить себе: "Сына моего поглотило чудовище, но как же оно красиво!".

— Ты еще помнишь, что я тебя слушаю?

— Еще бы! Ведь в этом и состоит твоя обязанность! Но мне жаль тебя, и я сокращаю. Ты спрашиваешь, какое отношение имеет Людовик к Кармелите? Хорошо, я скажу тебе, какое. Итак, я встретил Людовика, выходя из Оперы...

— Да знаю, знаю!

— Хорошо, а я повторяю. Ну ты сам, вероятно, понимаешь, что невозможно встретить школьного товарища после трехлетней разлуки

¹ Здесь — по последствиям (латин.)

и не почувствовать потребности рассказать ему все, что пережил за это время сам, и не засыпать его вопросами. Это подробность, которую необходимо привести.

— Это опять подробность?

— Да. А тебе она не понравится, потому что клонится к стыду твоему.

— Не понимаю...

— А в том, что ты заставил меня третьего дня проголодаться.

— Я?

— Да, и это в понедельник-то! Правда, ты и сам этого не знал, а потому я тебя за это и не упрекаю, а просто только рассказываю тебе, что в понедельник ты посадил меня на пищу Святого Антония, так как заказал поросенка, а нам подали яиц вкрутую; ты этой метаморфозы, по свойственной тебе рассеянности, вовсе не заметил, а я между тем был голоден и нашел необходимым подкрепить свои угасавшие силы крылышком цыпленка в присутствии Людовика. Право, не знаю, был ли цыпленок предлогом для разговора или, наоборот, разговор был предлогом для того, чтобы съесть цыпленка, но должен констатировать только то, что разговор тянулся гораздо дольше, чем цыпленок, так что я пришел домой около трех часов. Взглянув на небо, скорее, от нечего делать, чем из желания узнать, какая будет на утро погода, я заметил сквозь штору нашей соседки тусклый свет рабочей лампы, а сегодня, когда встретил ее со свертком, то единственно из чувства человеколюбия расспросил о ней Марианну. Ну а то, что Марианна мне ответила, тебе уже известно. Бедная девушка!

— Да, действительно! — подтвердил Коломбо. — Она даже несчастнее, чем ты думаешь, Камилл. После смерти матери у нее не осталось ни одного родственника на всем свете.

— Это просто ужасно! — вскричал Камилл. — И как это ты живешь с ней бок о бок чуть не целый год и не побеспокоился даже познакомиться с ней!

— Нет, познакомился! — со вздохом возразил бретонец. — И даже несколько раз разговаривал с ней.

Может быть, в эту минуту Коломбо рассказал бы Камиллу все, если бы тот вдруг не отпустил одну из тех фраз, какие всегда заставляли Коломбо держаться настороже.

— А! Скрытный бретонец! — вскричал он. — Ты уже разговаривал с ней, а мне даже не намекнул об этом разговоре! Так ты, значит, начинаешь изменять той правде, из которой твои предки сделали себе привилегию на том основании, что головы у них тупые, а лбы крепкие! Да, впрочем, и то сказать, твоя скромность относительно княгини де Ванвр должна была бы навести меня на кое-какие мысли! Ну, так я помирюсь с тобой после этого только с одним условием: чтобы ты рассказал мне всю эту пастораль до мельчайших подробностей, не исключая и риторических украшений. Я совсем не ты и люблю расска-

зы длинные! Закуриваю сигару и слушаю! Начинай, Коломбо! Ведь ты рассказывать-то мастер.

— Да могу тебя уверить, что в нашем разговоре ничего для тебя интересного не было, — возразил смущенный Коломбо.

— А, попался, мой скромнейший!

— Что значит — попался?

— Очень просто. Если в вашем разговоре не было ничего интересного для меня, значит в нем была бездна интересного для тебя. Теперь мне остается только попросить тебя как можно точнее и подробнее описать мне, какое значение имел этот разговор для твоего ума, сердца и воображения. Одним словом, по поводу Кармелиты я говорю тебе то же, что говорил по поводу княгини де Ванвр, хотя — будь в этом уверен — мне никогда не приходило даже в голову ставить нашу соседку в один ряд с ней. Скажи откровенно: эта красавица девушка, которая проводит ночи за шитьем рубашек в монастыри и больницы, интересуется тобой или нет? Ответь мне, Коломбо.

Коломбо, увидя себя припертым к стене, положил руку на колено Камилла и кротко и серьезно проговорил:

— Послушай, Камилл, я расскажу тебе все, как было, но, ради Бога, не относись к моей откровенности с твоим обыкновенным легкомыслием и сохрани ее так, как сохранил бы я сам, если бы не думал, что утаить от тебя хотя бы сокровеннейший уголок моего сердца, значит согрешить против нашей дружбы.

После этого вступления он рассказал Камиллу все то же, что уже рассказывал брату Доминику.

— А что сказал тебе на это монах? — спросил Камилл, когда Коломбо окончил и замолк.

Бретонец рассказал ему и это.

— Вот это чудесно! Монах-то совсем в моем вкусе. Если бы я был даже родным его сыном, то не пожелал бы лучшего отца! Этот брат Доминик не мог сделать ничего умнее, как ободрить тебя, хоть, откровенно говоря, ты, кажется, ни в каких ободрениях не нуждаешься. Мне всегда казалось, что подкладывать в огонь пылающую паклю — дело совершенно безнадежное. Единственно что меня бесит, так это то, что я не догадался об этом сам, даже хоть бы по тем наивным причинам, какими ты оправдывал свое нежелание переселиться из этого квартала. Однако ты хорошо сделал, что предупредил меня, а то я собирался с завтрашнего дня начать кампанию. Но теперь этому не бывать! Возлюбленная моего друга все равно, что жена Цезаря: на нее не должно падать даже подозрение! Положись теперь вполне на мою скромность и скажи мне, что ты намерен делать. Мне сдается, что ведешь ты себя наперекор собственной страсти. Ты боготворишь, но вперед не двигаешься.

— А что ты называешь движением вперед? — почти со страхом спросил Коломбо.

— Очень просто! Я называю отступлением все то, что не есть

наступление, и между прочим, и то, как ты ведешь себя уже целый месяц со времени моего приезда. Ах, что пришло мне в голову! Ах, я дурак, ах, животное, ах, птица бесперая! Да ведь это мое собственное присутствие тебя стесняло! Я завтра же переезжаю!

— Камилл, неужели ты говоришь это серьезно? — вскричал Коломбо.

— Разумеется, совершенно серьезно! Я не хочу мешать счастью моего единственного друга.

— Да ты ему нисколько не мешаешь.

— Напротив, мешаю самым постыднейшим образом и завтра же приищу себе холостую квартиру.

— Ах да! — грустно сказал Коломбо. — Тебе хочется от меня отделаться! Жить со мной тебе надоело, и дружба наша тяготит тебя.

— Ну полно, Коломбо, ты начинаешь говорить глупости.

— Так хорошо же, переселяйся, но и я переселюсь с тобой.

— А! Вот как! Так беги сейчас же к хозяину этого дома и, если мое присутствие тебе не неприятно...

— Да что ты говоришь! — вскричал добрейший бретонец.

— То мы заключим на нас обоих контракт на три, шесть, девять лет... если только, повторяю тебе...

— Камилл! — перебил его Коломбо. — Я люблю Кармелиту всеми силами души, но если бы ты сказал мне: "Коломбо, все мои американские владения сгорели, я разорен, мне надо начинать жизнь сначала, но ты видишь, я слаб и мне нужна твоя помощь, сильный сын старой Бретани", — я сейчас же уехал бы без горя, без сожаления, без вздоха, даже без оглядки на ту половину моей жизни, которую оставил бы здесь за собой.

— Я знаю это.

Коломбо грустно улыбнулся:

— Разумеется.

— Хорошо, но скажи мне, к чему поведет тебя твоя любовь теперь?

— По всей вероятности, к женитьбе.

— О! Жениться на девочке, которая шьет рубашки для монастыря и лазаретов! Тебе, виконту де Пеноэль, потомку Робера Сильного...

— Она дочь офицера. Отец ее был капитаном в Почетном легионе.

— Из военного дворянства. Ну, да все равно! Если тебе это нравится и отец твой ничего против этого не имеет, так и возражать тут нечего.

— Отец мой согласится на все, ради счастья единственного своего сына.

— Так отчего ты теперь же не начинаешь переговоров?

— Да, во-первых, я еще не знаю, любит ли меня Кармелита.

— Кроме того, тебе хочется прежде чем вступить на тернистую стезю, называемую браком, насладиться свободным воздухом любви. Отлично! Я вполне понимаю такую утонченность! Но, скажи, пожа-

луйста, ведь не потянешь же ты этого дела до тех пор, пока несчастная девушка погубит себе зрение?

— А что же мне иначе делать, Камилл? Разве я достаточно богат, чтобы помогать ей? Да будь я даже миллионером — еще вопрос, согласилась ли бы она под каким бы то ни было видом принять от меня помощь.

— Ну, помощи она, может быть, и не примет, но от работы, верно, не откажется.

— Да как же я доставлю ей работу?

— О, как ты наивен, мой милый!

— Да говори скорее, как, тут ведь дело не во мне!

— Один из моих друзей в колонии поручил мне выслать ему шесть дюжин рубашек — половину из голландского полотна, половину из батиста. На этих днях я купил все материалы, и их принесут сюда сегодня вечером или завтра утром. Друг, который дал мне это поручение, назначил приблизительную цену на рубашки, франков по двадцати пяти каждая. На мужскую же рубашку идет три метра двадцать пять сантиметров полотна, что стоит шестнадцать франков двадцать пять сантимов. Значит, восемь франков двадцать пять сантимов остаются на работу. Ну, так вот мы и передадим это дело нашей соседке, так что вместо одного франка за рубашку она станет получать восемь. Понял?

— Нет, она наверняка не согласится! — заметил Коломбо, покачив головой.

— Это почему?

— Потому что она подумает, будто это только выдумка, чтобы помочь ей. Она ведь знает цену работе, и, когда мы заговорим о сказочной сумме, которую ты предлагаешь, она откажется.

— Ах, какой ты упрямый и мнительный бретонец! Да с чего же станет она отказываться от платы, которую с меня берут в любом магазине? Я покажу ей мои счета.

— Да, в таком случае, это дело, может быть, уладится, и я очень тебе благодарен за то, что ты его придумал.

— Ну, так и переговоры с ней сегодня же вечером.

— Хорошо, я подумаю.

— При этом подумай также, что шитье рубашек не дает положения в свете. Я ведь уже многое знаю из дела. Может быть, она станет смеяться надо мной, но я многое видел, хоть и не внимательно смотрел. Я знаю, что близко то время, когда машина будет делать в один день столько, сколько сотне швей не сделать в неделю. Взгляни хоть на индийские кашемиры и шали. Для того, чтобы сработать одну шаль, над нею трудится вся деревня в течение полугода, тогда как лионские ткачи выделывают ее всего в один день. Следовательно, для Кармелиты необходимо приискать такое занятие, которое, в случае если граф де Пенозль не позволит своему сыну жениться на белошвейке, могло бы гарантировать ее от голодной смерти.

Коломбо смотрел на Камилла со слезами на глазах.

— Я никогда не видал тебя таким серьезным, добрым и рас-судительным! — сказал он. — Благодарю тебя, потому что знаю, что тебя воодушевляет дружба ко мне.

Но Камилл как бы не обратил на эти ласковые слова ни малейшего внимания.

— Ты, кажется, говорил мне, что она любит музыку? — продол-жал он.

— Страшно любит! И даже, кажется, сама недурно играет.

— Ты слышал, как она поет или играет?

— Нет, никогда. У бедняжки нет инструмента.

— Ну, так надо завести.

— Как?

— Я еще и сам не знаю, но говорю тебе, что инструмент у нее будет.

— Вот ты и всегда так, Камилл, сейчас же заходишь слишком далеко.

— Нет, на этот раз, чтобы доставить ей инструмент, я не только не пойду далеко, но даже не встану с места: мы отдадим ей твой.

— Как это — мой?

— Очень просто.

— Да ведь это какие-то цимбалы.

— Вот именно поэтому его и следует отдать.

— Как, ей — этакую дрянь!

— О, до чего ты глуп, мой милый!

— Мерси!

— Прости, это я любя. Пойми же ты, наконец!.. Я тебе тысячу раз повторял, что терпеть не могу твой инструмент и что он для меня слишком высок... А какой у нее голос?

— Контральто.

— Ну и отлично! У тебя баритон — мы переменяем твой инстру-мент. Я отложу пятьсот франков, и у тебя будет чуднейший рояль. Это ведь не дождевой зонтик, и им очень свободно могут пользоваться двое и даже трое.

— Но, Камилл...

— Да это уже сделано — рояль куплен, и завтра его принесут сюда.

— Ведь ты врешь?

— Нет, не вру — это именно так и есть, как я имел честь тебе доложить. Я хотел устроить тебе этот сюрприз к твоим именинам, но так как они уже прошли, то я отложил его до твоего дня рождения, но так как день рождения твой еще не наступил, а мне все-таки надоело возиться с инструментом, который для меня слишком высок, то я и сделаю тебе этот подарок завтра, то есть ко дню рождения твоего отца, дяди, тетки или кого-нибудь из кузенов... Ну да, черт возьми! Ведь мог же кто-нибудь из твоих родных родиться завтра.

— О, Камилл! — вскричал до слез тронутый бретонец. — Благода-рю тебя!

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Жемчужина Парижа

Камилл вскоре в точности исполнил все, что задумал и обещал Коломбо.

Кармелита, просмотрев счета молодого щеголя, не отказалась принять плату, которую он ей предлагал за рубашки своего заатлантического друга, и с этого дня в квартире ее появились некоторые признаки комфорта. Относительно инструмента она сдалась не так легко, но, по настоянию Коломбо, к которому чувствовала дружбу и уважение, наконец согласилась.

Она пошла даже еще дальше и стала по очереди брать уроки пения то у Коломбо, то у Камилла.

Кармелита легко и бегло разбирала ноты с первого взгляда; туше у нее был правильный, приятный, но ее невежество в музыке почти равнялось ее невежеству в любви.

Она играла, вовсе не понимая ни смысла, ни достоинства исполняемой вещи, что вообще составляет громадный недостаток музыкального образования наших молодых девушек, учившихся в пансионах.

Несмотря на все свои музыкальные способности, Кармелита знала только музыку третъестепенную, а о прелестях музыки настоящей, серьезной не имела ни малейшего представления.

Зато после первого же урока она увлеченно принялась исправлять этот свой недостаток. Для нее это казалось откровением, но между ее учителями скоро завязалась борьба.

Коломбо, серьезный и вдумчивый, как немец, да еще сверх того и ученик Мюллера, находил осуществление всех своих идей и мыслей в музыке немецкой. Но Камилл, живой и легкомысленный, как неаполитанец, признавал музыку только итальянскую. В их музыкальных вкусах сказывалась та же разница, какая существовала и в их характерах.

Вследствие этого относительно музыкального образования Кармелиты между ними возникали частые споры.

— Немецкая музыка заставляет все человеческие страсти перелиться в звуки, — говорил Коломбо.

— А музыка итальянская — это мечта, принявшая осязательные формы, — кричал Камилл.

— Немецкая музыка глубока и печальна, как Рейн, текущий между сумрачными елями и скалами, — говорил Коломбо.

— А музыка итальянская весела и эфирна, как Средиземное море, ласкающееся к берегу, поросшему розами, миртами и лаврами, — противостоял ему Камилл.

Такого рода стычки, вероятно, продолжались бы до бесконечности, если бы благоразумный бретонец не предложил некоторого рода сделку. Он устроил так, что Кармелита изучала попеременно то Бетховена, то Чимарозу, то Моцарта, то Россини, то Вебера, то Беллини.

Эти два пути были, разумеется, различны, но, в конце концов, вели к одной и той же цели. Через три месяца Кармелита уже с замечательным мастерством пела со своими учителями трио.

С этого дня в дом ее вступило счастье, как за три месяца до того в нем появилось благосостояние.

Почти каждый вечер молодые люди сходились в гостиной Кармелиты, где находчивый Камилл велел однажды во время ее отсутствия переменить обои, чтобы хоть несколько отогнать от нее воспоминание о том, что здесь умерла ее мать. Обыкновенно, они приходили часов в семь и просиживали до двенадцати и надивиться не могли, как скоро проходит время.

Коломбо, у которого был прекрасный баритон, с замечательным проникновением пел то Моцарта или Вебера, то Меюля или Грэтри.

У Камилла был тенор — чистый, звонкий, нежный и свежий, как у серафима, и когда он пел арию Иосифа: “Поля родные! Хеврона мирная долина!” — в выражении его было столько глубокой нежности, что ни Коломбо, ни Кармелита не могли слушать его без слез.

До сих пор Кармелита никак не решалась петь одна и даже дуэты пела застенчиво. Голос у нее был поразительно сильный. В некоторых минорных пассажах из этого почти детского рта вылетали звуки, подобные трубе в оркестре, играющем похоронный марш. В других местах этот голос звучал, как переливы виолончели. Временами он доходил до нежности флейты и мечтательной тоскливости золотой арфы.

Друзья слушали ее всегда с восторгом, и Камилл, который прежде не пропускал ни одного представления в опере, перестал там бывать с тех пор, как в первый раз услышал свою ученицу, которую прозвал *La gemma di Parigi*, то есть жемчужиной Парижа.

Обоих учителей удивляли также поразительно быстрые успехи, которые делала Кармелита с каждым днем.

Однажды она вдруг пропела им всю партитуру “Дон-Жуана”, которую они принесли ей только накануне. Память ее была поистине поразительная! Стоило ей прослушать вещь только раз, и четверть часа спустя она повторяла ее целиком с безукоризненной точностью.

У Коломбо была целая библиотека немецких композиторов, но через несколько месяцев Кармелита знала ее всю наизусть. Тогда Камилл взялся быть поставщиком нот для юного филармонического общества и перерыл все магазины, разыскивая своих любимых авторов, творения которых Коломбо презрительно называл латинской стряпней.

Кармелита с жадностью изучала все, что попадалось под руку, и так как пение всегда вязалось у нее с игрой, то скоро превратилась не только в прекрасную певицу, но еще и в замечательно талантливую пианистку.

Вечера проходили во взаимном прослушивании. Но после каждой вещи Камилл делал свои замечания, и выходки его при этом были так забавны, что вызывали неудержимый хохот. Иногда он принимался

рассказывать какое-нибудь приключение из своих путешествий, но передавал собственные похождения в самой скромной и целомудренной форме.

Коломбо чрезвычайно поражало то обстоятельство, что этот легкомысленный человек, который в разговорах с ним ясно доказывал, что побывал в Италии, Греции, Малой Азии и в Египте, как перелетная птица, ничего не видя, не понимая и не помня, рассказывал о тех же странах Кармелите и как ученый, и как художник, и как поэт. Он говорил то о розысках среди руин, то о прогулках по берегам озер в светлые лунные ночи, то о бивуаках среди безбрежных пустынь или девственных лесов. В эти минуты он становился совершенно другим человеком. В нем вдруг рождались и увлечение, и страсть, и красноречие, и откровенность.

Коломбо был буквально ослеплен этой переменной. Человек, которого он знал столько лет, вдруг являлся перед ним в совершенно ином свете. Это был вовсе не легкомысленный и ветреный мальчишка, а чрезвычайно обаятельный и окончательно сложившийся человек, в котором с поразительным изяществом сочетался лоск светского человека с капризным авантюризмом художника.

Кто же совершил это чудо? Коломбо этого не знал да никогда и не задавал себе этого вопроса. А между тем причина этой перемены была почти очевидна.

Случалось ли вам видеть павлина, когда он одиноко расхаживает по гребню крыши? Он бесспорно красив и тогда, однако сколько апатии и уныния во всей его фигуре! Но стоит ему хотя бы издали завидеть паву, он мгновенно преображается и красиво распускает свой цветистый хвост.

Точно так же сверкал цветами своих знаний, красноречия и поэзии и Камилл перед Кармелитой.

Проживи он с Коломбо хоть сотню лет, то ради одной дружбы никогда не дал бы себе труда развернуть все свои способности и достоинства сразу. Но тому незримому божку, который парит над головой каждой молодой девушки, Камилл был готов принести всевозможные жертвы из сокровищниц своей памяти, воображения и находчивости.

Со старыми друзьями случается то же, что с мужем и женой. Они вовсе не находят нужным стараться нравиться друг другу. Но стоит появиться между ними третьему лицу — и разговор оживляется, точно между двумя немymi, к которым вдруг возвратилась способность говорить.

Но честный Коломбо приписывал странность перемены, произошедшей в Камилле, единственно капризному и неровному характеру своего юного любимца.

Что касается Кармелиты, которая провела детство и юность в строгом институте Сен-Дени, потом сделалась сиделкой при больной матери и, наконец, пережила ее потерю, то тоска и скука были безысходными спутниками ее жизни, а серьезный бретонец, сам того не замечая,

незаметно и для молодой девушки, только продолжал те серьезные уроки, которые она заучивала в институте.

И если бы теперь кто-нибудь задал ее сердцу откровенный вопрос, кто из этих двоих молодых людей нравится ей больше, она наверно инстинктивно, по естественному влечению, не задумываясь, указала бы на Коломбо. Его серьезный характер не только не отталкивал, но, напротив, привлекал ее, а суждения их о предметах были всегда почти одинаковы.

Личность же Камилла была яркой противоположностью ее собственной. Его живость тревожила ее, его легкомыслие ее возмущало, она была способна бранить его, как бранит младшего школьника его старшая сестра, и потому ее твердый, решительный характер воздействовал на Камилла так же, как Коломбо еще со школьной скамьи. Она относилась к нему, скорее, снисходительно, как к ребенку, чем с нежностью, какую способен внушить молодой человек. Если она сидела и работала или просто хотела быть одна, а в это время входил Камилл, она, нисколько не стесняясь, говорила ему:

— Ступайте, Камилл, вы мне мешаете.

Никогда не позволила бы она себе сказать что-нибудь подобное Коломбо. Впрочем, он никогда и не стеснял ее.

Но, в конце концов, получилось так, что Кармелита и сама стала сбиваться на фамильярность, предложенную Камиллом, приняв ее за истинное чувство, а почтительную и серьезную любовь к Коломбо истолковав как собственные страхи.

Казалось, Коломбо удерживал ее, а Камилл увлекал. Коломбо любил, а Камилл соблазнял.

Ребенок понимает жизнь не иначе, как бесконечную гирлянду цветов, среди которых самый яркий и есть самый лучший. Молодой же девушке любовь представляется землей обетованной, среди которой она будет обрывать цветки венка своих девических мечтаний.

Жизнь с Коломбо была бы ежедневным разумным трудом, жизнь же с Камиллом — непрерывным путешествием по странам, изукрашенным всеми творениями фантазии.

Если Кармелите хотелось разучить какую-нибудь арию, о которой говорили вечером, Коломбо говорил ей:

— Хорошо, я доставлю вам ноты завтра же.

Но Камилл, любивший исполнять чужие желания с такой же живостью, как и собственные, тотчас вскакивал и, хоть бы была полночь, или шел дождь, или магазины были заперты, а книгопродавцы спали, летел в магазин, стучал до тех пор, пока ему не отопрут, платил за беспокойство втрое и возвращался с нотами.

Один раз, когда они втроем гуляли в Люксембургском саду, Кармелита как-то совершенно вскользь выразила желание иметь несколько цветков розового каштанника.

— У меня есть знакомый садовник. Когда вернемся домой, я схожу к нему и принесу вам их хоть целую охапку, — сказал Коломбо.

Но Камилл, ловкий и легкий, как мотылек, не обращая внимания на замечание Коломбо, что они в общественном саду, в несколько секунд очутился на дереве, отломил целую ветку, осыпанную цветами, и с торжеством возвратился на дорожку так, что его не заметил ни один из сторожей.

Вообще, если бы на руку Камилла взглянул хиромант, то, вероятно, был бы поражен прямизной и чистой линией счастья на его ладони. Это было действительно поразительное сочетание счастья и смелости.

Эти и им подобные выходки очень располагали Кармелиту в пользу Камилла и даже заставляли ее восхищаться им.

Даже Коломбо заметил, наконец, что Кармелита начала поддаваться обаянию креола.

“Что ж, это очень естественно, — думал он сначала совершенно спокойно, — он хорош собой, изящен, блестящ, а я... что во мне? Одна тоска да сила”.

Но мало-помалу лицо его начинало омрачаться, в сердце чувствовалась боль.

“Господи, — думал он, — зачем сделал ты меня в двадцать лет серьезным и строгим, точно я старик? Что за скучным сожителем стану я для семнадцатилетней девушки, все вкусы которой будут крайней противоположностью моим! А между тем все доказывает мне, что я мог бы составить счастье Кармелиты и что у меня хватило бы на это и воли, и силы, и умения”.

Он смотрел на эту веселую пару, и ему начинало казаться, что окружавшие их ореолы счастья и молодости начинают сливаться в один — ореол любви.

Он грустно покачивал головой, бледнел и держался в тени, а Камилл и Кармелита, залитые светом, продолжали свою веселую и беспечную болтовню.

“Напрасно обманывать себя, — продолжал размышлять бретонец, — они любят друг друга! Да это и естественно — они точно созданы друг для друга... А я мечтал о совсем другой будущности для этой девушки!.. Милая Кармелита!.. Я сделал бы из нее знатную и гордую графиню, а Камилл устроит ее лучше, чем я, — он сделает ее счастливой женщиной”.

С этого времени Коломбо, несмотря на все терзания тоски и ревности, порешил устраниваться и уступить Камиллу сокровище, которое берег для себя с такой тайной любовью.

Однажды Камилл и Кармелита с особенным увлечением пели страстные дуэты, низко наклонясь друг к другу. Когда пение окончилось и молодые люди вышли к себе, Коломбо положил руку на плечо Камилла.

— Камилл, ты любишь Кармелиту? — проговорил он.

На глазах его стояли слезы, он тяжело дышал.

— Я? — вскричал Камилл и вспыхнул. — Да клянусь тебе...

— Не клянись и выслушай меня, — продолжал Коломбо, — может быть, ты еще и сам не сознаешь своей любви, но она уже есть в тебе.

— Но Кармелита?.. — проговорил Камилл.

— Я ее об этом не спрашивал, — перебил его Коломбо, — да и к чему? Я ведь и так вижу ее сердце. К вашей чести, боролись вы оба долго, но влекло вас друг к другу против вашей собственной воли... Ну, так вот что я предлагаю...

— Нет, нет, Коломбо! — вскричал Камилл. — Лучше дай мне сначала сказать. Уже давно я только получаю от тебя, ничего тебе не давая, пользуюсь твоей преданностью безвозмездно! Может быть, ты и прав. Да, я признаюсь, что способен полюбить Кармелиту и изменить нашей дружбе. Но, клянусь тебе, Коломбо, до сих пор я не говорил ей о любви ни слова и до этой минуты, когда ты сам заговорил о ней, я не признавался в ней даже самому себе... Это — первое, в чем я виноват перед тобой. Но, повторяю, я сам не замечал этого, не сознавал, как, спускаясь по склону дружбы, дошел до страстной любви. Ты заметил это раньше меня и — благодарю тебя — ты сам сказал мне об этом. Тем лучше! Время еще не ушло! Да, да, мой честный Коломбо, я был готов полюбить Кармелиту, но теперь эта любовь пугает меня, словно Кармелита жена моего родного брата. Слушая тебя, я заглянул в собственное сердце, увидел разверзающуюся там пропасть и решил завтра же уехать.

— Камилл!

— Да, я уеду! Я поставлю между собой и своей страстью непреодолимую преграду, уеду за море и поселюсь в Шотландии или в Англии, оставлю и Париж, и Кармелиту, и даже тебя.

Он зарыдал и бросился на диван.

Коломбо стоял перед ним молчаливый и твердый, как скалы его родины, о которые уже шесть тысяч лет бесплодно хлещут морские волны.

— Благодарю тебя за твое великодушное намерение, — заговорил он наконец. — Я нахожу это величайшей жертвой, какую ты только мог мне принести. Но теперь уже слишком поздно, Камилл.

— Как — поздно? — с удивлением спросил креол, поднимая свое залитое слезами лицо.

— Да, слишком поздно! — повторил Коломбо. — Если бы у меня даже и хватило эгоизма воспользоваться твоей жертвой, то разве возможно теперь вырвать из сердца Кармелиты любовь к тебе.

— Так и Кармелита любит меня? Ты в этом уверен? — вскричал Камилл, мгновенно вскакивая с дивана.

Коломбо пристально смотрел ему в лицо, которое вдруг высохло, как под лучами тропического солнца.

— Да, она любит тебя! — проговорил он.

Камилл только теперь понял, сколько эгоизма было в этом взрыве радости, который вспыхнул в его душе и показался в глазах.

— Я уеду! — повторил он решительно. — С глаз долой — из сердца вон!

— Нет, вы не расстанетесь, — ответил Коломбо, — или, верите, я

не разлучу вас. Пойми, что я был бы просто подлецом, если бы не смог победить в себе любовь, которая могла бы сделать несчастными моего брата и мою сестру.

— Коломбо! Коломбо! — почти кричал креол, видя муку, которую старался скрыть бретонец, и пытаясь прекратить ее.

— Не волнуйся обо мне, Камилл. Скоро наступят каникулы, я и уеду.

— Никогда!

— Я уеду, и это так же верно, как и то, что я теперь говорю с тобой. Но обещай мне только одно, Камилл, — прибавил он заметно дрогнувшим голосом.

— Что же именно?

— Обещай, что сделаешь Кармелиту счастливым.

— Коломбо! — вскричал креол и горячо обнял его.

— Поклянись, что станешь уважать ее невинность до самой вашей свадьбы.

— Клянусь тебе в этом перед самым Богом! — торжественно произнес Камилл.

— Ну, вот и хорошо! — сказал Коломбо, утирая глаза. — Я могу уехать несколькими днями раньше... Пойми же, Камилл, — продолжал он заметно глуше, — как бы ни был я силен, но ведь я только сейчас отрекся от своих надежд, и вид вашего счастья все еще доставляет мне нестерпимую муку. Да и наконец, одно мое присутствие было бы и для вас самих и оскорблением, и стеснением... оно казалось бы вам живым упреком... Так лучше я уеду завтра же, а горе, которое меня гонит, будет иметь ту хорошую сторону, что доставит моему отцу хоть несколько лишних дней счастья.

— Ах, Коломбо! — вскричал креол, снова бросаясь в объятия благородного бретонца. — Ах, Коломбо, какой я жалкий и ничтожный человек по сравнению с тобой! Прости, прости меня за то, что ради меня ты должен отречься от своего величайшего счастья! Но вот видишь ли, мой чудный, мой почтенный друг, когда я говорил тебе, что собираюсь уехать, то я лгал тебе. Я ни за что не уехал бы, а просто хотел застрелиться.

— Несчастный! Сумасшедший! — теперь вскричал и Коломбо. — А вот я так уеду без малейшей мысли о самоубийстве. Мне даже думать об этом нельзя: у меня есть отец.

Он помолчал и несколько успокоился.

— А между тем, — проговорил он задумчиво, — ты сам поймешь, что за женщину, которую любишь, умереть ведь можно.

— Да. Я даже не понимаю, как можно жить без нее.

— И это совершенно верно. Мне самому приходила в голову эта мысль.

— Тебе, Коломбо? — переспросил Камилл не без ужаса, потому что знал, что для мрачного бретонца слова эти имели совсем иной смысл, чем для него, легкомысленного сына юга.

— Да, мне, мне, Камилл! — ответил Коломбо. — Только ты не беспокойся, не волнуйся...

— Ах, да! Ты ведь сам сказал: у тебя есть отец.

— Да. Но, кроме отца, у меня есть еще и вы. Вы мои друзья, а мне было бы страшно, что тень моя будет для вас упреком. Ну а теперь иди спать, с Богом. Ты видишь — я спокоен. Теперь мне больше всего на свете хочется поскорее увидеть отца.

Камилл с видимым удовольствием придрался к этим словам и скоро ушел, оставив Коломбо, который был молчалив, как дерево, лишившееся осенью листвы, в полном одиночестве.

— Отец! — проговорил Коломбо в раздумье. — Кажется, было бы гораздо лучше, если бы я никогда с ним не расставался.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Отъезд

Коломбо решил, что уедет на следующий же день вечером. Объяснение с Кармелитой было чрезвычайно тягостно. Она сидела у себя и работала, когда к ней вошли Коломбо с Камиллом. Оба как-то странно молчали. Кармелита была удивлена этим визитом и только что собиралась спросить, что произошло, как Коломбо грустно проговорил:

— Я уезжаю, Кармелита.

Она вздрогнула и быстро подняла голову.

— Как — уезжаете?

— Да, нужно ехать.

— Куда?

— В Бретань.

— В Бретань? Почему? Ведь каникулы начнутся только через месяц.

— Так нужно, Кармелита.

Девушка пристально поглядела ему в глаза.

— Нужно? — повторила она.

Коломбо собрал все свои силы, чтобы произнести ложь, которую задумал еще накануне.

— Этого желает мой отец, — ответил он.

Но даже губы честного бретонца так не привыкли ко лжи, что он, скорее, пробормотал, чем проговорил эти слова.

— Так вы уезжаете!.. А что же будет со мной? — сказала девушка грустно и с прелестным эгоизмом.

У Коломбо замерло сердце. Он побледнел как мертвец.

Камилл, напротив, вспыхнул.

— Ведь вы знаете, Кармелита, — сказал Коломбо, — на человеческом языке есть слово, о которое разбиваются все наши надежды и желания, и слово это: так должно.

Он произнес эти слова с такой твердостью, будто их проговорила сама судьба. Кармелита опустила голову.

Оба молодых человека видели, как на ткань у нее в руках потекли слезы.

Душу бретонца охватили сомнения. Камилл по лицу его видел, как сильно он страдал. Может быть, он даже не выдержал бы, упал перед Кармелитой на колени и признался бы ей во всем. Но в это время Камилл положил ему руку на плечо и проговорил:

— Коломбо, милейший друг, ради Бога, не уезжай!

Эти слова вернули Коломбо его твердость.

Камилл знал, что делал и какое влияние произведут его слова на сердце друга. Большого он не сказал, потому что то, чего он хотел, было достигнуто и этими немногими словами.

Вечер прошел грустно.

Только в самую минуту расставанья молодые люди заглянули каждый в свое сердце. Коломбо понял, что любит Кармелиту непреодолимой, страстной любовью. Вырвать эту любовь из сердца все равно, что вырвать сердце из груди.

Кармелита тоже поняла, как серьезно и сильно любит она Коломбо. Но, когда ночью она стала размышлять о браке, которым, по ее мнению, должны увенчиваться подобные отношения, ей вдруг представился вопрос: позволит ли старый гордый граф, чтобы его сын женился на скромной девушке без громкого имени.

Отец ее действительно погиб на поле битвы в чине капитана. Но в ту эпоху Реставрация положила между людьми, служившими Наполеону, и теми, кто служил Людовику XVIII, такую непроходимую пропасть, что даже Кармелите было ясно, что граф де Пенюэль едва ли согласится на брак сына с дочерью капитана Жерье.

Прежде всего, ей пришлось в голову, что отец Коломбо узнал о том, в какой дружбе они живут, и вызвал сына, чтобы положить этому конец. Мысль эта возмутила гордость девушки, и она решила больше ни о чем не спрашивать.

Последние часы перед разлукой прошли еще грустнее. У каждого не раз замирали слова на губах, а на глаза набегали слезы. Но даже и в эти мучительные часы бретонец ни одним взглядом не выдал душившей его страсти. Он, как молодой спартанец, не переставал улыбаться в то время, как рвалась его душа! Правда, улыбка эта была грустная.

Наконец, настал и самый час отъезда. Коломбо дружески поцеловал Кармелиту в побледневшие и влажные губы и ушел вместе с торопившим его Камиллом.

Креол хотел проводить друга до дилижанса. В зале для пассажиров Коломбо еще раз отвел Камилла в сторону и заставил поклясться, что он станет уважать девушку, которой предстоит быть его женой, до самой их свадьбы.

Камилл с жаром повторил свою клятву, вернулся на улицу Сен-Жак и застал Кармелиту в слезах. Коломбо, уезжая, не сказал, когда

вернется и даже вернется ли когда-нибудь. А между тем она так привыкла к его покровительству, так боялась остаться совершенно одна в мире, так мало доверяла рассудительности легкомысленного Камилла, что отъезд серьезного бретонца приводил ее в истинное отчаяние.

Когда к ней вошел Камилл, она горько плакала. При звуке его шагов она подняла голову, но только затем, чтобы взглянуть, не вернулся ли Коломбо. Увидя, что креол один, она снова зарыдала. Камилл несколько минут стоял в дверях молча. Он понял, что был для девушки гораздо менее дорог, чем рассчитывал.

“Следовательно, нужно говорить с ней теперь не о себе, а о другом”, — сообразил он.

— Коломбо поручил мне передать вам уверение в его неизменной дружбе, — проговорил он вслух.

— Что это за дружба! — сумрачно возразила она. — Хороша дружба, которую можно и завязывать и разрывать, как вздумается! Если бы мне пришлось уезжать, я сказала бы об этом своим друзьям заранее, а не отправилась бы так, вдруг, не предупредив.

Она забыла или делала вид, что забывает слова Коломбо о письме старого графа.

Камилл понял, что происходило в сердце девушки, и сообразил, что из ее теперешнего настроения, если им как следует воспользоваться, можно извлечь выгоду. Но Коломбо мог написать Кармелите, и тогда ложь его обнаружится, а он знал, что девушка эта простит ему все, только не ложь. Потому он решил быть как можно ближе к правде.

— Поверьте, что его могли заставить уехать только чрезвычайно важные причины, — сказал он.

— Да что же это за причины, наконец?! Если он не сказал мне их, значит, они для меня оскорбительны.

Камилл промолчал.

— Послушайте, скажите мне, ведь вы знаете? — проговорила Кармелита с заметным нетерпением.

— Не могу, Кармелита.

— Вы должны, Камилл! Вы сделаете это, если хотите, чтобы моя дружба к Коломбо оставалась по-прежнему сильной и искренней. Вы даже не имеете права допускать меня до того, что я стану подозревать вашего друга. Я обвиняю его, и вы должны стать его защитником.

— Я сам все это знаю!.. Но вы все-таки не спрашивайте меня, почему он уехал... Не спрашивайте ради него, вас самих, меня, да ради всех нас.

— А я, напротив, настаиваю на том, чтобы вы сказали, — вскричала девушка. — Если вы хотите этим молчанием избавить меня от какого-нибудь горя, то все-таки лучше говорите, потому что для меня нет и быть не может горя больше, чем измена друга. Говорите же!

— Вы этого непременно хотите, Кармелита? — спросил Камилл, как бы сдаваясь.

— Я этого требую!

— Хорошо. Он уехал потому, что...

Он остановился, точно был не в силах владеть языком.

— Ну, говорите же, говорите!

— Коломбо уехал потому, что...

— Почему же?

— Ах, как это тяжело сказать! — вскричал Камилл.

— Значит, вы хотите сказать неправду?

— Нет, истинную, чистую правду!

— Так ее всегда можно сказать скоро и смело.

— Коломбо уехал потому, что... я люблю вас! — выговорил он наконец.

Он имел полное основание остановиться перед словом "я". Он знал, что Кармелита поймет всю силу его эгоизма.

На нее эти слова произвели впечатление удара грома. Она посмотрела на него так пристально, что он невольно вспыхнул.

— Камилл, вы лжете, — проговорила девушка. — Коломбо уехал не из-за вас.

Креол поднял голову.

Его обвиняли не в том, чего он опасался.

— Нет, единственно из-за меня! — повторил он.

— Но при чем тут Коломбо, даже если вы меня любите? — спросила она.

— Он боялся, что сам полюбит вас.

— Добрый, чудный человек! — прошептала Кармелита.

Несколько минут она сидела молча, задумавшись, потом обратилась к Камиллу и сказала:

— Оставьте меня одну. Мне хочется плакать и молиться.

Креол почтительно поцеловал ей руку и уронил на нее слезу. Что вызвало эту слезу? Боль душевная, стыд или раскаяние?

Кармелита этим вопросом не задавалась. Для нее слеза была слезой, жемчужиной, которую горе извлекает из недр безбрежного океана, называемого сердцем человеческим.

Возвратясь к себе, Камилл с удивлением увидел, что у него светло.

Еще больше удивился он, увидя в комнате женщину. То была княгиня де Ванвр. Она услышала, что Коломбо уезжает и пришла сдать его белье. Но бедняжка опоздала на целую четверть часа. Нести белье обратно домой ей не хотелось, а потому она и осталась ждать Камилла. Но тот, вернувшись с проводов друга, пробыл несколько времени у Кармелиты и вошел к себе только в половине одиннадцатого. Очевидно, что возвращаться в такую пору одной в Ванвр было неудобно и даже опасно. Камилл предложил княгине комнату Коломбо.

Шан-Лиля сначала воспротивилась, но, сообразив, что дверь в соседнюю комнату запирается на задвижку, решила остаться.

Осталась ли соседняя дверь заперта или нет — неизвестно.

Бурная ночь

Около одиннадцати часов следующего утра Камилл подошел к двери Кармелиты и в раздумье остановился. Он размышлял о трудности, вернее, даже невозможности, исполнить дело, которое задумал. Он хорошо знал Кармелиту, знал, что ее целомудрие непоколебимо. Следовательно, чтобы победить ее, нужно было употребить прием, выходящий из ряда обыкновенных ухаживаний.

Вся сила креола заключалась в его поразительной ловкости. Он давно изучал характер Кармелиты, как генерал изучает неприятельский лагерь.

Как же приступать к делу? Следовало ли, по примеру Малерба, вести правильную осаду, то есть окружить Кармелиту неотступным ухаживанием, или нужно было овладеть ею голодом, силой, совершая беспрестанные приступы и нападения? Нет, вся военная наука не привела бы ни к чему! Победить можно было только неожиданностью, хитростью. Камилл остановился на последнем и решил терпеливо ждать удобного случая.

Он вошел. Кармелита плохо спала ночь и много плакала. Она приняла Камилла холодно. Подобная встреча не была для него сюрпризом. С этого дня он начал обуздывать свой веселый и легкий характер и выказал при этом такую силу воли, какую раньше и заподозрить было нельзя. Благодаря постоянному наблюдению за собой он стал казаться даже человеком серьезным и положительным. Цель, которую он при этом преследовал, весьма понятна. Ему хотелось изгладить из сердца Кармелиты последние воспоминания об отсутствующем друге. А для этого было необходимо сначала, по возможности, заменить его, походить на него даже характером.

Кармелита наивно предполагала, что причиной подобного превращения было частью сожаление об отъезде Коломбо, частью же любовь к ней.

Ее гордость была польщена тем, что молодой человек, единственно из надежды понравиться ей, изменил свой характер и привычки.

Но все это было лишь маской, которую он надел, чтобы увлечь девушку. Он любил ее. Слова эти не имели для него того же значения, какое признавал за ними Коломбо. Бретонец любил всеми силами души, а Камилл всеми силами фантазии, которая на этот раз разыгралась сильнее, чем когда-либо.

До сих пор он встречался только с женщинами, победы над которыми давались легко, и упорство Кармелиты только раздражало его. Чтобы победить ее, он пускал в ход все уловки ума и был уверен, что старается победить ее исключительно голосом сердца.

Если бы Кармелита, вместо того, чтобы восхищаться изменением характера, которое приписывала своему влиянию, заставила Камилла остаться при его естественных достоинствах и недостатках, то, может

быть, и сделала бы из него, любившего ее, человека честного и доброго. Между тем позволяя ему обманывать себя, она поощряла его во лжи и лицемерии.

В результате оказывалось, что Камилл с каждым днем ближе и ближе подходил к своей цели.

Его слова: “Коломбо уехал оттого, что я вас люблю” избавили его от всякого признания, а Кармелиту от необходимости ответа.

Коломбо предоставил Камиллу свободу действовать, следовательно, он этим самым как бы отказывался от Кармелиты.

Оставалось только узнать, могла ли Кармелита полюбить Камилла? Но молодой человек обладал блеском колибри и гибкостью змеи. Он ни разу не спросил у девушки: “Хотите ли вы быть моей?”, — но постоянно повторял: “Когда вы будете моей женой...” Часто и красноречиво рисовал он заманчивые картины жизни вдвоем. Однажды она отвестила ему, улыбаясь:

— Это все мечты, Камилл!

Молодой человек прижал ее к своему сердцу и воскликнул:

— Нет, Кармелита, это действительность!

С этого дня Камилл понял, что девушка в его власти, но продолжал быть почтительным, скромным и серьезным.

С Кармелитой нужно было поступать осторожно: малейшая оплошность могла положить конец всем надеждам. И он терпеливо ждал благоприятного случая.

Однажды вечером они спустились в тот самый сад, где три месяца назад Коломбо провел с Кармелитой часть ночи.

Вечер был удушливый. Молнии, предсказывавшие страшную грозу, пересекали небо с запада на восток. Завянувшие цветы и съезжившиеся листья напрасно, казалось, молили небо о дожде.

Наэлектризованная атмосфера действовала на молодых людей. Казалось, жизнь покинула их, и они, как цветы, звери, как вся природа, жаждали освежающего дождя.

Камилл, привыкший к тропической жаре своей страны, не потерял сознания и, заметив летаргическое оцепенение и мечтательную сонливость девушки, понял, что так давно ожидаемый момент наконец настал.

Как песнь кормилицы убаюкивает обыкновенно ребенка, так и влюбленные речи Камилла усыпляли Кармелиту сном магнетическим, самым глубоким, самым опасным сном, противиться которому невозможно.

Так сокол, постепенно уменьшая круги, парализует жаворонка, которого наметил.

Так змея околдовывает птицу, заставляя ее спускаться с ветки на ветку прямо к ее неподвижной голове.

Не так смотрел Коломбо на Кармелиту в ту чудную весеннюю ночь, которую они провели вместе в том же саду и под теми же кустами сирени. Между обеими ночами и обоими молодыми людьми была такая же разница, как между весной и летом.

Тогда, действительно, свежая, молодая, стыдливая весна едва осмеливалась распуścić свои почки. Теперь могучее и жгучее лето всюду разбрасывало цветы.

Тогда была пора детства с его нерешительностью, замешательством и страхами.

Теперь наступила юность со своим блеском, смущением и заносчивостью. Во время весеннего дня, который предшествовал той ночи, когда Кармелита гуляла с Коломбо, также гремел гром, жизнь также как будто приостановилась, но разразился дождь, и растительный мир был спасен от смерти.

В эту летнюю знойную ночь цветы напрасно молили о дожде, листья осыпались, цветы увядали, растения погибали.

Девушке также пришлось склонить голову под гнетом этой насыщенной электричеством атмосферы и, за неимением живительной росы, упиваться невыразимыми сладостями любви.

В эту ночь бедная Кармелита один за другим обрывала лепестки своего венка невинности, и ее ангел-хранитель, сгорая от стыда, улетел на небо.

Когда она вернулась в свою комнату, взгляд ее упал на прелестный розан: он весь съежился от грозы. Кармелита подошла к нему; щеки ее пылали и были мокры от слез. Она сорвала все бывшие на кусте цветы и бутоны, завернула их в белую вуаль и спрятала в один из ящиков комода.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Человек предполагает...

Убедившись, что Кармелита в его руках, Камилл стал таким же, как был прежде. Раз цель достигнута, к чему продолжать усилия? Хоть он и продолжал смягчать слишком уж резкие черты своего характера и вообще старался нравиться девушке. В радостях любви Кармелита совершенно забыла о прежних проказах и о легкомыслии молодого американца. Часы с Камиллом ей казались бесконечными, она верила в него и никогда не думала о будущем. Она считала себя неограниченной повелительницей молодого человека; он исполнял малейшие ее желания и слушался беспрекословно.

Заметив однажды двусмысленный взгляд кого-то из соседей, Кармелита сейчас же сообщила об этом Камиллу, и он предложил ей немедленно переехать. Кармелита согласилась. Тогда они начали обсуждать, в какой бы квартал им переехать.

Камилл хотел поселиться в самом богатом квартале, на улице д'Антен, где бы у них была масса соседей, которых они как раз и избегали.

Тут снова проявилась одна из черт характера Камилла: для удовлетворения своей гордости он не прочь был поселиться в самом бога-

том квартале, чтобы показать всему Парижу, какой красавицей обладает.

Но Кармелита, не объясняя себе намерений Камилла, понимала, что истинное счастье всегда ищет уединения, и потому просила Камилла не снимать квартиру в шумном месте, а поселиться где-нибудь в окрестностях Парижа.

Камилл, на которого Кармелита имела огромное и благотворное влияние, согласился, и они отправились выбирать укромный уголок, где бы не было соседей.

Увы! Кто из нас, бедных мечтателей, не создавал чудного плана: построить свое гнездышко где-нибудь в тени и в уединении, куда бы не проникал человеческий голос и не нарушал покоя?

А Камилл и Кармелита привели эту мечту в исполнение. В одно воскресенье они отправились по разным дорогам и сошлись у границы Медона, откуда продолжали путь рука об руку.

День был прелестный, небо ясное, луга переливались тысячами цветов, с деревьев, стоявших по бокам дороги, осыпались первые пожелтевшие листья, так что молодые люди как бы проходили под триумфальной аркой.

Природа щедро награждает подобными праздниками влюбленных: скромная и услужливая сообщница, она дает им полную и неограниченную власть.

Так шли они по полям в Медон, вызывая на пути своем всеобщий восторг. Старики, глядя на них, с сожалением вспоминали о счастливом прошлом; молодежь с радостью думала об ожидающем их будущем.

Действительно, это была парочка, достойная внимания: оба молодые, влюбленные и красивые; Камилл с гордостью во взгляде, взор Кармелиты, наоборот, был меланхоличен.

Наконец, они пришли в Медон, но он показался им еще слишком населенным.

Какова же была радость Кармелиты, когда в новом их домике она увидела свой розовый куст.

Не зная тайной причины, привязывавшей так Кармелиту к розану, Камилл желал доставить ей удовольствие и велел одному из комиссионеров отправиться по кратчайшей дороге, тогда как он и Кармелита шли по самому длинному пути, так что розовый куст был на месте раньше их.

Поцеловав дорогой ей розан, Кармелита перенесла его в свою комнату и продолжала осматривать остальное помещение. Это был прелестный домик, выстроенный наподобие полевых построек времен Марии-Антуанетты. Он был выстроен из земли, кирпичей и дерева с несодранной корой, вокруг него вились виноград, плющ и жасмин — все это было создано случаем, фантазией.

Внизу помещались передняя, зал, столовая и кухня. Внутренняя лестница вела на террасу, которая, если ее обтянуть полотном, могла служить летней столовой. Наружная лестница, перила которой были

обвиты гигантскими листьями карказона, вела к двум спальням и двум уборным.

Две комнаты для прислуги дополняли это гнездышко, почти совершенно скрытое в листьях, мху и цветах. Посреди сада возвышалась прелестная беседка.

— Какая красивая беседка! — сказала Кармелита. — Что мы сделаем из нее?

— Здесь поселится Коломбо, — спокойно ответил Камилл.

Девушка отвернулась: она чувствовала, что покраснела.

Понятно, Камилл не раз повторял имя своего друга, но, казалось, это имя навсегда осталось в самой глубине сердца Кармелиты, и она ни за что не решилась бы произнести его. Но никогда тень обманутого друга не выступала так ярко во всем блеске своей честности.

И Камилл, так жестоко обманув своего друга, собирался еще сделать его свидетелем их счастья!

Не зная всей глубины любви к ней и потому не понимая, какую громадную жертву Коломбо принес другу, Кармелита все-таки сознавала, что было бы жестоко сделать его свидетелем ее любви к другому.

— Коломбо? — повторила она нетвердым голосом. — Не сказали ли вы мне, Камилл, что он уехал оттого, что вы любите меня?

— Конечно, — отвечал Камилл.

— Раз он уехал, — продолжала девушка, — потому именно, что вы любите меня, значит, и он любит меня.

— Ну да, — возразил Камилл, — разумеется, он любит тебя, милый друг, но ты знаешь, разлука сглаживает многое. Если он был немного сумрачен, глядя на возникавшую любовь нашу, неужели его дружба к нам не сделает ему дорогим наше настоящее счастье?

Кармелита вздохнула. Разлука изглаживает многие впечатления...

Так, значит, думала она, если и Камилл отлучится, многое будет забыто!

Она в задумчивости поднялась в свою комнату.

Эта комната, как две капли воды, походила на комнату Кармелиты на улице Сен-Жак. Камилл обставил ее точь-в-точь так же: те же белые занавеси, то же розовое одеяло.

Любовники провели тут весь сентябрь; они вставали с тем, чтобы заботиться друг о друге, и ложились с надеждой увидеть друг друга во сне. Ни одна минута не проходила у них даром: она казалась исключительно созданной для них.

Они решительно забыли о существовании Парижа, улицы Сен-Жак, вообще всего мира, и можно было сказать, почти забыли Коломбо, если бы не вздохи, которые вырывались у Кармелиты, когда она закрывала глаза и проводила рукой по лбу.

Их беспечность относительно необходимых вещей была такая же, как и относительно людей: им не доставало многих нот; некоторые принадлежности туалета требовали обновления, одним словом, были

тысячи предлогов для поездки в Париж, но им было так хорошо в домике в Медоне, что они не решались покинуть его.

Снова показаться на улице Сен-Жак, снова войти в дом, откуда, казалось, было взято все и где, между тем, было забыто столько необходимых вещей, снова дать пищу насмешкам соседей, — все это было слишком тяжело для Кармелиты.

Недели две переносили они еще недостаток тех вещей, отсутствие которых сначала и не замечали, но которые, неизвестно почему, с каждым днем становились необходимее.

Раз вечером они составили список всего необходимого и решили, что на следующий день Камилл отправится в Париж и купит там или принесет из старой квартиры все, чего не доставало в Медоне.

Камилл возвращался раз десять, наконец уехал. Кармелита следила за ним, пока он был виден; Камилл, со своей стороны, посылал ей бесцелные поцелуи и махал платком. Наконец, он исчез на повороте.

Камилл должен был сесть в первый попавшийся омнибус и часам к двум пополудни мог бы вернуться домой.

Мы не станем восхищаться любовью Камилла, мы уже достаточно откровенно выразились о характере креола, чтобы не иметь подозрений, но провидение уж слишком зло посмеялось над ним.

Едва отошел он шагов на двести от Нижнего Медона, как увидел вдали двух черных ослов, на которых сидели верхом две девушки в белых платьях.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Камилл

Заметив их, Камилл удвоил шаги и уже нагонял их, когда одна, случайно повернувшись, остановила своего осла и сделала знак своей подруге сделать то же самое. Камилл заметил это, еще ускорил шаги и через несколько секунд поравнялся с ними. Тогда одна из них встала на стремена, бросила поводья на шею ослу и, рискуя упасть, бросилась в объятия Камилла, крепко поцеловав его.

— О! Шан-Лила, княгиня де Ванвр! — воскликнул он.

— Наконец-то это ты, неблагодарный! — сказала девушка. — Сколько времени я разыскиваю тебя!

— Ты разыскивала меня, княгиня? — спросил Камилл.

— По горам и по долам! И сюда я приехала с тем же намерением.

— Как и я, — сказал Камилл, — я пришел сюда исключительно для того, чтобы отыскать тебя.

— Хорошо, — сказала Шан-Лила, целуя его еще раз. — Мы встретились, и нам нечего больше разыскивать друг друга... Поцелуемся и не будем больше говорить об этом.

— Не будем больше толковать и поцелуемся, — сказал Камилл, исполняя приказание.

— Кстати...

— Что?... Разве мы еще не нацеловались?

— Нет, совсем не то... Позволь мне познакомить тебя с моей ближайшей подругой, мадемуазель Пакереттой, графиней дю Батуар. Я думаю, совершенно лишнее объяснять тебе, что имя ее Пакеретта, а графиня дю Батуар...

— Ее титул... Разумеется! Но как ее фамилия?

— Попросту ее зовут Коломбье, — ответила красавица прачка.

— Прибавь, что так называют ее губки, ибо любовный шепот не выходил никогда из уст более розовых и свежих.

Щеки Пакеретты мгновенно покраснели, и она собиралась уже опустить глаза, когда прачка заставила ее устремить их на Камилла, представляя его своей первой фрейлине.

— Господин Камилл де Розан, американский дворянин, — сказала Шан-Лила. — У него миллионы на Антильских островах и, как ты, наверное, уже успела заметить, полные карманы шутих.

Княгиня де Ванвр называла шутихами остроты, которыми Камилл имел обыкновение пересыпать свой разговор.

— Сознайтесь, по совести, куда вы ехали? — спросил Камилл.

— Ведь я тебе сказала! — недовольно воскликнула Шан-Лила.

— Мы разыскивали тебя. Не правда ли, Пакеретта?

— Разумеется, мы ни за чем другим и не ехали, — ответила та.

— Как же случилось, — спросил Камилл, — что сегодня вторник и вы не в вашем водяном замке, прелестные наяды? Уж не высушило ли по неосторожности солнце ваш замок?

— У нас пересохло во рту, милостивый государь, — ответила Шан-Лила, щелкая языком. — Если вы действительно такой любезный кавалер, как говорят, вы сейчас же отыщете нам уголок, где бы мы могли съест молока и выпить хлеба...

— Княгиня! — воскликнул Камилл.

— Хорошо! Я сказала наоборот тому, что следовало сказать, но я до того устала, что потеряла способность рассуждать.

— Бегу на розыски! — воскликнул Камилл, отправляясь в путь.

Но Шан-Лила удержала его за край одежды.

— Нет-с, с княгиней де Ванвр так не поступают, господин Рюжери! — крикнула она.

— В чем дело, царица моего сердца?

— Она боится, что вы не вернетесь, — ответила Пакеретта, — а нам ведь очень хочется пить.

— Ты сказала правду, Пакеретта, — возразила Шан-Лила, продолжая держать Камилла за фалды.

— Я, княгиня, — воскликнул молодой человек, — брошу тебя, я убегу, когда ты посылаешь меня за едой? С кем жила ты с тех пор, как мы расстались, моя милая? Как! Шесть недель разлуки изменили тебя до того, что ты не веришь более в честность де Розана, американского дворянина? Я не узнаю тебя, царица души моей, мне подменили мою Шан-Лилу!

И Камилл поднял в отчаянии руки к небу.

— Ну хорошо, ступай вперед! — сказала она, выпуская из рук фалды сюртука. — Впрочем, нет, — прибавила она, спохватившись. — Было бы жестоко заставить тебя прогуляться два раза по такой жаре, отправимся на розыски вместе. Только постарайся найти моего осла: не знаю, куда он девался, пока мы тут разговаривали. Я дала слово хозяину беречь его.

Осел действительно исчез. Напрасно смотрели они на луга, раскинувшиеся по обеим сторонам дороги: нигде не было его видно. После продолжительных розысков, его наконец нашли: он улегся в овраге и спал там в тени. Его разбудили, и он с покорностью, на которую не все люди способны, подставил княгине свою спину. Графиня дю Батуар уступила своего осла Камиллу, а сама села вместе с Шан-Лилой. Тогда веселый караван двинулся в путь на розыски фермы, трактира или мельницы.

Поля огласились их смехом; птицы, принимая их за своих, не пугались. Это странствующее трио напоминало три первые воскресенья мая: это были три воплощенные весны.

Камилл уже раньше спрашивал, как случилось, что во вторник обе девушки встретились на дороге из Парижа в Медон, вместо того, чтобы складывать в прачечной рубашки. Шан-Лила уступила слово Пакеретте, которая и сообщила, что в этот вторник был праздник у их хозяйки и они отправились в путь с единственной целью — разыскать американца.

— Но отчего, — заметил Камилл, — я встретил вас на этой именно дороге, а не на другой?

— Во-первых, — ответила Шан-Лила, — я искала тебя по всем дорогам, но мне сказали, что ты живешь в Нижнем Медоне.

— Кто же сказал тебе это? — спросил Камилл.

— Все соседи!

— Ну, княгиня, — сказал Камилл, вполне овладев собой, — соседи обманули тебя, посмеялись над тобой, моя милая.

— Не может быть!

— Так же может быть, как то, что я вижу вдали мельницу, о которой мы мечтали.

Действительно, на горизонте виднелась мельница.

— Если соседи обманули меня, что могло легко случиться, отчего же я встретила тебя именно на дороге в Медон? — спросила Шан-Лила с легковерием, свойственным гризеткам.

Камилл пожал плечами, как бы желая сказать: "Ты не догадываешься?"

Шан-Лила поняла это движение.

— Нет, не догадываюсь, — сказала она.

— Между тем нет ничего проще, — ответил Камилл. — Мой нотариус живет в Медоне, и я ходил к нему за деньгами. Слышишь?

И, похлопав по карманам жилета, он зазвенел золотыми, взятыми для покупок.

— Да, правда, — сказала Шан-Ли́ла, убежденная звоном монет, — я тебе верю. Ты должен показать мне своего нотариуса... Мне хотелось бы увидеть одного из них: они, говорят, очень интересны.

— Куда интереснее, чем это говорят.

Они подъезжали к мельнице, и мысли девушки приняли другой оборот.

В прежнее время мельницы служили прелестной целью прогулок: там можно было достать молока и хлеба. Подобные прогулки доставляли истинное, но и невинное наслаждение, недоступное для других классов общества.

Трое молодых людей, привязав своих ослов, вошли на мельницу, где им подали горячий хлеб и холодное молоко. Камилл усердно принялся за еду, тогда как Шан-Ли́ла, едва попробовав хлеб, воскликнула:

— О, как мы глупы, что сидим тут и едим хлеб!

— Княгиня, — прервал ее Камилл, — говори, пожалуйста, в единственном числе.

— Как ты глупо делаешь, что ешь хлеб!

— Браво! — воскликнул Камилл. — Это уже не шутиха, а целая ракета! Ну, скажи, почему я глуп?

— Да потому, что теперь три часа пополудни, и мы испортим аппетит к великолепному обеду, которым, надеюсь, нас угостит господин Камилл де Розан, американский дворянин.

— Всем, чего ты только пожелаешь, княгиня, но не здесь, мои пастушки.

— А где же?

— Разумеется, в Париже! Деревня возбуждает аппетит, но она не может удовлетворить его. Мы пообедаем в Париже, у Вефура, что будет много интереснее, даже интереснее нотариусов, так как у Вефура вы едите, а у нотариуса вас едят.

— О, Пакеретта! Надеюсь, ты не будешь в претензии. К Вефуру!

— В путь, дети мои, — сказал Камилл. — Предупреждаю вас, что мне нужно сделать еще несколько покупок до обеда.

— Для дам? — спросила Шан-Ли́ла, сильно ущипнув руку Камилла.

— Для дам? Да разве я знаком с дамами?

— А за кого же вы меня считаете, сударь? — сказала Шан-Ли́ла, выпрямляясь с комической важностью.

— Тебя, княгиня, — ответил молодой человек, целуя ее, — тебя я считаю за самую красивую, самую свежую и самую умную прачку, которая когда-либо существовала.

Пустой извозчик проезжал мимо мельницы, его остановили, сели

в карету и приказали ехать в Париж к Вефуру, а ослов отправили с мальчиком к их хозяину.

О покупках не было и речи, по крайней мере, в этот день.

За десертом, когда земляника была уже съедена, кофе выпит, а ликер уже начат, Пакеретта Коломбье, роль которой между молодыми людьми становилась очень затруднительной, вдруг вспомнила, что ее дядя, старый солдат, ждал ее для перевязки ран. Она ушла и оставила их наедине.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Последние осенние дни

Одно из окон дома выходило на улицу Пти-Шан. У этого окна и сидела Кармелита, облокотившись на подоконник и положив голову на руки. Отсюда прислушивалась она к малейшему шуму, долетавшему к ней в ночной тиши с поля. Раз двадцать треск сухих веток и шум падавших листьев заставлял ее напрасно вздрагивать. Ей слышались шаги Камилла.

Но так поздно он не мог прийти пешком, так что нужно было ждать стука экипажа.

Тишина ночи, печальный шелест деревьев и падающих листьев, которые как бы вздрагивали, зловещий и перемежающийся крик совы — все это усиливало тоску Кармелиты. Был момент, когда тоска овладела ею до того, что слезы в два ручья брызнули у нее из глаз и потекли сквозь пальцы.

Какая разница между этой темной, холодной ночью, проведенной у окна в ожидании Камилла, и той весенней ночью, в которую она болтала с Коломбо под сиренью между розами!

А между обеими этими ночами едва прошло пять месяцев. Правда, не нужно пяти месяцев, чтобы изменить чью-нибудь жизнь — достаточно одной минуты, одного мгновения, одной бурной ночи.

Наконец около часу раздался шум проезжающего по мостовой экипажа.

Кармелита вытерла глаза, насторожилась и увидела, к великой своей радости, смешанной с непонятной грустью, экипаж, повернувший за угол и подъезжавший к крыльцу. Она хотела поскорее сойти с лестницы, чтобы броситься в объятия Камилла, но едва была в состоянии спуститься с первой ступени. Камилл выскочил из экипажа, запер дверь и кинулся к ней. Кармелита стояла на полдороге, дрожа и прислоняясь к стене. Откуда у нее, ожидавшей его с таким нетерпением, столь мучительная слабость?

Камилл обнял Кармелиту со свойственной ему горячностью.

Утром он так же обнимал княгиню де Ванвр, может, с меньшей силой, даже с меньшей горячностью, теперь ему нужно было испросить прощения за свое долгое отсутствие.

Кармелита отвечала на ласки Камилла холоднее, чем хотела. У женщины есть чутье, которое редко ее обманывает: мужчина слишком много уносит с собой от той женщины, с которой расстался, чтобы не возбудить подозрения у другой, к которой возвращается. Кармелита не могла отдать себе отчета в этом подозрении, но инстинктивно сознавала, что, кроме отсутствия, ей еще в чем-то можно было упрекнуть Камилла. В чем именно? Она не знала. Мучительная струна, дрожавшая в сердце, была струной упрека.

— Прости, дорогая, за причиненное тебе беспокойство! — сказал Камилл. — Клянусь тебе, быстрее возвратиться было не в моей власти.

— Не клянись, — сказала Кармелита, — разве я сомневаюсь? К чему обманывал бы ты меня? Если ты любишь меня, значит, какая-нибудь более могучая воля задержала тебя, если же ты разлюбил меня — к чему мне знать причину.

— Что ты, Кармелита! Я не люблю тебя? — воскликнул Камилл. — Ведь ты знаешь, что я не могу жить без тебя!

Кармелита печально улыбнулась. Казалось, между ней и ее любовником прошла тень женщины.

Камилл отвел Кармелиту в ее комнату и закрыл окно: ночи становились холодными. Кармелита просидела пять часов у открытого окна и не заметила ночной свежести. Камилл бросился к ее ногам.

— Вот, — сказал он, — что случилось. Вообрази, я встретил в Париже двух креолов с Мартиники, двух моих друзей, которых я не видал... не помню даже с каких пор. Мы говорили о нашей чудной стране, где ты скоро поселишься, говорили о тебе...

— Обо мне? — спросила Кармелита, вздрогнув.

— Разумеется, о тебе. Разве могу я говорить о ком-либо еще?.. Я, конечно, не назвал тебя. Они отправились со мной за покупками, но с условием, что я пообедаю с ними и пойду в оперу... Ты знаешь — ты и музыка, единственные мои страсти... Ах, отчего тебя не было там, ты бы провела время очень весело.

Кармелита сделала неопределенное движение бровями.

— Я не была там, — сказала она, — но я не скучала — я ждала тебя.

— Ты просто ангел!

И Камилл снова горячо поцеловал Кармелиту.

Он замечал, что его слова не производят желаемого действия, но упорствовал, возвращался к тем подробностям, которые должны были придать его рассказу более вероятности. Кармелита уже не понимала смысла его речей, а слышала одни слова. Она улыбалась, качала головой и отвечала односложно, мало сознавая, что именно отвечала, как и то, что говорил Камилл.

Прошло два часа, Кармелита вздрогнула.

— Два часа! — сказала она. — Вы устали, мой друг, я тоже. Ступайте к себе и оставьте меня. Завтра вы расскажете мне все, что не

успели рассказать сегодня. Я уверена, что с вами не случилось ничего дурного, и я счастлива.

Камилл уже несколько времени чувствовал себя неловко: он не знал, уйти ему или остаться.

— Ты прогоняешь меня? — сказал он. — Ты дуешься.

— Я? — спросила удивленно Кармелита. — Отчего же я буду дуться на тебя?

— Почему я знаю? Каприз!

— Действительно! — сказала Кармелита с печальной улыбкой. — Может быть, я и капризна, Камилл. Я постараюсь исправить этот недостаток... До завтра.

Камилл поцеловал Кармелиту, которая как будто окаменела, и вышел. Едва закрылась за ним дверь, как слова, которые так долго не могла она выговорить, сорвались у нее.

— Я задыхаюсь, — сказала она.

Она снова открыла окно и села в том же положении, в каком сидела в ожидании Камилла, и так провела она всю ночь, до самого утра.

При первых сероватых лучах она вздрогнула, будто только теперь заметила, который час, подняла свои чудные глаза к небу, вздохнула и легла в постель.

Это было первое облачко на светлом небе молодых людей.

Камилл сказал Кармелите, что он успел закупить только половину нужных вещей, но он решительно ничего не купил. Следовательно, было крайне необходимо снова отправиться в Париж. И Камилл поехал.

На этот раз он исполнил все поручения и вернулся рано.

Кармелита не ждала его у окна, она гуляла в саду, в той его части, где возвышалась пустая беседка.

С этого дня отлучки Камилла стали чаще и чаще, и Кармелита, по снисходительности, скажем лучше, по беспечности, скорее, уговаривала его, чем удерживала.

Скоро эти поездки в Париж стали так часто повторяться, что присутствие Камилла дома стало редкостью.

Сегодня был бег на Марсовом поле, на другой день — первое представление новой оперы, на третий — петушинный бой. Правда, Камилл каждый раз говорил Кармелите: “Хочешь ехать со мной, милая?” — на что Кармелита каждый раз отвечала: “Благодарю”.

И Камилл отправлялся один.

В одну из его отлучек кто-то позвонил утром. Кармелита слышала звонок, но он не заставил ее более вздрагивать. Когда позвонили во второй раз, она приподняла занавеску и посмотрела, кто звонит. Она вскрикнула: у подъезда стоял Коломбо.

Ей чуть не сделалось дурно.

Она побежала в сени и крикнула встретившейся ей садовнице:

— Нанетта, проводите этого господина во флигель в саду.

Затем она закрыла дверь, повернула ключ, дрожа задвинула задвижку и села или, вернее, упала на диван.

Это был Коломбо!

Коломбо писал Камиллу со свойственной ему аккуратностью, но так как с отъезда бретонца Камилл ни разу не был на улице Сен-Жак, то письма Коломбо так и лежали у Марианны.

Камилл, не получая писем, не считал нужным писать своему старинному другу по гимназии. К тому же он старался, насколько было возможно, не думать о Коломбо, который напоминал ему об измене дружбе, о нарушенном обещании.

Молчание Камилла беспокоило даже и мало склонного к подозрению бретонца. Дело в том, что он воображал, что дикие красоты его родины благотельно действуют на его душу.

Однажды он сказал себе: "Я выздоровел, я снова могу приняться за изучение права. Кстати, посмотрю, что поделывают Камилл и Кармелита".

Он приехал в Париж и нанял экипаж, чтобы скорее доехать до улицы Сен-Жак. Было семь часов утра, он, наверно, застанет Камилла еще в кровати: тот был ленив как креол. А Кармелита будет уже на ногах; он помнил, что она вставала, как птичка, рано и приветствовала пением первый проблеск света, первый луч солнца.

Когда он подъезжал к улице Сен-Жак, сердце у него билось, голова пылала. Марианна видела, как он вышел из экипажа.

— Да это господин Коломбо! — сказала она. — Куда вы идете?

Коломбо сразу остановился.

— Куда я иду? — ответил он. — Да к себе, к Камиллу.

— Господин Камилл давным-давно переехал отсюда!

— Переехал? — повторил Коломбо. — А Кармелита, — произнес он с усилием, — тоже переехала? Куда отправились они?

— Муж скажет вам, он знает. Шан-Лиля, прачка тоже может сказать вам.

Коломбо прислонился к стене, чтобы не упасть.

— Дайте мне ключ от моей комнаты, — сказал он.

— Ключ от вашей комнаты? На что он вам?

— К чему, обыкновенно, спрашивают ключ от своей комнаты?

— Ключ спрашивают, обыкновенно, когда хотят пройти к себе, а у вас нет здесь комнаты.

— Как? — сказал бретонец сдавленным голосом.

— Так как вы тоже переехали.

— Я переехал? Да вы с ума, что ли, сошли?..

— Нет, я не сошла с ума. Вы можете подняться, если хотите, но в вашей комнате нет совсем мебели. Господин Камилл увезли все и сказали, что вы будете жить с ними.

— С ними? — повторил Коломбо, и из глаз его посыпались искры. — По крайней мере, раз я должен жить с ними, нужно же мне знать, где они живут.

— Мне кажется, они поселились в Медоне, — ответила Марианна.

Коломбо взял свой чемодан, снова сел на извозчика и велел ему ехать в Медон. Часа через полтора он был на месте.

Коломбо с терпением и упорством бретонца ходил из дома в дом и расспрашивал.

Наконец, в последнем доме ему сказали, что наверно молодые люди живут в Нижнем Медоне.

Там объяснения стали положительнее; ему указали дом, он позвонил раз, другой. Кармелита посмотрела в окно, узнала его и велела Нанетте не говорить о себе, а привести его прямо в беседку.

A highly detailed, symmetrical decorative border in a black and white woodcut style. It features intricate scrollwork, floral motifs, and a central oval frame that encloses the title text.

МОГИКАНЕ ПАРИЖА

Часть
третья



ГЛАВА ПЕРВАЯ
Один вернулся

Когда Нанетта открыла дверь Коломбо, он был почти так же бледен, как Кармелита.

Он хотел спросить Камилла, но слова замерли у него на губах. — Вы к мсье Розану, не так ли? — сказала Нанетта, приходя ему на помощь.

— Да, — пробормотал Коломбо.

— Пожалуйста сюда.

И Нанетта повела его прямо в садовый павильон.

Кармелита, слышавшая, как входная дверь открылась и закрылась, пошла на цыпочках посмотреть из окна коридора, выходившего в сад.

Коломбо не следовал уже за Нанеттой — он шел впереди нее.

Он спешил прийти к Камиллу и потребовать от него объяснения. Но павильон был пуст.

Он повернулся к Нанетте и спросил:

— Куда вы ведете меня?

— В вашу комнату, сударь, — отвечала садовница.

— В мою комнату?

— Да. Ведь вы друг, которого мсье Камилл ждет из Бретани?

— Камилл ждет меня?..

— Два месяца.

— А где Камилл?

— В Париже.

— Но он вернется сегодня?

— Вероятно.

— Часто ли он ездит в Париж?

— Почти каждый день.

— А! Это так, — пробормотал Коломбо. — Он живет здесь, а она в

Париже. Камилл боится компрометировать ее, живя с ней не только в одном доме, но даже в одном городе. Милый Камилл, я дурно подумал о нем...

И, повернувшись к Нанетте, он сказал:

— Я подожду здесь Камилла, и, как только он вернется, вы предупредите его о моем приходе.

Оставшись один, Коломбо оглянулся вокруг и провел рукой по глазам. Ему казалось, что видение обманывает его.

Это была его комната на улице Сен-Жак, перенесенная в прелестный сад. Та же мебель, те же обои. Он находил тут все, все, начиная с справочника законов, который лежал на его ночном столике, возле подсвечника, открытый на том месте, где, три месяца тому назад, он положил зеленую закладку, до маленьких ящичков с розами, которые зеленели пред его окном.

Коломбо видел в этом только тонкую и нежную внимательность своего друга, но все-таки эта комната была полна для него мрачных воспоминаний.

Ничего не может быть грустнее, как видеть с разбитым сердцем и заплаканными глазами те предметы, которые напоминают о счастливом времени.

Не жестоко ли было со стороны Камилла, хотя бы даже из желания приятно удивить друга, заставить Коломбо жить в той комнате, где умерли его первые мечты?

Он вышел в сад. Ему не хватало воздуха. Кармелита не оставляла окна; она видела, как он вышел или, скорее, выскочил из павильона.

Она прижала руку к сердцу и закинула голову назад, бедная девушка была близка к обмороку.

Когда она открыла глаза, Коломбо сидел на скамье, закрыв лицо руками, в том же положении, в каком она сама провела четыре часа, дожидаясь в первый раз Камилла.

Он также ждал четыре часа, как ждала Кармелита. Вдруг послышался шум остановившейся перед дверью кареты, затем раздался сильный звонок, в котором легко можно было узнать руку хозяина дома.

Нанетта была на своем посту и бросилась отворять.

Вероятно, она сообщила Камиллу о приходе Коломбо, потому что он, вместо того, чтобы подняться на первый этаж, прошел через коридор и появился в саду.

Он поискал Коломбо глазами, увидел его на дерновой скамье и пошел прямо к нему.

Коломбо, слышавший шум шагов, поднял голову и увидел перед собой Камилла.

Он вскрикнул и в одну секунду был в его объятиях.

Кармелита видела все это из-за занавеси. Ничто не смущало радости, которую испытывал Коломбо, видя опять своего друга; он думал, что Камилл в Нижнем Медоне, а Кармелита в Париже.

Молодые люди направились к дому, обнявшись.

Кармелита, видя, что они приближаются, вернулась в свою комнату и заперлась в ней.

Камилл дал осмотреть своему другу весь дом, кроме комнаты, в которой была Кармелита. Бретонец нисколько не был удивлен немного женственной роскошью обстановки комнат: он знал вкус Камилла.

Когда дом был весь осмотрен, креол подвел своего друга к этой таинственной двери, мимо которой они проходили два или три раза, не открывая ее.

Тут он остановил Коломбо.

— Шляпу долой! — сказал Камилл.

— Зачем? — спросил бретонец.

— Это святая святых!

— Что ты хочешь сказать?

— Послушай, — предложил Камилл, полунасмешливым, полусерьезным тоном, по своему обыкновению, — я имею довольно смутные или — если тебе более нравится — довольно установившиеся идеи относительно религии: каждый обожает своего божка, и я следую этому примеру.

Кармелита слышала из своей комнаты все, что говорил Камилл; она встала бледная, но решительная, какой она бывала в важных случаях, подошла прямо к двери, и в ту минуту, когда Камилл хотел взяться за ручку двери, чтобы отворить ее, она отворила дверь сама. Коломбо чуть было не упал, увидав ее.

— Войдите, мой друг, — сказала просто Кармелита.

— Ну, что с тобой? — спросил Камилл, скрывая свое смущение под той веселостью, что была не то его маской, не то лицом. — Разве ты не узнаешь Кармелиту?.. Или представить вас друг другу?

Молодые люди посмотрели друг на друга: Коломбо пораженный, Кармелита безмолвная от стыда.

— Обнимитесь же! — вскричал Камилл. — Какой черт вас удерживает?.. Хотите, чтобы я пошел прогуляться по Медонскому лесу?

Это предложение, в сущности, дружеское, но оскорбительное по форме, произвело различное впечатление на Кармелиту и Коломбо: молодая девушка покраснела до корней волос, лицо бретонца покрылось мертвенной бледностью.

Оба были жестоко смущены. Кармелита опомнилась первая и протянула дружески свою руку бретонцу.

— Эх! Что за церемонии! — сказал Камилл. — С которых это пор друг не целует жену своего друга?

Коломбо поднял голову и весело взглянул на Камилла.

— Твоя жена? — вскричал он с радостью, потому что, видя обещание исполненным, он забывал все. — Твоя жена?.. — повторил он со слезами на глазах, не замечая смущения, в которое привели его слова Кармелиту.

— Ну, будущая, — отвечал Камилл, — ведь я ждал только твоего возвращения, чтобы отпраздновать нашу свадьбу.

— А! — холодно проговорил Коломбо и тоном, в котором слышалась угроза, прибавил: — Хорошо, я здесь...

— Ну, ну, — сказал Камилл, прерывая этот разговор, — если ты не хочешь поцеловать ее из любви к ней, обними ее из любви ко мне.

Коломбо приблизился к Кармелите:

— Вы мне позволите, мадемуазель?..

— Мадам, мадам, — сказал Камилл.

— Вы мне позволите обнять вас, мадам? — повторил Коломбо.

— О! От всего сердца! — вскричала Кармелита, подняв глаза к небу, как бы призывая его в свидетели справедливости своих слов.

И оба поцеловались.

— Ну, что ж, умерли вы от этого? — спросил, смеясь, Камилл. — Боже мой! Какие вы оба глупые! Разве мы не решили, что мы трое будем представлять только двоих?

— Это хорошо, — сказал Коломбо, — но прежде чем принять это лестное предложение, я желал бы поговорить с вами, Камилл.

— С вами? — повторил креол. — Черт возьми, это серьезно!

— Очень серьезно, — сказал Коломбо. — И мы пойдем к тебе.

— Ну, пойдем ко мне.

Он отпер дверь, которая была против двери Кармелиты. Бретонец последовал за ним.

— Ну, — сказал Камилл, бросаясь в кресло и не зная, с чего начать, — как ты нашел твой павильон?

— Прелестным, — отвечал Коломбо. — И я благодарен за это нежное внимание. Но я никогда не согласился бы жить в этом павильоне.

— Почему же?

— Потому что я не хочу быть соучастником вашей дурной жизни.

— Коломбо! — вскричал Камилл, нахмуривая брови.

— Вы мне клялись — и это было одним из условий моего отъезда — уважать Кармелиту, как вашу будущую жену, и вы постыдно нарушили ваше обещание! С этого дня, Камилл, нас разделяет пропасть — пропасть, отделяющая честное сердце от вероломного, и я ни одной минуты более не останусь здесь.

Произнеся эти слова, Коломбо сделал шаг к двери.

Но Камилл загородил ему дорогу и остановил его.

— Послушай, — сказал он, — если верно, что мы друзья, Коломбо, — а я был бы несчастен, если бы было иначе! — верно и то, что я хотел бы сделать для тебя хоть половину того, что ты сделал для меня, — я говорю тебе, что я люблю, обожаю и уважаю Кармелиту, и что не от меня зависело сдержать мою клятву.

Коломбо презрительно улыбнулся.

— Хорошо, я ссылаюсь на нее, — продолжал Камилл. — Поговори с ней, спроси ее. Ты ей поверишь, я думаю? Спроси ее, старался ли я когда-нибудь прельстить или соблазнить ее. Спроси ее, не были ли мы

оба внезапно, невольно, по роковому несчастью, увлечены таинственными силами знойной летней ночи. Спроси ее, не были ли мы, точно двое детей, обманутых своей невинностью, увлечены случаем, не отыскивая его... Ты, умеющий повелевать своими страстями, имеющий нечеловеческую силу воли, может быть, не поддался бы, но я слабый, каким ты меня знаешь, друг мой... я... закрыл глаза; свет исчез передо мной!.. Разве можно сказать, что вследствие этого я стал вероломным, бесчестным человеком! Нет, потому что это так же верно, как я называюсь Камиллом де Розаном. В то время, которое ты сам назначишь, Кармелита будет моей женой! Я не хотел писать тебе всего этого — ты понимаешь? — это были бы бесконечные письменные рассуждения, но теперь, когда ты приехал, от тебя зависит, как я сказал, назначить день свадьбы.

Коломбо задумался на минуту.

— Ты говоришь правду? — спросил он, пристально глядя на Камилла.

— Клянусь честью! — отвечал молодой человек, положив руку на грудь.

— Хорошо, — сказал Коломбо, — если это так, я остаюсь, потому что моим другом будет только честный человек. Что же касается дня свадьбы, ты должен сам его назначить и, конечно, чем скорее, тем лучше.

— Сегодня же, Коломбо, — ты слышишь? — сегодня же я напишу моему отцу. Я буду просить его прислать мне необходимые для моего брака бумаги, и через шесть недель мы можем подать оглашение.

— Положим, через два месяца, чтобы не прибегать к отсрочкам, — возразил Коломбо. — Но уверен ли ты в согласии твоего отца?

— Почему мой отец откажет в нем?

— Твой отец богат, Камилл, а Кармелита бедна.

— Добродетель Кармелиты будет ее приданым в глазах моего отца.

— Но если, однако, вопреки твоим желаниям, твой отец будет противиться этому браку?

— Это невозможно, любезный друг!

— Предположи это на минуту, как бы это ни казалось тебе невозможным. Что ты сделаешь?

— Мне двадцать четыре года. Я подожду полного совершеннолетия и женюсь на Кармелите, несмотря на отца.

— Возмущение сына против родителей вещь очень печальная, но еще печальнее, Камилл, обесчестить молодую девушку и не вернуть ей ее чести... Напиши письмо, напиши его, как следует почтительному сыну, но вместе с тем и положительному человеку.

— А ты остаешься? — спросил Камилл.

— Остаюсь, — отвечал Коломбо, — и буду ждать твоего письма в павильоне.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Другой уходит

Через четверть часа Камилл вошел в павильон, держа в руках наполовину исписанный лист бумаги.
— Уже готово? — спросил удивленный Коломбо.
— Нет, — отвечал Камилл. — Я только что начал.

Коломбо строго и вопросительно посмотрел на него.

— О, не спеши обвинять меня! — сказал Камилл. — При первых же строках твои возражения относительно согласия отца пришли мне на ум и показались более вероятными, чем прежде, и я думаю, что лучше употребить другое средство.

— Какое же?

— Поехать самому просить согласия отца.

Бретонец устремил свой ясный взгляд на Камилла.

Тот выдержал взгляд друга, не опустив глаз.

— Ты прав, Камилл, — сказал Коломбо, — и то, что ты предлагаешь, достойно честного человека — или бессовестного бандита.

— Надеюсь, ты во мне не сомневаешься? — спросил Камилл.

— Нет, — отвечал Коломбо.

— Ты понимаешь, — возразил Камилл, — что после восьми дней словесных настояний я добьюсь от отца больше, чем после трех месяцев письменных неотступных просьб.

— Я тоже так думаю.

— Три недели доехать туда, три недели обратно, две недели на убеждение отца. Следовательно, это будет делом двух месяцев.

— Ты сделался олицетворением логики и благоразумия, Камилл!

— Благоразумие приходит с годами, мой старый Коломбо... К несчастью...

— Что такое?

— О!.. Это неисполнимый план...

— Почему?

— Я не могу взять с собой Кармелиту.

— Конечно.

— С другой стороны, я не могу оставить ее здесь.

Коломбо нахмурил брови.

— Ты думаешь, что я позволю кому-нибудь оскорбить Кармелиту?
— спросил он.

— Ты согласен, значит, быть около нее?

Коломбо улыбнулся.

— Право, я думал, что ты меня лучше знаешь, — сказал он.

— Ты будешь жить под одной крышей с ней?

— Без сомнения.

— Коломбо! — вскричал Камилл. — Если ты сделаешь это, всей моей жизни будет недостаточно, чтобы вознаградить тебя за это доказательство дружбы!

— Неблагодарный, — пробормотал Коломбо. — Разве я не жил один с Кармелитой три месяца, прежде чем она познакомилась с тобой?

— Да, но это было прежде, чем она познакомилась со мной, как ты говоришь...

— Ты хочешь намекнуть на мою прежнюю любовь к Кармелите?

— Коломбо!

— Ты считаешь меня способным изменить клятве?

— Я считаю тебя способным прежде умереть, Коломбо! Твое величие делает меня ничтожным... В тебе верность дворовой собаки вместе с ее силой и преданностью. Я знаю, что ты будешь защищать Кармелиту больше, чем самого себя. Я ничего не боюсь, раз знаю, что ты здесь. Я спокойно объехал бы вокруг света, если бы это было нужно.

— В таком случае, — сказал Коломбо, — предупреди Кармелиту. Ты понимаешь, что я не могу принять твоего поручения без ее согласия... Но если она мне и откажет, ты можешь уехать так же спокойно. Я найму комнату против ее дома... возле ее дома, если не против, и она все-таки всегда будет под моей защитой. Ступай, предупреди ее, не теряя времени.

Камилл ушел, не сказав ни слова. Кармелита с трепетом его выслушала, но ничего не возразила, не выказала никакого сопротивления.

В плане было сделано только одно изменение — отъезд был отложен до 25 октября. Следовательно, оставалось еще десять дней, в течение которых, понятно, каждый чувствовал себя точно не на своем месте.

В этом печальном настроении наступило 25 октября.

Было условлено, что Коломбо проводит Камилла до дилижанса, который должен был выехать из Парижа в десять часов утра и проезжал по Версальской дороге в одиннадцать часов.

Бретонец не смыкал глаз целую ночь; в шесть часов он встал, ожидая пробуждения Камилла.

В восемь он вошел в его комнату.

— Который час? — спросил Камилл.

— Восемь, — отвечал Коломбо.

— А! В таком случае, у нас есть время! Дай мне уснуть еще часок.

Дверь комнаты Кармелиты была открыта, она слышала ответ ленивого креола. По-видимому, она не ложилась спать, постель ее была едва смята.

— Вы устали, Кармелита? — спросил Коломбо, устремив беспокойный взгляд на молодую девушку.

— Да, — ответила Кармелита, — я читала часть ночи.

— А другую часть плакали?

— Я?.. Нет, — отвечала Кармелита, взглянув на бретонца сухим, лихорадочным взглядом.

Коломбо опустил голову и вздохнул.

В девять часов он поднялся, вновь вошел в комнату Камилла и заставил его встать.

Через четверть часа креол был уже за столом, около которого Кармелита и Коломбо ожидали его.

В эти последние минуты каждый старался казаться веселым, чтобы не смутить другого, но настал час разлуки; карета, которая должна была отвезти Камилла на дорогу, стояла у дверей, и в минуту отъезда все посмотрели друг на друга в последний раз.

Коломбо и Камилл плакали.

— Я доверяю тебе мою жизнь, — сказал Камилл, — более чем жизнь, мою душу!

И, по всей вероятности, Камилл говорил в эту минуту правду.

— Я отвечаю за нее перед Богом, клянусь моей душой и моей жизнью! — отвечал торжественно бретонец, поднимая свои большие глаза, ясные, как небо, на которое они смотрели.

Оба уже приблизились к карете.

Коломбо обернулся и, увидав Кармелиту одну с опущенными руками, с поникшей головой, походившую на статую беспомощности, предложил Камиллу взять ее с собой.

Кармелита поглядела на Коломбо благодарным взглядом, но голосом, в котором слышалось глубокое отчаяние, сказала:

— Зачем?

Камилл обернулся в последний раз, прижал ее к своей груди и отступил почти испуганный.

Ему показалось, что он обнял мраморную статую.

Они уехали. Кармелита медленно поднялась по лестнице, вошла в свою комнату и, скорее, упала, чем села на свое канапе.

Что значило это отчаяние, эта печаль и в то же время это ледяное спокойствие Кармелиты? Не было ли это последствием сравнения, которое она делала невольно между Камиллом и Коломбо?

И, действительно, Коломбо, со дня его приезда, вырос в глазах Кармелиты: в течение этих десяти дней преимущество Коломбо стало подавляющим.

Время между его отъездом и возвращением казалось для молодой девушки печальным сновидением.

Да, сновидением!.. Действительность была очень неутешительной.

Три месяца она считала себя любовницей фата — правда, красивого и забавного, но, в сущности, недостойного ни малейшей серьезной привязанности. Без сомнения, это было ужасающее сновидение! Этот американец с пестрыми галстуками, бросающимися в глаза жилетами, светлыми панталонами, золотыми цепочками и с рубиновыми кольцами, был воплощением духа тьмы, который овладевает неопытными душами.

Да, да, все это было только тяжелым сном!..

Действительностью было это честное, благородное сердце, которое называлось Коломбо.

Этот был прост, велик, силен — словом, это был человек. Он мог сказать женщине: “Закрой глаза и иди!” — и женщина могла слепо следовать за ним.

После трех месяцев отсутствия, он пришел требовать от своего друга отчета в доверенном ему сокровище!..

Но, когда бедная Кармелита подняла голову и увидела вокруг себя вещи, принадлежавшие Камиллу, — несчастное дитя! — она осознала, что бретонец был тоже прекрасным сновидением весенней ночи, а американец ужасной действительностью...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Раненая львица

С этой минуты Кармелита смотрела на дом, как на свою могилу, а на сад, как на розовое кладбище кармелиток, имя которых она носила по странной случайности. Она поняла ла Вальер, которая искупила три блестящие года своей любви тридцатью годами в тени монастыря; она поняла Магдалину, которая, не смея поднять глаз на Христа, вытирала его ноги своими волосами.

Будущность ее, казалось ей, заключалась в двух словах, написанных черными буквами на белой странице: плакать и умереть.

Когда Коломбо вернулся, он нашел вместо молодой девушки, оставленной им при отъезде, какой-то призрак, согбенный, расслабленный, задумчивый, поблекший, с блуждающими глазами.

Но он не понял ничего: он думал, что причиной этого отчаяния был только отъезд Камиллы, и старался успокоить бедную покинутую, заговорив с ней о возвращении его. Только по тому, как молодая девушка покачала головой, он понял, что печаль имела другую причину, и тогда он принял за свою роль преданного друга и стал братски расспрашивать ее.

Кармелита ничего не отвечала; она была нема к его взглядам, глуха к его словам; печаль, которую она испытывала, была так сильна, что она боялась взвалить ее тяжесть на друга.

Так прошел первый день. Коломбо, видя, что девушка отказывается от его утешений, как больной ребенок отталкивает целебное питье, приписал это нервному раздражению, в котором он нашел Кармелиту, и отложил более серьезный разговор до следующих дней.

Но на завтра и в последующие дни печаль Кармелиты не уменьшилась, и девушка продолжала отказываться от каких-либо объяснений.

Время шло, не открывая бретонцу таинственных причин этого глубокого отчаяния. Часы дня были неизменно распределены; всякое

утро с ноября, Коломбо, несмотря на дождь, грязь, ветер, снег, холод, отправлялся пешком из Нижнего Медона между семью и восемью часами в Париж в училище правоведения, слушать лекции, которые начинались полдесятого. В полдень Коломбо возвращался.

Завтракали, затем через час каждый принимался за свои занятия и сходились опять в шесть часов, то есть во время обеда.

Остаток вечера проводили вместе, читая или занимаясь музыкой и изредка разговаривали.

Больше всего удивляли Коломбо громадные успехи Кармелиты в музыке, сделанные после отъезда Камилла. Когда она играла, ее рояль обретал душу, голос: он плакал, стонал, рыдал; когда она пела, голос ее, особенно в верхнем регистре, выражал такую силу чувства, такую болезненную горечь, что казался голосом павшего ангела, оглашающего небо человеческими звуками.

Воскресенья целиком посвящались музыке и прогулкам, их они проводили вместе, не расставаясь на четверть часа. Когда погода была дурная и нельзя было выходить со двора, они собирались в павильоне Коломбо. Бретонец сначала удивлялся этому выбору Кармелиты — ведь был общий зал, но Кармелита имела много случаев доказать Коломбо, что в его павильоне разговаривать куда удобнее, чем где бы то ни было. Однажды рояль Кармелиты расстроился, и ей пришлось воспользоваться роялем Коломбо; в другой раз в зале слишком дымил камин, а камин Коломбо работал превосходно, и так далее...

Таким образом прошло много недель. Письма от Камилла не приходили, и Коломбо заметил с удивлением, что Кармелита никогда не спрашивала Нанетту, нет ли письма.

Однако в конце декабря пришло первое письмо. Обрадованный Коломбо принес его Кармелите. Она играла на рояле.

— Письмо от Камилла! — вскричал Коломбо, входя в комнату.

Но Кармелита, не отнимая рук от клавишей, сказала:

— Прочтите, мой друг.

Коломбо привык беспрекословно повиноваться желаниям девушки и распечатал письмо.

Оно заключало в себе рассказ о спорах Камилла, но не с его отцом, а с тетками, бабушками и остальной семьей, которая противилась его желанию, и в ту минуту, когда он писал письмо, шли самые ожесточенные споры.

Затем письмо было полно живейшей нежностью к Кармелите, глубокой благодарностью к Коломбо, даже в общем тоне послания было что-то грустное, необыкновенное для американца.

Коломбо удивила холодность, с какой Кармелита отнеслась к письму своего будущего мужа, но он не посмел сделать ей никакого замечания. Вечером, оставшись один, спрашивал сам себя о причине этой видимой холодности, и чем более он искал ее в таинственной глубине женского сердца, тем более удалялся от истины.

В конце января пришло второе письмо, полное страстной нежности. Борьба в семье Розан продолжалась; однако Камиллу удалось привлечь некоторых родных на свою сторону, некоторых он смягчил. Наконец, он имел почву под ногами: дело шло к успеху.

Это второе письмо было получено Кармелитой с таким же равнодушием, как и первое; она прочла эти жгучие строки без всякого волнения, прочтя последнюю строку, она сложила письмо и положила его на камин.

Коломбо попытался воспользоваться этим обстоятельством, чтобы расспросить ее, но ему показалось, что под этой кажущейся холодностью она так взволнована, так растрогана, что он побоялся вмешиваться.

Впрочем, этот год, вместо того, чтобы тянуться медленно, как год разлуки, прошел необыкновенно быстро, в невыразимом счастье Коломбо и в страстном удивлении и постоянных упреках совести со стороны Кармелиты.

Однажды вечером они сидели, по обыкновению, у Коломбо — это было 25 октября, в годовщину отъезда Камилла, — и Коломбо высказал мнение, основанное на убеждении в порядочности креола, что теперь, когда ему уже месяц как минуло двадцать пять лет, он непременно вернется, чтобы жениться, с согласия ли своего отца или без оного.

Кармелита покачала головой с той выразительностью, которая не раз приводила в отчаяние бретонца, не понимавшего, однако, что она на самом деле значила, и это его еще более огорчало.

Теперь он решился спросить у девушки объяснения.

— Кармелита, — сказал он, — сегодня год, как наш друг уехал, год, как я уверял вас в скором возвращении его, но вы и тогда так же печально покачали головой, как делаете в эту минуту... Я напрасно старался объяснить себе причину этого безмолвного неодобрения и теперь, все еще не понимая ее, прошу вас изъяснить мне ее так же честно и искренне, как я вас спрашиваю.

— Я с вами всегда искренна, Коломбо, — отвечала Кармелита. — Я не имею вашей прекрасной доверчивости, не имею вашего совершенства... В ту минуту как Камилл уезжал, я сомневалась в его возвращении, год прошел, и я сомневаюсь более, чем когда-нибудь!

— Но что внушило вам эту обидную уверенность, Кармелита?

— Наша трехмесячная жизнь, в течение которой я поняла его, не расспрашивая, узнала его, не давая себе труда изучать его... Можно прожить двадцать лет с другом, и он не узнает вас: но у женщины бывают мгновения, которые открывают все, бывают часы, когда изменяешь себе. Небрежность — неизбежное следствие близких отношений — заставляет нас сбрасывать маску, вот как я узнала настоящий характер Камилла... и во мне осталось одно презрение к нему. Я не отрицаю: в известной степени Камилл любит меня, но он чувствует ко

мне боязливую дружбу, какую ученик испытывает к своему учителю; я скорее властвую над ним, чем трогаю его, и не любовь, а одно тщеславие удовлетворяет он, обладая мною. Допускаю, что в минуту расставания, потрясенный отъездом, он имел намерение вернуться, и та борьба, которую он ведет за две тысячи лье от нас, в сущности, занимает его, но верьте мне, друг мой, я для Камилла только цена победы, а не цель искренней привязанности.

Коломбо с грустным изумлением посмотрел на девушку.

— Кармелита, — заговорил он, — вы не любите более Камилла?

— Я его никогда не любила, — отвечала она гордо, как будто бы эти слова оправдывали ее.

— Но однако... — возразил, запинаясь, молодой человек.

— Но, однако, я была побеждена... Вы это хотите сказать, не правда ли? Ну да, я была побеждена, но не моей слабостью, не силой Камилла — я была побеждена неизвестным могуществом, таинственной властью. Ему не стоило никаких усилий мое падение, но он все-таки холодно выжидал случая, и вот в этом-то я и упрекаю его, это-то и заставляет краснеть меня от стыда, гнева и презрения.

— О, замолчите, Кармелита! — сказал Коломбо, закрыв глаза рукой, будто его закрытые глаза, не давая ему возможности видеть девушку, могли помешать слышать ее.

— Хотите, чтобы я сказала вам всю правду, Коломбо? — продолжала Кармелита, вступая на скользкий путь.

— О! Нет, нет, я не хочу более ничего слышать! — вскричал бретонец.

— Зачем же вы меня спрашивали? — сказала она почти с угрозой.

— Говорите!

— Хорошо, вы узнаете всю величину моего страдания, всю глубину моей вины, когда будете знать, что я отдавалась не ему, а призраку моего воображения, мечте моего сердца. Камилл был только уполномоченным несчастья, он только дал свое имя роковой судьбе.

Коломбо взглянул на Кармелиту своими ясными, как свет, глазами.

— Кармелита, — сказал он, — я вас не понимаю.

— О, Коломбо, — возразила она, — это была такая же прекрасная, счастливая ночь, как та, когда мы вырыли розан на могиле бедной ла Вальер...

И, медленно встав, она вышла из павильона и поднялась к себе; Коломбо следил за ней, точно ослепленный первым лучом света, который проник в его сердце, и шептал:

— О! Боже мой! Боже мой! Она могла любить меня, потому что не любила Камилла!..

где каждый начинает видеть ясно не только в своем сердце,
но и в сердце другого

С этого дня отношения молодых людей из простых и дружеских сделались холодными и размеренными.

Кармелита поняла, что она слишком много высказала Коломбо. А тот боялся, что плохо понял; он верил в возвращение Камилла и держался настороже с Кармелитой, избегал возможности наводить разговор на тот скользкий путь, на котором у девушки почти вырвалось признание.

Мысль, что он все более и более любил Кармелиту, что страсть его увеличивалась с каждым днем, пугала Коломбо.

Но что же было бы, знай он, что Кармелита любит его?

Он тотчас оставил бы Париж и вернулся в Бретань.

Дни, недели, месяцы проходили, а согласия отца Камилла все не было: креол постоянно присылал письма, полные живейшей нежности, подчас даже жгучей страсти. Однажды утром получили письмо от его брата. Камилл опасно захворал.

Кармелита приняла и это известие почти равнодушно. Болезнь продолжалась три месяца. Но зато по выздоровлении Камилл прислал такое горячее, такое страстное письмо, что добрый Коломбо передал его Кармелите со слезами на глазах.

— Вы видите, Кармелита, что я не ошибался, — сказал он.

Но, увы! На Кармелиту оно произвело далеко не столь теплое впечатление: она считала все эти страстные слова увлечением, вызванным горячкой, и видела в послании только призрак солнца, которому суждено скоро исчезнуть. Впрочем, ей теперь не было даже надобности знать в точности степень любви Камилла к ней. Если бы он опять захворал горячкой, от которой оправился, Кармелита не сделала бы ни одного шага, чтобы спасти его; может быть, она не проявила бы хладнокровия палача, но в ней было мужество судьи, уже вынесшего приговор в глубине своего сердца.

Величайшей радостью девушки было бы не получать больше писем от креола, не слышать более о нем, забыть даже его имя.

Она любила Коломбо, и это чувство, которое овладевало ею с каждым днем все более и более, было даже не любовью, а чем-то высшим: это было обожание.

Если бы в то время, когда она смотрела на него украдкой и пожирала его глазами, Коломбо поймал один только ее взгляд, то, как бы скромн и прост он не был, этот взгляд открыл бы ему все.

Когда Коломбо около полуночи шел в свой павильон, Кармелита затворяла или делала вид, что затворяет за ним дверь, потом, едва замолкал шум его шагов или терялся на последних ступенях лестницы, она опять отворяла ее, подходила к окну в коридоре, глядела, как молодой человек проходил по саду и, пристально устремив глаза на свет, видневшийся в окнах павильона, наблюдала иногда за ним до

рассвета и почти всегда отходила только тогда, когда свет в павильоне гас.

Иногда лихорадочная страсть увлекала ее еще дальше. В прекрасные летние ночи, когда только звезды освещают землю или, лучше сказать, еле позволяют различать предметы в сумраке, она спускалась на цыпочках по лестнице, боязливо выходила в сад и, дойдя до какой-нибудь группы деревьев, останавливалась там на минуту, затем, как фея, как ундины, тени которых выходят из могилы, чтобы бродить вокруг жилища человека, которого они любили при жизни, белая и печальная Кармелита ходила вокруг павильона Коломбо... Иногда и молодой человек, волнуемый тем же чувством, отворял свою дверь, выходил на свежий воздух и садился на дерновую скамью. Он сидел безмолвно, устремив глаза на окно коридора, через которое, казалось, взгляд его проникал в комнату Кармелиты. Тогда Кармелита медленно приближалась, удерживая дыхание, смотрела на него в темноте пламенными глазами и уходила только тогда, когда он возвращался к себе, не подозревая, что та, кого он так любил, блуждала вокруг него целый час.

Однажды в зимнюю ночь, когда земля была покрыта белым ковром снега и, не смея выйти из дома из боязни оставить следы на белом, пушистом ковре, Кармелита стояла у окна своего коридора, устремив глаза на свет лампы Коломбо, не думая ни о холоде, ни о жаре, потому что огонь не разогрел бы ее руки, снег не освежил бы ее лоб, она увидела, что дверь бретонца отворилась, он вышел, направился к дому и исчез в нем.

Первым движением Кармелиты было бежать в свою комнату. Но любопытство взяло верх, кроме того, отворяя и затворяя дверь, она сама выдала бы себя.

Она закуталась в оконную занавеску и стала ждать.

Скрип ступеней указал ей, что Коломбо поднимается по лестнице, и в самом деле через несколько секунд его тень появилась на верхней ступени.

Молодой человек шел у стены, противоположной комнате Кармелиты, и, казалось, боялся быть услышанным.

Дойдя до двери девушки, он остановился, прислонился к стене, удерживая дыхание, и остался в созерцательном положении, точно думал увидеть что-нибудь сквозь эту закрытую дверь.

Время от времени его рука, лежавшая на сердце, поднималась и касалась глаз, как бы вытирая слезы.

Это было откровением для Кармелиты. Что мог он искать перед ее дверью, если не то же, чего искала она? Какие слезы мог он отирать, если не жгучие слезы любви, горькие слезы сожаления?

И действительно, вскоре эти молчаливые слезы Коломбо перешли в рыдания.

Кармелита закрыла рот обеими руками, чтобы удержать дыхание, потому что она чувствовала, что крик: "Я люблю тебя!.. Я люблю тебя!.." сорвался бы с ее губ.

О, как безумно желала девушка броситься ему на шею, страстно обнять его! Но строгая фигура бретонца предстала мысленно перед ней, и ее воля поборолла желание, так же как ее рука закрыла рот.

И в самом деле, она понимала, что Коломбо мог доверить таинственной ночи свою печаль, свои сожаления, свою любовь, он мог жаловаться в уединении, которое считал немым и глухим, но чувство долга перед другом никогда не позволило бы ему открыть тайну, которую выдавали его слезы.

Кармелита согласилась сохранить в себе это неожиданное открытие и свою безграничную радость.

Коломбо простоял около часа.

Кармелита проследила, пока он не вошел в павильон, и только тогда упала на колени и осмелилась крикнуть громко:

— Слава Богу! Он любит меня! Он любит меня!..

ГЛАВА ПЯТАЯ

Несходящиеся души

Кармелита провела счастливую ночь, такую ночь, которая могла сравниться только с той весенней ночью, когда вместе с Коломбо она вырыла свой прекрасный розан, корни которого пустили ростки между камней могилы. И как он любил ее!

Это открытие любви бретонца оживило сердце Кармелиты, как обильный дождь освежает засохшее растение, и со следующего дня Коломбо, не зная причины этого возрождения, увидел ее вернувшуюся веселость.

Все ее часы были заняты, так заняты, что дни казались ей слишком короткими, а ночи слишком длинными. Жизнь ее не шла уже наудачу, теперь она имела цель.

С этой минуты счастье, которое заглядывало в дом, так сказать, мимоходом, как заблудившийся незнакомец, который знает, что ошибся дверью и готов бежать, с этой минуты счастье смело водворялось то в комнате Кармелиты, то в павильоне Коломбо, а иногда в павильоне и комнате вместе.

Но, однако, это счастье имело разные источники и, главное, — выражалось неодинаково.

Коломбо испытывал бесконечную прелесть любить молодую девушку безмолвно, искренне, тайно; он испытывал к ней нечто вроде страстного чувства древних христиан к мадонне — привязанность, которая зависела более от уважения и потребности обожать, чем от любви и желания обладать ею.

Но посреди этого счастья, этого обожания проглядывало почти угрызение совести; сколько раз за ночь совесть Коломбо пробуждала его острой болью в сердце!

Тень Камилла вставала перед его изголовьем, как призрак из

могилы, тогда Коломбо был готов броситься к ногам Кармелиты, признаться ей в своей любви, как в преступлении.

Но и Кармелита также не раз за ночь, хотя и без угрызений совести, ибо была уверена, что она любима, переступала порог своей комнаты с твердой решимостью пойти к Коломбо и сказать ему: “Я тебя люблю, Коломбо!.. Я люблю тебя!”.

Если бы они встретились в эти минуты, очень возможно, что тайна их сердец сорвалась бы с губ, но каждый из них проходил лишь часть пути друг к другу и... возвращался назад.

Одним словом, подобно тому, что называется в геометрии несходящимися линиями, которые вечно идут бок о бок, могут сближаться и бесконечно продолжаться, но никогда не сходятся, так и их сердца, пылавшие любовью, идя рядом, никогда не встречались...

Однажды утром Кармелита после ночи, проведенной в лихорадочной бессоннице, увидала Коломбо, входившего к ней в комнату более бледным, но и более веселым, чем обыкновенно.

Она поняла, что бретонец, наконец, совладал с беспокойством своей совести, что его решение принято и он пришел высказать ей все.

Она радостно встала, пошла к нему навстречу и привлекла к себе на диван.

Но в отворенной двери она увидала садовницу, которая держала в руках письмо.

— Мадемуазель, — доложила та, — письмо от мсье Камилла.

Кармелита глухо вскрикнула и поднесла руку к сердцу.

Коломбо поднял побледневшее лицо. Садовница, видя, что ни один из молодых людей ей не отвечает, положила письмо на колени Кармелиты.

Кармелита опомнилась первая, тяжело вздохнула, распечатала письмо и прочла его, затем, сказав только “читайте”, передала письмо Коломбо, внимательно глядя ему в лицо.

Тот, совершенно бледный, в первый раз прочел тихо, а затем вслух следующие строки:

“Милая Кармелита!

Я получил наконец согласие моего отца, моих теток и всего моего семейства и с будущего месяца приеду в Париж.

Камилл”.

Никогда осужденный, слушая свой смертный приговор, не был более разбит и подавлен, чем бретонец, перечитывавший во второй раз громко письмо своего друга.

— Что с вами? — нежно спросила Кармелита. — Отчего возвращение вашего друга приводит вас в такое оцепенение?

— Ах, Кармелита! Кармелита! — ответил бретонец. — Не спрашивайте меня!..

— Коломбо, — продолжала она, — почему вы так бледны и плачете?

— Потому что я умираю, Кармелита! — вскричал молодой человек, разрывая свой жилет, как будто задыхаясь.

— И вы умираете, Коломбо, — продолжала безжалостная Кармелита, — потому что любите меня, не так ли?

— Я? — вскричал Коломбо, и во взгляде его промелькнул испуг. — Я?.. Вас люблю?..

— Да, — отвечала просто Кармелита. — Отчего же нет? Я вас тоже очень люблю!

— Замолчите, замолчите, Кармелита!

— О! — сказала молодая девушка. — Мы с вами уже достаточно молчали, хотя давно питаем нашими сердцами эту змею, которая нас пожирает!

— Кармелита, — вскричал Коломбо, — я бездельник!

— Нет, Коломбо, у вас благородное сердце, которое долго побеждало, но, наконец, побеждено.

— Кармелита! — бормотал Коломбо. — Простите ли вы меня?

— За что же я вас должна простить, если я вас люблю, если я вас всегда любила?

— Молчите, Кармелита! — прервал ее Коломбо. — Вы это уже сказали, и я хотел бы иметь силу не слышать вас.

— В таком случае, — возразила Кармелита с яростью, — явам повторяю: я вас люблю, Коломбо! Я вас люблю! Слышите? Я вас люблю!

— Кармелита, я вас слышу! Ваше дыхание жжет меня!..

Он сделал над собой усилие, вскочил и, шатаясь, отошел от Кармелиты.

— Сестра моя! Сестра моя! Наша вина одинакова. Будем просить у Бога, чтобы он дал нам сил покориться судьбе.

— Что вы называете покориться, друг мой? Я вас не понимаю.

— Вы должны выйти за Камилла.

— Чтобы я вышла за Камилла, любя вас и зная вашу любовь ко мне?

— Вы должны, вы должны! — вскричал с отчаянием Коломбо.

— Почему же должна? Скажите мне, Коломбо, — спросила девушка, — перед кем ответственна я за мою любовь на этом свете? Я одна, слава Богу! Я единственный судья и ценитель моего поведения.

— Вы ошибаетесь, Кармелита: общество оценит ваше поведение, а Бог — ваш верховный судья... Вы богохульствуете!

— Я не богохульствую, Коломбо, я вас люблю!

— Кармелита, не следует принимать наши желания и влечения за наши права и обязанности. Вы видите, куда это нас привело!

— Это упрек, Коломбо?

— О! — вскричал Коломбо, бросаясь к ее ногам. — Да накажет меня Бог, если я это думаю! Кармелита, вы настоящая женщина, но вы так же чисты, как Ева в первый день творения.

— Коломбо! Коломбо! — сказала Кармелита, падая на канапе и прижав к своим коленям голову молодого человека. — Забудьте о моих

правах и обязанностях, послушайте только голос моего сердца! Что мне за дело, что придется отвечать перед Богом и людьми. Я знаю, что ответить людям и Богу, только бы я могла быть оправдана перед вами, друг мой... Я люблю, люблю вас, и знайте, что если я забуду вас на этом свете, то только для того, чтобы думать о вас на том.

— Но что же делать? Что делать?..

— А! Наконец-то вы делаетесь благоразумнее! — сказала Кармелита с шипящим смехом, от которого дрожь пробежала по жилам Коломбо. — Что делать?.. О! Я думала уже давно, что нам остается делать!.. Есть только два исхода, Коломбо.

— Какие?

— Оставить этот дом, бежать, поселиться за границей, на краю света, хоть в Индии, или на островах океана и жить забытыми всеми.

— А другой исход? — спросил Коломбо, доказывая этим, что этот способ он отвергает.

— Другой? — отвечала твердо Кармелита. — Умереть, Коломбо.

— О! — сказал бретонец, склоняя голову ей на колени.

— Мы не можем соединиться при жизни, — продолжала Кармелита, — по крайней мере, мы соединимся в смерти.

— Вы оскорбляете Бога, Кармелита.

— Не думаю... Но, во всяком случае, Коломбо, я предпочитаю лучше вечно страдать с вами, чем быть соединенной с "ним", хоть и на время.

— Это невозможно, Кармелита! Невозможно!

— Хорошо, силен всегда слабый... и теперь слабый будет силен за двоих.

Коломбо поднял голову.

— Если я не в состоянии принадлежать вам, потому что вы мне отказываете, Коломбо, я не буду принадлежать и ему, потому что ему отказываю я. С завтрашнего же дня я поступаю в монастырь...

— О, нет, нет, я вас люблю, как безумный!.. Все, что вы хотите, Кармелита, все, все я сделаю!

— Эти слова очень важны, Коломбо, и, прежде чем на что-нибудь решиться, вам стоит все обдумать. Я говорю, как существо без имени, забытое, покинутое всем светом, без отца и матери, которые уже там; вы же — последний потомок благородного семейства, у вас громкое имя, отец, который вас обожает... Подумайте о вашем отце! Завтра вы скажете мне, к чему приведут вас эти размышления.

— Итак, до завтра, Кармелита.

— До завтра, Коломбо...

Следующий день был туманный, сумрачный день. Мы видели конец его в первой главе этой книги, когда встретили на улицах Парижа Жан-Робера, Людовика и Петрюса. Посмотрим теперь начало его.

Шел мелкий, пронизывающий дождь, воздух был холодный, небо серо, мостовые черны. Это был один из таких зимних дней, когда каждому чувствуется точно не по себе, один из тех дней, когда грустно одному, еще грустнее вдвоем, когда кажется, что ум оцепенел так же, как и тело, в каком бы уголке кабинета не уселся, в какое бы местечко своей любимой комнаты не спрятался.

Вот в такой-то день молодые людисошлись в павильоне Коломбо.

Виноградные лозы ярко горели в камине, но насколько весел свет огня в зимние вечера, настолько же он печален утром, когда кажется неудачным подражанием, смешной подделкой солнца, он не блестит, не сверкает, а едва согревает.

Они сидели перед камином безмолвные, задумчивые, печальные, обмениваясь время от времени отрывистыми словами, какими обмениваются осужденные в ожидании палача.

Наконец, Кармелита напомнила:

— Итак, он приедет завтра!

— Да, завтра, — повторил Коломбо.

— И мы еще не решили окончательно, друг мой, — сказала Кармелита.

— Как же, — отвечал Коломбо, после минутного молчания, — я решил.

— В таком случае, и я тоже, — сказала девушка, протягивая руку бретонцу.

— Я умру, — сказал Коломбо.

— И я умру, — сказала Кармелита.

Коломбо побледнел.

— Это решительно, Кармелита? — произнес он дрожащим голосом.

— Решительно, Коломбо, — отвечала твердо Кармелита.

— Вы умрете без сожаления?

— С радостью, в восторге, в восхищении.

— Тогда, да простит нас Бог!

— Бог уже простил нас, — она подняла к небу взор, полный безграничной веры.

— Хорошо, — сказал Коломбо, — расстанемся еще раз, чтобы соединиться навеки. Прежде чем умереть, разойдемся на несколько времени.

— Вы хотите проститься, друг мой?

— Я напишу письмо отцу и Доминику.

— А я, — сказала Кармелита, — напишу трем школьным подругам, моим сестрам из Сен-Дени.

Молодые люди крепко пожали друг другу руки и разошлись.

Кармелита пошла в свою комнату, Коломбо в павильон.

Вот письмо, которое Коломбо написал своему отцу, старому графу Эдмунду де Пенозлю.

“Мой дорогой и уважаемый отец!

Простите мне скорбь, которую я Вам причиняю. Хоть мое решение твердо, хоть ничего на свете не может заставить меня отказаться от него, даже Ваша любовь ко мне, даже моя благодарность к Вам, но я колеблюсь, я останавливаюсь и собираюсь с силами, чтобы написать следующие строки...

Мой нежно любимый, дорогой, уважаемый, почитаемый отец, простите меня! Простите меня! Вы учили меня с детства прежде всего заботиться о том, чтобы люди не презирали меня, и я прибегаю к смерти, боясь этого презрения. Когда Вы получите это письмо, мой дорогой отец, Ваш бедный Коломбо уже не будет существовать, предпочитая, по Вашему совету, лучше отказаться от жизни, чем не исполнить своего долга.

Не думайте, чтобы я сделал что-либо нечестное, мой благородный отец! Не бойтесь этого ни одной минуты: если бы я пал, то, вместо того, чтобы подло скрываться от света, я искупил бы мою вину, публично сознавшись в ней перед всеми. Нет, я боролся, сопротивлялся, но ураган страсти, безысходная любовь сломили мои силы, они охватили мою душу, и я склоняю голову и умираю.

“Ведите себя на земле, как странники и чужеземцы, которым нет выгоды от дел этого света”.

Помните ли Вы эти слова из “Подражания Христу”?

Я как странник тридцать лет бродил между чужими, мой дорогой отец, и теперь, не желая принимать участия в делах этого света, я без сожаления оставляю землю и иду ждать Вас на небо.

Я умираю со спокойной совестью, я сказал бы даже, с веселым сердцем, отец мой, если бы моя эгоистическая радость не была бы обидна для Вашей привязанности.

Умоляю Вас на коленях, со сложенными руками, с разбитым сердцем, умоляю Вас, мой обожаемый отец, простить мне горе, которое я Вам причиняю, но для меня такое же большое несчастье жить, как велико счастье умереть!

Ваш неблагодарный сын Коломбо де Пенозль”.

Несколько слез, крупных, как капли дождя во время грозы, оставили пятна на последней странице этого письма, написанного слабой рукой и крупным почерком.

Затем, не запечатывая этого письма, только отодвинув его, Коломбо написал другое письмо Доминику Сарранти.

“Брат мой!

Я умираю! Я обращаюсь к Вам, как к другу, как к священнику. Мне нужен и священник и друг.

Вот что я скажу священнику.

Брат мой, не говорите над моим телом этого богохульства: "Тот, кто хочет умирать, никого не любит". Я, напротив, умираю, потому что слишком любил!

У меня перед глазами книга, которая предает анафеме самоубийц. В ней сказано, что между животными нет такого, которое вырывало бы внутренность и лишало бы жизни само себя.

Да, без сомнения, животные слепо повинуются Создателю, один человек восстает против него, но Бог дал животному только инстинкт, а человеку он дал страсти, в этом заключается вся тайна непослушания людей и покорность животных.

Моя смерть, — о, природа, вечная мать, пожирающая и дающая жизнь! — не скроет от тебя ничего из того, что ты мне дала. Мое тело, эта маленькая часть всего великого, соединится с тобой, только в другом виде; моя душа или умрет вместе со мной и изменится в громадной массе вещей, или будет бессмертна, и в таком случае ее божественное существо останется неприкосновенным. Мой разум, всегда подчиненный вере, не обольщается софизмами, я слышу голос Бога, который говорит мне: "Человек, я создал тебя для того, чтобы твоим счастьем ты участвовал во всеобщем счастье, а для того я дал тебе любовь к жизни и ужас перед смертью". Да, но если сумма горя превышает сумму блаженства?..

Вот это я и скажу священнику, мыслителю и философу, священнику, который знал меня и вознес за меня к Богу свои руки, свои чистые руки и свой дух, свободный от страстей, священнику, который не позволит, как бы не недостойна христиан была наша смерть, опустить наши тела в могилу без молитвы или без прощения.

Теперь вот что я скажу другу.

Добрый Доминик! Дорогой друг моего сердца! Завтра утром, когда ты получишь это письмо, ты поедешь в Нижний Медон, — ты знаешь дом, в котором я живу, — ты войдешь туда и найдешь лежащими на одной постели трупы юноши и девушки, умерших для того, чтобы не краснеть ни перед собою, ни перед людьми, ни перед Богом. Милый друг, тебе, тебе одному я доверяю заботу о нашем погребении.

Мы не могли вместе жить на этом свете. Мы не могли жить одной жизнью, спать на одном ложе, мы желаем, по крайней мере, покоиться в одном гробу в продолжении вечности. Ты велишь сделать, дорогой друг, гроб настолько широкий, чтобы нас можно двоих положить рядом; ты сорвешь последние цветы с розана, который найдешь в нашей комнате, и бросишь на нас, затем нам нужны будут только твои молитвы.

Но останется человек, которому ты будешь необходим, милый друг моего сердца: это мой отец.

Отдав последний долг его сыну, ты поедешь в Бретань: тебя ведь

ничто не удерживает в Париже. Ты найдешь его в слезах, но ты не будешь стараться его утешать, а будешь плакать вместе с ним.

Прощай, мой друг! Завтра, в это время люди, по мнению которых я приношу себя в жертву, не будут действовать ни за меня, ни против меня: мы будем предстоять, Кармелита и я, у престола Господня.

Твой друг... более чем друг, твой брат

Коломбо де Пенозль".

Он запечатал оба письма, написал адреса, только на письме отцу прибавил: "Послать на почту", а на письме Доминику Сарранти — "Отнеси завтра до семи часов утра".

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Соловьиный выводок

В это же время Кармелита написала следующее письмо трем своим подругам: Регине, Лидии и Фраголе.

"Прощайте, мои сестры!"

Мы клялись в Сен-Дени, как бы не были различны наши общественные положения, любить друг друга, защищать друг друга и помогать всю жизнь, как мы привыкли делать это в пансионе. Было решено, что в случае опасности каждая из нас прибегнет к другой, в каком бы месте и на каком бы расстоянии она не находилась.

Я держу мою клятву, сестры мои: я вас зову, сдержите вашу — придите ко мне!

Придите поцеловать в последний раз холодный лоб той, которая была вашей подругой!

Не сожалейте, однако, о моей жизни, о мои сестры! Лучше позавидуйте моей смерти, потому что я умираю так, как другие живут: с радостью, с восторгом, с блаженством!

Я люблю! И если кто-то из вас уже любит, то поймет значение этого слова... Если вы еще не любите сегодня, вы поймете это завтра. Я люблю человека, которого я выбрала по своему вкусу, он был моей мечтой, в нем я нашла соединенными в одно человеческое существо все сокровища доброты, красоты, добродетелей, какими каждая из нас старается наделить героя, за которого она должна выйти замуж.

Не имея возможности выйти за него замуж на этом свете, я обручаюсь с ним сегодня вечером, чтобы сделать это в горни х высях.

Мы умрем вместе, сестры мои, и, если завтра вы приедете рано, прежде чем смерть покроет синевою наши щеки, вы увидите двух красивейших обрученных, которых когда-либо носила земля.

Но не проливайте слез над их головами, не нарушайте их сна стенаниями, потому что никогда души обрученных не поднимались более сияющими, более чистыми к небу.

Прощайте, мои сестры!"

Я сожалею только о том, что не могу поцеловать вас всех трех, прежде чем умру, но я утешаюсь мыслью, что, может быть, я не могла бы устоять перед вашими слезами, и что ваша привязанность, нежная и преданная, возбудила бы во мне желание жить, тогда как я испытываю невыразимое блаженство, умирая.

Слезы навертываются у меня на глаза при мысли, что я должна покинуть моего любимого, но я улыбаюсь, зная, что последую за ним.

Будьте счастливы! Вы заслуживаете счастья, которое обещало вам ваше детство. Я не знаю, за что вы так горячо любили меня: я не была достойна быть между вами.

Помните ли вы, как однажды наша начальница назвала вас тремя грациями, на что аббат заметил: “Следовало лучше сказать, три добродетели”.

И это была правда. Регина была Верой, Лидия — Надеждой, Фрагола — Милосердием.

Прощай, моя Вера! Прощай, моя Надежда! Прощай, мое Милосердие! Прощайте, мои сестры. Да сблизит вас еще более мое отсутствие, любите друг друга еще больше, если это возможно: только одна любовь и хороша на этом свете! Старайтесь жить любовью, которая заставляет меня умирать; я не могла бы пожелать вам более неизъяснимого блаженства. Я завещаю вам мое единственное сокровище — мой белый розан, если, впрочем, он не умрет вместе с нами. Вы будете ухаживать за ним; вы сохраните его цветы, и 15 мая, в день моего рождения, вы придете все вместе и положите лепестки их на мою могилу.

Так оборвала я в одну весеннюю ночь лепестки всех земных радостей.

Вы найдете возле меня это письмо, наверху будет лежать симфония, которую я сочинила. Я думаю, что я могла бы сделаться великой артисткой.

Эта пьеса посвящена вам всем троим, потому что я думала о вас, когда писала ее. Она называется: “Соловиный выводок”.

Однажды летом я видела, как с дерева упало гнездо соловья, которого убила гроза, — для птиц также существуют грозы, как и для людей, — это сюжет моей симфонии, которую вы разучите и будете играть в память обо мне.

Бедные маленькие птички! Они подобны мечтам, которым я завидовала всю жизнь и которые умерли едва распутившись!

Прощайте в последний раз, потому что, вопреки своей воле, я чувствую, что глаза мои мокры от слез, а если эти слезы упадут на мое письмо, они смоят слова счастья, которые я написала.

Прощайте, мои сестры! Кармелита”.

Окончив это письмо, она написала три другие, в которых просто назначила свидание своим подругам завтра в семь часов утра.

Потом она позвала садовницу.

— Вынимают ли еще сегодня почту? — спросила она.

— Да, мадемуазель, — отвечала Нанетта, — поторопитесь немного, и ваши письма пойдут сегодня в четыре часа.

— В котором часу будут они розданы в Париже?

— В девять часов вечера, мадемуазель.

— Это все, что мне нужно... Возьмите эти три письма и бросьте их в почтовый ящик.

— Хорошо, мадемуазель... Больше мадемуазель ничего мне не прикажет?

— Нет. Почему вы это спрашиваете?

— Потому что сегодня немецкая масленица.

— Праздник?

— Да, мадемуазель, и мы предполагали идти в Париж, где мы должны сойтись на большом маскараде прачек из Ванвра, и, если я не нужна, мадемуазель...

— Нет, вы можете отправляться в Париж. А в котором часу вы вернетесь?

— В одиннадцать, а может быть, и позднее; очень возможно, что будут танцевать.

Кармелита снова улыбнулась.

— Веселитесь хорошенько, — сказала она, — и возвращайтесь, когда вам удобно.

Итак, Коломбо и она останутся совершенно одни в доме, и мысль об этом уединении заставляла ее улыбаться.

Садовница ушла, а около четырех часов молодые люди, чувствуя себя свободными, думали только о приготовлениях к смерти.

.....
Когда они пришли в комнату Кармелиты, девушка открыла окно и взяла Коломбо за руку.

— Я стояла на этом месте, — сказала она ему, — в день отъезда Камилла, и только с того дня я поняла всю силу моей ненависти к нему и любви, которую я питала к вам. С этого дня, Коломбо, я покончила с жизнью и примирилась со смертью... Но с этой же минуты — простите мне, Коломбо! — с этой же минуты мне пришлось в голову эгоистическое желание умереть вместе с вами.

Коломбо прижал девушку к сердцу.

— Благодарю, — сказал он.

Потом они унесли розан, который должен был быть свидетелем их агонии.

Но на пороге Кармелита остановилась.

— Здесь, — сказала она, — на этом месте я в первый раз узнала о вашей любви. Как удержалась я, чтобы не броситься в ваши объятия, когда вы пробыли тут полчаса в одну счастливую ночь?

Затем, показав ему на окно в коридоре, она сказала:

— Из этого окна я наблюдала за светом вашей лампы и оставалась тут до тех пор, пока лампа не погасала.

Они сошли с лестницы, Кармелита — улыбаясь, молодой человек — вздыхая.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Очень нужное письмо

Часы пробили час пополудни.
Это был именно тот час, если помнят читатели, в который, кончив драку, трое молодых людей, которых мы встретили в начале этой истории, и их таинственный спаситель сажались ужинать.

Оставим пока Жюстена, поехавшего верхом в Версаль, оставим Сальватора, Жан-Робера и мсье Жакаля, ехавших в карете в Нижний Медон, и вернемся к Людовику и Петрюсу, которые спали за столом в трактире.

Первым проснулся Людовик. Его разбудил шум, который производило веселое общество, желая попасть на четвертый этаж, где находились молодые люди.

Гарсон, повинуясь приказаниям Сальватора, не хотел даже позволить, чтобы кто-нибудь вошел в комнату, где спали Людовик и Петрюс.

Людовик открыл глаза и слушал.

На этот раз осаждающие нападали с таким веселым смехом, и этот смех, казалось, выходил из таких молодых и свежих глоток, что Людовик рассудил, что, может быть, доставит себе и другу удовольствие, если допустит овладеть комнатой таким противникам.

И он пошел сам отворять дверь.

В ту же минуту группа пьеро и пьероток, дьяволок, торговков рыбой наводнила комнату с таким шумом, с такими взрывами хохота, что Петрюс вскочил с криком: "Пожар!"

Надо сказать, он и раньше бредил пожарами.

В это время Людовик почувствовал, как две хорошенькие ручки обвилились вокруг его шеи, а розовые губки, прикрывавшие ряд жемчужных зубов, колебля кружева бархатной полумаски на верхней части лица, шептали ему:

— Так это ты, студент моего сердца, позволяешь себе удерживать за собой целое помещение?

— Прежде всего, если бы ты, маска, потрудилась оглянуться, то увидала бы, что я не один.

— Э, да вот и сам Рафаэль! Хочешь, я буду позировать перед тобой, чтобы ты нарисовал ногу женщины на пожаре, о котором ты сейчас вопил?

И молодая девушка, одетая в костюм пьеротки, приподняв шаровары, показала под тонким шелковым чулком именно такую ножку, какую обычно ищут художники, а находят кардиналы.

— О, я знаю эту ногу, княгиня! — сказал Петрюс.

— Шан-Лила! — вскричал Людовик.

— Ну раз вы меня узнали, то я снимаю маску, — сказала красивая прачка. — Да и пить неловко, когда лицо закрыто... Дайте мне пить, я умираю от жажды!

И все общество, состоявшее из пяти или шести прачек из Ванвра и трех садовниц из Медона в сопровождении их возлюбленных, повторило хором:

— Пить! Пить!

— Молчите! — закричал Людовик. — Комната принадлежит мне, следовательно, я должен и угощать. Гарсон, шесть бутылок шампанского для меня!

— И шесть для меня, гарсон! — сказал Петрюс.

— В добрый час! — сказала княгиня. — А в благодарность за это мы подставим вам наши щеки для поцелуев.

— Чет или нечет? — сказал Петрюс, вынимая из кармана пригоршню монет.

— Что вы хотите сделать, синьор Рафаэль? — спросила Шан-Лила.

— Я ставлю щеку Людовика против моей.

— Чет за чет! — отвечал Людовик, говоря тем же языком, каким говорил его друг.

— А мы всегда пускаем ракеты, — заметила княгиня, возвращаясь к своим обычным выражениям. — Пиф-паф! Нам недостает только Камилла: он пустил бы букет.

В эту минуту гарсон вернулся с двенадцатью бутылками шампанского.

— Букет, — сказал он, заставляя выскочить пробки сразу из двух бутылок, у которых он подрезал проволоку на лестнице.

— Выиграл! — вскричал Людовик, целуя Шан-Лилу в обе щеки. — Я тебя похищаю, сабинянка.

И, легко, как ребенка, взяв на руки княгиню Ванвр, он отнес ее к столу, уселся и посадил ее к себе на колени.

В течение часа двенадцать бутылок были выпиты, затем двенадцать других, которые общество, чтобы не оставаться в долгу, также велело подать к столу.

— Теперь, — сказала Шан-Лила, — дело идет о возвращении в Ванвр. Вот Нанетта обещала своей хозяйке быть назад в одиннадцать часов и должна передать ей письмо. Теперь три часа утра, а письмо-то нужное.

— Четыре часа, принцесса, — заметил Петрюс.

— А хозяйка встает в пять! — вскричала Шан-Лила. — В дорогу, все общество!

— Княгиня, — остановил ее Людовик, — когда состоится ваше первое путешествие в Париж?

— О! — ответила Шан-Лила. — Можно подумать, вы беспокоитесь об этом!

— Конечно, беспокоюсь, особенно, когда у меня нет более белья.

— Фу, какой мелочный! Хорошо, вы его получите, когда придете за ним сами.

— Шан-Лила, без глупостей! На этой неделе было запачкано много белых рубашек, и я не могу ходить к больным в рубашках с кружевами.

— Приходите за вашим бельем.

— Ну, если дело только в этом и в вашей коляске есть место, княгиня, я готов.

— Без фарсов?

— Клянусь, это так же верно, как то, что я говорю с вашей светлостью.

— Bravo! Мы напьемся молока на мельнице в Ванвре. А вы поедете, синьор Рафаэль?

— Ты едешь, Петрюс? Это хорошо: лучшие шалости — самые долгие.

— Черт возьми! У меня нет недостатка в желании, но, к несчастью, у меня утром первый сеанс.

— Ну отложи этот сеанс!

— Невозможно. Я дал слово.

— Тогда, — заметила Шан-Лила, — это должно быть свято. Форнарина отпускает своего Рафаэля. Пойдем, король проказников.

И она протянула руку Людовику, который, решив весело похоронить карнавал, заплатил по счетам своему и Петрюса, спустился с лестницы и сел в громадную повозку для перевозки мебели, в которой все общество приехало из Ванвра в Париж.

Петрюс, живший на Западной улице, простился со своим другом, пожелав ему побольше удовольствий и отвечая, несмотря на расстояние и потемки, на шумные выкрики веселого общества.

— Ну, хорошо, — сказал Людовик, — куда же мы отправляемся в таком виде? Мне кажется, что мы едем в Версаль, а не в Ванвр?

— Если бы Рафаэль не покинул нас, король проказников, — отвечала Шан-Лила, — он сказал бы: ваше величество, все дороги ведут в Рим.

— Я не понимаю, — сказал Людовик.

— Посмотри на Нанетту, прекрасную садовницу.

— Я смотрю на нее.

— Как ты ее находишь?

— Хорошенькой!.. Дальше?

— Ну, хорошо, она поехала с условием, что ее выпустят у ее двери.

— Ну ладно, Бог с вами! — ответил Людовик. — Позволь мне сесть к твоим ногам, княгиня, и положить голову на твои колени: ты спасешь мне жизнь.

— Хорошо, если бы я знала, что мы возем этого господина для того, чтобы он спал, то его бы следовало положить в телегу с зеленью. Ему было бы там так же хорошо, как и здесь.

— Ах, княгиня, — сказал Людовик, наполовину заснувший, — ты ко мне несправедлива. Капуста не так сладка, а салат не так нежен, как ты.

— Боже мой! — произнесла Шан-Лила тоном глубочайшего сост-

радания. — Как бывает глуп самый умный человек, когда ему хочется спать!

Пробило пять часов утра, когда они приехали в Бельвю. Мало-помалу звучный смех замолк, веселые крики затихли, потом и холод, сопровождающий возвращение утра, особенно зимой, сказывался на полусаснувших ряженных. Каждый желал поскорее вернуться к себе, в свою постель.

Наконец, повозка остановилась перед дверью дома, где жили Коломбо и Кармелита, Нанетта выскочила из нее, достала из кармана ключ и вошла в дом.

— Хорошо, — сказала она, увидав через оставленную открытой дверь в сад огонь, который светился у Коломбо, — молодой человек еще не спит и получит свое письмо.

— Прощайте, господи!

И она заперла дверь.

Несколько глухих ворчаний раздалось из глубины повозки, которая направилась в Ванвр.

Но только что она отъехала пятьдесят шагов, как крики: “Помогите! Помогите!.. Мсье Людовик, мсье Людовик!” — раздались с того места, где высадили Нанетту.

Повозка остановилась.

— Что случилось? — спросил Людовик, внезапно проснувшийся.

— Я не знаю, но вас зовут, — ответила Шан-Лила. — Я узнаю голос Нанетты. Случилось какое-нибудь несчастье.

Людовик выскочил из повозки и в самом деле увидал Нанетту, которая в страхе бежала и кричала:

— Помогите! Помогите!

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Задыхнувшиеся

Людовик кинулся Нанетте навстречу.

— О, скорее, мсье Людовик! Идите скорее! Идите скорее все!

Они умерли!

— Кто умер?

— Мадемуазель Кармелита и мсье Коломбо!

— Коломбо? — вскричал Людовик. — Коломбо де Пенюзль?

— Да, мсье Коломбо де Пенюзль и мадемуазель Кармелита Жерье! Боже мой! Боже мой! Какое несчастье! Такие молодые, такие красивые, такие ласковые!

Людовик в ту же минуту бросился к дому и, найдя проход открытым, в один миг очутился в садовом павильоне.

Окно кабинета, лишь прикрытое Коломбо, было отворено Нанеттой, которая после тщетных криков и стука осмелилась перешагнуть через окно, чтобы постучать в дверь комнаты.

Видя, что ей не отвечают, она отворила дверь, но в ту же минуту пошатнулась и едва не упала.

Ужасный чад углекислоты окружил ее смертельным облаком.

Она тотчас поняла все и, подумав, что еще может догнать повозку, бросилась за ней.

Людовик попал в павильон через окно кабинета, но из-за угара вынужден был высунуться и вдохнуть воздуха.

В эту минуту прибежали и остальные.

— Бейте окна! Ломайте двери! — кричал Людовик. — Больше сквозняка! Они задохнулись!

Ставни были заперты изнутри, и пришлось ломать дверь.

— Приготовьте уксус и соленую воду; разбудите аптекаря, если он есть в деревне, и возьмите у него английскую соль и аммиак. Нанетта, разведите где-нибудь огонь и нагрейте салфетки.

Затем, как рудокоп спускается в бездну или как матрос бросается в море, Людовик устремился в комнату.

Веселая маска уступила место человеку науки: врач должен был пустить в ход все средства своего искусства. Людовик ощупью подошел к окну, свеча потухла, огонь в камине погас, в жаровне не было больше ни пламени, ни дыма. Занавеси перед окнами были опущены и мешали найти задвижку. Людовик обернул руку носовым платком и двумя ударами кулака выбил стекла.

Движение воздуха восстановилось; да и было уже пора: Людовик сам шатался, ему тоже стало неважно, и он принужден был схватиться за роаль.

Затем он сорвал занавеси с карниза и отворил окно. Угар уступал место свежему воздуху.

— Входите! — крикнул Людовик. — Входите, опасности более нет!.. Войдите и осветите комнату.

Зажгли свечку, и стало возможным разглядеть происшедшее. Молодые люди лежали в объятиях друг друга на постели, будто только уснули.

— Нет ли здесь доктора? — спросил Людовик. — Или хоть фельдшера или цирюльника — все равно, кого-нибудь, кто мог бы мне помочь?

— Тут живет мсье Пиллу, старый хирург гвардии... Очень ученый человек, — сказал какой-то голос.

— Бегите за мсье Пиллу и тащите его сюда.

Потом он бросился к постели и покачал головой:

— Думаю, что мы пришли очень поздно.

В самом деле, губы молодых людей почернели. Людовик приподнял у обоих веки. Глаза Коломбо были точно стеклянные, глаза Кармелиты тусклы и влажны. Дыхание у обоих не прослушивалось.

— Слишком поздно! Слишком поздно! — повторял Людовик в отчаянии. — Но все равно, сделаем все, что можно. Дамы, займитесь девушкой, а я займусь мужчиной.

— Что нужно делать? — спросила Шан-Лила.

— Делай, как можно усерднее, то, что я тебе скажу. Прежде всего отнеси ее к окну. А вы постарайтесь развести огонь... хороший огонь; нагрейте салфетки; снимите с него сапоги... Я постараюсь пустить ему кровь из ноги... Ах! Слишком поздно! Слишком поздно!

Людовик проговорил это, переноса Коломбо с кровати к окну.

— Вот уксус и соленая вода, — сказала Нанетта.

— Налейте уксус в тарелку, так, чтобы можно было намочить в нем платки, и трите им виски. Слышишь, Шан-Лила?

— Да, да, — отвечала девушка.

— Отрежь перо, как я делаю, видишь?.. Разожми зубы, если можешь, и вдувай им воздух в рот.

Все повиновались Людовику, как во время сражения повинуются главнокомандующему.

Зубы Кармелиты были стиснуты, но при помощи ножа из слоновой кости Шан-Лила разжала ей челюсти и всунула перо между зубов.

— Ну что? — спросил Людовик.

— Перо всунуто.

— Теперь дуйте... Я не могу ничего сделать: у него железные зубы!.. Сняли ли вы с него сапоги и чулки?

— Да.

— Трите ему виски уксусом, sprysните лицо водой, разожмите зубы, если бы даже пришлось сломать их! Я постараюсь пустить кровь из ноги.

Людовик открыл свой футляр, вынул ланцет, кольнул два раза ножную жилу, но тщетно. Кровь не показывалась.

— Снимите с него галстук, сорвите жилет, сдерните рубашку!.. Сорвите все!

— Вот горячие салфетки.

— Дайте их Шан-Лиле и трите грудь этими салфетками. Слышишь, Шан-Лила?.. А! Вот ножик!..

Людовику удалось просунуть ножик между челюстей Коломбо, но челюсти были так стиснуты, что перо не проходило, тогда он прильнул губами к губам молодого человека и попробовал вдохнуть ему воздух в легкие, но и это результата не принесло.

— Слишком поздно! Слишком поздно! — шептал Людовик. — Попробуем опять пустить кровь в другом месте.

Он вновь взял ланцет и проколол шейную вену.

Но, как и из ноги, кровь не пошла.

— Вот соль и нашатырный спирт, — сказал посланный, подавая Людовику два флакона.

— Шан-Лила, возьми флакон с солью и поддержи его около носа молодой девушки. Я возьму аммиак.

— Хорошо.

— А воздух?

— Что — воздух?

— Думаешь ли ты, что он проник в ее грудь?

— Мне кажется, что да.

— Тогда смелее, дитя мое! Смелее! Три ей виски уксусом и держи у носа соль.

Коломбо оставался недвижим, и слабого дыхания не выходило из его груди.

— Мне кажется, — сказала Шан-Ли́ла, — что губы ее бледнеют.

— Смелее! Смелее, Шан-Ли́ла, это хороший признак. О, мое дитя, какое было бы для тебя счастье, если бы ты могла сказать, что спасла жизнь человеку.

— Мне кажется, что она вздохнула, — сказала Шан-Ли́ла.

— Приподними веко́ и посмотри глаз: все ли он еще тускл?

— О! Людовик, мне кажется, что он не очень тускл.

— Мсье Пиллу нет дома, — сказал, возвратившись, посланный за хирургом.

— Где же он?

— У мсье Жерара, который очень болен.

— А где живет мсье Жерар?

— В Ванвре... Нужно ли идти туда?

— Бесполезно! Это очень далеко.

— Мсье Людовик, мсье Людовик, она дышит! — вскричала Шан-Ли́ла.

— Уверена ли ты в этом?

— Я терла ей грудь теплой салфеткой и почувствовала, что грудь приподнялась... Мсье Людовик, она поднимает руку к голове!

— Хорошо, — сказал Людовик, — мы, по крайней мере, спасем одного. Унесите ее поскорее отсюда, чтобы она не увидала, что ее возлюбленный умер.

— В комнату, в ее комнату, — сказала Нанетта.

— Да, в ее комнату. Вы откроете там все окна и разведете хороший огонь. Ступайте, ступайте!

Женщины унесли Кармелиту.

Начинало рассветать.

— Ты знаешь, что нужно делать, Шан-Ли́ла?

— Нет, скажите!

— Ничего больше, кроме того, что ты делала до сих пор.

— Но если она спросит, что случилось с ее возлюбленным?

— Очень вероятно, что она будет в состоянии говорить не раньше, чем через час, а рассудок вернется к ней часа через два или три.

— А тогда?

— Тогда уже я буду около нее.

И он опять принялся за молодого человека со сверхъестественным упорством врача, преследующего жизнь даже в объятиях смерти.

Вокруг постели Кармелиты и у постели Коломбо

В девять часов утра карета, в которой ехали Жакаль, Сальватор и Жан-Робер, остановилась у дверей дома, в котором произошли все эти ужасные события.

Три другие кареты стояли уже у этой двери: фиакр, маленькая карета буржуа и большая карета с гербами.

— Они все три уже здесь, — прошептал Сальватор.

Жакаль обменялся тихо несколькими словами с господином, одетым в черное, который стоял у дверей.

Этот человек сел на лошадь, привязанную в нескольких шагах у кабачка, и пустил ее в галоп.

— Я забочусь о вашем школьном учителе, — сказал Жакаль Сальватору и Жан-Роберу.

Сальватор безмолвно поблагодарил кивком и вошел в прихожую.

Едва сделал он шага три, как собака, лежавшая на площадке первого этажа, перескакивая через ступеньки, бросилась к нему и положила обе лапы ему на плечи.

— Да, моя собака, да, Роланд, она здесь, я знаю... Ступай, показывай дорогу, Роланд.

Собака поднялась на первый этаж и остановилась у двери в комнату Кармелиты.

Жакаль, как человек, имеющий право проникать всюду, отворил дверь и вошел в сопровождении Сальватора и Жан-Робера.

Глубоко поэтическая картина представилась глазам полицейского и двух молодых людей.

Представьте себе, около постели, на которой лежала Кармелита, еще оцепеневшая, но уже вне опасности, трех молодых девушек, стоящих на коленях и молящихся; все они были одного возраста и одинаково прелестны, одеты так же, как и Кармелита.

То был особый костюм пансионерок Сен-Дени. Он состоял из черного платья тонкой саржи с широкой юбкой, закрытым лифом, на который был отложен белый складчатый воротничок, рукава платья были широкие и висячие, наподобие рукавов монахинь; широкая шерстяная лента, обернутая вокруг плеч, стягивала талию, образуя на спине угол, нижний край которого был на талии, а верхний на плечах; этот пояс, шириной в ладонь, был из шерсти шести различных цветов: зеленой, фиолетовой, желтой, голубой, белой и светло-красной. Это был костюм полусветский, полумонашеский; светская женщина никогда не оделась бы с такой суровой строгостью, а монашенка никогда не надела бы этого пояса, сверкающего всеми цветами радуги. Такой костюм пансионерки Сен-Дени надевают, когда поступают в высшие классы.

Жан-Робер с первого взгляда узнал Фраголу и взглянул на Сальватора, чтобы указать ее, но тот уже видел ее и даже был ею замечен, он приложил палец к губам, рекомендуя Жан-Роберу молчать.

Вдруг оба вздрогнули — им показалось, что девушка пошевелилась, а они не знали, что Кармелита была спасена Людовиком.

— А! — сказал Жакаль с равнодушием человека, привыкшего к таким спектаклям. — Значит, она не умерла?

— Нет, сударь, — отвечала самая высокая из молодых девушек, превосходившая других как ростом, так и красотой.

Жан-Робер повернулся: он узнал этот голос и мадемуазель Регину де Ламот-Гудан.

— А молодой человек? — спросил Жакаль.

— Еще надеются, — отвечала Регина, — около него находится молодой доктор.

В эту минуту дверь отворилась, и, к большому удивлению Жан-Робера и Сальватора, вошел Людовик.

Он сбросил свой масленичный костюм и послал верхового привезти себе обычную одежду.

— Ну что? — спросили его.

Людовик покачал головой.

— Около него монах, — сказал он, — мне же там больше нечего делать.

Затем, увидев все еще безмолвную Кармелиту, глаза которой, когда они открывались, казалось, еще ничего не видели, он добавил:

— Бедное дитя! Оставьте ее в неведении: она вернется к жизни слишком рано!

— Господа, — сказал Жакаль Сальватору и Жан-Роберу, — мы здесь только случайно, и я думаю, было бы хорошо оставить больную с ее подругами и доктором, составить наскоро протокол и отправиться в Версаль.

Жан-Робер и Сальватор поклонились в знак согласия.

Фрагола встала и подошла сказать несколько слов на ухо Сальватору, который кивнул ей.

После этого комиссионер и поэт вышли вместе с Жакалем.

Дверь в коридор была отворена, и сквозь оконные стекла павильона видны были горящие свечи.

— Хотите вы покропить водой и помолиться над этим молодым телом? — спросил Сальватор поэта.

Жан-Робер согласился, и, пока Жакаль, чтобы собраться с мыслями, набивал себе нос табаком, оба направились к павильону.

Коломбо лежал на своей постели, простыня, закрывавшая его с головой, позволяла, однако, видеть ту суровость, какую смерть придает покойным.

Красивый монах-доминиканец сидел в изголовье постели с раскрытой на коленях книгой: закинув голову, проливая тихие слезы, он читал заупокойные молитвы.

Увидев молодых людей, входивших с опущенными обнаженными головами, монах встал, взгляд его переходил по очереди с Жан-Робера на Сальватора, но было очевидно, что оба эти лица были ему незнакомы.

Впечатление, которое испытал Сальватор при взгляде на монаха, было совершенно другим: увидев Доминика, он остановился и издал тихий возглас.

Монах обернулся, но и в этот раз не признал в Сальваторе никого, разве только удивился, впрочем, на миг, и остался спокоен. Но Сальватор подошел к нему.

— Отец мой, — сказал он, — нисколько не подозревая этого, вы спасли жизнь человека, который стоит перед вами. Хотя я и никогда не видел вас и не встречал с тех пор, чувствую, однако, что глубоко вам благодарен... Дайте мне вашу руку, отец мой!..

Монах протянул свою руку молодому человеку, которую тот, не смотря на старание Доминика отдернуть ее, почтительно поцеловал.

— Теперь, — начал Сальватор, — выслушайте меня. Не знаю, понадобится ли я вам когда-нибудь, но клянусь именем всего, что существует святого, над телом этого честного человека, который испустил последний вздох, клянусь вам, что жизнь, которой я вам обязан, принадлежит вам!

— Я принимаю вашу клятву, — отвечал серьезно монах, — хотя не знаю, как и когда оказал вам услугу, о которой вы говорите. Люди все братья и созданы для того, чтобы помогать друг другу; когда вы мне понадобится, я приду к вам. Ваше имя и адрес.

Сальватор подошел к письменному столу Коломбо и написал имя и свой адрес на бумаге, которую передал монаху.

Доминиканец положил сложенную бумагу в карман, сел опять в изголовье Коломбо и продолжал свои молитвы.

Молодые люди взяли по очереди кропило, смоченное в святой воде, и окропили простыню, покрывавшую тело Коломбо, затем оба встали на колени в изножье постели и мысленно горячо прочитали молитвы.

Пока они молились, в комнату вошел человек, одетый в ливрею, указывавшую, что это лакей какого-нибудь богатого буржуазного дома.

— Сударь, — сказал он монаху, — думаю, что я ищу именно вас.

— Что вы хотите от меня, друг мой? — спросил Доминик.

— Мой господин умирает, и так как священника в Ванвре нет дома, то он просит вас сделать милость, прийти исповедовать его.

— Но, — отвечал Доминик, — я чужой здесь. Молодой человек, около которого я молюсь, друг мой, и я приехал сюда вследствие его письма, которое, к несчастью, слишком поздно пришло ко мне.

— Сударь, — возразил лакей, — я думаю, что, хотя вы и чужой здесь, но господину моему нужно, чтобы вы его напутствовали... Он очень, очень плох, и мсье Пиллу, хирург, говорит, что ему нельзя терять времени.

Монах вздохнул и посмотрел на неподвижное тело, формы которого просвечивали через простыню.

— Сударь, — продолжал лакей, — мой господин приказал мне,

чтобы я умолял вас именем Бога, которого вы представитель, прийти к нему, как можно скорее.

— Я бы, однако, очень не хотел бы оставлять этого бедного умершего, — сказал монах.

— Отец мой, — сказал Сальватор, — мне кажется, ваши утешения нужны более живым, нежели ваши молитвы мертвым.

— К тому же, — прибавил Жан-Робер, — если вы хотите, чтобы кто-нибудь, сочувствующий великому несчастью, которое здесь случилось, оставался тут, я останусь.

— Сударь, — настаивал лакей, — что должен я сказать моему господину?

— Скажите ему, что я иду за вами, друг мой. Кого я должен спросить?

— Мсье Жерара. Первый же встречный укажет вам дом. Мой бедный господин — провидение всего квартала.

— Ступайте, — сказал монах.

Лакей быстро ушел.

— Вы обещаете мне остаться здесь до моего возвращения? — спросил Доминик Жан-Робера.

— Вы найдете меня там, где оставите, отец мой, — сказал поэт, — у изголовья этой постели.

— И если вы имеете какие-нибудь дела или особенные поручения, — предложил Сальватор, — я постараюсь исполнить их, как можно лучше.

— Я принимаю ваше предложение. Коломбо поручил мне позаботиться, чтобы его тело было положено рядом с телом той, которую он любил. Провидение допустило, чтобы он остался в одиночестве, и я, конечно, не могу исполнить желания моего друга. Это тело должно быть, как можно скорее, удалено с глаз несчастной Кармелиты, и я решил, что сегодня же, в четыре часа, я уеду в Бретань... Там его отец, он имеет право на тело своего сына и на мои утешения.

— В четыре часа, отец мой, труп, положенный в дубовый гроб, будет ждать вас в конце деревни в почтовом экипаже, все формальности будут совершены. Вам останется только занять свое место около него и ехать.

— Я беден, — сказал монах, — и имею с собой только деньги для моего личного проезда. Как же мне поступить...

— Не беспокойтесь, отец мой, — прервал его Сальватор, — путевые издержки будут оплачены.

Монах подошел к постели, приподнял простыню, поцеловал Коломбо в лоб и вышел.

Через пять минут вошел Жакаль. Он подошел к молодым людям, постоял минуту в нерешительности, засунув руки в карманы, затем обратился к Жан-Роберу:

— Вы, кажется, поэт? — спросил он молодого человека.

— Да, сударь, по крайней мере, желаю быть им. Но по какому случаю спрашиваете вы меня об этом?

— А по случаю вот этого письма.

И он вынул из кармана письмо, которое показал Жану, но не отдал ему.

— Что это за письмо?

— А это письмо, которое было получено вчера вечером, — сказал Жакаль, — и на котором позаботились написать: “Очень срочно”; почтальон отдал его вчера вечером в конце деревни садовнице Нанетте, а она увезла его в Париж в своем кармане. Если бы это письмо было прочитано вчера вечером теми, кому оно адресовано, то сделало бы их обоих счастливыми, вместо того, чтобы сделать одного мертвым, а другую привести в отчаяние! Читайте!

И он подал письмо Жану. Тот развернул его и прочел:

“Мой милый Коломбо, моя милая Кармелита!

Не правда ли, вы будете очень довольны, очень счастливы, когда получите это письмо вашего друга Камилла Розана вместо того, чтобы увидеть его самого? Я слышу отсюда, как вы восклицаете: “О, добрый превосходный Камилл!” Слушайте, мои дорогие, вот что пишет мне один из моих соотечественников, которому я когда-то говорил о предложении жениться на вас, Кармелита: “Мой дорогой Розан, твои друзья живут как два голубка, не оставляя друг друга ни на минуту, они не только любят друг друга, я скажу больше: они обожают друг друга! Я думаю, ты их очень огорчишь, если вернешься. Будь же велик, как Александр, который уступил Апеллесу свою любовницу Кампаспу. Я не скажу тебе: “Уступи Коломбо твою любовницу Кармелиту”, но я говорю тебе: “Не разъединяй два сердца, которые небо создало друг для друга!”

Вот что, дорогой Коломбо, написал мне мой соотечественник.

Кроме того, я всегда знал, мой друг, что ты любил Кармелиту, и знаю теперь, что и Кармелита любит тебя; кроме того, ты мне сказал, и я этому верю, что ты умрешь прежде, чем изменишь клятве, которую дал мне, — заботиться о Кармелите, как о сестре.

Я не хочу, чтобы ты умер, мой бедный Коломбо, и вот почему я возвращаю тебе твое слово, так же как и слово Кармелиты. Будь счастлив, Коломбо! И если твоя жертва была тяжела для тебя, получи за нее величайшую награду, которую я могу тебе предложить, потому что теперь в ту минуту, когда я расстаюсь с ней навсегда, я чувствую всю любовь, какую испытывал к Кармелите.

И так как я должен потушить эту любовь и поставить между моим сердцем и ее непреодолимую преграду, то я женился вчера вечером и из брачной комнаты пишу вам сегодня утром.

Прощай, мой дорогой Коломбо! Прощай, моя дорогая Кармелита! Я желаю вам всего того счастья, которое вы заслуживаете. Я сознаюсь в моей слабости, — я сказал бы, почти в подлости, если бы не был уверен в том, что это известие обрадует вас обоих, особенно Кармелиту. Ваш друг, Камилл Розан”.

— Ну что? — спросил Жакаль, забрав у Жан-Робера письмо. — Что скажете вы на это, мсье Жан-Робер?

— Скажу, что это раздирает сердце! — отвечал молодой человек.

— И вы все еще верите в провидение?

— Да, верю.

— Провидение, — возразил Жакаль, набивая нос табаком, — хотите, объясню вам, что такое провидение?

— Вы мне доставите большое удовольствие, хоть я вполне верю в него.

— Верьте и дальше, дорогой мсье, но учтите, что провидение — это хорошая полиция! Давайте отправимся в Версаль и посмотрим, не найдем ли мы там невесту школьного учителя.

Естественен вопрос, возникший, кстати, и у Жан-Робера, когда, верный своему обещанию, он остался у тела Коломбо и шепотом задал этот вопрос Сальватору: как мог Жакаль в половине восьмого утра знать о событиях, происшедших в Медоне между полуночью и пятью часами утра?

В ту эпоху существовало остроумное учреждение, которое называли “Черный Кабинет”. Этот Кабинет был местом, где дюжина служащих тайно занималась распечатыванием писем, посланных по почте, и их чтением гораздо ранее тех лиц, кому они были адресованы.

Теперь этого Черного Кабинета больше нет, теперь такие вопросы решаются куда проще...

Вследствие слухов о тройном заговоре республиканцев, орлеанистов и наполеонистов — Жакаль уже два месяца не брезговал исполнением в свободное время обязанностей простого чиновника и провел всю ночь, распечатывая и читая письма.

Письмо Коломбо к Доминику попало к нему в руки почти половина пятого утра. Он тотчас же послал конного и велел ему скакать во весь опор в Нижний Медон. Жакаль, убежденный, что провидение есть хорошо устроенная полиция, надеялся, что его человек приедет вовремя, но тот приехал через минуту после того, как Людовик проник в павильон Коломбо, следовательно, слишком поздно.

Во время суматохи никто не обратил внимания на этого агента. Он видел письмо, адресованное на имя мадемуазель Регины де Ламот-Гудан, мадемуазель Лидии де Маранд и мадемуазель Фраголы Понто. Он взял это письмо и передал его Жакалю; тот прочел его так же, как и письмо Доминику, потом приказал своему человеку взять свежую лошадь и отнести письмо на то место, откуда он его взял.

Это именно и сделал посланный Жакаля, когда молодые люди видели его разговаривающим с человеком, одетым в черное, лошадь которого была привязана у двери кабачка; Жакаль тихо говорил этому человеку, что он может лечь спать и что префект полиции будет знать, с какой скоростью и умением он исполнил данное ему поручение.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Деревенский филантроп

Мы видели, как отправился Доминик к постели Жерара, этого достойного человека, безнадежное положение которого волновало всю деревню и окрестности.

Жерар был филантропом в полном смысле этого слова. О нем рассказывали, что он был самым богатым из жителей Ванвра и окрестностей; это была непреложная истина. Никто не знал цифры его доходов, настолько они были велики, и, когда спрашивали об этом какого-нибудь крестьянина, он неизменно отвечал:

— Мсье Жерар имеет столько денег, что не знает им счета.

Говорили, что он жил прежде около Фонтенбло в прекрасном поместье, которое бросил из-за несчастий, обрушившихся на него. Опекун двух прелестных детей, он видел, как они однажды исчезли, и он более не мог получить о них никаких известий, любовник женщины, которую обожал, он нашел ее однажды загрызенной ньюфаундлендской собакой, которая, по всей вероятности, взбесилась, а он этого не заметил.

Этот ряд ужасных несчастий, которые и всякого заставили бы с отвращением смотреть на людской род, напротив, лишь усилил его христианские добродетели — величественное самопожертвование и милосердие, сделавшие Жерара примером для всех филантропов и кумиром для народа.

В конце 1822 года он появился в Ванвре с целью поселиться там. Ему понравился дом, в котором он жил, но его отказывались продать. Тогда Жерар предложил за него такую сумму, что владельцу ничего не оставалось делать, как согласиться.

С того времени Жерар и жил в этом доме на правах святого и принца. Святой по строгости жизни, которую вел; принц по благодеяниям, которые он оказывал окружающим. В самом деле, с его приездом Ванвр стал благоденствовать так, что скоро сделался самой богатой деревней в окрестностях Парижа. Крестьяне из бедных и нуждающихся превратились мало-помалу в зажиточных; некоторые даже считались богачами, и этим богатством — относительным, разумеется, — они всецело были обязаны Жерару.

Поэтому не было такой хижинки, где бы не почитали и не благоговели имя этого достойного человека. О нем никогда не говорили, не прибавив к его имени какого-нибудь почтительного эпитета, вроде — добрый, добродетельный, благодетель и т.п.

Если жатва была не хороша, если недостаток солнца не дал созреть ржи, если весенние дожди сгноили семена, словом, если на крестьянина обрушивалось одно из тех бедствий, против которых человек бессилен, — Жерар шел к крестьянину, ласково говорил с ним, жалел его, утешал, ободрял и прибавлял к своим сожалениям, ободрениям и утешениям более или менее солидную сумму займа, соразмеряя ее не с теми гарантиями, какие мог предложить крестьянин, но с теми поте-

рями, которые он понес, с теми нуждами, которые он испытывал, и все это делалось без всяких барышей, а некоторым даже и безвозмездно. О Жераре рассказывали, например, такие вещи.

Один плотник, работавший на крыше его дома, упал на землю с лесов и сломал себе ногу. Вместо того, чтобы велеть отнести его в больницу — как сделал это годом раньше мэр Ванвра, которого, однако, считали очень добрым человеком, — Жерар взял к себе не только пострадавшего плотника, но и его жену и детей, затем вызвал хирурга из Медона и поручил ему бедняка. Выздоровление продолжалось три месяца, и все это время плотник был окружен таким уходом, как-будто он был братом, а его жена и дети — членами семьи.

Позднее один бедный содержатель харчевни, отец пятерых детей, потеряв свою жену и старшую дочь, впал в ужасное отчаяние и, несмотря на советы и ободрение соседей, перестал вовсе заботиться о своей торговле, не занимался самыми необходимыми делами и дошел до того, что потерял кредит и потребителей. Один из кредиторов арестовал у бедняка всю мебель, продажа которой обрекла бы на нищенство остальных четверых детей. Тогда харчевник понял всю величину своего несчастья, вышел из оцепенения и в день продажи, увидев пристава, который пускал на аукцион первую его мебель, бросился на шею к детям, прося прощения за свое безрассудство и предлагая свою жизнь тому, кто даст ему средства вернуть торговлю и поправить дела. Жерар проходил в эту минуту мимо. Он присоединился к группе, состоявшей наполовину из покупателей, а наполовину из зрителей, привлеченных этой сценой отчаяния. Узнав, что все имущество шло за тысячу восемьсот франков, Жерар вынул из кармана три билета по тысяче франков, из которых тысяча восемьсот пошла на уплату долга харчевника, а тысяча двести харчевнику на возобновление торговли. Тогда несчастный отец бросился к ногам своего благодетеля и покрыл его руки слезами благодарности при радостных восклицаниях присутствовавших.

В другой раз крестьянка, рубя дрова в медонском лесу, нашла шестимесячного мальчика, который кричал и плакал, лежа на сухих листьях. Она взяла мальчика на руки, отнесла в Ванвр и показала его возмущенным жителям. Несчастного покинутого ребенка отнесли в мэрию, которая должна была бы быть естественным убежищем, отцовским домом для всех сирот, но мэр отвечал, что община имеет уже много детей на своем попечении; тогда решили нести ребенка к Жерару. “К благородному мсье Жерару! К достойному мсье Жерару!” И толпа бросилась к дому филантропа, предшествуемая криком: “Ребенок! Ребенок!” Жерар гулял в саду, когда услышал эти вопли; шум нарастал, и он догадался, что толпа направляется к нему, но крики: “Ребенок! Ребенок!” произвели на него почему-то болезненное впечатление. Прибыв, люди нашли его сидящим на скамейке в саду, бледного, дрожащего. Однако узнав, что это был ребенок шести месяцев, он вновь, как и всегда, стал добросердечным человеком, лишь на миг поддавшись необъяснимому ужасу. Он послал нанять кормилицу, условился с ней о

цене и объявил, чтобы более не заботились об участии малыша, потому что он сам будет заботиться о нем; только он желал бы, чтобы ребенок воспитывался вдали от него, потому что потеря его двух дорогих детей оставила в его сердце незаживающую рану. Кормилица унесла ребенка, о содержании которого с тех пор заботился Жерар.

Целый край готов был памятник поставить ему, потому что повсюду ему чем-нибудь были обязаны; община — фонтаном на площади; огородники — проселочной дорогой, о которой они просили двадцать лет; церковь — священными сосудами и хорошей иконой; крестьяне — тремя или четырьмя домами, выстроенными за его счет после пожара; главная улица деревни была вымощена заново опять-таки за его счет. И все это, не считая того, чем крестьяне были обязаны ему по частностям.

Одним словом, Жерар был хорошим человеком и по Евангелию, и по мнению общества: он исполнял божьи заповеди с усердием, достойным удивления. Деревня обожала его, и благодарность, которую она выказывала к своему благодетелю, напоминала собачью привязанность, поэтому его охраняли словно члена королевской семьи, да и тот вряд ли был бы принят благосклонно, если бы не разделял этого всеобщего поклонения.

Таким образом, отец Доминик, которого двое или трое крестьян встретили и проводили до Ванвра, понял из того, что они говорили о добродетели Жерара, весь тот ужас, который выражался на лицах крестьян, беспокойно стоявших на пороге своих домов или на улицах, точно во время народного бедствия.

Видя это общее отчаяние, брат Доминик спросил одного из своих проводников, какая болезнь поразила мсье Жерара.

— Воспаление в груди, — отвечал крестьянин.

— Да, — сказал другой, — и смерть будет благодеянием для несчастного дорогого человека, так он мучается.

И, перебивая друг друга, крестьяне рассказали Доминику, что две недели назад Жерар, проходя по парку, услышал крики о помощи, раздававшиеся где-то у большого бассейна. Он быстро направился туда. Двое или трое детей стояли на берегу бассейна, призывая на помощь и не смея помочь сами одному из своих товарищей, упавшему в воду. Ребенок нагнулся, чтобы притянуть к себе бумажную лодку, потерял равновесие и упал в воду. Жерар побежал на помощь, сильно вспотел, но без колебаний бросился в воду и вытащил ребенка. Он вынес его на берег целого и невредимого, однако сам вернулся домой в довольно-таки жалком виде и, хоть и переоделся, и велел развести огонь в камине, и немедленно лег в хорошо нагретую постель, но все-таки у него началась лихорадка, которая с тех пор и не проходит.

Утром хирург Пиллу сказал, что он не отвечает за жизнь больного, и со всеми предосторожностями объявил Жерару, что если он хочет сделать какие-нибудь распоряжения, то ему остается для этого немного времени.

Жерар, который, вероятно, не считал себя настолько больным, при этом известии потерял сознание, что, впрочем, странно, ибо святой человек, как он, должен быть к подобным событиям подготовленнее остальных — и, придя в себя, немедленно потребовал священника.

Обращались к священнику в Медоне, но, как уже знают наши читатели, медонский священник понес запасные дары в соседнюю деревню. Тогда умирающему сказали, что, вместо медонского священника, он может обратиться к чужому, который находится в деревне, призванный смертью одного из своих друзей. Жерар сейчас же послал своего лакея за аббатом Домиником. Нам уже известно, как доминиканец оставил усопшего ради умирающего.

Священник был глубоко тронут рассказами о прекрасных качествах Жерара, он прибавил шагу и шел к умирающему со словами утешения, сложив руки для благословения.

Ему сказали правду, говоря, что ему не придется разыскивать дом: когда жители Ванвра увидали его, все руки протянулись по направлению к дому Жерара.

— О, господин аббат, — шептали старухи, — вы услышите святую исповедь и можете заранее дать отпущение грехов доброму мсье Жерару.

Отец Доминик поклонился всем этим людям, среди которых он увидел столь редкую уже тогда добродетель, как благодарность, и вошел в указанный дом, — дверь, как в церкви, оставалась открытой целый день и могла бы остаться открытой целую ночь, — быстро поднялся по лестнице в комнату Жерара. На последней ступеньке он нашел лакея, который приходил за ним в Медон и теперь объявлял своему господину о скором приходе священника.

Но это известие, которое любого успокоило бы, привело святого человека в неописуемое волнение — он начал так тяжело дышать, что перепугал лакея, и тот, только чтобы не оставаться в комнате своего господина вместе с сиделкой (вольно расположившейся в большом мягком кресле), ушел ждать доминиканца на лестницу.

Священник вошел в комнату.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Исповедь

— **С**ударь, — сказал лакей, — вот господин аббат, которого вы ждете.
Умирающий сделал резкое движение, вздрогнул всем телом и болезненно застонал. Затем глухим голосом проговорил:
— Пусть войдет.

Отец Доминик подошел, и его взгляд с участием обратился в глубину алькова. После всего, что он слышал о человеке, призвавшем его, он мог только удивляться да еще и благодарить Бога, что бывают такие

люди. Как ни был молод аббат Доминик, но он видел уже столько дурных людей, что был рад взглянуть на доброго человека. Но тут он вздрогнул — лицо Жерара было совсем не таким, какое он ожидал увидеть.

— Марианна, — позвал больной сиделку.

Марианна встала — полусонная и томная, она подошла к постели нетвердой походкой лунатика.

— Как вы чувствуете себя, мой добрый господин? — спросила она.

— Худо, очень худо, Марианна! Дайте мне пить, и оставьте меня с этим господином наедине.

Сиделка подала Жерару чашку с питьем, теплоту которого поддерживали с помощью светильника. Жерар немного отпил, упал на подушки, видимо, измученный сделанным усилием.

— Благодарю, Марианна, благодарю, — сказал он, отталкивая руку сиделки. — Опустите занавеси и оставьте нас... Мне больно от света.

Марианна опустила занавеси, и в комнате сделалось темно, так как ее освещал только слабый свет ночника.

В короткое время, пока занавеси еще не были задернуты и не скрыли от Доминика лицо больного, молодой священник пристально всматривался в это лицо, которое, как уже было сказано, не соответствовало тому, что он предполагал увидеть.

Это был человек лет пятидесяти или около того, с низким, узким лбом, лысым черепом; маленькие, ввалившиеся глаза тускло-серого цвета скрывались иногда под красными часто мигающими веками; густые седеющие брови, напоминающие щетину, срослись и образовали над глазами высокий свод; горбатый, тонкий, острый нос; большой рот с тонкими бледными губами. Все это уподобляло Жерара скорее ястребу, чем человеку.

Как бы болезнь ни изменила лицо умирающего, но все-таки можно было легко воспроизвести его в воображении и представить себе в здоровом состоянии. Аббат Доминик был поражен той — если можно так выразиться — живостью, хищничеством, даже низостью, которые выражал общий вид этой физиономии.

Конечно, Жерар был не безобразнее других, но его безобразие было его собственное, личное, как говорится, *sui generis*¹. Оно выражало в эту минуту ужас самым отталкивающим образом.

Вид умирающего всегда трогателен и направляет мысли к Богу. Но вид этого человека, хоть чувствовалось, что он близок к агонии, к могиле, вместо того, чтобы возбуждать участие, внушал монаху только непреодолимое отвращение. Вот почему он остановился в оцепенении перед этим человеком. Он ожидал, что на лице больного отразятся все благородные стремления его сердца, но при виде такого лица Доминик

¹ В своем роде, своеобразное (латин.).

нахмурился и с чувством отчаяния сел у постели, опустив голову на грудь.

Хоть он и пришел протянуть руку чистой душе, но, казалось, молил Бога дать ему силы выслушать исповедь дурного человека и вырвать у сатаны душу, проклятую заранее.

Впрочем, умирающий, вместо того, чтобы говорить, стонал и плакал, и брат Доминик заговорил первым.

— Вы просили меня прийти? — начал он.

— Да.

— Я вас слушаю.

Умирающий посмотрел на священника с беспокойством, заставившим сверкнуть его потухшие глаза.

— Вы очень молоды, отец мой, — заметил он.

Священник встал, уступая первому чувству негодования.

— Но ведь не я напросился прийти к вам, — ответил он.

Умирающий быстро протянул исхудалую руку и остановил его за руку.

— Нет, — возразил он, — останьтесь!.. Я хотел сказать, что в ваши годы вы, вероятно, недостаточно вдумывались в мрачные стороны жизни, чтобы ответить на вопросы, которые я должен вам задать.

— Что я могу сказать вам? — отвечал священник. — Если вы станете испытывать мою веру, я отвечу вам тем, что она заповедует нам; если вы спросите мой ум, я постараюсь вам ответить тем, что он подскажет мне.

На минуту воцарилось молчание, священник стоял.

— Садитесь, отец мой, — сказал умирающий умоляющим голосом.

Доминик опустил на стул.

— Теперь, отец мой, — продолжал Жерар, — ради Бога, не возмущайтесь теми просьбами, которые я обращаю к вам, и, в особенности, обещайте мне не покидать меня прежде, чем выслушаете всю мою исповедь!..

— Говорите, — сказал священник.

— Вы знаете лучше, чем я, догматы церкви, к которой принадлежите, отец мой...

Жерар остановился, но после минутного колебания продолжал:

— Отец мой, вы верите в будущую жизнь?

Священник посмотрел на умирающего с выражением, близким к презрению.

— Если бы я не верил в будущую жизнь, — сказал он, — то разве стал бы я носить ту одежду, которая на мне?

Жерар вздохнул.

— Да, я понимаю, — сказал он, — но верите ли вы, что в будущей жизни человек получит награду за свою добродетель и наказание за преступления?

— Иначе для чего бы была она?

— И вы верите, отец мой, что исповедь необходима для отпущения

наших грехов и что прощение Божие может сойти на голову грешного только при предстательстве служителя алтаря?

— Так утверждает церковь. Но искреннее, теплое и душевное раскаяние может заменить отпущение грехов и при отсутствии священника.

— Так что человек, принесший полное раскаяние...

— Какой грешник может похвастаться, что он вполне раскаялся? — спросил доминиканец. — Какой преступник может утверждать, что его раскаяние не вызвано страхом, что угрызения его совести чужды ужаса? Какой умирающий может сказать: “Если бы завтра Бог возвратил мне жизнь, то дни, часы, которые он у меня отнимает, были бы употреблены на то, чтобы изгладить зло, сделанное мною?”

— Я! Я! — вскричал умирающий. — Я могу сказать это!

— Тогда, — возразил священник, — я вам не нужен.

И он встал во второй раз.

Но исхудалая рука Жерара ухватила за его одежду, а голос его шептал:

— Нет, нет, останьтесь, отец мой!.. Я лгу самому себе: это не раскаяние, это не угрызение совести заставляет меня говорить, это ужас! Мне нужно получить прощение людей, прежде чем предстать пред Богом!.. Останьтесь, отец мой, умоляю вас!

Доминик опять сел, но, видимо, с невольным отвращением.

— Я обязан здесь повиноваться вашей воле, а не своей, — отвечал он, — иначе, Бог свидетель, я сейчас бы ушел. Вы говорите об ужасе; да, ужас, который я испытываю, слушая вас, почти равняется тому, который заставляет вас колебаться, говоря со мной.

— Отец мой, — спросил больной, — думаете ли вы, что я так близок к смерти, как говорят?

— Это следует спросить у доктора, а не у меня.

— Мне кажется, у меня есть еще силы, и я могу подождать, отец мой... — возразил больной, колеблясь. — Не можете ли вы прийти завтра... или вечером.

— Может быть, вы можете подождать, но я не могу прийти опять. У меня есть печальный и священный долг, который я должен исполнить, и через два часа я уезжаю в Бретань.

— Ах! Вы уезжаете... Вы оставляете Париж... через два часа?..

— Да.

— Надолго?

— Насколько это будет угодно Богу! Я еду утешать отца в смерти его сына.

— В таком случае, — прошептал умирающий, — пусть так и будет... Да, сам Бог послал вас... Вы уезжаете, не так ли?.. Вы уезжаете непременно?

— Если Бог не вернет к жизни труп, который я должен сопровождать, я уеду непременно.

— И вы уверены, что это чудо невозможно?

Сердце Доминика болезненно сжалось; ужас и нерешительность этого человека, да еще высказанные таким образом, внушали ему непреодолимое отвращение.

— Увы, да, — отвечал он, — я в этом уверен.

И священник провел платком по глазам, чтобы отереть выступившие слезы. Больной не заметил этого и шептал:

— Да, да, так будет лучше. Он уезжает через два часа; он покидает эту страну и не вернется, может быть, никогда... Тогда как медонский священник остается.

Затем, сделав невероятное усилие, он сказал:

— Выслушайте меня, отец мой. Я расскажу вам все.

Опустив со вздохом голову на руки, умирающий, казалось, собирался с мыслями. Монах облокотился на ручку кресла.

Почти темная из-за опущенных занавесей комната постепенно становилась светлее, или глаза священника привыкали к этой темноте, которой слабый свет ночника придавал таинственный и фантастический колорит. В этой темноте череп умирающего казался бледнее, обнаженнее; лицо — синеватее, худощавее и еще более напоминало труп.

Говорить он начал слабым голосом, закрыв лицо руками, но при первых словах странной исповеди, которую слушал Доминик, не зная еще, что ему придется услышать, монах отодвинул свое кресло от постели, точно боялся этого голоса.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Жерар Тардые

Эти первые слова были, впрочем, вполне заурядны и могли быть сказаны кем угодно.

— Я овдовел в тридцать лет, — начал умирающий. — Первый мой брак причинил мне столько горя, что я поклялся никогда не жениться. У меня был только один родственник, старший брат, покинувший страну в 1793 году и отправившийся в Бразилию. Военная служба внушала ему отвращение, земледелие он не выносил, торговля казалась делом ужасным. Он мечтал только о путешествиях, приключениях, и далекие страны представлялись ему землями обетованными.

Он отдал предпочтение Бразилии и уехал в Рио-де-Жанейро с небольшим количеством товара, стоившего не более тысячи экю. Я получил от него только три письма. Первое в 1801 году, где он писал, что разбогател, и приглашал меня к себе, но, чувствуя отвращение к морю, я отказался. В 1806 году я получил второе письмо, где он писал, что все потерял и что я хорошо сделал, оставшись во Франции. Одиннадцать лет я не слышал о нем ничего и не имел никаких известий, ни прямых, ни косвенных. Наконец, в 1817 году он вновь объявился — в третий раз после его отъезда, а прошло уже двадцать два года. Он вернул себе состояние, которое достигло нескольких миллионов, был женат и имел

двоих детей; писал мне, что скоро вернется, потому что, как он говорил, страстно желал теперь, когда стал миллионером, вернуться во Францию и жить вместе со мной.

И действительно, в июне 1817 года он приехал в Париж, и я получил от него записку, приглашавшую меня приехать к нему немедленно. Во время переезда он потерял жену, был в отчаянии, и моя братская дружба одна могла успокоить это горе. Мне тоже очень хотелось видеть брата, к которому, несмотря на его долгое отсутствие и мой возраст, я сохранял нежную привязанность юношеских лет. Получив его письмо, я решил ехать и простился с моими друзьями в Вик-Десо...

При этом названии монах поднял голову.

— Вик-Десо? — прервал он. — Вы жили в Вик-Десо, близ Арьежа?

— Я там родился, — отвечал умирающий, — и оставил эту деревню только ради Парижа... Лучше было бы, если бы я не оставлял ее! ..

Монах взглянул на умирающего с любопытством, которое не было лишено некоторого беспокойства, но тот, ничего не заметив, продолжал:

— Я приехал в Париж после восьмидневного путешествия и нашел моего брата Жака настолько изменившимся, что не узнал его; он, напротив того, узнал меня сейчас же и отнесся ко мне с таким чувством, которое и по сей день заставляет меня плакать... Для меня было бы ужасной пыткой чувствовать вечно на моих щеках два его нежных поцелуя.

Умирающий отер платком лоб, покрытый потом, и на несколько минут погрузился в воспоминания.

Доминик смотрел на него с возрастающим любопытством; видно было, что он хотел спросить его, заговорить с ним, но что внутренний голос советовал ему не делать этого, по крайней мере, подождать.

Жерар попросил монаха передать ему флакон с солью, который стоял на ночном столике и, вдохнув несколько раз, продолжал:

— Бедный Жак был так же бледен, худ и немошен, как я теперь. Казалось даже, что, как мне теперь, в тот час ему оставался лишь шаг до могилы... Он рассказал мне о смерти жены с рыданиями, которые доказывали его печаль, затем он велел позвать детей, чтобы показать мне их. Их привели: это были престельные дети, старший, мальчик, белокурый, свежий и розовый; дочь смуглая, бледная, с превосходными черными волосами, бровями, ресницами и глазами. Девочка была особенно привлекательна своими щеками, загоревшими под солнцем Бразилии. Ей было четыре года, и звали ее Леони; мальчику было шесть лет, его звали Виктором.

Странная вещь — я вспоминаю это только теперь, — оба они, казалось, испугались меня и не хотели меня поцеловать. Жак повторял им несколько раз: “Это мой брат! Это ваш дядя”, — но девочка начала плакать, а мальчик убежал в сад. Отец просил извинить их. Бедный Жак! Он обожал своих детей, больше того — его любовь к ним доходила до безумия; он не мог без слез смотреть на них, так они напоминали ему его жену: мальчик чертами лица, девочка характером.

Это было причиной того, что дети, несмотря на всю его любовь к ним, доставляли ему столько же печали, сколько и радостей, и, когда он смотрел на них очень долго, он говорил задыхающимся голосом гувернантке: “Уведите их, Гертруда!”

Я был очень расположен к брату, положение его беспокоило меня серьезно. Кроме этой печали, от которой со временем любовь детей и мои заботы могли бы его исцелить, он был подвержен в известное время года, с наступлением осени, лихорадке, которую он схватил во время одного путешествия по Мексике и никак не мог от нее избавиться. Эта лихорадка вернулась с новой силой по возвращении его во Францию. Мы советовались с лучшими докторами Парижа, но они были бессильны перед этим отравлением легких, и исходом этих консультаций было то, что брату посоветовали поселиться в деревне. Это предписание делают обыкновенно тем, кому нечего уже предписывать. Я видел на лице Жака следы, которые оставлял на нем каждый день: вечером он был бледнее и слабее, чем утром, а утром — чем накануне... Я стал отыскивать деревенский дом и однажды, возвращаясь из Фонтенбло, увидел около Кур-де-Франс, почти в пяти лье от Парижа, объявление о продаже деревенского дома в Вири.

— В Вири? — опять прервал его священник.

— Да, в Вири, — повторил Жерар. — Вы знаете эту местность?

— Я слышал о ней, но никогда там не жил, даже не бывал, — отвечал Доминик слегка взволнованным голосом. Но больной был очень занят собственными мыслями, чтобы обратить внимание на то, что его рассказ пробудил воспоминания в его слушателе.

Он продолжал:

— Вири лежит почти в четверти лье от того места, где я был. Я отправился в эту деревню, и через четверть часа я был уже перед домом, или замком, который впоследствии должен был принадлежать мне.

Священник, в свою очередь, отер лоб платком; было ясно, что каждое слово больного заставляло странно сверкать его глаза, тщетно стараться вспомнить нечто, безвозвратно минувшее.

— К дому вела, — продолжал Жерар, — липовая аллея; затем, пройдя переднюю и столовую, можно было выйти на другую сторону дома, на широкий каменный подъезд, с высоты которого открывалась действительно волшебная картина. Это был парк, окруженный вековыми дубами, отражавшимися в чистой, глубокой воде, которая по ночам казалась громадным серебряным зеркалом; берега этого маленького озера были покрыты тростником и камышом, и десять или двенадцать десятин земли по берегам были покрыты цветами всех стран, колоритов и запахов. В пятистах шагах от замка воздух был так душист, как в двух лье от Грасса. Это имение прежде принадлежало какому-то страстному любителю природы, потому что тут были собраны все чудеса растительного царства... Боже мой, — шептал больной, — теперь, когда я об этом думаю, мне кажется, что можно было бы жить очень счастливо в этом земном раю!..

Я осмотрел дом: внутри впечатление было неменьшим. Это был старый замок, меблированный сверху донизу в новейшем вкусе, богато, изящно и удобно. Мне показывала его женщина, служившая у господина, которому он некогда принадлежал. Наследников было много, и замок продавали для раздела.

Моя проводница не приходилась покойному никем, она называла себя его ключницей, и говорили, что она наследовала все наличные деньги, которые были в доме в минуту смерти хозяина. Это была женщина тридцати лет, высокая, сильная, и по ее выговору слышно было, что она была из наших мест. В ее взгляде, походке, манерах было что-то мужское, что внушало мне отвращение. По моему выговору она признала меня за соседа страны басков и, указывая на наше землячество, предложила в случае, если бы я купил этот замок для себя или для кого-либо другого, остаться в нем в той же должности, в крайнем случае, горничной или кухаркой.

Я сказал ей, что действую тут от имени моего брата, а не от своего, что я сам так же беден, как брат богат; прибавил, что боюсь, что брату недолго придется наслаждаться своим богатством. Тогда она стала восхвалять здоровый воздух местности, близость Парижа, до которого рукой подать, и в особенности ничтожную сумму, за которую продавалось это роскошное имение: его отдадут за сто двадцать тысяч, а может быть, и за сто — так наследники торопились получить свою долю — тому, кто согласится заплатить наличными.

По-моему, такое имение как раз и требовалось моему брату; и я обещал Орсоле, так звали ключницу, что сделаю все возможное, чтобы брат купил замок и оставил ее у себя. Я говорю вам так подробно об этой женщине, потому что она имела громадное влияние на мою жизнь... Через восемь дней я купил имение на имя брата за сто тысяч франков.

Мы переехали в тот же день, как были заплачены деньги у нотариуса. Наша прислуга состояла из садовника, лакея, кухарки и горничной, обязанной ходить за детьми. У нас была молодая собака, помесь сенбернара с ньюфаундлендом, которую хозяин дома, в котором жил мой брат в Париже, уступил ему по просьбе детей, потому что те играли с ней с утра до вечера и не хотели расставаться; дети называли ее Брезиль, в честь страны, где они родились.

По моей рекомендации в прислугу включили и Орсолу, и она сделала то же, что в мой первый приезд, — показала брату замок, водворила каждого в его комнату и с первой же минуты, несмотря на кажущуюся покорность, заняла место доверенной женщины, как и при прежнем хозяине.

Никто и не думал жаловаться на это: все выглядело так, будто она советовалась с каждым, чтобы удовлетворить его любое желание. Все были ею довольны, не исключая и Брезилия, у которого была прекрасная конура и который мог бы считать себя счастливейшим, если бы не вбитая в стену цепь, которая грозила его будущей свободе.

Все было так хорошо устроено в этом новом жилище, что с первого

же дня жизнь казалась всем легкой и удобной. Мы провели там конец лета и осень; на зиму полагали вернуться в Париж, но Жак предпочел деревню со всеми ее неприятностями, которые, однако, казались меньшими отчасти благодаря его крупному состоянию.

Так мы дожили до февраля 1818 года. Здоровье моего брата ухудшалось с каждым днем. Однажды он позвал меня к себе в спальню, выслав детей и, когда мы остались одни, сказал: “Мой дорогой Жерар, мы люди и должны говорить и действовать как люди!”

Я сидел около его постели и, желая угадать, о чем он будет говорить, старался успокоить его насчет здоровья, но он протянул мне руку и сказал: “Брат, я чувствую, что жизнь отлетает от меня с каждым дыханием, и я не сожалел бы об этом, потому что смерть должна соединить меня с моей милой женой, если бы будущность детей не беспокоила меня. Я знаю, что, завещая их тебе, я оставляю их другому себе, но, к несчастью, ты не отец, и никогда нельзя сделаться вполне отцом чужим детям. Кроме того, в детях надо заботиться и о жизни материальной, то есть о жизни тела, и о жизни духовной — жизни ума. Ты ответишь мне, что мальчика можно отдать в колледж, девочку в монастырь. Я думал об этом, друг мой, но бедные дети привыкли к цветам, к большим лесам, к воздуху полей, к лучам солнца, и я дрожу при мысли, что они будут заперты в эти тюрьмы, которые называют пансионами, в кельи, которые зовут дортуарами! Затем, по моему мнению, только то дерево хорошо, которое растет свободно. Поэтому я прошу тебя, не отдавай ни в коллеж, ни в монастырь бедных моих детей; я думал взять для них наставника, так сказать, врача для их нравственной жизни, но не знал, на ком остановить мой выбор, как вдруг Господь, который, вероятно, хочет дать мне спокойствие в минуту смерти, дозволил одному из моих друзей вернуться вчера из-за полутора тысяч лье, чтобы вывести меня из затруднения...”

Действительно, накануне какой-то незнакомец спросил Жака, отказываясь назвать свое имя; его проводили к Жаку в комнату, и он оставался там почти час.

“Ты хочешь сказать о том человеке, который приходил вчера?” — спросил я Жака.

“Да, — отвечал он. — Я знал этого человека прежде и встречался с ним спустя годы, я доверяю его рассудительности, прямоте, доброте; слышал о его мужестве. Мало людей внушало мне при первом взгляде такое расположение, которое оправдалось годами. Он оказал мне одну услугу, за которую я буду ему благодарен до самой смерти...”

Доминик с возрастающим вниманием слушал рассказ умирающего, казалось даже, что этот рассказ каким-то образом касался его самого.

Жерар продолжал:

— “Очень серьезные дела, затрагивающие важнейшие политические вопросы, дела, о которых я знаю, но не могу рассказать даже и тебе, — продолжал мой брат, — вынуждали его дважды уезжать из Франции, а теперь, когда он вернулся, ему приходилось скрываться.

Вчера он пришел просить меня приютить его от ненависти и подозрений, которыми его преследуют, но которые делают ему только честь. Брат, я думаю об этом человеке для воспитания моих детей...”

Доминик учащенно дышал, и ему то и дело приходилось отирать пот со лба. Казалось, он переживал сильную внутреннюю борьбу, глубокое нравственное волнение; больной заметил это.

— Вы страдаете, отец мой? — спросил он, прерывая себя, — или вам нужно что-нибудь? В таком случае, позовите Марианну... Увы, у меня еще есть много, что сказать... видите ли... Я, как могу, отдаляю ужасное признание... Будьте терпеливы, отец мой, умоляю вас!

— Продолжайте.

— “Это человек глубоко образованный, — говорил о нем Жак, — он знает свет от альфы до омеги, древние языки, новейшие языки, историю, науки и искусства — он знает все. Это ходячая энциклопедия, и, если бы я знал, что он может жить с тобой до совершеннолетия моих детей, я умер бы спокойно”.

“Кто же помешает этому?”

“Важность дел, которые его занимают и которые могут с минуты на минуту вынудить его к отъезду не просто на несколько лет, но навсегда... Во всяком случае, если ему придется тебя оставить, я поручаю тебе позаботиться о его замене: у него есть сын, который готовит себя к духовной карьере...”

— Извините меня, — сказал Доминик, вставая, — я не могу, не должен слушать далее вашу исповедь.

— Почему же, отец мой? — спросил Жерар с тревогой.

— Потому, — отвечал взволнованный монах, — что я знаю, кто вы, а вы не знаете, кто я.

— Вы меня знаете? Вы знаете, кто я? — вскричал больной в ужасе. — Это невозможно!

— Ваше имя Жерар Тардые — не так ли? Или просто Жерар?

— Да... Но вы, кто вы такой?

— Мое имя Доминик Сарранти.

Больной испустил крик ужаса.

— Я сын, — продолжал монах, — Газтано Сарранти, которого вы обвинили в убийстве и в краже, но который ни в чем не виноват, кланюсь в этом!

Умирающий приподнялся было на постели, но затем упал лицом в подушки и застонал.

— Теперь вы видите, — сказал монах, — что это значило бы обмануть вас, слушая далее вашу исповедь, вместо того, чтобы слушать ее с милосердием священника, я буду слушать вас с ненавистью сына, отца которого вы оклеветали и обесчестили!

И, резко отодвинув свое кресло, доминиканец сделал движение к двери.

Но и в третий раз больной удержал его за ряску.

— Нет, нет, нет! Напротив, оставайтесь! — кричал он. — Оставай-

тесь!.. Провидение привело вас сюда... Оставайтесь!.. Бог хочет, чтобы прежде, чем умереть, я загладил то зло, которое сделал!

— Вы этого хотите? Будьте осторожны! Я не хочу ничего, но мне стоило громадного, нечеловеческого усилия сказать вам, кто я, а не воспользоваться случаем, который привел меня к вам.

— Скажите — провидением! Ведь это — провидение! — повторял умирающий. — О! Я отправился бы на край света, если бы знал, где вас найти, чтобы вы выслушали признание, ужасное признание, которое мне остается сделать вам!.. Я вас прошу, я вас умоляю, оставайтесь!

Монах упал в кресло, обратил глаза к небу и тихо шептал:

— Боже мой! Боже мой! Дай мне силы...

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ,

где собака воет, где женщина поет

Теперь, при этом странном стечении обстоятельств, брат Доминик должен был сделать над собой громадное усилие, дабы не показать того волнения, какое он испытывал.

Мы уже говорили, что походка этого монаха, его лицо, манера говорить носили отпечаток глубокой и мрачной, но скрытой и безмолвной печали. Теперь становятся понятными и причины этой печали, которую он не доверял никому. Они — в исповеди Жерара Тардье, или человека, которого жители Ванвра и всех окрестных деревень называли благодетелем.

Жерар вновь заговорил. Голос его был слаб, часто прерывался всхлипами, вздохами и стонами:

— “Что же касается моего состояния, — продолжал брат мой, — распределение его очень просто, и я думаю, что с той минуты, как я стал думать о смерти, я все предусмотрел. Вот копия с моего завещания, которое лежит у нотариуса; я передам ее тебе; ты прочтешь, чтобы сказать, не забыто ли что-нибудь и не нужно ли что исправить. Я оставляю по миллиону каждому из детей, я желаю, чтобы, кроме необходимых издержек на их содержание и воспитание, все проценты с этих двух миллионов накапливались к их совершеннолетию. Тебе по дружбе я доверяю наблюдать за этим, мой дорогой Жерар. Что же касается тебя, то, зная простоту твоих вкусов, я оставляю тебе на выбор — или сумму в сто тысяч экю серебром, или ренту в восемьдесят тысяч франков. Если тебе придет мысль жениться, ты возьмешь, кроме того, проценты с детского капитала или ренту в шесть тысяч франков. Если один из детей умрет, другой получит все; если оба умрут... то, так как у них нет родных, кроме тебя, ты наследуешь им. Я оставляю всем, кто у меня служил, знаки моей благодарности; тебе нечего будет беспокоиться. Я счел излишним назначать специальные суммы на воспитание детей, эти издержки будут определены тобой, без особенной щедрости, но и без излишней экономии. Но есть еще один пункт, на который я обращаю

твое внимание: я прошу тебя не назначать моему другу Сарранти менее шести тысяч франков в год: преданность людей, которые воспитывают наших детей, мне всегда казалась недостаточно вознагражденной и, будь я министром народного просвещения во Франции, я хотел бы, чтобы наставники, которые проводят всю жизнь, формируя сердца и умы нового поколения, были поставлены не так, как лакеи, которые чистят наши платья!"

Теперь Доминик прикладывал свой платок уже не ко лбу, чтобы отереть пот, а ко рту, чтобы заглушить рыдания.

— Если один из детей умрет, — продолжал больной, объясняя последнюю волю своего брата, — сто тысяч франков из состояния умершего должны быть отданы Сарранти; если оба умрут, двести тысяч...

Доминик встал и бросился в другое кресло, в углу комнаты, чтобы поплакать несколько минут.

Но ему хватило и нескольких секунд, чтобы справиться с волнением, и он вновь подошел медленным и степенным шагом к постели умирающего. Его отвращение к этому человеку уменьшилось, и он спросил, не нужно ли ему что-нибудь?

— Отец мой, — отвечал больной, — дайте мне ложку этого крепительного эликсира, который стоит на камине. Даже если в итоге он смертелен, его хватит, чтобы я рассказал вам все разом.

Монах передал больному ложку эликсира; тот проглотил ее и, пригласив Доминика занять прежнее место у изголовья постели, продолжал:

— Брат передал мне копию духовной, и я, прочтя ее, запротестовал. Я говорил, что привык жить на тысячу пятьсот или тысячу восемьсот франков в год и что мне нет надобности ни в таком большом капитале, ни в такой крупной ренте. Он не хотел ничего слышать и прекратил все споры, ответив мне, что брат человека, оставляющего двухмиллионное состояние своим детям, опекун, который должен распоряжаться за своих питомцев двадцатью тысячами франков ренты, которая может и удвоиться, не имеет права даже в глазах своих племянников выглядеть так, будто он живет за их счет, как паразит... В то время, отец мой, я заслуживал звание честного человека и согласился бы не только потерять все состояние, которое оставлял мне мой брат, но и собственное, если бы оно у меня было, — только чтобы спасти жизнь моего брата или продлить ее на несколько лет. К несчастью болезнь была смертельна, и на другой день после этого разговора Жак едва нашел силы пожать руку... вашему отцу. Я не буду описывать вам мсье Сарранти, но позвольте мне сказать несколько слов о первом впечатлении, которое он произвел на меня. Никогда — я могу поклясться в этом перед Богом и вами — никогда ни одно человеческое лицо не внушало мне более сильной симпатии, более глубокого уважения. Честность — ею точно лучилось его лицо, она взывала к доверчивости, каждый готов был открыть ему свои объятия и свое сердце!.. Вечером же он поселился в доме, по просьбе Жака, который заявил, что желает

закрыть глаза в окружении двух друзей, то есть Сарранти и меня. По приезде он тотчас вошел ко мне в комнату и сказал:

“Жерар, не считите за вольность, что сразу обращаюсь к вам с просьбой оказать мне серьезную услугу”.

“Говорите, сударь, — отвечал я ему, — уважение и дружба, которые питает к вам мой брат, дают мне право сказать вам то, что сказал бы он сам: мое сердце и мой кошелек к вашим услугам”.

“Благодарю вас, — отвечал ваш отец, — я буду действительно счастлив, если вам когда-либо понадобится моя помощь. Но услуга, о которой я прошу у вас, доказывает мое доверие к вам. Так мало надежды на нашего бедного Жака, и я не могу обратиться к нему”.

“Чем могу я оправдать ваше доверие и заменить моего брата?” — спросил я.

“Мне поручено, — ответил Сарранти, — одной особой, имя которой я не могу назвать, отдать нотариусу сумму в сто тысяч экю, которые я вожу с собой в чемодане. Эту сумму — слушайте внимательно — я хочу только положить, а не пустить в оборот; мне нет дела, что она не принесет ничего, только бы в тот день, когда эти деньги понадобились той особе, которая мне их доверила, я мог бы взять их по первому требованию”.

“Но это проще простого, и на этих условиях каждый день кладут к нотариусу более или менее крупные суммы”.

“Благодарю вас, сударь. Вы успокоили меня. Но эта сумма не может быть положена на мое имя, так как всему свету известно, что у меня ничего нет, она не может быть положена на имя вашего дорогого брата, потому что с минуты на минуту Бог может призвать его к себе. Я хотел бы, чтобы вы ее положили...”

“На свое имя?” — закончил я его просьбу.

“Да, это и есть услуга, о которой я вас прошу”.

“Я ожидал, что дело будет серьезнее, — возразил я, — потому что то, о чем вы у меня просите, собственно говоря, не услуга, а простое одолжение. Когда вы вздумаете положить эту сумму, вы мне скажете, я исполню ваше желание и лично передам вам расписку, чтобы вы могли в случае отъезда, внезапной смерти заменить меня, отправиться к нотариусу как действительный собственник денег”.

“Если бы деньги принадлежали мне, — сказал Сарранти, — я отказался бы от этой гарантии, которую считаю совершенно бесполезной, но, как я сказал, они не принадлежат мне и должны служить для высших целей. Я принимаю не только вашу услугу, но и любые гарантии, которые вы мне предложите, чтобы в нужную минуту легко получить наличные деньги”.

“Передайте мне эту сумму, и через час она будет положена у Анри”.

В чемодане у Сарранти действительно лежало триста тысяч франков золотом, мы пересчитали их, затем я их запер в шкатулку, дал расписку по условленной форме, велел запрячь лошадь и уехал в Корбей. Через полтора часа я вернулся. Сарранти был у изголовья

постели моего брата, которому становилось все хуже. Дважды или трижды Жак спрашивал обо мне. Положение его было отчаянное, и доктор не отвечал даже за ночь. Действительно, около двух часов утра он пожелал увидеть детей; Гертруда подняла их с постели и привела к нему.

Бедные малютки плакали, не понимая, что происходит. Они инстинктивно чувствовали, что что-то таинственное, мрачное и бесконечное вставало над ними. То была смерть.

Жак благословил детей, которые встали на колени около его постели; затем поцеловал их и сделал знак Гертруде, чтобы она их увела. Дети не хотели уходить, слезы их превратились в рыдания, а рыдания в крики, когда их уводили из комнаты. Это была разрывающая душу сцена...

Больной ослаб. Священник опасался давать ему еще эликсир и ограничился тем, что дал ему понюхать соли. Этого оказалось достаточно.

Жерар открыл глаза, вздохнул, отер пот со лба и продолжал:

— Через час после того, как увели детей, брат умер. Агония его была тихая, и, как он и хотел, он умер на моих руках... на руках двух честных людей, потому что до смерти брата я не мог упрекнуть себя не только ни в одном дурном деле, но даже в дурной мысли. Рано утром детей удалили. Гертруда и Жан отвезли их в Фонтенбло, где они должны были провести два дня и куда, отдав последний долг своему другу, Сарранти должен был отправиться за ними. Они спрашивали, почему им не позволяют поцеловать отца? Им ответили, что отец еще не проснулся, но тогда старший, который начинал немного понимать, что такое смерть, заметил:

“Нам уже раз говорили, что мама спит, нас уже уводили однажды утром, и мы с тех пор не видели маму. Папа отправился за ней, и мы не увидим его больше никогда!”

О! В самом деле, бедные дети! Зачем ваш отец оставил вас, а в особенности, зачем отдал в такие руки?..

И больной посмотрел на свои исхудалые руки, как леди Макбет, когда она говорила: “Эта маленькая ручка все еще пахнет кровью. Всем благоволиям Аравии не отбить этого запаха”¹.

— Мы занялись исполнением последнего долга перед моим бедным братом. Он не сделал никакого распоряжения относительно погребения, и мы похоронили его на кладбище в Вири. Погребение было таким, каким оно может быть только в деревне, и на еще открытой могиле я передал священнику, который молился за упокой его души, тысячу франков для бедных, которым он всегда помогал.

Сарранти, как и обещал, по выходе с кладбища отправился в Фонтенбло, на другой или на третий день ему предстояло вернуться с

¹ Перевод Ю. Корнеева.

детьми, но, прежде чем расстаться, при мысли о том, кого мы потеряли, мы крепко обнялись...

О! Простите мне, что я обвинил, оклеветал человека, которого прижимал к сердцу, — вскричал больной, обращаясь к брату Доминику, — но вы увидите, я был безумен, когда совершил это преступление, и, благодаря Богу, это преступление может быть заглажено!

Монах нетерпеливо ждал конца этой исповеди. Как признавал умирающий, она должна быть ужасной, настолько ужасной, что Жерар, как ни был слаб, отдалял ее насколько мог. Доминик попросил его продолжать.

— Да, да, — прошептал Жерар, — но это так трудно — продолжать! Путнику, проделавшему две трети пути по роскошным равнинам и плодородным долинам, позволительно остановиться в нерешительности на минуту, прежде чем ступить в смрадные болота и страшные пропасти!

Доминиканец, несмотря на все свое нетерпение, молчал и ждал.

Ожидание было недолгим, потому ли, что силы вернулись к больному, или потому, что он, напротив, боялся, что и оставшиеся силы покинут его, но он вновь заговорил:

— Я вернулся один в покинутый замок. Я был мрачен и печален; смертельный траур обозначался не только на одежде, но и в сердце: траур по умершему брату и по сорока четырем годам чести, которая умирала! Я забыл бы дорогу в замок, если бы меня не направлял туда печальный вой Брезилья. Говорят, что собаки видят невидимую богиню, называемую смертью, и что, когда вся природа молчит при ее приходе, они одни приветствуют ее своим заунывным, пророческим воем. Вой собаки мог заставить верить в справедливость этой мрачной легенды. Радуюсь найти отголоски моей печали хоть в животном, я стремился к собаке, как к человеческому существу, как к другу!

Но только что Брезилья увидал меня, как бросился ко мне, насколько позволяла его цепь, с пылающими глазами, кроваво-красным языком, оскаленными зубами. Я испугался этой ярости, не понимая ее; обыкновенно, я не ласкал собаку, но и не обращался с ней никогда дурно. Она обожала брата и детей. Отчего же эта ненависть ко мне? Инстинкт превосходит иногда разум!

Я продолжал приближаться к замку. Там другие звуки поразили мое ухо: в этом доме, откуда только что вынесли тело, где жалобно выла собака и где мужчина вытирал еще слезы, пел женский голос. Это был голос Орсолы.

Возмущенный и желая заставить ее замолчать, я подошел к столовой, откуда, казалось, доносилось пение. Через полуоткрытую дверь я увидел Орсолу, одну, накрывающую на стол и распеваящую на наречии басков циничную, безбожную, возмутительную в такую минуту песню: "Счастье принадлежит богам, которые оставляют людям удовольствия. Благословим же тех, кто уходит на небеса, и утешим сердца тех, кто остается с нами на земле!"

Не могу высказать вам, отец мой, всей глубины отвращения, которое возбудила во мне эта веселая песня, раздававшаяся в доме покойного. Желая, чтобы Орсола знала, что я ее слышал, я сказал ей: “Орсола, вы можете убрать стол, я не голоден”.

Я пошел в свою комнату и заперся. Орсола замолчала, но собака продолжала выть весь день и всю следующую ночь, она перестала выть только тогда, когда карета, привезшая детей, въехала во двор замка.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Орсола

После смерти моего брата, — продолжал Жерар, — я сделался главой семьи и распорядителем состояния моих племянников. Я чувствовал себя в большом затруднении: у меня никогда не было более тысячи двухсот или полутора тысяч франков дохода, получаемого с небольшого родительского имения. И внутренне я содрогался, когда пришлось иметь дело с громадными суммами в банковских билетах; когда я видел мешки золота, рассыпанного на моем столе, у меня кружилась голова. Но это чувство было совершенно естественное, нисколько не преступное. У меня не было других потребностей, кроме тех, к которым я привык в кругу, где я жил.

Сарранти начал заниматься воспитанием и дал мне несколько советов относительно оборота капиталов; первые дни прошли совершенно спокойно.

В замке жили только две женщины: Гертруда и Орсола. Гертруда, бывшая двадцать лет кормилицей моей невестки, умершей у нее на руках, в сорок пять лет стала нянькой ее детей; Орсола, как вы знаете, присвоила себе власть хозяйки дома и считалась доверенной женщиной. Я уже говорил, отец мой, о том чувстве отвращения, которое возбуждала во мне эта женщина... Отчего это происходило? Кроме песни, которую я слышал в день похорон моего брата, я не мог сказать против нее ничего: в ней не было ничего отталкивающего, напротив, она была красива... Но только это нужно было рассмотреть, но, раз рассмотрев ее, взгляд, прежде равнодушно скользивший мимо, не мог уже оторваться от нее. Кроме того, в первый раз, когда я ее увидал, она была в мрачном, будто вдовьем платье, которое вовсе не делало ее привлекательной. Я заметил у нее только прекрасные глаза, очень белые зубы и ярко-красные, почти кровавые губы. Но после смерти брата она постепенно, день ото дня, стала как бы выставлать напоказ свою красоту. Прежде всего, она сняла чепец и показала великолепные черные волосы, заплетенные в роскошные косы, затем золотистую, как колос в июне, шею, с которой сняла закрывавший ее ворот, стройную, гибкую талию в траурном платье из черной тафты, прекрасные ноги испанки, два ряда белых зубов, которые она показывала, даже не улыбаясь, будто ее губы были слишком коротки, чтобы закрыться.

Все эти перемены свершились за три месяца, к величайшему удивлению всех обитателей замка, не подозревавших в грубой шерстяной куколке блестящей ночной бабочки. Да и для кого Орсола заботилась так о своем наряде? Этого никто не мог сказать. Она говорила с кем-нибудь только тогда, когда этого требовали ее обязанности по дому, и сидела в своей комнате все время, когда ей нечего было делать. Вероятно, для себя самой! Наверно, это невинное кокетство не нравилось ее прежнему господину, и она хотела убедиться, будет ли так же строг ее новый господин. Ее новым господином был я!..

Позвольте мне рассказать о всех соблазнах этой женщины, которой я дал сорок лет, когда увидел ее в первый раз, и которая, сбрасывая мало-помалу свой наряд, казалось, сбрасывала вместе с ним и свои годы, так что по прошествии трех месяцев я дал бы ей не более тридцати лет. Это было моим единственным извинением в той позорной власти, которую это гнусное создание взяло, наконец, надо мной.

Я, как уже сказал, очень рано потерял жену, и после грустных лет брачной жизни. При моем крепком телосложении, южном темпераменте, мои умолкшие было страсти должны были рано или поздно проснуться неизбежно. Много раз я ловил себя, засматриваясь на эту женщину, много раз в ее отсутствие я бывал удивлен, что мысль о ней приходит мне в голову... Что же касается Орсола то она, казалось, не выказывала мне другого внимания, кроме почтительности служанки к своему господину. Она приняла на себя уборку моей комнаты и комнаты Сарранти, стараясь входить туда преимущественно во время завтраков и обедов и выдавая свое присутствие только особенной аккуратностью, которая доказывала, что она сама привыкла к чрезвычайной чистоте. Мы обыкновенно расходились по своим комнатам в девять часов вечера и в десять в большинстве случаев уже спали.

Однажды вечером, когда мне нужно было просмотреть банковские счета и доклады управляющих, — это было ночью, в декабре 1818 года, — я предупредил Орсола о моем намерении работать всю ночь и попросил ее, чтобы она велела принести дров в комнату. Она принесла дрова сама, положила их на пол, поправила постель и, уходя, спросила меня: “Вам больше ничего не нужно?”

“Нет”, — отвечал я, отворачиваясь от нее, потому что боялся, что мои глаза откроют желания, которые она во мне возбуждала.

Она ушла, тихонько заперла за собой дверь, и я слышал, как она поднялась по лестнице и вошла в свою комнату, находившуюся над моей. Я сидел, задумавшись, не обращая внимания на то, что огонь угасал, и заметил это только тогда, когда холод начал пробирать меня.

Было бесполезно думать в эту ночь о работе: мысли мои были в другом месте. Я хотел сном прогнать желания, овладевшие мной, бросил вязанку дров в камин, лег, загасил лампу и старался заснуть. И действительно заснул.

Прошло, наверно, около часа после того, как я закрыл глаза, как вдруг я проснулся, задыхаясь от дыма. Я вскочил с постели и закричал: “Помогите! Пожар!”

Но никто не приходил. Я хотел идти на черную лестницу, как вдруг в конце коридора увидел Орсолу с распущенными волосами, в чем-то вроде пеньюара, который был просто длинной ночной рубашкой, босиком, со свечкой в руках. Она казалась привидением, которые существуют в древних замках или в развалинах монастырей. И в самом деле, в этой женщине было что-то похожее на владелицу замка, на аббатису, но более всего на демона!.. Она подошла ко мне.

“Вы звали на помощь? — спросила она. — Что случилось?”

Я смотрел на нее, пораженный.

“Пожар! — пробормотал я. — Пожар!”

“Где же?”

“В моей комнате!”

Она бросилась туда, не обращая внимания на дым.

“Э! — сказала она, — это пустяки. Это огонь в трубе. Помогите мне, сударь. Мы загасим его”.

“Позовем людей!”

“Зачем их будить? Загасим сами. Я даже загашу одна, если вы не хотите помочь мне”.

Я не позвал никого. В том состоянии духа, в котором я лег, видение, явившееся ко мне, было именно то, которого я жаждал. Кроме того, она смело вошла в мою комнату, отворила окно, чтобы выпустить дым, сорвала простыни с моей постели, намочила их в лоханке и приложила к отверстию очага, чем совершенно остановила движение воздуха.

Полчаса было достаточно для всей этой операции, в которой я помогал ей, но, правду сказать, более был занят черными волосами, белыми ногами, круглыми плечами, просвечивавшими сквозь пеньюар, чем пожаром, который к тому же был совершенно прекращен. Не прошло получаса, как пол был вытерт, комната чиста, постель поправлена, и это фантастическое существо, которое казалось демоном, повелевающим стихиями, пропало.

Ночь, последовавшая за этим событием, была самая тяжелая в моей жизни!..

Я решил вознаградить это хладнокровие и преданность. На другой день после завтрака, в то время, когда она должна была убирать мою комнату, я вошел туда и подошел к ней. Я поблагодарил ее и подал ей кошелек с двадцатью луидорами. Но она гордо отказалась. Я стал настаивать, она отвечала мне просто и непринужденно:

“Я только исполнила мой долг, сударь”.

Я подумал, что, может быть, сумма была недостаточно велика, и, желая быть великодушным, взял все золото, которое было у меня в кармане, и подал ей вместе с кошельком, но также безуспешно. Я спросил у нее причину отказа.

“Первую причину, и самую главную, я вам уже сказала, — отве-

чала она, — я исполнила только мой долг, но, кроме того, у меня есть и другая...”

“Какая?” — спросил я.

“Я так же богата, как и вы, сударь”.

“Вот как?”

“Мой прежний господин оставил мне тридцать тысяч франков, следовательно, полторы тысячи ливров дохода, а с этими деньгами на родине я могу жить как королева”.

“Но, в таком случае, — спросил я, — отчего вы запросили такое небольшое жалованье, когда я предложил вам назначить его?”

“Также по двум причинам, — отвечала она, — потому что я уже десять лет в доме, и мое величайшее желание было не оставлять его...”

“Это первая, а вторая?”

“Вторая? — сказала она, слегка покраснев. — Вторая... Потому что с первого взгляда я почувствовала, что что-то влечет меня к вам и что мне нравилось поступить к вам на службу”.

Я положил кошелек в карман, пристыженный, видя такие возвышенные чувства у женщины, на которую до тех пор я смотрел как на служанку.

“Орсола, — сказал я, — до завтрашнего дня вы наймете женщину, которая будет делать здесь то, что делали обыкновенно вы, вы же будете только смотреть за прислугой”.

“Зачем отказываете вы мне в удовольствии служить вам, сударь? Так-то вы меня благодарите?”

Она сказала эти несколько слов самым естественным тоном.

“Хорошо, — сказал я, — вы будете продолжать служить мне, милая Орсола, потому что вы предполагаете, что эти услуги делают вам удовольствие. Но вы будете служить только мне одному. Жан будет служить мсье Сарранти”.

“Слава Богу! — ответила она. — Я согласна: у меня будет больше времени заботиться о вас”.

Комната моя была убрана, и Орсола просто и с достоинством вышла, не подозревая или, по крайней мере, не показывая виду, что подозревает, что оставляет меня, удивленного ее деликатностью так же, как раньше оставляла меня, пораженного ее красотой.

С этого дня моя участь была решена! Я принадлежал этой женщине. Но и она, видя, что, вместо того, чтобы приказывать ей как служанке, я окружаю ее вниманием, как женщину, она делалась строже по мере того, как я становился почтительнее. До сих пор она говорила открыто, прямо и смело, обращаясь ко мне на нашем местном наречии всегда, когда представлялся случай; теперь она едва говорила со мной, сделалась робкой, дрожала при первом же слове, краснела при первом же жесте. Подозревала ли она желания, которые внушала мне, и притворялась ли, что их не знает? В то время я не мог еще этого сказать и только позже узнал, какой великолепной актрисой была эта женщина и с каким искусством шла она к своей цели.

Борьба продолжалась около трех месяцев. В это время случился день моих именин, и Гертруде пришла мысль устроить празднество. Вечером дети пришли к десерту с великолепными букетами; сзади детей шел Сарранти, затем пришли меня поздравить Жан и садовник. Я поцеловал всех детей, наставника и слуг, и именно потому, что думал, что Орсола также придет и что я поцелую ее, как других. Она пришла последней, и я невольно вскрикнул, увидав ее.

На ней был наряд горных басков: красный платок на голове и черный бархатный с золотом корсаж. Она сказала мне несколько слов на нашем наречии, пожелала мне долгой жизни и исполнения всех моих желаний. Я молчал, не находя слов, чтобы ответить ей, и только протянул руки обнять ее, но она, вместо того, чтобы подставить мне свои щеки, наклонила голову и подставила мне лоб, покраснев, как молоденькая девушка, рука ее дрожала в моей руке.

Никто в доме не любил Орсолу, кроме меня, который, наверно, желал скорее обладать ею, чем любил; однако несмотря на это нерасположение, никто не мог удержаться от похвал этой красоте, которой национальный костюм придавал своеобразную прелесть. Я чувствовал себя настолько взволнованным, что ушел в свою комнату, чтобы мое волнение не было замечено. Я сидел там несколько минут впотьмах при слабом отблеске камина, как вдруг услышал шаги Орсолы, приближающейся к моей комнате, и, когда дверь комнаты открылась, я увидел ее в том же восхитительном наряде, освещаемую пламенем свечи, которую она держала в руке.

Она увидела меня и сделала движение, будто не ожидала застать меня тут, но после минуты удивления она подошла к моей постели и, как делала обыкновенно, стала снимать одеяло, чтобы оправить постель...

О, отец мой! Отец мой! — шептал больной. — С этой минуты началась моя преступная жизнь! С этой минуты Бог отвернулся от меня, и я принадлежу демону!..

Жерар опять упал на подушки, а доминиканец из опасения, что эта исповедь прервется вместе с жизнью больного, не колебался уже дать умирающему вторую ложку эликсира, который однажды уже укрепил его силы.

A highly decorative, symmetrical border in a black and white woodcut style. It features intricate scrollwork, floral motifs, and a central oval frame that encloses the title text.

МОГИКАНЕ ПАРИЖА

Часть
четвертая



ГЛАВА ПЕРВАЯ

Власть

На этот раз лекарство действовало медленнее. После минутного забытья больной пришел в себя, сделал над собой заметное усилие и продолжал:

— С этого дня Орсола приобрела надо мной такую власть, что я совершенно лишился всякой самостоятельности и через несколько дней принадлежал ей и душой и телом. Я не имел более ни власти, ни охоты приказывать, а только слепо повиновался ей. И хоть бы раз сознал я всю унижительность этого положения! Хоть бы раз пришло мне в голову перегрызть опутавшую меня сеть! Но сеть эта казалась мне золотой, а уверенность, что я могу свободно жить в ней, не допускала во мне даже желания освободиться от нее!

Так прожил я два года в тюрьме, казавшейся мне замком, в этом аду, который был для меня раем. В опьянении от любви этой женщины я постепенно утрачивал все честные мысли и добродетельные наклонности. Если бы я знал, к чему все это приведет, то, может быть, постарался воспротивиться, но я шел вперед с закрытыми глазами, не имея понятия ни о дороге, по которой шел, ни о цели, к которой меня влекли.

Изредка мучили меня угрызения совести, но Орсола обладала способностью усыплять эти мимолетные пробуждения. Я жил как бы под влиянием могучих, неотразимых тайных чар, под обаяние которых попадали в древности все несчастные, оказывавшиеся во власти волшебницы Цирцеи.

Действительно, в искусстве любить эта женщина была истинной чародейкой. Ее ласки действовали как опьяняющий напиток, который постоянно восстанавливает и силы и жажду. Из каких трав готовила она свое питье? Какие слова шептала над ним? В какой день месяца, в который час ночи варила она его и какого Бога заклинала? Этого я не знаю, но я упивался им с восторгом. Опаснее всего было то, что она

придавала моему рабству вид могущества, а моей слабости вид силы. Она всецело забрала меня в руки распоряжалась мной, как рабом, но мне все-таки казалось, что я владею всей своей силой воли, а она повинуется мне.

Когда Орсола поняла, что окончательно овладела мной, то дала мне это почувствовать не сразу. Она заставляла меня исполнять свои малейшие капризы, а сама как бы удивлялась, что я мог соглашаться на все ее требования, не имевшие, по-видимому, никакого основания.

Так прошло два года, после которых она почувствовала себя полной властительницей моей воли.

Впрочем, иногда, сознавая ее власть над собой, я спрашивал себя, какая могла быть цель у этой женщины? Мне становилось ясно, что она хотела сделаться моей женой. Но эта мысль не пугала меня. Наоборот, я считал ее лучше и выше себя. Она была такая же крестьянка, как и я. Правда, я был богаче ее, но я был обязан этим только случаю. Зато она была хороша и обязана этим только Богу. Я приносил в приданое деньги, а она... она сулила радость, счастье, главное — сладострастие, которое я с некоторых пор считал единственной целью жизни.

Как только мне стала ясна ее цель, я стал принадлежать ей не только телом, но и мыслями. Между прочим, я посвятил ее и в горе моего первого брака. Она слушала меня, видимо, с большим интересом, хотя и не воспользовалась этим случаем, чтобы намекнуть мне на возможность второго, более счастливого супружества. Эта скромность придала мне смелости и решимости: значит, она любила меня, одного меня, а не мое богатство, не положение, которое я мог ей дать, женившись на ней. Тогда я сообщил ей мои самые сокровенные надежды, мои лучшие мысли и, наконец, дал ей понять, что она может требовать от меня всего, чего захочет. Но она и тогда, казалось, не желала и не понимала именно того, что я считал ее целью.

Между тем должен же был настать день, когда она испробует свою власть, когда она энергично выразит свои требования! И этот день настал!

Наш садовник был старик, смотревший за садом замка лет тридцать или даже сорок. У него было человек двенадцать внучат и детей. Орсола начала каждый день мне на него жаловаться. По ее словам, не проходило дня, чтобы он не сделал ей какого-нибудь неприятного замечания или не ответил даже дерзостью. Наконец, после недели жалоб, она попросила меня отказать ему от места. Это показалось мне до того несправедливым, что я даже попытался возразить ей и сказал, что никто, кроме нее, на старика не жалуется, и было бы безжалостно прогнать человека, который служил в доме целых сорок лет. Она настойчиво повторяла свою просьбу, но после вторичного моего отказа два дня запиралась в своей комнате. Меня она к себе не пускала, несмотря на все мои мольбы и просьбы. Я был не в состоянии долго переносить разлуку с ней, ночью подошел к ее двери и сказал ей, что сделаю все, чего она хочет.

“А, слава Богу!” — сказала она, даже не поблагодарив меня за жертву, которую я ей приносил и как бы не сознавая своей победы.

На другой день я сказал садовнику, что он может получить расчет и ехать. Несчастный старик, не приготовленный к такому удару, упал на скамейку и прошептал:

“Господи! А я надеялся умереть здесь!”

Он заплакал.

Виктор и Леони, бегавшие за бабочками, увидели плачущего старика и принялись его расспрашивать. Дети очень любили его, он постоянно приносил им шелковичных червей, а Сарранти объяснял им их превращения. Старик готовил детям удочки для ловли рыбы, приносил первые спелые ягоды земляники с грядок и первые поспевшие фрукты из оранжерей. Дети рассказали Сарранти, что я прогоняю их старого друга, Сарранти пошел тоже расспросить старика и застал его в полном отчаянии.

“Только воров и убийц выгоняют так, — говорил бедняга, — а я ведь ничего не украл и никогда никому не делал никакого зла, — прибавлял он шепотом. — О, я умру от стыда!”

Сарранти, никогда не вмешивавшийся в домашние дела, пришел ко мне узнать причину моего поступка. К его великому удивлению, я считал это дело гораздо серьезнее, чем оно было в действительности.

“Да, — сказал он, — раз у вас есть уважительные причины поступать именно так, значит, вы делаете хорошо. Но следует откровенно объяснить это. Вы человек честный и рассудительный, вы никогда не поддадитесь минутному чувству и не поступите несправедливо”.

После этих слов он вышел. Меня мучила совесть, и я отправился к Орсоле с тем, чтобы передать ей слова Сарранти.

“Хорошо, — сказала она, — я думала, что вы твердо держитесь данного слова, теперь вижу, что ошиблась, не будем более говорить об этом!”

“Но, дитя мое, — ответил я, — все будут осуждать меня за такую беспощадность”.

“Кто это станет осуждать вас? Сарранти? Не все ли вам равно, что подумает о вас этот человек? Неизвестно даже откуда он пришел и что замышляет. Я уже не раз повторяла вам: вы обнаруживаете свою волю только по отношению ко мне!”

Через четверть часа, вполне уверенный, что поступаю, как нельзя более справедливо, я отправился к садовнику, отнес ему следуемое жалованье, прибавил еще жалованье за целый месяц вперед и посоветовал немедленно оставить замок. Старик встал, пристально посмотрел на меня, точно хотел удостовериться, яли отдаю ему подобное приказание.

“Господин, — сказал он на этот раз уже без слез, беря следуемое ему жалованье и отодвигая от себя мою прибавку, — я или виноват или нет. Середины тут быть не может. Если я виновен, вы имеете полное право прогнать меня, а я не могу взять прибавки, если же я не виноват, тогда вы не правы, что выгоняете меня, и никакая прибавка не вознаграждает меня за горе, которое вы мне причиняете”.

Он повернулся ко мне спиной и прибавил:

“Прощайте, господин. Вы скоро раскаетесь в вашем дурном поступке!”

Я возвратился в замок, однако, уходя, слышал, как старик шептал:

“О, мои бедные, несчастные дети!”

“Ну, — сказал я Орсоле, — ваше приказание исполнено”.

“Мое приказание? Какое же это приказание я дала?”

“Вы хотели, чтобы я выгнал садовника”.

“Это правда, — сказала она, смеясь. — Но разве я даю здесь какие-нибудь приказания?”

Я пожал плечами, так как не понимал ее каприза.

“А что он сказал?” — спросила она.

“Он сказал”, — ответил я, задыхаясь, — он сказал: “О, мои бедные дети!”

“Так что?..”

“Так что теперь, в первый раз в жизни, я чувствую угрызения совести”.

“Раз вы их чувствуете, вы, такой справедливый, такой добрый, то это значит, вы, по моему настоянию, совершили дурной поступок”.

Я сидел в кресле, опустив голову, при последних словах я ее поднял. Орсола подошла ко мне, стала на колени и заговорила самым ласковым голосом:

“Друг мой, — сказала она, — прошу у тебя прощения за мою злость. Я хотела вернуть тебя, да ты уже ушел слишком далеко”.

Я торжествовал.

“Нет, Орсола, вы не злая!” — сказал я.

Но она упорно продолжала:

“Если бы я знала, что отъезд садовника будет вам так тяжел, я бы никогда не попросила вас об этом”.

“Так вы согласны вернуть его?” — спросил я живо.

“Конечно! Говорю вам, что мне жаль его так же, как и вам!”

“Какая ты добрая, Орсола!” — воскликнул я и бросился было бежать за стариком.

“Нет, я была причиной горя старика, значит, мне и следует исправить сделанное зло!”

Заставив меня силой остаться в комнате, она побежала объявить садовнику новую милость. Это было все, чего она желала: старик, наверно, подумал, что я хотел прогнать его, а Орсола выпросила ему прощение.

Далее три или четыре года жизнь текла по-прежнему тихо и мирно.

По природе я был человек воздержанный, я ел и пил только потому, что это было необходимо, а не потому, что это доставляло мне удовольствие. Утомленный сластолюбивой жизнью, я легко уступил желанию Орсолы и стал искать отдохновения и возбуждения сил в вине, в пьянстве. Водка и кирш¹ сделались моими любимыми напитками. Утром можно было заметить по моим блуждающим глазам, в какой ужасной оргии я провел ночь, о которой у меня оставалось смутное воспоминание. Я помнил только, что Орсола постоянно жаловалась мне на гувернантку, как жаловалась перед тем на садовника. В опьянении я неоднократно обещал ей прогнать несчастную женщину, но, придя в

¹ Вишневая наливка, Kirsch (нем.).

себя, я с ужасом вспоминал обещанное. Однажды утром Орсола завела об этом разговор.

“Вы уже давно мне обещали прогнать Гертруду и до сих пор не исполнили своего обещания. Что привязывает вас так к этой женщине?”

Я был поражен. У меня не было никакого предложения прогнать Гертруду, кормилицу жены моего брата, так ласково заботившуюся о детях, которые очень любили ее. Потому я решительно отказался делать это.

Тогда повторились прежние преследования, жалобы. Каждую ночь под влиянием опьянения я обещал прогнать Гертруду на следующее же утро, но, отрезвившись, отказывался.

Орсола снова заперлась в своей комнате. Но на этот раз я уже не сдался. Она сама пришла просить у меня прощения. Можете себе представить, с какой радостью я ее простил.

Эта выходка Орсолы совпала с двумя событиями, на которые я тогда не обратил внимания, но которые имели ужасные последствия. Накануне Жан попросил, чтобы я отпустил его на двое суток в Жуаньи устроить свои дела по наследству, а утром Сарранти объявил нам, что ему необходимо пробыть в Париже два или три дня. Когда Жан и Сарранти ушли, в замке оставались только дети, Гертруда, Орсола и я. Я сообщил об этом Орсоле.

“Разве я не ваша прислуга?” — ответила она, улыбаясь.

Ночью ужин был накрыт, по обыкновению, в комнате Орсолы. Мы заперлись в десять часов. Никогда вакханка не увлекала так своего любовника, не опаивала его; мне казалось, что я пью пламя, зажженное молнией ее глаз. Вдруг послышались какие-то стоны.

“Что это такое?” — спросил я Орсолу.

“Не знаю... Пойдите, посмотрите”.

Я попробовал было встать, но мне едва удалось сделать три шага, как я снова упал в кресло.

“Выпейте этот последний стакан, пока я пойду узнаю, в чем дело”.

Наступал момент, когда я мог делать только то, что мне приказывала Орсола. Когда я выпил стакан до последней капли, она встала и вышла.

Не знаю, сколько времени прошло с ее ухода. Я впал в сонливость и очнулся только тогда, когда почувствовал, что к моим губам опять подносили стакан. Я узнал Орсолу.

“Ну что?” — спросил я, смутно припоминая слышанные стоны.

“Гертруда очень больна”, — сказала она.

“Гертруда... больна?” — пробормотал я.

“Да, — сказала Орсола, — она жалуется на спазмы в желудке и не хочет взять ничего из моих рук. Вы должны спуститься и сами заставить ее выпить хоть стакан сахарной воды”.

“Отведи меня”, — сказал я Орсоле.

Помню, я сошел с лестницы. Орсола провела меня в буфетную, заставила насыпать в стакан воды мелкого сахара и, толкнув меня в комнату больной, сказала:

“Снесите ей это и постарайтесь скрыть, что вы пьяны”.

Действительно, я был в ужасном виде! Собравшись с силами, я твердо подошел к кровати Гертруды:

“Милая Гертруда, — сказал я, — выпейте этот стакан сахарной воды, он облегчит вас”.

Гертруда сделала усилие, протянула руку и выпила воду залпом.

“Тот же противный вкус! Доктора! Ради Бога пошлите за доктором! Я уверена, что меня отравили!”

“Отравлена?” — повторил я, с ужасом оглядываясь.

“О! Во имя неба! Во имя вашего бедного брата, доктора! Доктора!”

Я вышел испуганный.

“Слышите? — сказал я. — Она думает, что отравлена, и просит доктора”.

“Так что ж, — сказала Орсола, — бегите в Морсан за доктором Ронсеном”.

Это был старый доктор, изредка обедавший тут в пору, когда у него была практика неподалеку от замка.

Я взял шляпу и палку.

“Выпейте последний стакан вина, — сказала Орсола. — На дворе холодно, а вам нужно пройти с пол-лье”.

Я выпил стакан, мне обожгло желудок, точно я пил чистый спирт, и вышел из дома, прошел сад и очутился на дороге в Морсан. Едва отошел я на несколько шагов от калитки, как у меня страшно закружилась голова, я потерял сознание и упал. Очнулся я уже на другой день утром в постели.

На мой звонок прибежала Орсола.

“Правда ли, что Гертруда умерла или это мне только приснилось?”

“Правда”, — сказала она.

“Но, — прибавил я, — умерла от... отравления?”

“Очень может быть”.

“Как, это верно?” — воскликнул я.

“Да, — сказала Орсола, — только не говорите об этом: только я и вы давали ей есть и пить, так что подозрение может пасть на нас”.

“Почему?”

“Потому что люди очень злы”.

“Наконец, нужно же найти предлог к подобному преступлению!” — испуганно сказал я.

“Найдут”.

“Какой же?”

“Скажут, что вы избавились от гувернантки, чтобы вам было легче покончить с детьми, после которых наследство переходит к вам”.

Я вскрикнул и спрятал голову под простыню...

— О! Несчастная! — прошептал монах.

— Пойдите! Пойдите! — сказал умирающий. — Мы еще не дошли до конца... только не перебивайте меня: я так слаб!..

Доминик продолжал слушать молча, но он был взволнован, сердце его болезненно ныло.

Жерар передохнул и заговорил снова.
— Смерть Гертруды не возбудила никаких подозрений, но всех сильно огорчила. Особенно неутешны были дети. Орсола старалась заменить Гертуду, но дети боялись ее, а Леони просто не могла ее видеть.

Сам я тосковал нестерпимо и пять или шесть дней сидел запершись у себя в комнате. Сарранти вернулся и старался утешить меня. Он вполне понимал, как тяжела мне потеря такой доброй и верной служанки, но не мог понять, отчего меня мучила совесть. Между прочим, он посоветовал взять к детям другую женщину, но они не хотели, а я, боясь сопротивления со стороны Орсолы, ссылаясь на детей и не приискивал никого, чтобы заменить Гертуду.

Орсола продолжала по-прежнему вести дом, как будто ничего не случилось. Однажды я встретил ее в коридоре.

“Что бы вы сделали, — спросила она, — если бы вместо Гертруды умерла я?”

“Если бы ты умерла, Орсола, — сказал я, чувствуя, как ее взгляд снова начинает жечь меня, — я бы не перенес твоей смерти!”

“Ну, так как умерла не я, — сказала она, — то будем пользоваться жизнью!”

Она с дьявольской улыбкой нагнулась ко мне и прибавила:

“Я буду ждать тебя сегодня ночью!”

“Нет, ни за что, — говорил я самому себе. — Нет, я не пойду!” — Отец мой, — продолжал умирающий, — естествоиспытатели рассказывают о подавляющей силе некоторых животных, особенно змей, которые заставляют птиц спускаться с ветки на ветку прямо в пасть к врагу. Точно такое же влияние имела на меня эта женщина. Долго сопротивлялся я этому влечению, наконец, в одиннадцать часов понял, что мне с собой не совладать, и как бы в чаду, против собственной воли, прошел коридор и поднялся по лестнице. Навверху ожидала меня Орсола. Я уже говорил, что на следующий день после ночи, проведенной в оргии, я смутно помнил, что делал, что говорил, что происходило передо мной и что мне говорили. На другой день после этой ночи я помнил только слова Орсолы о том, как хорошо и весело можно было бы жить на два или три миллиона. Сделаться обладателем такого большого состояния я мог, но только после смерти детей моего брата. Неужели Бог взял бы к себе этих двух чудных детей, цветущих и свежих, как цветы и фрукты, между которыми они играли?.. Правда, скоропостижная смерть Гертруды пугала меня. Когда подобные мысли завладевали мной, я отправлялся к Сарранти, разговаривал с ним о посторонних вещах и постепенно переходил на детей, умоляя его хорошенько присматривать за ними. А он и без того всей душой любил детей и всегда отвечал мне:

“Будьте покойны, я никогда не оставлю их, если только высшая власть...”

И он задумывался. Тогда мне казалось, что он догадывается, какое ужасное подозрение заставляет меня упрашивать его получше наблюдать за детьми.

Теперь, отец мой, нужно ли говорить вам о всей хитрости и низости Орсола, исподволь готовившей меня к мысли, что может произойти случай, который сделает меня обладателем всего богатства сирот. Странно! Между мной и Орсолой никогда не было речи о свадьбе, а прислуга знала, как идут наши дела, и из угождения Орсоле называла ее госпожою Жерар. Даже дети взяли эту привычку. Они повторяли то, что слышали от взрослых. Действительно, ей очень хотелось сделаться моей женой, но она, видимо, ждала, чтобы жизнь моя стала связана с ее цепями страшного злодейства!

Иногда мною овладевал такой ужас, что я выскакивал из своей комнаты и бежал без оглядки. Если я встречал детей, то бросался от них в сторону; если же мне попадался на пути Сарранти, я снова умолял его хорошенько присматривать за детьми и прибавлял:

“Я ведь так люблю бедных детей моего Жака!”

После этого я успокаивался, чувствовал себя сильнее, бодрее. Но наступали ночи, и бесчеловечная Пенелопа своими жгучими поцелуями, желаниями и поразительным сладострастием вновь разрушала все мои святые чувства. К стыду своему, я должен сознаться, что ей становилось с каждым днем все легче разрушать мои планы. Наконец, я дошел до того, что смотрел на имения моих племянников как на мои собственные, считал их деньги своими и даже раз сказал Орсоле:

“Когда я разбогатею, то куплю соседнее имение”.

Кто же мог сделать меня богатым? “Случай”, как говорила Орсола. “Случай” должен был сделать меня наследником миллионов моих племянников...

При этих словах лицо умирающего до того исказилось, что монах, несмотря на желание поскорее узнать, чем окончится эта ужасная исповедь, счел нужным прервать его.

Рассказчик на минуту остановился, чтобы опять собраться с силами. Он, видимо, хотел поскорее завершить разговор. Волнение его возрастало, а голос ослаб до того, что Доминик, чтобы расслышать его, должен был почти касаться ухом его губ.

— Тут произошло одно обстоятельство, — опять заговорил Жерар, — которого я не желал бы. Девочка, Леони, была ребенком очень добрым, мягким, но страшно гордым. В Бразилии, откуда она вернулась, когда ей было четыре года, она привыкла, чтобы все ее приказания исполнялись покорными слугами немедленно и беспрекословно. Со смерти Гертруды Орсола, ходившая за девочкой и не скрывавшая от нее своей ненависти, если и исполняла приказания девочки, то небрежно и вообще обходилась с ней грубо. Леони не раз жаловалась мне на это, но, заметив, что жалобы эти ни к чему не приводят, обратилась к Сарранти. Тот со свойственной ему осторожностью дал мне понять, что, несмотря на мою слабость к Орсоле, я должен внушить ей, что единственные и полные хозяева в доме — дети моего брата.

Однажды утром они играли у бассейна, бросая туда камни и заставляли собаку доставать их. Орсола жаловалась на головную боль и

повторяла, что ее раздражает лай собаки. Наконец, она крикнула детям, чтобы они перестали так играть и придумали бы другую игру, которая не заставляла бы собаку лаять. Дети не обратили на ее приказание внимания и спокойно продолжали забавляться.

“Берегись, Леони!” — сказала Орсола девочке, которую особенно ненавидела.

“Чего?” — спросила девочка.

“Не заставляй меня спуститься! Если ты не перестанешь, я тебя высеку!”

“Посмотрим!” — ответила девочка.

“Ты сомневаешься? Ты мне не веришь? — сказала Орсола. — Подожди. Я сейчас доберусь до тебя!”

Спустившись в сад, она побежала к бассейну и уже протянула руку, чтобы схватить девочку, которая ожидала ее, не отступая ни на шаг. Но, когда Орсола хотела схватить ее, собака вцепилась ей зубами в руку. Орсола ужасно вскрикнула не столько от боли, сколько от ярости. На ее крик прибежал Сарранти и увел детей, а садовник заставил собаку выпустить свою жертву.

Орсола пришла ко мне и показала окровавленную руку.

“Надеюсь, вы накажете вашу племянницу и убьете собаку?”

Может быть, я и исполнил бы ее просьбу, но Сарранти вмешался и удержал меня. Он сам видел все, что было у бассейна, по его мнению, Леони была не виновата, а верная собака заступилась за свою хозяйку, так что и ее убивать не следовало. Я удовольствовался тем, что запретил детям играть у бассейна, а собаку посадил в конуру. Орсола так легко отказалась от намерения отомстить, что это и удивило, и испугало меня. Тогда я уже наконец понял, что она не прощает нанесенных ей оскорблений.

Примерно тогда же в нашем доме случилось происшествие, которое дало Орсоле возможность привести задуманный ею ужасный план в исполнение.

Дело было около середины августа 1820 года. Сарранти, который, обыкновенно, вел строгий и правильный образ жизни, стал вдруг вести себя до того необычно, что привлек к себе внимание всех окружающих, — как соседей, так и прислуги замка.

Иногда за ним приходили ночью, и он уходил со своими посетителями и пропадал по несколько дней, уведомляя меня о своем отъезде только коротенькой запиской, которую, обыкновенно, оставлял у лакея Жана, сделавшегося его тайным поверенным. Причин своего внезапного исчезновения он мне никогда не сообщал, не говорил и сколько времени продлится его отлучка.

Иногда он запирался у себя в комнате или в беседке сада со своими друзьями с раннего утра, отказываясь от завтрака, а иногда даже и от обеда.

Его стали часто встречать с людьми, одетыми в длинные синие дорожные сюртуки, увешанными орденами и по манерам похожими на переодетых военных.

Орсола часто подслушивала у дверей его спальни, кабинета или беседки. Ей хотелось узнать, о чем они совещаются. Отдельные слова,

которые ей удалось подслушать, могли натолкнуть ее на след, но так как между ними не было связи, то и воспоминание о них у нее скоро изглаживалось. Чаще всего повторялись между ними имена Людовика XVIII и Наполеона, так что Орсола поняла, что речь шла о заговоре между военными, которые имели целью уничтожить существующее правление и восстановить монархию. Помню, с какой дьявольской радостью сообщила мне Орсола сделанное ею открытие. Она ненавидела вашего отца за то, что он всегда принимал сторону детей, и я уверен, что она не задумалась бы выдать его полиции, если бы ее не занимал другой план, и она со своей прозорливостью не нашла в его замыслах чего-нибудь, что могло принести ей пользу, послужить ее целям. Она ожидала дня, часа, момента для возможности начать свои действия, как ягуар ждет, прижавшись к ветви, удобного момента, чтобы броситься на жертву. В этом терпеливом и вместе неукротимом созидании было что-то, напоминающее змею и тигра.

Восемнадцатого августа Сарранти ночью ушел из замка и в записке, которую, по обыкновению, мне оставил, просил меня, чтобы я сам отправился к нотариусу в Корбей за лежащими у него на хранении ста тысячами экю, большую часть которых я должен был постараться получить банковскими билетами. Утром я велел запрячь лошадь и поехал в Корбей. У нотариуса не было банковских билетов, и мне пришлось взять деньги так, как я их положил, то есть золотом.

Днем Сарранти вернулся и попросил у меня позволения переговорить со мной наедине.

Я был у Орсола.

“Сейчас сойду”, — сказал я Жану.

“Почему вы не попросите Сарранти прийти наверх? — спросила она. — Вам было бы здесь гораздо удобнее”.

“Попросите господина Сарранти наверх”, — сказал я Жану.

“Удались, пожалуйста”, — предложил я Орсоле, когда он ушел.

“У вас есть от меня тайны?” — спросила она.

“Нет, но тайны Сарранти касаются только его, а не меня”.

“С вашего позволения, господин Жерар, тайны господина Сарранти будут “нашими” тайнами или он оставит их при себе”.

С этими словами она не вышла, а заперлась в соседней уборной, откуда могла слышать весь разговор. Едва закрылась за ней дверь, как вошел ваш отец. Мне следовало бы увести его в другую комнату или в уединенную аллею парка, но я боялся последствий такого своеволия перед ее всемогущим авторитетом. Сарранти вошел и спросил:

“Мы одни? Могу я говорить с вами вполне откровенно?”

“Совершенно одни, друг мой, — ответил я поспешно. — Вы можете говорить совершенно свободно”.

Жерар замолчал и, прежде чем продолжать, обратился к монаху.

— Знаете ли вы, что ваш отец хотел сказать мне, брат мой? — спросил он. — И должен ли я повторить вам это?

— Я не знаю решительно ничего, — ответил Доминик. — Когда отец покинул Францию, я был в семинарии. Он не успел даже проститься со мной. С тех пор я получил от него одно письмо, помечен-

ное “Лагор”. В нем он только успокаивал меня относительно своего здоровья и посылал деньги, в которых я мог нуждаться.

— В таком случае я должен рассказать вам, каковы были намерения вашего отца и членом какого заговора он сделался, — сказал умиравший.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Тайна Сарранти

“Прежде всего, дорогой мсье Жерар, — заговорил ваш отец, — прошу вас верить, что все, что я скажу вам теперь, было известно брату вашему, Жаку, с первого же дня нашей встречи. Значит, поручая мне воспитание своих детей, он уже знал, что имеет дело с заговорщиком.

Вы сами знаете, и как меня зовут, и откуда я родом. Я корсиканец и родился в Аяччо в один день с императором, которому посвятил всю жизнь. После его отречения в Фонтенбло я поехал за ним на остров Эльбу, а после битвы на Монт-сен-Жане — и на остров Святой Елены.

Когда-нибудь мир узнает, на какие муки был обречен человек, который держал в руках все государства поочередно, и голос истории станет палачом, мстителем над всеми его палачами.

Сначала 1817 года, ни слова не говоря великому пленнику, я начал хлопотать о том, чтобы дать ему возможность бежать. Прежде всего я связался с капитаном одного американского судна, которое доставляло нам письма от бывшего короля Жозефа, жившего в то время в Бостоне. Но император остался крайне недоволен моим поступком и сам донес на меня губернатору.

“Отправьте меня поскорее во Францию, — прибавил он, — а то этот молодец хочет выкрасть меня из такого рая, как Святая Елена”.

Он во всех подробностях рассказал губернатору план побега, который я только что сообщил ему самому.

Единственной милостью, которой он за это просил, была отсылка во Францию одного из преданнейших ему людей, а в этом ему никогда не отказали бы.

В заливе Джеймстаун стояло судно, готовое назавтра отправиться в Портсмут, и было решено, что меня отправят на нем.

Я был в истинном отчаянии. Мне думалось, что я прогневил императора. Вдруг генерал Монтолон передает мне приказ явиться к нему. Генерал сам провел меня в спальню. Наполеон дал ему понять, чтобы он ушел и оставил нас одних.

Я бросился на колени и молил великого пленника, чтобы он простил и не отсылал меня от себя. Он дослушал меня до конца, не переставая добродушно улыбаться, потом взял меня за ухо.

“Дурень ты дурень! — сказал он. — Ну-ка, встань!”

Эта шутка была так не похожа на серьезную речь, которую я ожидал, что я совершенно растерялся и непроизвольно встал на ноги.

“Я тебя простить не могу, — сказал император, — потому, что мне

пришлось бы прощать безграничную верность и слишком горячую преданность, а подобных вещей, глупый корсиканец, не прощают — их только помнят всю жизнь”.

“В таком случае, государь, ради Бога не отсылайте меня отсюда!” — вскричал я.

“Сарранти! — проговорил он, пристально глядя на меня. — Пойми, что ты нужен мне во Франции”.

“Это дело другое, государь! — сказал я. — И как бы мне ни хотелось остаться возле вас, я готов поехать туда хоть сейчас же!”

“Выслушай меня спокойно, — проговорил Наполеон, — потому что дела, которые я хочу тебе доверить, — дела очень важные. Во Франции у меня еще есть сторонники...”

“Еще бы, ваше величество! За вас — весь народ”.

“Некоторые из моих старых генералов хлопочут о моем возвращении”.

“О, государь, с какой радостью увидели бы мы вас опять на троне Франции! Ведь возвратились же вы с острова Эльба!”

“В такой жизни, как моя, такие страницы не повторяются, — покачивая головой, возразил император. — Кроме того, я начинаю думать, что для блага вселенной было бы лучше, чтобы я умер здесь... чтобы император народов сложил здесь голову, как Иисус на Голгофе... Это была бы смерть прекрасная, Сарранти, а я хочу и умереть хорошо”.

Он сказал эти слова с таким же торжествующим видом, с каким подписывал мирные договоры Маренго и Аустерлица. На Святой Елене, под гнетом горя и унижения, он опять осознал свой гений.

“Так что же мне там делать, государь? — спросил я. — Почему вам не угодно позволить, чтобы я остался здесь и, как Симон, помогал вам нести ваш крест?”

“Нет, Сарранти, повторяю тебе, мне нужен во Франции верный человек, который сказал бы тем из моих верных наместников, которые еще не продались ни Бурбонам, ни иностранцам, чтобы они обо мне больше не думали”.

“Но зачем же это, государь?”

“Потому что я, как древние из римских императоров, прослыл теперь за божество и смотрю на них с высоты своего огненного неба. Ты поедешь к ним и от моего имени скажешь: “Теперь вспоминайте об императоре только затем, чтобы знать, что он любит и ободряет вас. Но у него есть сын, которого воспитывают, может быть, в ненависти к нему, а может быть, только в неведении о его делах. Так думайте только об этом сыне!”

“Да, да, государь, я передам им это!”

“Но при этом ты должен прибавить: “Но вы можете рискнуть его детским покоем только в случае такого заговора, в успехе которого вы будете уверены”.

“Да, да, государь, я передам и это”.

“Объясни им, Сарранти, что в этом моя главная воля, мое политическое завещание. Скажи им, что я серьезно и раз навсегда отказался от престола, но отказался только в пользу моего сына”.

“Слушаю, ваше величество”.

“И вот еще одно обстоятельство, которое может быть полезно для тех, кто захочет вырвать моего сына из рук австрийцев. Слушай и запомни...”

“Какое именно, государь?”

“Сын мой живет теперь в одном лье от Вены, в замке, в котором сам я жил два раза. В первый раз это было в 1805 году после Аустерлица; во второй — в 1809 году после Ваграма. На этот раз я прожил там целых три месяца... Он живет в правом флигеле, который я тогда выбрал для своего частного, жилого помещения... Странно!.. Но это может быть и так!.. Его спальня может быть устроена в той самой комнате, в которой спал и я... Ты это там хорошенько разузнай...”

“Слушаю, государь”.

“И нужно это вот почему: я очень любил тогда гулять рано по утру, а иногда и поздно ночью по саду замка. Но, чтобы пройти туда, приходилось идти через апартаменты и приемные, в которых вечно толпились придворные и просители. Чтобы избавиться от них, я устроил потайную дверь на лестницу, но делали ее не архитекторы, а мои гениальные офицеры. Она проделана в уборной и замаскирована большим зеркалом. Стоит нажать один из выступов резьбы в раме, она отпирается и открывает ход на лестницу, которая ведет в маленькую оранжерею, а оттуда в сад. Понимаешь, Сарранти? Сына моего стерегут, разумеется, и день и ночь, но, может быть, ему удастся бежать через эту дверь, добраться до парка, где его станут ждать преданные люди, а оттуда с ними — на границу”.

“Да, да, понимаю, государь!”

“Вот тебе план замка Шенбрунн. Я начертил его сам сегодня ночью. Флигель, в котором я жил, нанесен здесь во всех подробностях: спальня, кабинет, уборная... Вот они, а вот и рисунок зеркала Выпуклость, которую надо нажать, — вот здесь. План этот подписан мной. Постарайся скрыть его от английских шпионов”.

“Будьте спокойны, ваше величество. Им придется скорее убить меня, чем получить этот план”.

“Нет, ты постарайся остаться жив и не выдать плана. Это будет гораздо лучше!.. Постой!.. Это еще не все...”

Император достал из-под своей кровати шкатулку, в которой был миллион золотом, взял оттуда триста тысяч франков и дал их мне.

“Что прикажете мне сделать с этими деньгами?” — спросил я.

“Я даю их, разумеется, не тебе, господин корсиканец! Я только доверяю их тебе, Цинцинат, доверяю на издержки по делу, а употреблять их ты будешь, как сам найдешь нужным. В руках дурака и сто тысяч экю — пустяк, но в руках человека умного — это целый клад! Мою первую итальянскую кампанию я сделал с двумястами тысяч экю, которые лежали в чемодане моей кареты, а приезжая в лагерь, я раздавал по четыре луидора каждому из генералов”.

“Ваше величество, я могу поручиться вам за одно: деньги эти будут употреблены, разумеется, не гением, но зато человеком несомненно честным!”

“Если бы тебе пришлось бежать... Это, Сарранти, запомни хорошенько!..”

“Я слушаю, государь!”

“Мне хотелось бы, чтобы в случае опасности ты бежал в Индию. Там, в свите Рундхета Сингха Бахадура, махараджи Лахора и Кашмира, ты встретишь одного из моих преданнейших слуг, генерала Лебастара де Премона...”

“Точно так, ваше величество”.

“Я послал его туда в 1812 году, во время моей войны с Англией, чтобы возбудить против нее Восток, как сделал это сначала через Египет. Ему не удалось ни возбудить второго восстания, ни создать для Рундхета Сингха роли Типо-Сахиба. Между тем начались наши неудачи, и я упустил Индию из виду. Но, очутившись здесь, я получил от моего верного посла известие. Он поступил на службу к индийскому принцу, но в душе остался моим преданным слугой. Если тебе придется бежать, Сарранти, беги к той общей кормилице и воспитательнице рода человеческого, которую называют Индией. Деньги, которые у тебя, может быть, останутся от этих трехсот тысяч, раздели с Лебастаром пополам. Этот честнейший человек был небогат и, кажется, оставил во Франции маленькую дочку. Будь я еще императором, мне следовало бы самому позаботиться о ее воспитании... Так вот почему я донес на тебя, Сарранти, вот почему прогоняю тебя и прошу, чтобы тебя отослали обратно во Францию! И чем скорее, тем лучше, — понимаешь ли ты, злодей? Так пусть же с этой минуты не будет между нами ничего общего до тех самых пор, пока ты не очутишься там!”

Он протянул мне руку, и я горячо поцеловал ее.

На другой день я уехал.

Через несколько времени я очутился во Франции. Я знал, что мне, как и всем приезжающим с острова Святой Елены предстоит самый тщательный полицейский надзор.

Все знали, что я беден. Сто тысяч бывших со мною экю могли возбудить подозрение. Я разыскал вашего брата и рассказал ему мое положение. Он выдал меня за воспитателя своих детей и посоветовал обратиться к вам, чтобы вы поместили мои сто тысяч экю. Что было между нами, вы уже знаете.

С тех пор как я возвратился со Святой Елены, прошло уже четыре года, и я все жду возможности служить императору, как он сам того пожелает. Восстание уже подготовлено и организовано. Вспыхнет оно не сегодня-завтра. Назвать вам вождей его я не могу, потому что их тайна мне не принадлежит, но могу вас уверить, что это одни из самых блистательнейших имен империи, и завтра они замахнутся на восстановленное величие Бурбонов!.. Удастся нам или нет, то ведает судьба... Если удастся — бояться нам нечего, потому что тогда властителями будем мы, а не удастся — нас ждет тот самый эшафот, на котором погиб Дидье. Вот поэтому-то я и просил вас взять те сто тысяч экю от нотариуса обратно, и, если можно, не золотом, а бумагами.

Если вы боитесь, что будете скомпрометированы, то я сегодня же напишу вам, что важные дела вынуждают меня расстаться с вами, и, если восстание не удастся, я стану спасаться, как сумею.

Если же, наоборот, вы захотите быть мне полезны до конца, то дайте мне Жана. Он человек честный и верный. Пусть завтра он весь день держит наготове двух оседланных лошадей и на каждую из них положит по мешку с пятьюдесятью тысячами эку. По всей дороге до Бреста у нас есть друзья, которые нас спрячут. В Бресте я сяду на корабль и, по приказанию моего государя, уеду в Индию, в Лахор к генералу Лебастару де Премону.

Вот все, что я хотел сказать вам, добрейший Жерар. Теперь жизнь моя в ваших руках. Не торопитесь отвечать мне. Я пойду теперь к себе привести свои дела в порядок, сожгу бумаги, которые могли бы скомпрометировать меня, а через четверть часа вернусь за вашим ответом”.

Говоря это, он встал и затем ушел.

В то мгновение, когда за ним затворилась дверь, открылась дверь уборной и вошла Орсола. Само собой разумеется, что она слышала каждое слово нашего разговора.

Я знал, что она и Сарранти ненавидят друг друга, и, боясь, что она не захочет помочь его бегству, совершенно приготовился к ее отказу.

“Ты слышала, Орсола?” — спросил я ее.

К моему величайшему удивлению, она тотчас же мягко ответила:

“Разумеется, и, по моему мнению, надо сделать то, о чем он просит”.

“Как?” — озадаченно спросил я.

“Очень просто. Я хочу этим сказать, что надо дать Жану двух лошадей и молить...”

Она хотела сказать “Бога”, но запнулась и тотчас же поправилась:

“Надо молить черта, чтобы его дело не удалось, потому что никогда не представится нам лучшего способа сделаться миллионерами”.

Я задрожал и побледнел.

“О! — вскричала она. — Я думала, что это дело решенное и что нам о нем и разговаривать нечего”.

С определенных пор она при некоторых обстоятельствах разговаривала со мной как сейчас, авторитетным, повелительным тоном.

“Вы должны позаботиться только об одном, — сказала она, — возьмите от него вашу расписку. Времени терять нечего. Я сейчас найду и пошлю его к вам, а остальное — мое дело”.

Она повернулась и ушла.

Несколько минут спустя ко мне вошел Сарранти.

“Вы меня звали?” — спросил он.

“Да”.

“Значит, вы обдумали?”

“Жан в вашем распоряжении, а завтра с рассветом в конюшню будут стоять две оседланные лошади”.

Сарранти открыл свой портфель и достал из него какую-то бумагу.

“Вот ваша расписка на сто тысяч эку. Тем, что она в ваших руках, доказывается, что я получил их от вас, хотя они и лежат еще у нотариуса. Если мне не удастся попасть в Вирге, то я сообщу вам, попал ли я в плен, а если не попаду, то дам знать и то, куда доставить мне деньги”.

Я взял расписку дрожащими руками. Лицо мое после разговора с Орсолой было все еще так бледно, что ваш отец заметил это и подумал, будто я боюсь помочь ему.

“Послушайте, дорогой Жерар, — сказал он, — обдумайте еще раз, ведь еще есть время отказаться от вашего обещания. Я могу сейчас же уйти из замка и никогда больше не возвращаться. Перед уходом я напишу вам письмо, из которого всякому станет ясно, что вы не принимали в моих планах ни малейшего участия. Скажите мне одно слово, и я откажусь от вашего обещания”.

Я колебался. Но эта женщина до того овладела мной, что я мог делать только то, что она захочет.

“Нет, — сказал я, — это дело решенное, и изменять в нашем плане я ничего не стану”.

Сарранти подумал, что я настаивал из преданности ему, и с чувством пожал мне руку.

“Меня ожидают в Париже, — сказал он, — может быть, мне предстоит проститься с вами навсегда, а может быть, удастся попасть сюда, чтобы еще раз пожать вашу руку. Но, во всяком случае, верьте, что я останусь вам благодарен на всю жизнь”.

Он обнял меня и ушел.

Вечером я ужинал, по обыкновению, с Орсолой. У меня не хватало духу сказать вам, что я ей обещал в чаду опьянения и какое страшное злодейство задумали мы с ней.

Одним словом, к утру 19 августа 1820 года было решено, что в этот же вечер, несмотря ни на что, мы, по выражению Орсола, станем миллионерами.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

19 августа 1820 года

Следующий день я провел в страшнейшем нервном возбуждении и, несмотря на все равнодушие к политике, горячо молил Бога, чтобы восстание удалось, потому что мне казалось, что Орсола намеревалась совершить свое злодейство только в том случае, если Сарранти будет вынужден бежать.

До четырех часов вечера я считал буквально каждый удар маятника, и каждый из них мучительно отдавался в моем сердце. День проходил, а ничто необыкновенное не нарушало монотонной тишины нашего уединения.

Наконец в четыре часа, когда мы собирались сесть обедать, я заметил, что приборов для детей на столе не было. Орсола решила, что они будут обедать отдельно.

Вдруг послышался звук копыт. Я выбежал из столовой. Во двор на взмыленной лошади въезжал ваш отец. У подъезда лошадь упала.

“Нам изменили... предали... донесли! Мне остается только бежать! — проговорил Сарранти. — Все готово?”

“Да, все!” — ответила Орсола.

Я, между тем, не мог выговорить ни слова. В глазах у меня стояло какое-то кровавое облако.

Сарранти подошел ко мне и сжал мою руку.

“Да, да, нас предали! — повторил он. — А восстание было так хорошо задумано и организовано!”

Между тем Орсола позвала Жана, и тот подвел двух оседланных лошадей.

Я все еще не мог вымолвить ни слова и только молча указал на них Сарранти.

“Бегите, бегите скорее! — твердила Орсола. — Теперь главное всего — ваша собственная безопасность!”

Он вскочил на одну лошадь, Жан на другую, и оба направились по одной из окольных дорог в Орлеан.

“Отлично! — прошептала мне на ухо Орсола. — Садовник каждый вечер уходит ночевать к своему зятю в Морсан: мы будем совершенно одни!”

“Одни! — повторил я почти бессознательно. — Одни!”

“Да, одни! — подтвердила Орсола. — Одни, потому что, как люди предусмотрительные, мы заранее позаботились избавиться от Гертруды”.

Это слово “мы” напоминало мне о другом преступлении и делало меня его сообщником. На лбу у меня выступил холодный пот. Я понимал, что теперь настал момент собраться и начать борьбу. Но я уже давно обессилел! Давно привык не к борьбе, а к беспрекословной покорности.

“Ну, давай обедать, — сказала Орсола. — Теперь все дело в том, чтобы не упустить такого удобного случая. Подкрепимся и сделаем свое дело”.

Я уже знал, что именно подразумевала Орсола под своим “подкрепимся”. Она напаивала меня до того, что я становился сам не свой и мною овладевал какой-то демон безумия и насилия. Тогда Орсола, обыкновенно, подмешивала мне в вино какое-то зелье, от которого я терял всякий рассудок. Читала ли она у Светония, что сестра Калигулы делала с ним то же самое, когда хотела вызвать его на какое-нибудь преступление, или же просто в ней самой был инстинкт, открывавший ей все пути к злодействам, — я не знаю.

В ночь смерти Гертруды я чувствовал совершенно такое же опьянение, связанное с неистовством, какое овладело мною и после обеда 19 августа. Я встал из-за стола в восемь часов, когда уже начинало смеркаться. Единственно, что я помню, так это голос, который беспрестанно повторял мне:

“Ты возмись за мальчика, а я расправлюсь с девчонкой”.

Я едва держался на ногах и бессмысленно твердил:

“Да, да, хорошо, хорошо”.

“Но прежде всего, — продолжал голос, — надобно устроить так, чтобы можно было свалить все на Сарранти”.

“Да, да, на Сарранти!” — повторял я.

“Ну, так пойдем же!” — произнес голос.

Я почувствовал, что меня повели в кабинет, где стояло бюро, на котором я обыкновенно писал и в ящике которого лежали сто тысяч

экую, привезенные мной от нотариуса для Сарранти. Орсола заперла ящик на ключ, потом взяла клещи и сломала замок.

“Понимаешь?” — спросила она.

Я продолжал смотреть на нее совершенно бессмысленно.

“Он украл у тебя деньги, которые ты получил от нотариуса, и для этого взломал замок. Но в это время в кабинет вошли дети. Чтобы избавиться от свидетелей своего преступления, он убил их”.

“Да, да, убил”, — повторял я.

“Да ты понимаешь ли меня?” — спросила Орсола, одновременно и сердясь на мою тупость, и радуясь, что довела меня до такого состояния.

“Понимаю!.. Только он станет отпираться...”

“Да разве ж он может сюда вернуться? Или разве поедут его разыскивать в Индию? Ведь после того, как его приговорят к смерти как заговорщика, вора и убийцу, он сюда и носа показать не посмеет”.

“Не посмеет...”

“Кроме того, мы будем миллионерами, а с такой силой чего на свете не сделаешь!”

“Как же это так мы будем миллионерами?” — спросил я заплетающимся языком.

“А так, что я разделаюсь с девчонкой, а ты с мальчишкой”, — ответила Орсола.

“Да, правда”.

“Ну, пойдем вниз”.

Помню, что я не хотел идти, если не умышленно, то инстинктивно, но она свела-таки меня с крыльца. Дети сидели вместе и любовались закатом.

“Как странно! — проговорил я. — Мне кажется, что все небо в крови!”

Дети увидели меня и подошли, держась за руки.

“Что, домой пора, дядя?” — спросили они.

Голоса их показались мне такими странными, но отвечать им я был не в силах — я задыхался.

“Нет еще, — сказала Орсола, — поиграйте еще, милые”.

О! Этого я никогда не забуду, — продолжал умирающий, — я и теперь вижу их, вижу розовенькое, свеженькое личико мальчика с его белокурыми кудрями и умные черные глаза девочки, которая пристально смотрела на меня, не смея спросить, отчего я так дрожу и шатаюсь.

В это время пробило восемь часов. Где-то невдалеке хлопнула калитка. То уходил садовник. Я осмотрелся. Орсола с нами не было. Я вздохнул свободнее. Мне хотелось взять детей на руки и убежать с ними. Вероятно, я так бы и сделал, но почувствовал, что и один едва держусь на ногах. Кроме того, когда я невольно пролепетал: “Ах вы мои бедные, бедные дети!” — возле меня очутилась Орсола. В руках она держала мое ружье.

“Вот вам ружье, сударь”, — сказала она.

Она подала его мне, но у меня не поднимались руки.

“Ах, дядя, ты на охоту идешь?” — спросил Виктор.

“Да, у нас будут завтра гости, и дядя хочет убить двух или трех кроликов”, — ответила за меня Орсола.

“Так возьми и меня с собой!” — попросил мальчик. Я задрожал.

“Да бери же ружье! Трус!” — прошептала Орсола.

Я покорился.

“Дядя, голубчик, я буду стоять сзади и не стану шуметь”, — продолжал упрашивать ребенок.

“Слышите, о чем он вас просит?” — спросила Орсола.

Я взглянул на племянника.

“Так ты хочешь идти со мной?” — спросил я.

“Да, дядя! Ты ведь сам обещал, что если я не буду шалить, то возьмешь меня с собой”.

“Это правда! — подхватила Орсола. — А ты был умница, Виктор?”

“Да, да! Если бы Сарранти был здесь, он, наверно, сказал бы вам, что очень мной доволен!” — простодушно отвечал мальчик.

Дети еще не знали, что воспитатель уехал навсегда.

“Ну, вот видите, господин Жерар, он был умница, и вы должны взять его с собой”, — сказала Орсола.

“Если пойдет Виктор, то пойду и я”, — объявила Леони.

“Нет, нет, не надо! — вскричал я. — И одного довольно!”

“Слышите, что сказал дядя? — подхватила Орсола. — Пойдем спать”.

“Зачем же мне ложиться? — возразила девочка. — Я уж лучше подожду, пока они вернутся, и лягу в одно время с братом”.

“Да скажите же наконец этой девочке раз и навсегда, что она должна слушаться, а не твердить беспрестанно: “Я хочу”!”

“Ступай с Орсолой, Леони!” — сказал я девочке.

“А я пойду с тобой, дядя?” — спросил мальчик.

“Да, пойдем”.

Он протянул мне ручку, но у меня не хватило духу прикоснуться к ней.

“Пойдем так, рядом”, — сказал я.

“Нет, нет! Лучше идите вперед, Виктор”, — посоветовала Орсола, уводя Леони, которая беспрестанно оглядывалась и кричала нам:

“Возвращайся скорее, дядя! Виктор, приходи скорей домой!”

Я тоже оглянулся и увидел, как девочка исчезла за дверью. С чувством какого-то глухого отупения я пошел вдоль берега пруда в парк. Виктор добросовестно исполнил приказ Орсола и шел шагов на двенадцать впереди.

Солнце уже село; сумерки заметно сгущались, а под густой чащей парка было уже совершенно темно. По лбу у меня текли крупные капли пота, сердце билось так сильно, что я несколько раз останавливался.

Оба ствола моего ружья были заряжены. Перед этим целых две недели стояла невыносимая жара. Поговаривали, что в окрестностях бегают бешеные собаки. И вот из опасения, что они как-нибудь пробегутся и к нам в парк, я и зарядил оба ствола своего ружья. Орсола знала об этом. Мальчик продолжал идти впереди, следовательно, мне оставалось только приложиться и выстрелить.

Боже великий и беспредельно милосердный, ты заранее возмутил

мою совесть против такого злодейства! Я прицеливался раза три или четыре, но каждый раз опускал ружье, не прикоснувшись к курку.

“Нет, не могу, не могу!” — лепетал я.

Один раз, как быстро ни опустил я ружье, Виктор оглянулся и заметил мое движение.

“Ай, дядя, что ты делаешь! — вскричал он. — Ты ведь сам говорил мне, что не следует целиться в кого-нибудь даже шутя, потому что один мальчик так убил свою сестру”.

“Да, да, мой милый! — подхватил я. — Я действительно хотел пошутить, и это так глупо”.

“Понятно, что ты шутил, — сказал мальчик. — За что ж тебе убивать меня? Ты ведь так любил нашего бедного папу”.

Я вскрикнул. В мозгу моем точно сверкнула молния. Мне казалось, что я сойду с ума.

“Да, да, голубчик, я очень любил твоего папу, — подтвердил я, закидывая ружье за плечо. — Пойдем-ка домой. Сегодня охотиться уже поздно”.

“Как хочешь, дядя”, — ответил Виктор, видимо, испуганный звуком моего голоса.

Я подошел к нему, взял его за руку и повел по лесу к замку. В душе я все надеялся, что приду туда вовремя и не позволю убить девочку. К несчастью, мы вышли на берег пруда, и, чтобы попасть домой, нам нужно было обойти его кругом или переехать на лодке.

“Поедем на лодке, дядя, — предложил Виктор. — Это очень весело!”

Он запрыгнул первым, я, шатаясь, влез за ним.

Глубокий, как омут, пруд стоял неподвижно, точно зеркало, и светился в лучах восходящей луны. Я схватил весла и принялся грести.

В эти минуты я думал только об одном: подоспеть вовремя, не допустить преступления и, что бы потом ни было, твердо заявить Орсоле, что я на убийство не согласен.

Мы были уже почти на середине пруда, когда послышался ужасный крик. Я узнал голос Леони. В то же время в ночной тишине раздался лай собаки. Вероятно, Брезиль тоже услышал и узнал крик своей маленькой подружки.

Несколько секунд спустя крик повторился, затем еще и еще.

Я взглянул на Виктора. Он был бледен.

“Дядя, — пролепетал он, — ведь это Леони убивают”.

Он встал и громко крикнул:

“Леони! Леони!”

“Молчи, несчастный!” — проговорил я.

“Леони! Леони!” — упрямо кричал мальчик.

Я бросился к нему с протянутой рукой. Он так испугался выражения моего лица, что хотел было броситься в воду, но вспомнил, что не умеет плавать, и упал на колени.

“Дядя, голубчик, не убивай меня! — лепетал он. — Я тебя очень, очень люблю! Я ведь никому не делал зла”.

Я держал его за ворот.

“Дядя, дяденька, пожалей маленького Виктора!.. Ай!.. Помогите!.. Помогите!”

Голос вдруг оборвался. Рука моя, как железная петля, сжала его горло. У меня кружилась голова — я почти терял сознание.

“Нет, нет! — твердил я. — Ты должен умереть, ты умрешь!”

Он услышал и понял меня, потому что сделал страшное усилие, чтобы вырваться.

В эту минуту луна скрылась за тучей, и я очутился во тьме. Я все-таки еще закрыл глаза, чтобы не видеть того, что делаю.

Мне казалось, что собственной тяжести ребенка будет еще недостаточно, чтобы утопить его, я поднял его над собой и, сильно размахнувшись, швырнул его в воду. Потом схватил весла и хотел нестись к берегу. Но в это мгновение на поверхности воды показалась фигура ребенка. Он рыдал, кашлял и барахтался, силясь не утонуть... О, отец мой... язык не поворачивается сказать! — простонал умирающий. — Я поднял весло!..

— Изверг! — вскричал Доминик, вскакивая с ужасом и отвращением, с которыми не мог совладать.

— Именно изверг! Ребенок пошел на этот раз ко мне окончательно, а выглянувшая из-за туч луна осветила лицо его убийцы...

Монах упал на колени и молился, опустив голову на холодный мрамор камина.

В комнате воцарилась какая-то зловещая, мертвенная тишина.

Ее прервал какой-то хрип, вырвавшийся из груди умирающего.

— Умираю... отец мой!.. — проговорил он со стоном. — Умираю! А для моей исповеди и для спасения чести вашего отца надо сказать еще много.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Ночь 19 августа 1820 года

Услышав этот возглас отчаяния, монах вскочил на ноги, подбежал к постели, приподнял больного и дал ему понюхать соли. Трудно сказать, кто из них был бледнее — духовник или умирающий.

Упадок сил продолжался долго, даже до потери сознания. Наконец, Жерар сделал знак, что может продолжать, и Доминик снова сел у его изголовья.

— Я выпрыгнул из лодки, — заговорил он, — и побежал к замку. И крики девочки, и лай собаки уже смолкли.

Мне казалось, что слышались они из нижней залы. Я окликнул Орсолу, сначала несмело, потом громче, наконец изо всех сил.

Вокруг было темно, и я ощупью пробрался на кухню. В очаге догорало несколько угольев, но и их слабого света было достаточно, чтобы увидеть, что здесь все было в порядке и на своих местах. Из кухни, все еще продолжая звать Орсолу, я прошел в людскую, но и там никого не было, а между тем мне казалось, что крики слышались именно оттуда.

Тогда я вспомнил, что за людской был чулан, и попробовал

отпереть дверь, но что-то задерживало ее изнутри, так что она пода-лась только после некоторого усилия. Я вновь крикнул Орсолу, но ответа не было.

При этом меня поразила одна вещь. При свете луны я увидел окно чулана, выходящее в сад, и оно оказалось разбитым. В то же время я задел за что-то ногою... Точно кто-то лежал на полу. По сырости я догадался, что это труп, залитый кровью. Я ошупал его руками и убедился, что то не был труп ребенка... Так кто же это? Пятясь, я выбрался обратно в кухню, зажег свечку и с ужасным предчувствием вернулся в чулан.

Что же могло произойти здесь?! На полу лежала мертвая Орсола. И кровь повсюду была ее кровью. Она сочилась из огромной раны, которая должна была вызвать смерть почти мгновенную. Возле валялся огромный кухонный нож, выпавший, по-видимому, из ее руки.

Сначала я решил, что помешался, и со мной начались галлюцинации. Но нет!.. Все это было настоящее, действительное — и кровь, и труп... и все это — Орсола!

Тогда мне вспомнилось, что одновременно с криками ребенка раздался и лай собаки, и мне все стало ясно. Я подошел к разбитому окну, оглядел все вокруг, и после этого не оставалось уже никаких сомнений, по крайней мере, мне все казалось ясным, как день.

Орсола, возвратясь домой, заманила или силой затащила девочку в чулан и хотела там убить ее. Но Леони стала кричать от страха. Эти крики слышал и я. Брезиль боготворил девочку и понял, что ей грозит смертельная опасность. По всей вероятности, он со страшным усилием сорвался с цепи, одним прыжком разбил окно, очутился в чулане и схватил Орсолу за горло. Падая, она уронила свой нож.

Но куда же делись и ребенок, и собака? Ни той, ни другой не было ни видно, ни слышно. Мне же было необходимо найти их, во что бы то ни стало.

Вид трупа Орсолы возбуждал во мне и ужас и бешенство. Я вышел в наружную дверь чулана, которая была отперта и сквозь которую, вероятно, и прошла Леони. Я стал ее разыскивать, потому что теперь моя собственная безопасность требовала, чтобы я убил и ее, как убил ее брата.

Монах вздрогнул.

— Да, отец мой, — проговорил умирающий, который заметил это невольное движение, — в этом-то и заключается весь неотразимый фатум преступления. Убийца оказывается как бы в тисках железной руки и должен убивать потому, что уже раз убил.

С ружьем в руке я бросился в главную аллею парка, силясь проникнуть взглядом сквозь тьму, заглядывая всюду, где мне слышался шум, принимая каждый прорвавшийся сквозь листву лунный луч за белое платье ребенка. В эти минуты я действительно обезумел от ярости, страха и вида крови. При малейшем шуме я останавливался, звал Брезилья, прикладывал ружье к щеке и спрашивал:

“Леони, это ты?”

Но ответа не было — все оставалось мертвенно спокойно, парк был молчалив, как могила, как бесконечность.

Вдруг я очутился на берегу пруда и в ужасе остановился. Волосы стали у меня на голове дыбом, я закричал каким-то совершенно нечеловеческим голосом и побежал прочь. Да, я именно бежал, а не шел, — бежал, как иступленный, ничего не сознавая и не видя.

Я перебегал так из одной аллеи в другую, от куста к кусту, должно быть, около часу, но все было по-прежнему пусто, тихо и глухо, нигде не виднелось ни малейшего следа. Была минута, когда мне хотелось выстрелить, лишь бы услышать какой-нибудь звук в этой ужасающей, мертвенной тишине.

Наконец, совершенно изнеможенный, обливаясь потом, я потерял всякую надежду найти следы собаки и ребенка и очутился перед замком, всего в ста шагах от пруда... Эта холодная, неподвижная, как бы замерзшая вода наводила на меня ужас. Я отвернулся, но глаза мои помимо воли снова останавливались на ней, как заколдованные. На берегу, как огромная, уснувшая рыба, лежала лодка, а на траве валялось весло. Я не мог смотреть на это и вошел в дом.

Пойти к телу Орсола у меня не хватало духу, и я пробрался в свою комнату... но и там окна были открыты, и через них виднелся пруд!.. Я подошел к окну и хотел запереть ставни, но, когда нагнулся, чтобы достать одну из створок, опять взглянул на пруд и замер!.. По берегу бродило какое-то животное, обнюхивая землю и как бы отыскивая какие-то следы... То был Брезиль! Что мог он искать там?

Он обежал вокруг и остановился на том месте, где мы с Виктором сели в лодку, поднял голову, потянул в себя воздух, громко завыл и бросился в воду. Странная и ужасная вещь! Он плыл по той самой черте, по которой прошла лодка, точно после нее осталась видимый след! Когда он доплыл до того места, где я бросил ребенка в воду, то несколько времени повертелся вокруг него, затем нырнул...

Я, напряженно затаив дыхание, следил за каждым его движением и точно замер в этом состоянии.

Над тем местом, на котором нырнул Брезиль, вода колыбалась и пенилась. Раза два на поверхности появлялась его голова, и я слышал, как тяжело он переводил дыхание. В третий раз он всплыл, держа в зубах какую-то большую массу с неясными очертаниями, и изо все сил поплыл к берегу, таща ее за собой.

Он вышел из воды и вынес свою ношу на траву. То был труп маленького мальчика.

— Это ужасно! — прошептал монах.

— Да! А понимаете ли вы, что было тогда со мной? — продолжал Жерар. — Ведь у меня на глазах бездна, точно перед страшным судом, исторгала мою жертву! Я закричал от бешенства, схватил ружье и понесся с лестницы. Право, не понимаю, как я тогда не запнулся и не разбился! Когда я очутился на крыльце, выяснилось, что и собаку и ребенка от меня заслоняют деревья, и под этим прикрытием я стал подкрадываться к ним. Минуты через две я был от них шагах в тридцати. Брезиль тащил труп подальше от замка.

Я вспомнил, что в заборе был пролом. Верно, через него-то и убежала Леони, и туда же тащил пес и тело Виктора! Не вспомни я этого, проклятая собака донесла бы на меня!

Когда я вышел из-под деревьев, Брезиль выпустил ребенка и повернул ко мне свою голову со сверкающими глазами и огромной раскрытой пастью. Я слышал, как щелкали его страшные зубы.

Я уловил момент, когда он остановился в нерешимости, броситься ли ему на меня или тащить ребенка к пролому, и прицелился в него, как целит человек, знающий, что от этого выстрела зависит его жизнь. Брезиль припал к земле, завыл и исчез в лесу. Я бросился за ним, рассчитывая догнать его и добить прикладом. Было очевидно, что он жестоко ранен, потому что при свете луны на траве виднелась темная и широкая полоса крови. Я шел по ней, как по следу, но дойдя до леса, потерял ее из виду.

Тем не менее, я бросился к пролому. Он мог через него уйти — ведь ушла же так Леони! На одной из ветвей висел даже клочок ее воротничка. Но куда же она делась? С тех пор, как она пробралась здесь, прошло больше часа. Дорога в Фонтенбло и Париж проходила не более как в одном лье отсюда. Но как мог я узнать, в какую сторону она свернула? Встретила ли она кого-нибудь, и куда ее повезли? А что если, пока я разыскиваю ее, кто-нибудь придет в замок и увидит на лугу труп Виктора? Нет, прежде всего необходимо избавиться от этого трупа.

Только сейчас заговорило во мне чувство самосохранения. Ведь оставить труп в пруду — истинное безумие! Утопленники всегда через несколько часов всплывают на поверхность! В сущности, даже хорошо, что Брезиль вытащил его! Нужно теперь похоронить его в каком-нибудь уединенном уголке сада, и тогда никто ничего не узнает!

Я вернулся в парк через пролом, мимоходом сорвал с колючек клочок воротничка Леони и бегом бросился к пруду. Вдруг у меня мелькнула мысль, от которой закружилась голова. А что если трупа на берегу не окажется? Что тогда? Где его искать?

Но, к счастью, он был там... К счастью! Понимаете ли вы весь ужас, весь кошмар подобной мысли?

— Да... — еле проговорил монах, у которого от этого рассказа, казалось, волосы зашевелились на голове.

Жерар помолчал, глубоко вздохнул и продолжал:

— Чтобы похоронить ребенка, мне нужна была лопата, но за то время, пока я уходил к пролому, меня так измучил страх, что мальчик куда-нибудь денется, что теперь я уже не хотел оставлять его. Поэтому я кинул ружье за спину, подхватил труп на руки и пошел за лопатой к сараю, где старик Винсент хранил свои садовые инструменты. То, что искал, я нашел, но сарай этот стоял в огороде, а я хотел закопать мальчика непременно как можно дальше от огорода, в самой отдаленной части парка. Для этого мне следовало снова пройти через луг при полной луне, с отвращением поглядывая на шедшую рядом безобразную длинную тень человека с трупом ребенка на руках. Ноги его болтались впереди, голова свешивалась у меня за спиной.

Я прибавил шагу и вошел в лес. Путь до страшного суда, который мне предстоит после смерти, уже, наверно, будет не столь ужасен и мучителен, как тот ночной переход через собственный парк, под тем-

ной сенью вековых деревьев. Ноги подкашивались, я так задыхался, что временами приходилось останавливаться.

Вдруг что-то задержало меня на месте. Я задрожал всем телом, голова закружилась, и в мозгу понеслись целые вереницы чудовищных привидений. Мне казалось, что я умираю. Я сделал над собой усилие, пришел в себя и оглянулся. В ветвях запутались белокурые кудри ребенка, они-то и задержали меня. Все это продолжалось не более секунды, но и в эту секунду я видел, как над моей головой сверкнул нож гильотины. Я расхохотался — ужасно, дико и изо всех сил дернул труп на себя. Прядь волос так и осталась на ветках, но я не обратил на это внимания и пошел дальше.

Пробравшись сквозь густую чащу, я очутился в нескольких шагах от дерновой скамейки в таком глухом месте парка, что за все четыре года моей жизни в замке я бывал здесь не более двух раз. Я выбрал место фута в три длиной и принялся копать яму, рассчитывая, что окончу ее через час или полтора.

Да, но каким оказался для меня этот час, отец мой!.. Было около двух часов утра. В августе природа начинает пробуждаться именно в это время. Птицы начинают чирикать на деревьях, звери и животные просыпаются в лесных чащах. При малейшем шуме я оборачивался — мне слышались чьи-то шаги. Пот тек с меня градом, дыхание вырывалось из груди с каким-то свистом. Я чувствовал, что наступает день.

Наконец, могила была готова. Я опустил в нее тело ребенка вертикально, так как она была несколько футов глубиной, потом начал забрасывать его землей, потом изо всех сил принялся затаптывать ее, чтобы на поверхности не осталось и бугорка, а так как земля все-таки вся в яму не вошла, разбросал остаток ее в разных местах поодаль от могилы. Потом я набрал мха и тщательно разложил его, так, чтобы не было видно свежевскопанного места. Отойдя на несколько шагов и присмотревшись, я убедился, что от моего злодейства не осталось теперь и следа.

Да и пора было заканчивать. Солнце поднялось над горизонтом и залило своим светом вершину огромного дуба, под которым я стоял. В ветвях его над моей головой распевал соловей.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Конец исповеди

Солнечным светом появились и два страшных дневных призрака — воспоминание и размышление. Я увидел солнце с тем же страхом, с каким смотрит приговоренный к смерти на тюремщика, который пришел сказать ему, на который час назначена казнь.

Необходимо было на что-нибудь решиться. Но все во мне состояло из ужаса, неуверенности, из какого-то мучительного хаоса, и мне бы ни о чем не оправдаться, если бы не Орсола. Даже ее смерть придавала этой ночи еще больше таинственности и, главное, отводила от меня всякое подозрение. Все знали, как я любил эту женщину, и никому не

могло прийти в голову, чтобы я сам был причиной ее смерти. Кроме того, найдут собаку и сочтут, что она убита потому, что она не сумела вовремя подоспеть на помощь любимым мной существам.

На мне не было никаких следов того, что не уничтожить никакими средствами — ни малейшей капли крови. Словом, мне удалось себя несколько успокоить.

Единственно, что меня тревожило, был побег Леони, хотя, если бы она даже и заговорила, то могла обвинить только Орсолу, а той было уже все равно.

Я поднялся к себе в комнату, уничтожил следы вчерашней оргии, выпил все оставшееся вино в одной из бутылок, почистил одежду и направился к мэру. Это был добряк из мужиков, такой жеремесленник, как и я, и эта общность профессии внушала ему особую симпатию ко мне.

Я рассказал ему басню, которую сочинили мы с Орсолой, то есть что дети исчезли, и исчезновение их, и пропажа ста тысяч экю, которые я накануне взял у нотариуса, настолько совпадают с бегством Сарранти, что мне остается подозревать только корсиканца и в краже, и в убийстве.

— Бедный, бедный отец мой! — прошептал Доминик.

— Да! — вскричал умирающий. — Но небо уже достаточно наказало меня, и я сам возвращаю вашему отцу его честное имя. Ради этого вы должны простить меня. Без вашего прощения мне нечего надеяться даже на милосердие Божие.

— Продолжайте, — глухо проговорил монах.

— Чтобы объяснить мэру, почему я сообщаю об этом ужасном происшествии так поздно, я сказал, что домой вернулся накануне очень поздно, подумал, что все уже спят, прошел прямо к себе и лег спать без помощи прислуги. Наутро, когда я проснулся, меня удивило, что в доме так странно тихо. Я встал, оделся и, проходя через кабинет, заметил, что ящики моего бюро взломаны. Я пошел в комнату Орсолы, но там никого не было, в детской — тоже. Я начал кричать, звать и искать по всему дому. Наконец, в чулане я нашел труп Орсолы. Осмотрев ее, понял, что она задушена. Невдалеке, на лужайке лежал сорвавшийся с цепи Брезиль. В припадке безумного горя и гнева я схватил ружье и выстрелил в него, ранил, и он убежал.

Мэр добродушно поверил всему этому, а мою бледность и сбивчивость моего рассказа объяснил переживаниями. Он всячески старался меня утешить, послал своего помощника за следователем, а сам пошел со мной в замок.

Разумеется, я постарался скрыть, куда именно бежал Сарранти, так как больше всего на свете хотел, чтобы он никогда не возвращался во Францию. Затем, попросив мэра принять во внимание мое горе и поменьше беспокоить, я заперся у себя в комнате. Мэр обещал без особой нужды меня не требовать, да и в этот же день пришла весть о заговоре. Она оказалась удивительно к месту. Когда узнали, что Сарранти был одним из самых горячих и энергичных приверженцев Бонапарта, правительственные газеты тотчас подхватили возводившиеся на него обвинения в воровстве и убийстве, чтобы обратить это в позор для всей партии. Даже полиция, если и сомневалась в чем-то, отказалась

разыскивать настоящих преступников. В 1820 году бонапартистов так же охотно называли ворами и убийцами, как в 1815-м — разбойниками. А для правительства повод ославить человека, возвратившегося со Святой Елены и жившего вблизи императора, как вора и преступника, было истинной находкой.

Таким образом, серьезно опасаться мне было нечего. Все подозрения пронесли мимо виновного и всей своей тяжестью обрушились на человека, ни в чем не повинного. Да, я серьезно думаю, что, попадись тогда Сарранти в руки полиции, ему не миновать эшафота.

Монах встал. Он был бледнее белья умирающего. Мысль, что отец его мог погибнуть позорной смертью, да еще с клеймом преступника, несмотря на свою полнейшую невинность, приводила его в неистовство.

— О, я знал, что он невиновен! — проговорил он. — А ведь я мог быть свидетелем его смерти и чувствовать, что не в силах его спасти!.. Ах вы... Ах вы...

Он остановился.

Умирающий опустил голову. Он даже жаждал, чтобы душевная боль священника целиком вылилась в горьких словах и чтобы после этого в сердце его осталось бы лишь милосердие духовника.

— Да, но, несмотря на ваше признание, на имени моего отца все-таки навеки останется пятно позора, — сказал монах.

— Но ведь я же умираю! — пробормотал Жерар.

— Значит, вы разрешаете мне нарушить тайну вашей исповеди после вашей смерти? — вскричал Доминик.

— Да, да, откройте все! Ведь потому-то я и благодарил Бога за то, что он послал вас к моему смертному одру.

— О, отец, мой бедный отец! — проговорил монах, тяжело переводя дыхание. — Да ведь узнай он о том обвинении, какое на него возвели, он непременно возвратился бы сюда, чтобы доказать свою невинность.

— Да, понимаю... Ну, так вот после моей смерти вы и напишите ему... Но только, ради Бога, не отравляйте последние минуты моей жизни нестерпимым для меня ужасом!

Монах жестом успокоил его.

— Но мне, — продолжал Жерар, — надо признаться вам еще кое в чем. Не знаю, должно быть, и вся натура у меня какая-то чудовищная! За все семь лет, что прошли со дня того преступления, во мне ни разу не заговорила совесть. Раскайся я, вероятно, спал бы спокойно, может быть, даже был бы счастлив. Но меня беспрерывно мучил ужас суда и наказания! О, сколько бессонных ночей проводил я, воображая, как введут меня в залу суда. Сколько раз, несмотря на все мои мольбы, слезы, стенания, слышалось мне страшное слово “убийца”! Сколько раз чувствовал я прикосновение к моей шее холодных ножиц палача, когда будто бы обрезали мне волосы перед казнью! Сколько раз виделась мне над толпой два красных столба, между которыми сверкал грозный нож!

— Несчастный, несчастный человек! — проговорил Доминик, с жалостью глядя на это живое олицетворение ужаса и в глубине души

сознавая, что этот же ужас мог породить в этом человеке и кровожадность.

— Вот поэтому я и уехал из Вири и поселился в Ванвре, поэтому и стал заниматься благотворительностью.

При этих последних словах монах встрепенулся.

— Да, да, это правда, отец мой! Милостыня была покрывалом, под которым я таил свою залитую кровью одежду! Кто посмел бы заподозрить меня теперь, среди массы добрых дел, которые я сделал?

— Тот, кто к вам теперь приближается! — торжественно проговорил монах, указывая на небо. — Господь!

— Да, это я знаю, — согласился умирающий. — Тот, о ком люди вспоминают только перед смертью. Тот, кто видит кровь и под покрывалом, а лицо под маской. Но перед ним, отец мой, у меня будет два предстателя: мой ужас и ваша невинность.

Несчастный не посмел даже упомянуть о своем раскаянии.

— Продолжайте, — сказал монах.

— Теперь мне остается договорить всего несколько слов. Я уже сказал вам, что страшило только исчезновение Леони. Я отправился в префектуру полиции и потребовал, чтобы произвели самый тщательный розыск, но все поиски ни к чему не привели.

Одно время мне хотелось возвратиться в Вик-Десо, но там жил когда-то Сарранти, там родился его сын, там меня знали человеком бедным и могли из зависти доискаться источника моего богатства, и я отказался от этой мысли.

Чтобы убить время, я поехал путешествовать, прожил год в Италии, другой — во Фландрии, но при каждом восходе солнца, который напоминал мне ужасный рассвет 2 августа, я спрашивал себя: не нашли ли теперь во Франции каких-нибудь улик против меня, каких-либо неопровержимых доказательств? Я возвратился на родину, побывал в Бургони, потом в Оверни.

Однажды вечером хозяева одного из домишек, где меня приютили, очень подробно рассказали мне о жизни одного богатого человека. Он был дворянин, родом из окрестностей Исеура. Вследствие какой-то ссоры он дрался на дуэли со своим другом и убил его. С этого дня он совершенно переменялся, продал свой замок, земли, стада, роздал свое состояние бедным и всячески старался забыть невольное убийство, изнуряя себя трудом и добрыми делами. Очевидно, что он делал все это из раскаяния. Я сказал себе: “А ведь человек, который совершил бы настоящее, предумышленное преступление, тоже мог бы отклонить от себя такой жизнью всякое подозрение. Сделаю-ка и я из страха и осторожности то же, что он делал из раскаяния!”

Я вернулся в Париж, приискал себе этот дом и принялся за те дела, благодаря которым прослыл добрым человеком — с этой репутацией я и умру. Но после моей смерти добрая память обо мне будет в ваших руках. Принесите ее в жертву чести Сарранти. Похлопочите о его помиловании за участие в заговоре, я же позаботился о том, чтобы снять с него клеймо позора.

— Но разве кто-нибудь поверит свидетельству сына в пользу преступного отца?

— Я предвидел это... Вот, потрудитесь взять этот ключ...

Жерар приподнялся, достал ключ из-под подушки и подал его монаху.

— Откройте второй ящик бюро, — сказал он. — Там вы найдете свиток бумаги, запечатанный тремя печатями.

Доминик встал, открыл ящик и вынул из него свиток.

— Вот он, — сказал он.

— Надписано на нем что-нибудь?

— Да. *“Это моя исповедь перед Богом и людьми и написана она мной для того, чтобы в случае надобности, после моей смерти, можно было вскрыть и обнародовать ее”.*

Подписано: *“Жерар Тардье”.*

— Да, это и есть. Здесь от слова до слова написано все, что я рассказал вам. Когда я умру, можете располагать этим, как захотите, я освобождаю вас от обязанности хранить тайну исповеди.

Доминик с невольной радостью прижал свиток к груди.

— А теперь, отец мой, — сказал умирающий, — не найдется ли у вас для меня хоть несколько слов утешения и надежды?

Монах вернулся к постели медленно и торжественно. Казалось, лицо его светилось чем-то неземным, а сам он выглядел олицетворением человеческого милосердия.

Умирающий как бы почувствовал приближение благодати и приподнялся на постели.

— Брат мой, — заговорил доминиканец, — может быть, для того, чтобы Господь простил вас, перед лицом его нужен гораздо более достойный предстатель, чем я. Но как человек, священник и сын, прощаю вас от глубины души. Молю Бога, чтобы он внял этим словам моим и ниспослал вам и свое помилование во имя Отца, который есть благодать, Сына, который есть самоотречение, и Духа, который есть вера.

Он положил на голову умирающего свою белую тонкую руку.

— Что должен я сделать еще? — спросил Жерар.

— Молитесь, — ответил монах.

Он сложил на груди руки и тихо вышел, моля, чтобы ему дано было унести с собой все дурное и низкое в человеке, которого он только что напутствовал в вечность.

А умирающий бросился лицом в подушки и остался недвижим, словно душа его уже покинула наболевшее тело.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Жюстен

Жюстен спешил в Версаль к мадам Демаре. Тем из наших читателей, кому характер этого человека показался, может быть, недостойным участия, с которым отнеслись к нему Сальватор и Жан-Робер, заметим, что эта покорность, кажущаяся, на первый взгляд, недостатком энергии, была как раз одним из прекраснейших проявлений силы.

И действительно, никогда не следует смешивать движений ма-

териальных, физических, телесных движениями духовными. Тот, кто воображает себя чрезвычайно деятельным, бегают, хлопочет, проходит по два лье в день пешком или в экипаже, делает, в сущности, гораздо меньше, чем человек, который после десятилетней видимой неподвижности вдруг возвещает из глубины своего кабинета мысль, — пусть только одну, но она в состоянии перевернуть вселенную.

Поставьте такого с виду апатичного человека, хоть бы и того же учителя, лицом к лицу с необходимостью, и вы увидите его во всеоружии и с героической готовностью умереть.

Да кто бы его таким и не признал, если бы увидел, как он мастерски управляется с бешено несущейся лошастью Жан-Робера, которая была, скорее, похожа на хищную птицу, уносящую свою добычу, чем на скакуна, покорного своему всаднику.

После часа неистовой скачки Жюстен остановился у дверей пансиона. Он сделал немногим более пяти лье, так что, когда он спрыгнул с лошади и позвонил, было ровно восемь часов.

В доме давно все уже встали. Мадам Демаре была одна в своей спальне и заканчивала туалет.

Жюстен послал сказать ей, что ему необходимо переговорить, не теряя ни минуты.

Столь раннее посещение чрезвычайно удивило начальницу, и она велела ему ответить, что примет его через четверть часа.

Но Жюстен передал ей, что дело, по которому он приехал, настолько неотложно, что не позволяет терять ни минуты, а потому он настоятельно просит, чтобы его приняли тотчас же.

Мадам Демаре встревожилась. Она надела капот и отперла дверь, чтобы войти в приемную, но Жюстен уже стоял перед ней.

Он схватил ее за руку и запер за собой дверь на ключ.

Начальница совершенно растерялась, но, когда взглядела в его освещенное утренним солнцем лицо, ее поразила и его смертельная бледность, и выражение мрачной энергии, которой она в нем никогда не замечала, и она громко вскрикнула:

— Господи! Да что же случилось?

— Несчастье, и притом очень серьезное! — ответил Жюстен.

— С вами или с Миной?

— С нами обоими.

— Ах ты, Господи! Переговорить мне с ней или вы хотите видеться с ней сами?

— Да ее уже больше здесь нет.

— Как — нет? Где же она?

— Я не знаю.

Мадам Демаре смотрела на Жюстена Корби, как на сумасшедшего.

— Ее здесь нет, а вы не знаете, где она... Что это значит?

— Это значит, что ее выкрали сегодня ночью.

— Да вчера вечером я сама проводила ее в ее комнату и оставила там с мадемуазель Сюзанной де Вальженёз.

— Очень может быть, но теперь ее там нет.

— Ах, Господи! — вскричала Демаре, вздевая глаза и руки к небу. — Да уверены ли вы в том, что говорите?

Жюстен достал листок, который принес ему Баболен.

— Вот прочтите, — сказал он.

Мадам Демаре быстро пробежала записку глазами.

Он узнала почерк девушки, и ей стало плохо.

Жюстен подхватил ее и усадил в кресло.

— Ах, если это правда, то я должна на коленях просить у вас прощения за ваше горе! — проговорила она.

— Это правда, — согласился Жюстен, — но не станем падать духом, по крайней мере, до тех пор, пока не увидим, что помочь этому горю невозможно.

— Но что же делать? Что делать? — стонала она.

— Прежде всего нужно ждать, а до тех пор следить, чтобы никто не входил ни в комнату Мины, ни в сад.

— Ждать?! Кого или чего?

— Полицейского агента, который будет через час здесь.

— Что? — с испугом спросила Демаре. — Сюда... полиция?

— Разумеется.

— Да ведь если здесь побывает полиция, все заведение мое поггло!

Этот эгоизм глубоко огорчил Жюстена.

— Но как же быть иначе, сударыня? — спросил он холодно.

— Если есть возможность, то избавьте меня от скандала.

— Я не знаю, что вы называете скандалом! — возразил Жюстен, хмурия брови.

— Как, вы не знаете, что я называю скандалом? — вскричала начальница, всплескивая руками.

— Нет. Я называю скандалом ситуацию, когда женщина, которой моя мать поручила свою дочь, требует, чтобы я молчал, как только я хочу забрать у нее девушку.

Ответ был до того меток, что мадам Демаресовершенно растерялась.

— Да, но после этого все матери отберут у меня своих дочерей, — проговорила она сквозь слезы.

— А я, сударыня, будь я на месте вашего судьи, приказал бы укрепить над дверями вашего пансиона такую вывеску, которая отбила бы у каждого охоту даже заглядывать сюда! — вскричал Жюстен. Его возмущал эгоизм этой женщины, способной даже при виде его горя думать только об интересах своего заведения.

— Но ведь вред, который вы мне причините, вашему горю не поможет.

— Это верно, но он поможет другим избежать моей участи!

— Боже мой! Ну, хоть ради той любви, которой я всегда окружала Мину, не губите меня!

— Ради того доверия, которое я всегда имел к вам, сударыня, ни просите меня ни о чем!

По выражению его лица мадам Демаре поняла, что Жюстен настроен весьма решительно и что надеяться ей больше не на что.

Она вдруг приняла вид полнейшей покорности.

— Пусть будет по-вашему, — сказала она, — я молча перенесу это испытание.

Жюстен кивнул, как бы говоря, что это самое лучшее, что она может сделать.

Несколько минут оба молчали.

— Позвольте и мне предложить вам несколько вопросов, — сказала наконец мадам Демаре.

— Сделайте одолжение.

— Каким образом объясняете вы исчезновение Мины?

— Теперь я этого еще не знаю. Но полиция сообщит мне о результатах розыска.

— А вы уверены, что она исчезла против своей воли?

При этом оскорблении его чистой невесты сердце Жюстена болезненно сжалось.

— Как вы, женщина, которая знает ее целых шесть месяцев, можете предлагать мне подобные вопросы? — вскричал он.

— Я хотела спросить, уверены ли вы в ее любви?

— Да ведь вы читали ее письмо. Кого зовет она на помощь?

— Значит, ее увезли насильно?

— Вне всякого сомнения.

— Но ведь это положительно невозможно! Окна запираются у нас очень крепко, а стены такие высокие... Наконец, Мина могла кричать.

— Да, но вы забываете, что лестницы есть для всяких окон и платки для всяких ртов.

— Были вы в комнате Мины?

— Нет, не был.

— Да ведь это же первое, что вам следовало сделать! Пойдемте туда сейчас же!

— Напротив! Прошу вас, не ходите туда!

— Однако ведь только там мы можем узнать наверняка, что ее там нет.

— Но это письмо...

— А что если по каким-нибудь темным соображениям, которых я, разумеется, не знаю, письмо это фальшивое и прислано вам нарочно, а Мина преспокойно сидит в своей комнате.

Жюстена словно ослепило.

Он был до того сбит с толку всем этим происшествием, что даже безумная надежда была желанной гостьей его сердца, и он, вопреки совету Сальватора, решил пойти в отдельную комнату Мины.

Подойдя к двери, мадам Демаре тихонько постучала, не получив ответа, постучала сильнее, затем еще и еще сильнее, но ответа не было.

Она попробовала было отпереть дверь силой, но и это ни к чему не привело — дверь была заперта изнутри.

Начальница предложила послать за слесарем, но Жюстен, которого это разочарование довело до прежней степени отчаяния, вспомнил совет Сальватора и наотрез отказался.

— Так пройдемте, по крайней мере, в сад и посмотрим, нельзя ли увидеть что-нибудь в окна? — сказала мадам Демаре.

— Вы забываете, что вход в сад теперь строго воспрещен! — сказал Жюстен.

— Даже мне?

— И вам, как всем остальным.

— Однако, позвольте, я у себя в доме — хозяйка!

— Ошибаетесь, сударыня. Повсюду, куда вынужден проникнуть закон, хозяином делается он, и именем закона я запрещаю вам входить в сад.

Он запер дверь на два оборота ключа и положил его себе в карман.

Мадам Демаре очень хотелось закричать, позвать на помощь и, если представится надобность, выпроводить Жюстена даже при содействии полицейского комиссара, но она вовремя сообразила, что этот кроткий человек мог действовать с такой твердостью и уверенностью, только рассчитывая на сильную поддержку, а потому и воздержалась.

Жюстен стоял перед ней, опираясь на дверь.

— И долго ли вы намерены стоять здесь, как часовой? — спросила она.

— До тех пор, пока не приедут люди, которых я жду.

— Откуда же это они явятся?

— Из Парижа.

— В таком случае позвольте мне оставить вас здесь одного на несколько минут.

— Сделайте одолжение.

Жюстен поклонился.

Мадам Демаре вернулась к себе в комнату, наскоро оделась, отперла окно и принялась смотреть на дорогу в Париж.

Около получаса спустя она увидела карету, которая крупной рысью подкатила к пансиону и остановилась.

Из нее вышло двое мужчин, Сальватор и Жакаль.

Жакаль только что хотел позвонить, как дверь пансиона отворилась сама собой или, вернее, ее отпер Жюстен, который по стуку экипажа догадался, кто приехал, и бросился им навстречу.

Сальватор заметил его бледность, взял за руку и, дружески пожимая ее, проговорил:

— Полноте, успокойтесь, дорогой Корби. Поверьте, что в жизни есть много горестей гораздо ужаснее, чем ваша.

Говоря это, он думал о том, что должна пережить Кармелита, когда очнется, придет в себя и узнает о смерти Коломбо.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Обыск

От Сальватора Жакаль узнал, что Жюстен жених Мины. Он низко поклонился ему и почтительно спросил, входил ли кто-нибудь до них в сад и в спальню девушки?

— Нет, никто, — ответил Жюстен.

— Вы в этом уверены?

— Вот ключ от сада.

— А где ключ от комнаты пропавшей особы?

— Она заперта изнутри.
— А! — протянул Жакаль.

Он достал табакерку, втянул носом огромную понюшку табаку и прибавил:

— Ну, сейчас мы все это и увидим.

Жюстен провел его в нечто вроде приемной, расположенной между садом и двором. Отсюда же начинался и коридор, к которому примыкала комната Мины.

Жакаль осмотрелся.

— А где начальница заведения? — спросил он.

В это мгновение вошла мадам Демаре.

— Я к вашим услугам, — сказала она.

— Это те господа, которых я ждал из Парижа, — отрекомендовал Жюстен.

— Было ли вам известно что-нибудь об исчезновении молодой особы до приезда этого господина? — спросил Жакаль, указывая на Жюстена.

— Нет, да я и теперь еще не уверена в том, что она исчезла. Мы еще не были в ее комнате, — ответила мадам Демаре, чуть не плача.

— Не извольте беспокоиться, мы сейчас туда и войдем, — сказал Жакаль.

Он сдвинул на нос очки, которыми, по-видимому, лишь маскировал глаза, и внимательно осмотрел поверх них фигуру мадам Демаре, потом надвинул их на прежнее место и покачал головой.

Жюстен и Сальватор с нетерпением ожидали, когда он продолжит допрос.

— Не угодно ли вам будет войти в гостиную, — предложила мадам Демаре. — Там гораздо лучше.

— Очень вам благодарен, — отвечал Жакаль и, еще раз оглядевшись, сообразил, что как хороший полководец расположил свой лагерь на самой выгодной позиции. — Но прежде всего, я попрошу вас хорошенько обдумать всю серьезность вашего положения как содержательницы пансиона, у которой пропала одна из воспитанниц, и советую вам как следует взвесить свои ответы.

— О, могу вас уверить, что большего несчастья я и представить себе не могла! — отвечала мадам Демаре, отирая слезы. — А что касается ответов, то к чему мне их взвешивать, если я стану говорить только правду?

Жакаль одобрительно кивнул и тотчас спросил:

— В котором часу ложатся воспитанницы?

— Зимой в восемь.

— А надзирательницы?

— В девять.

— Но некоторые остаются и позднее?

— Да, одна, дежурная.

— И когда она ложится?

— Часов в двенадцать или в половине двенадцатого.

— А где она спит?

— На первом этаже.

— Значит, над комнатой мадемуазель Мины?

— Нет. Дежурная спит в комнате, которая примыкает к дортюару и выходит окнами на улицу, а комната Мины выходит в сад.

— А где ваша комната, сударыня?

— Моя комната выходит окнами тоже на улицу и примыкает к гостиной. Она на первом этаже.

— Так что ни одно из ваших окон не выходит в сад?

— Моя уборная окнами в сад.

— В котором часу вы вчера заснули?

— Около одиннадцати.

— А! — опять протянул Жакаль. — Теперь я обойду дом. Мсье Сальватор, пойдем со мной, а вы, мсье Жюстен, посидите здесь и постарайтесь занять вашу даму.

Молодые люди повиновались ему, точно он был генералом, а они солдатами в его армии.

Мадам Демаре упала в кресло и зарыдала.

— Эта женщина тут ни при чем, — пробормотал Жакаль, проходя через двор к калитке на улицу.

— Почему вы это заключаете? — спросил Сальватор.

— По ее слезам, — ответил Жакаль, — виноватые только дрожат, но никогда не плачут.

Сыщик принялся тщательно осматривать дом.

Он стоял как раз на углу улицы и пустынного, но все-таки мощного переулка.

Жакаль пошел по этому переулку, как охотничья собака по следу дичи.

С левой стороны шагов на пятьдесят тянулась высокая стена пансионского сада, из-за которой виднелись вершины деревьев.

Жакаль шел вдоль нее и оглядывался по сторонам, что-то напряженно выискивая.

Сальватор шел за ним.

Наконец, сыщик остановился и покачал головой.

— Прескверный переулок, особенно ночью! — проговорил он. — Их, кажется, и строят специально для воров и похитителей!

Он прошел еще шагов двадцать и поднял кусочек штукатурки, очевидно отпавший от карниза, затем второй и третий.

Несколько секунд он внимательно разглядывал их, потом тщательно завернул в платок и спрятал в карман. Затем поднял еще один кусок и перебросил его через стену.

— Вы думаете, они пробрались отсюда? — спросил Сальватор.

— А вот сейчас и увидим. Пойдемте обратно.

Они застали Жюстена и мадам Демаре на том же месте, где и оставили их.

— Ну что? — спросил Жюстен.

— Наклевывается.

— Ради Бога! Вы нашли какие-нибудь следы?

— Вы ведь, кажется, музыкант, значит, должны знать пословицу: "Не пляши быстрее скрипки". На этот раз скрипкой оказы-

ваюсь я. Идите за мной, только не обгоняйте меня. Позвольте мне ключ от сада.

Жюстен подал ему ключ, вышел в коридор и оттуда крикнул:

— Здесь дверь в комнату Мины.

— Хорошо, хорошо! Но всему свое время. Комнатой мы займемся потом.

Жакаль отпер дверь в сад, остановился на пороге и окинул взглядом пространство, которое ему предстояло изучить в подробностях.

— Хорошо, — сказал он, — но ходить здесь надо очень осторожно, как домашние куры ходят по полю. Если вам угодно идти за мной, то идите, но по порядку: впереди всех — я, за мной — мсье Сальватор, далее — мсье Жюстен, а за ним — мадам Демаре. Отлично!.. Пошли.

Было очевидно, что он направляется именно к той части стены, которую только что осматривал снаружи; тем не менее, он пошел сначала вдоль аллеи, которая пересекала сад по диагонали, чтобы пройти по такому же углу, какой составляли улица и переулок.

Прежде чем значительно отдалиться от дома, Жакаль остановился и поверх очков взглянул на окна комнаты Мины. Ставни их были заперты.

— Гм! — промычал он и пошел дальше.

На аллее, усыпанной желтым песком, не было ничего необыкновенного, но, пройдя шагов пять вдоль стены, Жакаль остановился и, беззвучно рассмеявшись, показал Сальватору кусочек известки, который сам же перебросил с переулка, и совершенно свежий след на грядке бокового цветника.

— Вот оно! — проговорил он.

Сальватор, Жюстен и мадам Демаре напряженно всматривались в то, на что он указывал.

— Так, значит, вы думаете, что бедняжку похитили отсюда? — спросил Сальватор.

— Нисколько в этом не сомневаюсь.

— Господи, Господи! — лепетала мадам Демаре. — Похищение из моего пансиона...

— Послушайте, мсье Жакаль, — проговорил Жюстен, — ради всего святого, скажите нам что-нибудь определенное.

— Определенное? — переспросил Жакаль. — Да посмотрите сами. Определеннее ничего и быть не может.

Пока Жюстен, нагнувшись, всматривался в след, Жакаль, убедившийся в своей победе, достал табакерку и, набивая себе нос табаком, рассматривал землю поверх очков, а мадам Демаре из-под очков.

— И что же вы здесь видите? — спросил, наконец, Жюстен с заметным нетерпением.

— Вижу две глубокие ямки, соединенные прямой линией.

— Разве не ясно, что это следы лестницы? — заметил Сальватор, обращаясь к Жюстену.

— Bravo! Разумеется! Совершенно верно.

— Хорошо, хорошо, продолжайте! — похвалил Сальватора Жакаль.

— Земля была сыра, — сказал тот, — концы лестницы врезались в нее по ступеньку, да и ступенька вошла почти на целый дюйм.

— Теперь нам нужно узнать, сколько человек должно было встать на эту лестницу, чтобы заставить ее так глубоко врезаться в землю, — сказал Жакаль.

— Сосчитаем следы, — предложил Сальватор.

— О! Следы — вещь очень сомнительная, не говоря уж о том, что двое людей могут ступить в один и тот же след. У нас есть такие молодцы, которые всегда так скрывают свои следы.

— Так что же тогда делать?

— Очень просто.

Жакаль любезно обратился к мадам Демаре, которая понимала из всего этого разговора ровно столько же, как если бы он велся на арабском языке.

— Сударыня, — сказал он, — есть ли у вас в доме переносная лестница?

— Есть, у садовника.

— А где она?

— Вероятно, в сарае.

— А где сарай?

— Вон там... маленькое строение, крытое соломой.

— Оставляйтесь на месте! Я принесу ее сам.

С замечательной ловкостью Жакаль перепрыгнул через следы, стараясь не наступить на песок и клумбы, где виднелось множество следов, на которые он, наверно, умышленно не обращал сначала никакого внимания.

Минуты через две он возвратился бегом с лестницей в руках.

— Прежде всего, исследуем одну вещь, — сказал он и приставил лестницу нижним концом к следам. — Хорошо! Из этого видно, что похитители, возможно, воспользовались той самой лестницей, которая теперь у нас в руках. Посмотрите: стойки и следы совпадают.

— Но мне кажется, что все лестницы делаются приблизительно одинаковой ширины, — заметил Сальватор.

— А эта шире обыкновенных. У вашего садовника, мадам Демаре, вероятно, есть ученик или, может быть, сын?

— Да, у него есть мальчик лет двенадцати.

— Ну, вот видите. Ему помогает мальчик, которого он, наверно, учит своему ремеслу. Он-то и купил лестницу пошире, чтобы ребенок мог влезать на нее вместе с ним.

— Ради Бога, мсье Жакаль, займемся Миной! — взмолился Жюстен.

— Да мы только ею и занимаемся, но не прямо, а издали.

— Да, но это заставляет нас терять время.

— В подобных делах, сударь, — возразил сыщик, — время — вещь второстепенная. У нас на этот раз только два предположения: или похититель вашей невесты везет ее за границу Франции и, значит, теперь так далеко, что нам его все равно не догнать, или же он прячет ее где-нибудь в окрестностях Парижа, и мы все равно не позже трех дней узнаем, где она.

— О, да услышит вас Господь, мсье Жакаль! Но вы сказали, что узнаете, сколько человек их здесь было?

— Это-то я и делаю.

Жакаль прислонил лестницу к стене на расстоянии примерно метра от первого следа и стал подниматься по ней, останавливаясь на каждой ступеньке, чтобы посмотреть, насколько концы боковых стоек врезались в землю.

Когда он остановился на шестой ступеньке, оказалось, что концы врезались всего дюйма на три.

Взобравшись на половину лестницы, Жакаль смог окинуть взглядом весь сад и заметил какого-то человека в пиджаке, который стоял, прислонясь к косяку коридорной двери.

— Эй! Поди-ка сюда, любезный! — крикнул он. — Ты кто такой?

— Я служу у госпожи Демаре в садовниках, — ответил тот.

— Сударыня, потрудитесь подойти и подтвердить личность этого человека. Приведите его сюда по той же дороге, по которой пришли и мы.

Мадам Демаре покорно направилась к дому.

— Я уже говорил вам, а теперь повторяю, мсье Сальватор, — эта женщина в похищении не участвовала, — сказал Жакаль.

Начальница вскоре возвратилась с садовником, который очень удивился, увидя в саду человека, да еще распоряжающегося его собственной лестницей.

— Работал ли ты вчера в саду, мой милый? — спросил Жакаль.

— Никак нет. Вчера был вторник масленой недели, а в таких хороших домах, как у мадам Демаре, по праздникам не работают.

— Хорошо. А третьего дня?

— Ну, третьего дня был масленичный понедельник, а в этот день я всегда отдыхаю.

— Ну а перед тем?

— Перед тем, то есть четвертого дня, было воскресенье.

— Значит, ты не работал в саду уже целых три дня?

— Да ведь я не о двух головах, сударь, — очень серьезно возразил садовник, — и в ад угодить не собираюсь.

— Хорошо. Это мне и нужно. Значит, твоя лестница уже три дня в сарае?

— Ну, не совсем, потому что теперь вы на ней стоите.

— Вижу, парень не промах, — сказал Жакаль, — но могу поручиться, что похищениями он не занимается.

Садовник вытаращил на него глаза.

— Теперь, мой милый, потрудись влезть сюда, ко мне, — приказал сыщик.

Простодушный парень вопросительно взглянул на мадам Демаре, точно ища в ее глазах ответа на трудный для него вопрос: следует ли ему слушаться этого чудака.

— Делайте то, что вам говорят, — сказала хозяйка.

Садовник влез ступеньки на три.

— Ну, что? — спросил Жакаль у Сальватора.

— Вошла глубже, но все-таки еще не до ступеньки, — ответил тот.

— Сойди, — приказал Жакаль садовнику.
Парень одним прыжком очутился на земле.

— Сделано! — объявил он.

— Заметьте, как мало он говорит, — сказал Жакаль, — но все, что он говорит, кстати.

Садовник засмеялся. Это замечание польстило ему.

— Ну, теперь, мой милый, — продолжал Жакаль, — возьми мадам Демаре на руки.

— Гм! — промычал садовник.

— Возьми мадам Демаре на руки, — повторил Жакаль.

— Не смею! — ответил садовник.

— Да, и не смейте, Пьер! — вскричала начальница.

Жакаль спустился на землю.

— Полежай туда, где я стоял, — приказал он садовнику.

Пьер в два приема очутился на лестнице.

Между тем Жакаль молча подошел к мадам Демаре, подхватил ее и, прежде чем она успела понять, в чем дело, поднял ее на руки.

— Что такое? Что вы делаете! — закричала она.

— Предположим, сударыня, что я влюблен в вас и хочу вас похитить, — совершенно равнодушно ответил Жакаль.

— Вот это да! Вот это затея! — ахнул садовник.

— Нет-нет, как же это... послушайте, милостивый государь! — кричала Демаре, барахтаясь.

— Успокойтесь, сударыня! — продолжал Жакаль. — Наш друг Пьер заметил совершенно верно — это только затея.

Он перехватил мадам Демаре поудобнее и стал подниматься с ней на лестницу.

— Пошла глубже! — крикнул Сальватор, глядя на нижние концы лестницы.

— А до ступеньки дошла? — спросил Жакаль.

— Нет еще.

— Ну, так нажмите ее еще вашей ногой.

Сальватор поставил ногу на вторую ступеньку.

— Теперь вошла, как и та, — сказал он.

— Хорошо, спускаемся.

Он сошел, поставил мадам Демаре на ноги, приказал спустившемуся следом Пьеру оставаться на аллее и вытащил лестницу из образовавшихся ямок.

— Любезнейший мсье Жюстен, — сказал он. — Я имею некоторые основания предполагать, что мадам Демаре несколько тяжелее мадемуазель Мины, а я полегче человека, который похитил вашу невесту, так что в этом отношении одно другое уравнивает.

— И вы из этого заключаете...

— Что мадемуазель Мина похищена тремя людьми, из которых двое поднимали ее на лестницу, а третий придерживал эту самую лестницу ногой. Теперь нам остается узнать, кто были эти трое людей.

— А! Понимаю! — вскричал садовник. — Сегодня ночью украли одну из наших воспитанниц!

Жакаль сдвинул очки на кончик носа и уставился поверх них на Пьера, потом, вдоволь насмотревшись на него, водрузил их на прежнее место и, обращаясь к начальнице, наставительно сказал:

— Мадам Демаре, никогда не расставайтесь с этим человеком, он — истинноеместилище ума! А ты, мой милый, возьми свою лестницу и отнеси ее на место. Она нам больше не нужна.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Шаг

Садовник подхватил лестницу и направился к сараю, а Жакаль, подняв очки на лоб, достал табак и принялся его нюхать, пристально рассматривая следы на земле.

Через несколько минут он вытащил из кармана складной нож с восемью тонкими лезвиями, отрезал от куста прутик и принялся вымерять им следы, делая на соответствующем месте зарубки.

— Вот следы, которые идут от стены к окну и обратно. Люди эти, по-видимому, очень хорошо знали пансионские обычаи и не считали нужным предпринимать особые предосторожности... только вот...

Жакаль был, казалось, чем-то озадачен.

— Только вот странность... Все следы как один. Неужели все сделал один человек, а двое только ждали его.

— Сапоги действительно одинакового размера, — заметил Сальватор, — но принадлежали они не одному человеку, а двум.

— Неужели?! Из чего вы это заключаете?

— Из того, что гвозди на подметках, которые отпечатались совершенно явственно, расположены не одинаково.

— А ведь и в самом деле! — вскричал Жакаль. — Совершенно верно! Через каждые два шага появляется сапог с левой ноги, с гвоздями, расположенными в виде треугольника. Очевидно, один из этих молодцов — франкмасон.

При этих словах Сальватор слегка покраснел.

Жакаль не заметил или сделал вид, что не замечает этой перемены в лице.

— Кроме того, — продолжал Сальватор, — один из этих людей хромал на правую ногу. Вы, вероятно, замечаете, что правый сапог углубляется в землю с одной стороны больше, а с другой меньше.

— И это совершенно верно! — подтвердил Жакаль. — Вы были когда-нибудь сыщиком?

— Нет, — ответил Сальватор, — но я охотник, вернее, когда-то был охотником.

— Пойдите! — вскрикнул Жакаль.

— А что?

— Вот еще третий след, и совершенно не похожий на прежние. Те широкие и неуклюжие, а этот узкий, стройный, изящный — след аристократа или светского аббата!

— Аристократа, мсье Жакаль?

— Да? А почему вы ухватились именно за это предположение? Мне кажется, что на такое дело точно так же способен и аббат, — сказал Жакаль, никогда не изменявший своим вольтерьянским взглядам.

— Наверно, вам это будет неприятно, но предположение едва ли оправдывается.

— Почему?

— Потому что времена аббатов Гонди прошли. Кроме того, теперешние аббаты верхом не ездят, а позади каждого из этих узких следов виднеются бороздки, очевидно, сделанные шпорами.

— И это верно! — вскричал Жакаль. — Клянусь честью, мсье Сальватор, вы ведете дело так ловко, точно это ваша профессия!

— Дело в том, что большую часть своей жизни я действительно посвящаю наблюдениям.

— Ну, так помогите мне теперь осмотреть следы до окна.

— Это-то уж совсем нетрудно! — сказал Сальватор.

Следы действительно вели прямо к окну.

Жюстен шел за сыщиком, не сводя с него глаз и не пропуская ни одного его слова. Он был похож на скупца, у которого украл сокровище, собранное в течение многих и долгих лет труда и лишений. Сам он уже потерял надежду вернуть его, но вдруг встретил более сметливых людей, которые напали на след похитителей. Что касается мадам Демаре, то она была совершенно подавлена и ходила за ними почти бессознательно.

Дойдя до окна, следы стали вырисовываться на земле гораздо явственнее.

— Кто-то сказал мне, что вы, мадам Демаре, или вы, мсье Жюстен, хотели отпереть дверь в комнату мадемуазель Мины? — спросил Жакаль.

— Да, мы хотели, — ответили оба в один голос.

— И оказалось, что она заперта изнутри на задвижку?

— Мина всегда запиралась по вечерам на задвижку, — сказала мадам Демаре.

— Значит, к ней вошли через окно...

— Гм! — проговорил Сальватор. — Но ставня заперта, кажется, весьма основательно.

— Ну, отворить-то ставню дело вовсе не трудное! — возразил Жакаль.

Он поднял руку и попробовал отпереть ее.

— Ого! — сказал он. — Да она не то что просто притворена, а заперта изнутри.

— Вот это, кажется, уже потруднее! — заметил Сальватор.

— А вы уверены, что дверь заперта на задвижку? — спросил сыщик у Жюстена.

— Я старался отпереть ее изо всех сил.

— Да, может быть, она просто замкнута?

— Но шпингалеты тоже задвинуты, как сверху, так и снизу.

— Ла-ла-ла! — пропел Жакаль. — Ну, если и дверь, и окно заперты изнутри, то, значит, здесь работали люди очень ловкие!

Он еще раз рванул ставню.

— Я знаю только двоих, кто умеет входить и выходить через запертые окна и двери, и, если бы один из них не был в Тулоне, а другой в Брестоне, я сказал бы, что это работа Робишона или Жибасье.

— А разве есть способ входить в запертые двери? — спросил Сальватор с удивлением.

— О! На свете есть способ выходить даже из таких мест, откуда вовсе нет выхода! Это доказал один из моих предшественников, Латюд. Но, к счастью, способы эти доступны не каждому.

Жакаль опять набил нос табаком и прибавил:

— Войдемте теперь в дом.

Он вошел первым и остановился у двери Мины.

— У вас должны быть двойные ключи от всех комнат пансионера, — сказал он, обращаясь к мадам Демаре.

— Да. Но только едва ли это принесет какую-нибудь пользу, потому что дверь заперта изнутри на задвижку.

— Это все равно. Потрудитесь принести ключ.

Минутой через две мадам Демаре вернулась с ключами.

— Извольте, — сказала она.

Жакаль воткнул ключ в замочную скважину и попробовал повернуть его.

— Второй ключ в замке с той стороны, — сказал он, — но замок не заперт на второй оборот. Что доказывает, что дверь запирали снаружи, — прибавил он как бы про себя.

— Но в таком случае, как же могли воры, стоя с этой стороны, запереть задвижку, которая расположена с той стороны двери? — спросил Сальватор.

— А вот сейчас мы вам это покажем. Это изобретение Жибасье, и за эту выдумку его сослали на галеры вместо десяти лет только на пять. Позовите-ка слесаря.

Пришел слесарь и отпер дверь...

Все хотели было броситься в комнату Мины.

Но Жакаль тут же остановил их.

— Тише! Тише! — крикнул он. — Все зависит от первого осмотра. Все наши открытия висят на ниточке, — прибавил он, улыбаясь, точно в этом слове заключалась какая-нибудь особо тонкая шутка.

Он вошел один и осмотрел замок и задвижку. По-видимому, этот первый осмотр не удовлетворил его. Он снял очки, которые, в сущности, только мешали его рысьим глазам, еще раз тщательно осмотрел дверь и с улыбкой торжества ухватил что-то двумя пальцами.

— Ага! — радостно проговорил он. — Ведь я говорил вам, что все наше дело висит на ниточке! Ну, вот и сама эта ниточка!

Он показал всем присутствующим шелковую нитку, сантиметров в пятнадцать длиной, которая завязла между задвижкой и самой дверью.

— Ею дверь и заперли? — спросил Сальватор.

— Да, — ответил Жакаль. — Только в то время нитка эта была метровой длины, а это только обрывочек, на который воры не обратили внимания.

Слесарь смотрел на него, ничего не понимая.

— Вот так штука! — проговорил он. — Я думал, что умею отпирать

любые замки на свете, а оказывается, что я с моим умением глупее малого ребенка.

— Очень рад, что могу научить вас еще чему-нибудь, — сказал Жакаль. — Вот сейчас увидите, как это делается. На ручку задвижки надевают нитку, сложенную вдвое. Пользоваться при этом следует непременно шелковой ниткой, потому что она и крепче, и удобнее обычной, и длиннее она должна быть настолько, чтобы концы ее выходили наружу запертой двери. Итак, вы запираете дверь, берете оба конца нитки, натягиваете их, нитка двигает задвижку, и та запирается. После этого вы вытаскиваете нитку — и дело кончено. Но при этом иногда случается, что нитка защемятся между дверью и задвижкой и обрывается. Тогда является Жакаль и говорит: “Если бы этот дьявол Жибасье не был теперь “на даче”, я готов был бы держать пари, что это его работа!”

— Можем мы теперь войти в комнату, мсье Жакаль? — спросил Жюстен, почти пропустивший мимо ушей это объяснение, несмотря на всю его ценность для науки.

— Да, да, входите, милейший мсье Жюстен, — ответил сыщик.

Все вошли в спальню девушки.

— А! — вскричал Жакаль. — Вот след шагов от двери к постели и от постели к окну!

Он оглядел кровать и стоявший возле нее столик.

— Так! — продолжал он. — Барышня легла в постель и читала письма.

— Это мои! — вскричал Жюстен. — О, дорогая Мина!

— После этого она потушила свечку, и до этих пор все шло хорошо и спокойно.

— Из чего вы заключаете, что она потушила свечку сама? — перебил Сальватор.

— А вот видите ли? Фитиль и сейчас пригнут, будто его задули, а, судя по направлению, задували со стороны кровати. Однако вернемся чуть назад. Не удобно ли вам, мсье Сальватор, посмотреть на это глазами охотника?

Сальватор нагнулся.

— Ого! — протянул он. — Вот это уже новость: это след женщины!

— А что я вам говорил, мой любезнейший? “Ищите женщину!” Прав я был? Итак, вот след женщины... и притом женщины энергичной, которая ступает не только на носок, а прямо на каблук и всю подошву!

— Прибавьте к этому, что она еще и кокетлива, — сказал Сальватор. — Она шла по дорожкам сада, боясь запачкать ноги. Заметьте: все следы ее — песчаные, без малейшей примеси грязи.

— О! Мсье Сальватор! — вскричал сыщик. — Да ведь это истинное несчастье, что вы не посвятили себя нашему делу! Скажите только слово, и я с радостью сделаю вас своим помощником! Оставайтесь здесь!

Жакаль выбежал в сад, прошел по песчаной аллее к тому месту, где стояла лестница, и вернулся.

— Так и есть! — сказал он. — Женщина вышла из дома, прошла

по аллее, постояла у лестницы и вернулась по той же дороге, по которой пришла. Теперь я могу подробно рассказать вам, как все это было. Если бы я сам был участником этого дела, то и тогда бы не мог быть увереннее, чем теперь.

Все столпились вокруг него.

— Мадемуазель Мина пришла в свою комнату в обыкновенное время, — начал он. — Она была грустна, но спокойна и легла в постель. Вы видите, что постель едва измята. Она принялась за письма и плакала... вот и платок ее. Он скомкан и мокрый от слез.

— Дайте, дайте его мне! — сказал Жюстен порывисто.

Не ожидая ответа Жакаля, он схватил его и прижал к губам.

— Итак, она легла, читала и плакала, — продолжал Жакаль, — но так как вечно читать и плакать невозможно, она захотела спать и потушила свечу. Не важно, заснула она или нет. После того как свеча погасла, произошло следующее: в дверь постучали...

— Кто же? — спросила мадам Демаре.

— А! Сударыня! Вы хотите слишком много! Кто? Может быть, я скажу вам сейчас даже и это. Во всяком случае, это была женщина...

— Как это — женщина? — озадаченно прошептала мадам Демаре.

— Ну да, женщина — девушка, мать, сестра... Словом, "женщина". Я хотел только определить пол этого лица. Итак, женщина постучала в дверь, а Мина встала и отперла ей.

— Но разве она стала бы отпирать, не зная, кто к ней стучится? — снова перебила мадам Демаре.

— Да кто же вам говорит, что она этого не знала?

— Но особе незнакомой она все-таки не отперла бы.

— Разумеется! А подруге?... О, мадам Демаре, неужели мне нужно еще сообщать вам, что в пансионах бывают подруги, скрывающие в себе самую непримиримую и беспощадную вражду. Итак, она отперла подруге. За этой подругой шел человек в красивых сапогах со шпорами, а за ним человек в сапогах, подбитых гвоздями в виде треугольника. Кстати, как обыкновенно ложилась в постель мадемуазель Мина?

— Я вас не понимаю, — обиженно сказала мадам Демаре.

— Я хочу сказать, что она надевала на ночь?

— Зимой — рубашку и большой пеньюар.

— Хорошо. Ей закрыли рот платком, закутали ее в шаль и в одеяло — вон на кровати башмаки и чулки, а на стуле — юбки и платье, — и в таком виде вынесли ее через окно.

— Через окно? — переспросил Жюстен, — а почему же не через дверь?

— Потому что тогда пришлось бы проходить по коридору, и был риск наделать шуму и разбудить кого-нибудь. Да и из окна гораздо проще передать девушку человеку, который ждал ее в саду. Наконец, вот вам доказательство того, что ее вынесли именно через окно, хотя и окно и ставни заперты отлично.

Жакаль указал на большую дыру на кисейной занавеске окна. Было несомненно, что кто-то ухватился за нее и вырвал кусок материи.

— Итак, девушку вынесли через окно и переправили через стену;

после чего особа, оставшаяся в саду, отнесла лестницу на место, возвратилась в дом, заперла изнутри ставни и окно, а посредством шелковой нити задвинула задвижку и пошла спать.

— Да, но ведь когда она выходила из дортуара и возвращалась в него, ее должны были видеть.

— А разве у вас здесь нет больше ни одной пансионерки, имеющей отдельную комнату?

— Есть. Но только одна.

— Ну, так это дело ее рук. Милейший мсье Сальватор — женщина найдена.

— Как? Вы думаете, что подруга Мины была причиной ее похищения?

— Я говорю не причиной, а исполнительницей, и не предполагаю, а смело утверждаю это.

— Сюзанна? — вскричала мадам Демаре.

— И поверьте мне, что это было именно так! — подтвердил Жюстен.

— Но почему вы-то решили, что это так?

— По той антипатии, которую я к ней почувствовал с первого же раза, как ее увидел. Верите ли, это было точно какое-то предчувствие, что через нее мне грозит великое горе! И с той самой минуты, как мсье Жакаль заговорил о женщине, мадемуазель Сюзанна не выходила у меня из головы. Обвинять ее я, разумеется, не смел, но подозревать подозревал. Ради Бога, позовите ее сюда!

— Нет, — возразил Жакаль, — звать ее сюда мы не станем, а лучше пойдем к ней сами. Не угодно ли вам, сударыня, проводить нас в комнату этой особы.

Мадам Демаре утратила всякую способность возражать Жакалю и покорно пошла вперед.

Комната мадемуазель Сюзанны располагалась на нижнем этаже и примыкала к коридору.

— Постучитесь, — тихо сказал Жакаль начальнице.

Она постучалась, но ответа не было.

— Наверно, она пошла на перемену в одиннадцать часов. Позвать ее сюда?

— Нет, лучше зайдем в ее комнату.

— Ключа в двери нет.

— Так ведь у вас есть вторые ключи от всех дверей.

— Ах, да!

— Ну, так сходите за ключом, но, если встретите мадемуазель Сюзанну, не говорите ей ни слова.

Мадам Демаре сделала знак, что на нее можно положиться, и пошла вниз.

Через несколько минут она возвратилась с ключом и подала его Жакалю. Дверь отперли.

— Господа, — сказал сыщик, — подождите меня в коридоре. Мы войдем с мадам Демаре.

Когда они очутились в комнате Сюзанны, он спросил:

— Куда она прячет свою обувь?

— Вот сюда, — ответила начальница, указывая на соседний кабинет.

Жакаль вошел туда, взял с полки пару ботинок, отделанных голубым кунным мехом, и осмотрел их.

Подошвы были почти сплошь покрыты слоем желтого песка, которым была усыпана аллея.

— Бывают ли ваши воспитанницы в огороде? — спросил Жакаль.

— Нет! — возразила начальница. — Огород выходит в уединенный переулок. Он, правда, не отгорожен от сада, но мы строго воспрещаем воспитанницам ходить туда.

— Хорошо, — сказал Жакаль, — теперь я знаю все, что мне нужно. Как вы думаете, где теперь мадемуазель Сюзанна.

— Да, по всей вероятности, на дворе для прогулок.

— Которая из комнат выходит окнами на этот двор?

— Гостиная.

— Отправимся туда, сударыня.

Он вышел в коридор, а мадам Демаре заперла за ним дверь на ключ.

— Ну, что? — спросили Жюстен и Сальватор в один голос.

— Кажется, теперь женщина в наших руках, — сказал Жакаль, старательно набивая нос табаком.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Вальженёзы

Все молча направились в гостиную.

Гостиная, действительно, выходила окнами во двор и отсюда были видны все воспитанницы, вышедшие насладиться бледными лучами зимнего солнца.

Молодая девушка, значительно выше ростом, чем все остальные, прогуливалась поодаль, особняком.

Жакаль окинул весь двор одним взглядом, и одинокая фигура бросилась ему в глаза.

— Не это ли мадемуазель Сюзанна, вон там, в липовой аллее? — спросил он.

— Да, это она, — ответила мадам Демаре.

— Так позовите ее сюда.

— Только не знаю, пойдет ли она.

— То есть как это — вы не знаете?

— Да так, не знаю.

— Почему же ей не прийти?

— Сюзанна девушка очень гордая.

— Во всяком случае, позовите ее, а если она не пойдет, я сам схожу за ней.

Мадам Демаре вышла на балкон и махнула девушке рукой.

Сюзанна точно не видела ее.

— Если она и слепа, то, может быть, еще не оглохла, — заметил Жакаль.

Девушка оглянулась.

— Будьте так любезны, дитя мое, зайдите сюда, — сказала начальница, — вас здесь спрашивают.

Сюзанна направилась к балкону, но медленно и с чрезвычайно презрительным видом.

Таким образом, Жакаль и Сальватор имели достаточно времени рассмотреть ее.

Что касается Жюстена, то он был знаком с ней уже давно.

— Странно, — проговорил Сальватор, — я как будто где-то уже видел ее.

— А что вы о ней думаете? — спросил Жакаль, который рассматривал девушку поверх очков с неменьшим любопытством, чем Сальватор.

— Даю руку на отсечение, что она злая! — ответил тот.

— Ну, я своей руки на отсечение не дам, потому что класть руки под топор дело вообще опасное, — сказал Жакаль, — но, тем не менее, вполне разделяю ваше мнение. Губы поджатые, тонкие, глаза красивые, но жесткие. Теперь она встревожена, и посмотрите, какое у нее нехорошее выражение лица.

В это время Сюзанна вошла на балкон и остановилась перед мадам Демаре.

— Вы, по-моему, оказали мне честь позвать меня? — сказала она таким тоном, будто ее “осмелились” позвать.

— Да, дитя мое, — ответила начальница, — здесь есть особа, которая желает поговорить с вами.

Сюзанна прошла мимо нее в залу.

Увидя Жюстена с двумя неизвестными людьми, она слегка вздрогнула, но выражение ее лица не изменилось.

— Дитя мое, — лепетала между тем мадам Демаре, видимо, встревоженная злобой, которая сверкнула в глазах воспитанницы, — вот этот господин желает задать вам несколько вопросов.

Она указала на Жакаля.

— Вопросы? Мне? — презрительно переспросила девушка. — Но я вовсе не знаю этого господина.

— Он представитель власти! — поспешно объяснила начальница.

— Представитель власти? — повторила девушка. — А мне что до властей за дело?

— Успокойтесь, Сюзанна, — ласково проговорила мадам Демаре, — с вами хотят поговорить о Мине.

— Ну и что же?

Жакаль нашел, что настал его черед вмешаться в разговор.

— То, сударыня, — сказал он, — что мы желаем узнать некоторые подробности о мадемуазель Мине.

— Относительно нее я могу сообщить вам только то, что знает и этот господин.

Она указала на Жюстена:

— То есть, что однажды вечером он нашел ее в поле, во ржи, привел к себе, воспитал и хотел на ней жениться, но из Руана пришли

какие-то вести от какого-то неизвестного отца и из-за этого их свадьба не состоялась.

Жакаль смотрел на это существо, очевидно, преисполненное всевозможными пороками, с каким-то своеобразным восторгом, и каждое сказанное ею слово только увеличивало в нем это чувство.

— Нет, сударыня, мы хотели расспросить вас не об этом, а кое о чем другом, — сказал он.

— Тогда обратитесь с расспросами к самой мадемуазель Мине, потому что я сказала вам все, что знаю.

— К сожалению, мы не можем воспользоваться вашим советом, хотя он и хорош.

— Почему? — спросила Сюзанна.

— Потому что мадемуазель Мину похитили сегодня ночью.

— О! В самом деле? Бедная Мина! — произнесла девушка таким насмешливым тоном, что Жюстен вскрикнул, а Сальватор нахмурил брови.

Жакаль, которого этот ответ тоже, очевидно, возмущил, все-таки сделал молодым людям знак, чтобы они молчали.

— А мне думалось, — продолжал он, — что вы, ее ближайшая подруга, можете дать нам некоторые сведения как раз по этому поводу.

— Вы ошибаетесь, — возразила Сюзанна. — Мне нечего вам сказать, потому что я так же не знаю никаких подробностей об исчезновении моей ближайшей подруги, как не знала до сих пор, что она вообще исчезла.

— Мадемуазель, — вмешался Сальватор, — подумайте о том горе, которое переживают из-за этого жених и две женщины, которые привыкли считать эту девушку дочерью и сестрой!

— Я вполне понимаю горе этого господина и его семейства и от души сочувствую им, но что же мне делать? Мы расстались с Миной вчера вечером, в половине девятого, в то время, когда она шла в свою комнату, и с тех пор я ее больше не видела. Не это ли и нужно вам было узнать от меня, господи?

— Такой тон вовсе не подобает девушке ваших лет, мадемуазель, — строго проговорил Жакаль, отстегивая сюртук и показывая конец своего форменного шарфа, — а в особенности, если такая молоденькая девушка стоит перед представителем закона.

— Так почему же вы сразу не сказали мне, что вы полицейский комиссар? — проговорила Сюзанна с поразительной наглостью. — Тогда я и разговаривала бы с вами, как с полицейским комиссаром.

— Ну да пока оставим это, — перебил ее Жакаль. — Скажите, как вас зовут, ваше звание и положение в обществе.

— Значит, это формальный вопрос? — спросила девушка.

— Да, сударыня.

— Как меня зовут? Сюзанна де Вальженёз. Кто я такая? Дочь его светлости маркиза Дениса Рене де Вальженёза, пэра Франции, племянница господина Людовика-Клемана де Вальженёза, кардинала при римском дворе, и сестра графа Лоредана де Вальженёза, лейтенанта гвардии. Мое общественное положение? Я наследница полумиллионного дохода. Вот и все, что я считаю нужным сообщить вам.

Эти слова были произнесены с истинно царственным презрением, которое произвело на каждого из слушателей совершенно разное впечатление, кроме совершенно отупевшей мадам Демаре.

Жюстен понял все бессилие скромного учителя перед таким земным величием и задрожал.

Сальватор сделал шаг вперед и не то с любопытством, не то с угрозой, повторил:

— Сюзанна де Вальженёз!

— Мадемуазель Сюзанна де Вальженёз! — проговорил и Жакаль тоном человека, который едва не наступил на змею и вовремя отпрянул.

Он медленно спрятал свой шарф, застегнулся и задумался.

Это раздумье кончилось тем, что он очень низко поклонился и кротко произнес:

— Извините, мадемуазель, но я, право, не знал...

— Да, да, я понимаю! Вы не знали, что я дочь моего отца, племянница моего дяди и сестра моего брата. Но теперь вы это знаете и постарайтесь не забывать.

— Я в истинном отчаянии, что должен был причинить вам неприятность, — продолжал Жакаль. — Но умоляю вас винить в этом не меня, а печальные и тяжелые обязанности, которые налагает на меня род моей службы!

— Хорошо, — сухо ответила Сюзанна, — я постараюсь забыть о вас. И это все, о чем вы хотели спросить меня?

— Да, мадемуазель, но позвольте мне еще раз повторить вам, что я в отчаянии от того, что обидел вас, и высказать надежду, что вы не станете мстить мне за то, что я исполнял лишь то, что на меня возложило правительство.

— Повторяю, что постараюсь забыть про вас.

И, никому не поклонясь, Сюзанна вышла из залы, однако не в сад, а в коридор и оттуда в свою комнату.

Жакаль проводил ее униженным поклоном.

Жюстен едва сдерживал желание задушить ее, потому что теперь он был более чем когда-либо уверен, что Сюзанна содействовала исчезновению его невесты.

Сальватор подошел к нему и взял его за руку.

— Молчите! — проговорил он. — Ни с места! Ни одного движения, ни одного жеста!

— Ведь все погибло!

— Ничуть! Не погибло ничего, пока я говорю вам: “Надейся, Жюстен!” Я знаю Вальженёзов и повторяю: ничто не погибло, только не забудьте имени Жибасье.

Он подошел к Жакалю и сказал:

— Кажется, нам теперь больше нечего здесь делать?

— Да, да, совершенно верно, — в смущении заговорил тот, закрывая глаза очками, — я тоже думаю, что больше мы здесь ничего не узнаем...

— Да и узнали мы уже достаточно, — согласился Сальватор.

Жакаль сделал вид, что не слышал этого замечания, и подошел к

мадам Демаре, которая уже окончательно растерялась из-за оборота, какой приняло дело.

— Честь имею всепочтительнейше откланяться, — проговорил он.

Заметь, что никто не следит за ним, он подошел к ней еще ближе и тихо прибавил:

— Умоляю вас передать мадемуазель де Вальженёз, что я в совершеннейшем отчаянии и молю ее думать, что встречи нашей как бы вовсе и не бывало! Вы понимаете меня?

— Как бы вовсе и не бывало! Понимаю вас, — повторила начальница совершенно машинально.

Жакаль еще раз поклонился ей и сделал Жюстену и Сальватору знак, чтобы они шли за ним.

Сальватор, очевидно, решил отыскать Мину и помимо Жакаля; что же до внезапной метаморфозы этого человека, то он уже составил себе мнение, которое, однако, не считал нужным высказывать. Но Жюстен отнесся к делу иначе. Он ни за что не хотел упустить из виду следа, который мог повести его к Мине.

Как только они очутились на улице, он подошел к Жакалю и сказал ему:

— Мне нужно поговорить с вами, мсье Жакаль.

— Что вам угодно, мсье Жюстен? — спросил сыщик.

— Сколько мне помнится, вы начали дело с того, что сказали: “Надо искать женщину!” Потом объявили, что “женщина в наших руках”, и закончили тем, что “женщина эта — мадемуазель Сюзанна”?

— Разве я говорил все это? — с удивленным видом спросил сыщик.

— Да, вы сказали все это, и я только повторяю ваши собственные слова.

— Должно быть, вы ошибаетесь, мсье Жюстен.

— Мсье Сальватор свидетель.

Жакаль взглянул на Сальватора такими глазами, точно хотел сказать ему: “Вы меня понимаете, так избавьте же меня от него!”

Но Сальватор, хотя и понял все, отступать был не намерен, а потому и заговорил совершенно беспощадно.

— Что касается меня, — сказал он, — то если и мне не изменяет память, мсье Жюстен повторяет ваши слова совершенно правильно, так как вы сами говорили, что мадемуазель Сюзанна содействовала похищению Мины.

— Эх! — проговорил Жакаль, вытягивая губы. — Подобных вещей говорить никогда не следует до тех пор, пока их не докажешь! Ну если я сказал, что она содействовала... то, значит, я сказал глупость!

— Да вы и обвинили-то ее первый! — вскричал Жюстен. — Разве вы не помните, что говорили о ней в комнате бедной Мины.

— Вы выражаетесь неправильно, мсье Жюстен! Подозревать еще не значит обвинять.

— Значит, теперь вы ее даже и не подозреваете?

— Говоря точнее, я за целых тысячу миль от всякого подозрения. Бедное невинное создание! Сохрани меня Бог подозревать ее.

— Ну а как же теперь насчет ее тонких губ, дерзких глаз и нехорошего выражения лица? — издевался Сальватор.

— Да, да, издали она мне показалась именно такой! Ну а как взглянул поближе, и вижу, что выходит совсем другое: губки преграциозные, глаза гордые, а выражение лица такое возвышенное, благородное!

Но видя, что Жюстен не намерен удовольствоваться всем этим и хочет настаивать на первом мнении, которое он высказал о Сюзанне, еще не зная, что она — мадемуазель де Вальженёз, Жакаль счел за лучшее вскочить в свою карету.

— Заходите, заходите ко мне, мсье Жюстен! — говорил он, захлопывая дверцу. — Лучше всего сегодня же вечером. Я, как только приеду, пушу в дело всех своих и надеюсь, что сообщу вам радостные вести!

— Теперь отправляйтесь домой, Жюстен, — сказал Сальватор, дружески пожимая руку несчастного учителя, — а я даю вам слово, что ровно через сутки сообщу вам все, чего вам следует опасаться и на что надеяться.

Увидя, что Жакаль заперся в карете, он подошел к ней и крикнул:

— Что же это вы делаете, мсье Жакаль? Вы меня привезли сюда, вы же обязаны доставить и обратно! Кроме того, — прибавил он, усаживаясь рядом с сыщиком и снова запирая дверцу, — мне нужно еще поговорить с вами о Вальженёзах.

— В Париж! — крикнул кучеру Жакаль, которому, очевидно, было бы приятнее ехать одному. Карета быстро покатила в Париж.

Между тем Жюстен тихо брел домой пешком. Все происшедшее в это утро давило его какой-то нестерпимой тяжестью, и даже обещание Сальватора сулило мало надежды.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ,

из которой читатель обязан не пропустить ни одной строки

Жакаль забился в один угол кареты, Сальватор устроился в другом. Лошади бежали быстро.

Несмотря на фразу, которую он сказал, садясь в карету, Сальватор решил не прерывать хода размышлений сыщика и только молча наблюдал за ним. Жакаль, поднимая глаза, каждый раз встречал его насмешливый, почти презрительный взгляд. Это продолжалось до тех пор, пока какой угодно разговор не стал казаться сыщику сноснее этого взгляда, более удобным, чем необходимость выдерживать этот взгляд.

Он несколько раз поднял и опустил свои очки, усиленно понюхал несколько щепоток табаку, откашлялся и заговорил первым:

— Вы, кажется, сказали, что хотите поговорить со мною о Вальженёзах, милейший мсье Сальватор?

— Я хотел спросить вас, почтеннейший мсье Жакаль, что именно заставило вас так быстро изменить ваше мнение об этой девочке... Или, выражаясь точнее...

— Перестаньте! Мы здесь с глазу на глаз... вы человек умный, а не какой-то бешеный влюбленный...

— А кто вам это сказал?

— По крайней мере, вы влюблены не в эту похищенную героиню... значит, у вас не было причины терять голову, и вы в состоянии понять...

— Да я все отлично и понял.

— Что же именно?

— То, что вы испугались, милейший мсье Жакаль.

— Да! Каюсь! Признаюсь! — проговорил сыщик, у которого хватило, по крайней мере, мужества признаться в своей слабости. — Верите ли, я до того трусил, что, когда она назвала себя по имени, меня принялась трепать лихорадка.

— А мне всегда думалось, мсье Жакаль, что первый параграф свода закона гласит: “Перед законом все люди равны”.

— Видите ли, любезнейший мсье Сальватор, во всех кодексах и сводах этот параграф печатается с такой же основательностью, с какой короли пишут: “Мы, Карл, милостию Божьей, король Франции и Наварры”. Людовик XVI тоже пользовался этой фразой, а ему перерезали горло. Уж какая там милость Божья в том, что произошло на площади Революции 21 января 1793 года в четыре часа пополудни?

— Отлично! И поэтому, когда вам пришлось в упор обвинить девушку, которую вы уже заранее считали способной на всякое преступление, в соучастии в похищении другой девушки, вы трусили и вообразили себя удушенным в тюрьме, как Туссен Лувертюр или Питегрю?

— Не шутите с этим, мсье Сальватор! Даю вам честное слово, что мне вспомнились оба эти человека.

— Значит, эти Вальженёзы люди действительно очень могущественные?

— Еще бы! Прежде всего, сам маркиз, который в большой милости у короля, потом кардинал, который состоит при папе, наконец этот лейтенант...

— Который состоит, вероятно, при самом сатане? — подхватил Сальватор. — А! Теперь понимаю! Кроме того, не вяжется ли вся эта серия с каким-нибудь обществом?

Жакаль пристально посмотрел на Сальватора.

— Как же! Как же! Ведь маркиз один из покровителей Сент-Ашей, и еще в последнюю процессию он нес знамя. Не так ли?

Жакаль закивал головой.

— Как это странно! — продолжал Сальватор. — А я все думал, что иезуиты не больше как сонное видение из “Конститусьонель”.

— О, о, о! — протянул Жакаль, как бы говоря: “О, какое вы бедное, наивное дитя!”

— Так что, вы серьезно думаете, что схватиться с этими людьми было бы опасно? — спросил Сальватор.

— Знаете ли вы басню про горшок глиняный и горшок железный?

— Знаю.

— Ну, так вот и объясните ее себе.

— Но ведь глава семьи умер лет шесть тому назад и не оставил детей, так что все состояние перешло к брату.

— Это значит, что он никогда не был женат, — пояснил Жакаль.

— Ах да! Теперь припоминаю! Ведь там была еще какая-то история о незаконном сыне, которого нужно было или усыновить, или признать законным, но которому не сделали ни того, ни другого!..

Жакаль искоса взглянул на Сальватора.

— Да вы-то каким образом все это знаете? — спросил он.

— Эх, Господи! — возразил комиссионер. — Да в нашем ремесле, как бы человек рассеян ни был, он все-таки даже поневоле узнает очень многое. Я, например, одно время носил письма одной дамы к некоему Конраду де Вальженёзу, который жил тогда именно в том отеле, в котором живет теперь маркиз.

— Верно, верно! — подтвердил Жакаль.

— Да и вообще, кажется, это история весьма темная?

— Да, но не для всех, — возразил сыщик с видом глубочайшего самодовольства.

— А, понимаю! Только не для тех, кто сумел “найти женщину”? — подхватил Сальватор.

— Ну, на этот-то раз, в виде редкого исключения, женщины тут никакой не было.

— А что же там было? Вы сами понимаете, мсье Жакаль, что если знал человека молодым, красивым, здоровым и богатым, а он вдруг возьми да исчезни, так поневоле захочется узнать, что с ним такое стало.

— Это совершенно верно, тем более, что я могу сказать о нем почти все.

— Ну, вот: “почти”! Это так похоже на многоточие. Уж не ходили ли и вы в знаменитой процессии Сент-Ашея?

— О! Черт возьми! Нет! Нет! — вскричал Жакаль. — Я сам боюсь иезуитов! Я им покровительствую и пользуюсь за это их услугами, подчас даже слушаюсь их, но любить их не люблю! Я вам сказал “почти”, потому что в нашем деле не всегда можно сказать все, что знаешь.

— А еще и потому, что не всегда знаешь все, что хотелось бы знать? — прибавил Сальватор со свойственной ему утонченной насмешкой.

— Ну, так слушайте же, — сказал Жакаль, поглядывая на своего собеседника через очки, — я расскажу вам все, что знаю, а потом вы подскажете мне то, чего я не знаю.

— Хорошо! Идет!

— Идет! Глава семьи де Вальженёз, маркиз Шарль-Эммануэль де Вальженёз, пэр Франции и владелец огромного состояния, которое унаследовал от одного дяди с материнской стороны, никогда не хотел жениться, и это пристрастие его к холостой жизни все приписывали его привязанности к красавцу юноше, которого звали сначала просто Конрадом, а потом постепенно привыкли называть и Конрадом де Вальженёзом.

— А разве это не было его настоящей фамилией?

— Не совсем. Этот красавец юноша был плодом юношеского греха маркиза, который до того любил его, что даже, кажется, и жизнь видел только его глазами.

— Но если он так любил его, то почему он оставил все свое состояние брату, племяннику и племяннице, а его довел до такой нищеты, что он, говорят, чуть ли не умер с голоду?

— Именно потому, что чересчур любил его. Говорят же, что “все хорошо в меру”.

— Да, мне тоже казалось, что несчастный маркиз, который умер, если не ошибаюсь, скоропостижно, любил этого молодого человека беспредельно, — сказал Сальватор.

На этот раз Жакаль оглядел его уже из-под очков.

— Он до того был к нему привязан, — продолжал он, — что эта привязанность и погубила юношу.

— Я не совсем вас понимаю.

— Это очень просто. Есть, видите ли, два способа усыновлять незаконных детей. Первый и простейший состоит в том, что, когда ребенка записывают в мэрии, отец объявляет себя его отцом, а если что-нибудь помешает ему сделать это вовремя, он может впоследствии подписать акт признания у нотариуса. Но при этом он уже не имеет права оставить ему свое имя и все состояние, а только имя и пятую часть своего имущества. Второй способ гораздо труднее. Человек должен дожидаться, когда ему минет пятьдесят лет, и тогда только может совершить акт усыновления у нотариуса, а раньше этого возраста такое признание незаконного ребенка законом воспрещается. Зато при этом вы можете оставить усыновленному не только ваше имя, но и все ваше состояние. Маркиз де Вальженёз предпочел этот второй способ и в тот день, когда ему минуло пятьдесят лет, позвал нотариуса. Они заперлись в кабинете и составили акт, но в ту самую минуту, как маркиз взял перо, чтобы подписать документ, его разбил паралич.

— То есть когда именно: когда он брал перо, чтобы подписаться, или когда подписался и хотел положить его на место? — спросил Сальватор.

На этот раз Жакаль совсем сдернул с себя очки и посмотрел на него в упор.

— Черт возьми! — вскричал он. — Если вы знаете это, мсье Сальватор, то знаете больше, чем я и все остальные, потому что все дело именно в том — был или не был подписан этот документ. “Вот в чем вопрос!” — как сказал Гамлет. Что же касается самого маркиза, то хотя он и прожил после первого удара еще три дня, но не мог вымолвить ни слова, и по той простой причине, что ни разу не приходил в сознание.

— Послушайте, мсье Жакаль, — сказал Сальватор, — вас никто не услышит, поэтому скажите мне по совести, что вы сами об этом думаете?

— Я думаю, что семейство было, вероятно, несколько сурово в отношении бедного мсье Конрада, — ответил Жакаль, видимо, избегая прямого ответа.

— Несколько сурово! — повторил Сальватор. — Вот еще! Если акт, как, по крайней мере, говорит нотариус, действительно подписан не был, то какое им дело до незаконнорожденного мальчишки?

— Да, но ведь всем и каждому было известно, что этот юноша — сын маркиза Эммануэля, — заметил Жакаль.

— Совершенно верно! — подхватил Сальватор. — Но ведь если бы они признали только это, им пришлось бы отдать ему пятую часть состояния маркиза, а это ни больше ни меньше как два миллиона. Следовательно, гораздо выгоднее было отрицать все, сделаться наследниками пэрства и миллионов, а незаконнорожденного выгнать, не правда ли, мсье Жакаль?

— А он, как кажется, сумел выйти от них с большим достоинством, — подхватил сыщик, — оставил им и своих лошадей, и экипажи, и банковские билеты, и унес, как рассказывают даже его враги, только две тысячи франков, которые накануне выиграл в экарте.

— Ну, не думаю, чтобы молодой человек, который привык жить так, как жил мсье Конрад, сумел долго просуществовать на какие-нибудь две тысячи! — заметил Сальватор.

— И очень на этот счет ошибаетесь! — возразил Жакаль. — Мы, хранители общественного спокойствия, всегда зорко следим за этими разорившимися сынами знатных фамилий и знаем наверняка, что с этими двумя тысячами франков он прожил целых пятнадцать месяцев, всячески пытаясь зарабатывать себе на хлеб честным трудом. Человек он был прекрасно образованный и пробовал давать уроки английского и немецкого языков, и музыки, и рисования, но ему не повезло, бедняге: занятий не оказывалось нигде. Наконец, он убедился в том, что ему остается только два исхода — или поступить на содержание, или покончить с собой. Тогда он пошел к Лепажу, купил пистолет, который продавец потом признал, и решил разыграть последний акт комедии своей жизни. Он съездил в Тюильри, на Елисейские поля и в Булонский лес, чтобы проститься с прежними товарищами и любовницами, возвратился оттуда через улицу Сент-Оноре, зашел в церковь Сен-Рош, а оттуда отправился на улицу Бюффон, на которой снимал довольно убогую комнатку...

— И что же он там сделал? — спросил Сальватор.

— Да, разумеется, то же самое, что сделали Коломбо и Кармелита. Он написал длинное письмо, только не своим друзьям, потому что у него их не было, или, по крайней мере, не стало с тех пор, как его выгнали из отеля на улице Бак, а полицейскому комиссару того участка. В этом письме он описывал все, что выстрадал за эти пятнадцать месяцев, свою борьбу с нуждой, невозможность продолжать ее дальше и свою решимость разmozжить себе череп, оставшись честным человеком. Окончив это письмо, он лег в постель, прочел несколько страниц из "Новой Элоизы" и прострелил себе голову.

— Клянусь честью, вы рассказываете, как настоящий журналист, мсье Жакаль! — вскричал Сальватор.

— О, с моей стороны здесь нет ни малейшей заслуги! — ответил сыщик. — Самоубийства — это моя специальность, и я же составлял и протокол о самоубийстве мсье Конрада.

— В самом деле?

— Да.

— Значит, вам-то и обязан этот несчастный молодой человек последней заботой о нем, когда была констатирована его смерть?

— Сделать это не представляло ни малейшего затруднения. Он выстрелил в себя в упор. Одну половину лица полностью разнесло, другую обожгло до неузнаваемости, так что и признали-то его, скорее, по письму, чем по лицу, распознать которое было уже невозможно.

— Вальженёзам, вероятно, тоже дали знать об этой ужасной катастрофе?

— Я сам отвез им это известие вместе с копией протокола.

— Ну и что же? Ведь это должно было произвести на них чрезвычайно глубокое впечатление?

— Да, именно — чрезвычайно глубокое и радостное.

— Понятно! Ведь существование этого молодого человека должно было постоянно тревожить их.

— Они попросили меня позаботиться о похоронах и выдали мне пятьсот франков на издержки.

— О, какие благородные родственники! — заметил Сальватор.

— Кроме того, они пожелали, чтобы я принес им также и копию свидетельства о похоронах и смерти.

— И, надеюсь, что вы сделали и это, мсье Жакаль?

— Да, могу сказать, что сделал все это вполне добросовестно. Я сам проводил покойника на кладбище Пер-Лашез, велел при себе опустить гроб в могилу и положить на нее плиту с красивой надписью: “Конрад”, а потом поехал сказать маркизу, что он может быть спокоен до самого дня воскресения мертвых и увидится со своим племянником только в долине Иосафатовой.

— Так что теперь вся семья в этой уверенности и пребывает? — спросил Сальватор.

— Да чего же им теперь бояться?

— Верно, но ведь случаются же на свете вещи необыкновенные.

— А что же может, по-вашему, случиться?

— Однако мы уже в Нижнем Медоне! Будьте так добры, мсье Жакаль, прикажите остановиться.

Жакаль дернул за шнурок.

Кучер осадил лошадей.

Сальватор отпер дверцу и вышел.

— Извините, — сказал ему Жакаль, — но вы не ответили на мой последний вопрос.

— На какой?

— Относительно того, что может случиться.

— Это о Конраде?

— Да.

— Может оказаться, например, что он вовсе не умер и что, следовательно, не намерен и ждать дня воскресения мертвых и свидания с маркизом де Вальженёзом в долине Иосафатовой... Однако до свидания, мсье Жакаль!

Сальватор захлопнул дверцу, а сыщик сидел в карете, настолько растерявшись, что забыл, куда ему надобно ехать, так что комиссионер вынужден был сам крикнуть кучеру:

— На Иерусалимскую улицу!

Собратья-враги

В то время, как Жакаль, усердно набивая нос табаком, чтобы прояснить свои смешавшиеся мысли, неся к Парижу, Сальватор пошел к Жан-Роберу, в дом самоубийц. И прибыл туда в тот самый момент, когда Кармелита пришла в себя, и ни на минуту не покидавшие ее трое друзей решились приступить к трудному делу — рассказать ей все, что произошло.

Доминик всего за четверть часа перед тем уехал в Пеноэль с телом Коломбо.

Людювик дал самые обстоятельные наставления относительно ухода за ней и собирался отправиться домой, на улицу Нотр-Дам.

Жан-Робер ожидал только Сальватора, чтобы вернуться вместе в город.

У Людювика болела голова и от бессонной ночи, и от дневных тревог, и он решил дойти до Парижа пешком.

Расстояние от Нижнего Медона до улицы Сент-Оноре вполне позволяет неплохо прогуляться. Медленно проходя по Ванвру, молодой человек вдруг увидел возле какого-то дома человек пятьдесят мужчин, женщин и детей. Все они стояли на коленях и громко молили Бога, чтобы он каким-нибудь чудом даровал исцеление доброму мсье Жерару, которого священник пошел уже причащать.

Зрелище было довольно редкое. Людювик подошел к нескольким наиболее удрученным молящимся и спросил:

— О чем это вы плачете, друзья?

— Ах, мсье! Наш благодетель, отец родной, умирает, — ответили ему.

Людювик вспомнил, что действительно приходили за Домиником звать его на исповедь к умирающему.

— Ах да! — сказал он. — Это господин Жерар.

— Истинным другом всех несчастных был этот человек! — говорили в толпе.

— Что же? Он уже скончался?

— Нет еще. А только после того, как он поговорил с одним монахом, он так ослабел, что теперь священник из Медона его причащает.

При этих словах многие опять принялись рыдать.

Под маской скептицизма, какой обыкновенно прикрывался Людювик, в нем таилась женская чувствительность. Искренние слезы трогали его до глубины души.

— А сколько лет больному? — спросил он.

— Да не больше пятидесяти.

— Ведь это уж истинное наказание Божье за наши грехи, — сказал один из крестьян. — Этаким хороший человек умирает таким молодым, а другие, злые, живут, точно им и веку нет.

— Это правда, — согласился Людювик, — в пятьдесят лет умирать еще рано, особенно если человека все любят, как этого Жерара.

Несколько минут он стоял в раздумье.

— А можно будет взглянуть на вашего больного? — спросил он наконец.

— Да вы уж не доктор ли? — спросили его вместо ответа.

— Да, доктор.

— Из Парижа?

Людювик невольно улыбнулся.

— Да, да, доктор из Парижа, — сказал он.

— Так идите к нему поскорее, мсье! — заторопил его один из крестьян.

— Вас послал к нам сам Бог! — вскричала какая-то женщина.

Толпа в одно мгновение охватила его тесным кругом. Одни умоляли его, другие прямо толкали, так что он почти против воли очутился в доме.

Оказалось, что огорченные поселяне стояли не только на улице перед домом, но и в прихожей, и на лестнице, и во всех комнатах, вплоть до самой спальни больного. Повсюду было от них тесно.

Но при словах: “Доктор из Парижа! Доктор из Парижа!” — они раступались и пропускали Людовика.

Исповедь была окончена, умирающий причастился, и звон колокольчика известил об этом всех присутствующих.

Когда появился хор детей и священник со святыми дарами, Людовик преклонил колени вместе с поселянами.

Вслед за тем он встал и очутился в комнате больного.

Жерар был не один. В головах его кровати стоял человек лет пятидесяти, с седыми усами и с орденом Почетного легиона в петличке. Он с видимым интересом следил за изменениями на лице умирающего.

Людовик и кавалер Почетного легиона, очутившись лицом к лицу, вопросительно оглядели друг друга, как бы пытаясь отгадать, с кем предстоит иметь дело, но так как это оглядывание не привело ни к чему положительному, Людовик решился заговорить первым и со всей почтительностью человека еще молодого тихо спросил:

— Вы брат больного?

— Нет, — ответил седоусый, продолжая рассматривать Людовика, — я его врач.

— А я имею честь быть вашим собратом, — сказал Людовик, кланяясь.

Человек с седыми усами нахмурился.

— То есть в той степени, в какой двадцатилетний юноша может быть собратом человеку, который провел двадцать лет на полях битвы и пятнадцать у постелей больных, — заметил он.

— Извините! — сказал Людовик. — Значит, я имею честь говорить с господином Пиллу?

Доктор выпрямился.

— Кто сказал вам мое имя, милостивый государь? — спросил он.

— Я узнал его очень просто, — ответил Людовик, — и оно было окружено массой самых лестных отзывать. Случай привел меня к двум молодым людям из Нижнего Медона, которые хотели покончить с собой. Я тотчас потребовал на помощь еще кого-нибудь из докторов. Мне назвали вас. Я послал за вами, но у вас ответили, что вы у господина Жерара.

— Ну а ваши больные? — спросил военный врач, несколько смягчаясь под воздействием любезного тона Людовика.

— Мне удалось спасти только одного, а если бы вы были там, то очень может быть, что и другой остался бы в живых.

— А идя из Нижнего Медона, вы услышали, что здесь есть больной и зашли сюда?

— Я никогда не позволил бы себе такой смелости, — возразил Людовик, — но бедняки, которые плачут здесь у дверей, втолкнули меня сюда почти насильно. Глубокое горе всегда радо ухватиться даже за самую ничтожную надежду, поэтому простите их, доктор, за это самоуправство, а вместе с ними простите и меня.

— Да мне нечего и некого прощать. Я очень рад вашему приходу, потому что один ум хорошо, а два — лучше! Жаль только, что в данном случае никто в мире уже не может помочь делу.

Он нагнулся, понизил голос и прибавил:

— Этот человек не выживет.

Как ни тихо были сказаны эти слова, больной как бы услышал их и глухо застонал.

— Тише! — проговорил Людовик.

— Это почему?

— Потому что слух сохраняется у умирающего дольше всех остальных чувств и больной слышал то, что вы сейчас сказали.

Пиллу с сомнением покачал головой.

— Так, по-вашему, надежды нет? — спросил Людовик, пригибаясь к самому его уху.

— Через два часа он скончается, — ответил Пиллу.

Людовик ухватил его за руку и указал на больного, который начал метаться на постели...

Военный врач тряхнул головой, точно хотел сказать: "Он может делать все, что ему угодно, но умереть он все-таки должен".

— Сегодня утром я еще надеялся поддержать его хоть на сутки, — объяснил он, — но какой-то осел вбил ему в голову, что следует исповедаться. По правде сказать, он нуждался в этом менее, чем кто-либо на свете. Я знаю его с самого его переселения в Ванвр и могу смело сказать, что это человек самой возвышенной нравственности. Он пробыл три часа, запершись с каким-то монахом, и, вот полюбуйтесь, в каком положении он остался после его душеспасительной беседы! Ох, уж эти мне попы, монахи, иезуиты! И подумать только, что все это возвратил нам тот самый император, которому мы обязаны столькими прекрасными вещами!

— А какой болезнью страдает господин Жерар? — спросил Людовик.

— Э! Да самой обыкновенной! — ответил Пиллу, пожимая плечами с таким видом, будто на свете и существовала всего только одна болезнь.

Людовик улыбнулся. По этому определению он узнал одного из сторонников Бруссе, который, однако, злоупотреблял воззрениями великого учителя.

Но ему тотчас пришло в голову, что здесь вся жизнь человека

зависит от того, что попала в руки невежды или фанатика, и улыбка исчезла с его лица. Он незаметно пожал плечами и, оглядев старика, понял, что с ним следует держаться настороже.

— Под словом болезнь “обыкновенная” вы, вероятно, разумеете гастрит? — спросил он.

— Да, разумеется! — сказал старый врач. — Здесь в этом не может быть ни малейшего сомнения. А лучше всего, осмотрите его сами.

Людовик подошел к кровати.

Больной лежал в полнейшем изнеможении. Дыхание было тяжело и шумно, грудь вздымалась мучительно высоко. Людовик долго всматривался в его лицо. Оно было мертвенно-бледно, с желтоватым оттенком. Конечности были влажны и холодны, на лице и голове выступил холодный пот.

По одним только этим признакам Людовик понял, что болезнь серьезная, но, тем не менее, не видел еще неизбежности смерти, на которой настаивал Пиллу.

— Вы очень страдаете? — спросил он.

При этом вопросе, заданном незнакомым голосом, как бы сулившим надежду, Жерар открыл глаза и повернул голову.

Людовика поразила жизненная сила, сказывавшаяся в глазах умиравшего и вовсе не соответствовавшая общему истощению всего остального тела. Белки глаз были желты, черты лица искажены, лицо мертвенно, но глаза или, вернее, зрачки были живы и ясны.

— Покажите-ка мне ваш язык, — сказал Людовик.

Жерар открыл рот и высунул язык. Он оказался обложенным бело-желтым налетом с прозеленью.

Теперь Людовик уже не сомневался и невольно взглянул на старого врача, как бы говоря ему: “Разве вы не видите, что это вовсе не гастрит?!”

Но тот в своей самоуверенности был так спокоен, что не обратил на этот взгляд ни малейшего внимания.

Людовик принялся осматривать грудь.

— Больно? — спросил он, слегка нажимая ее.

— Нет, — ответил Жерар.

— А так? Даже когда я нажимаю довольно сильно?

— Мне тогда только легче дышится.

Людовик опять обернулся и снова взглянул на старика вопросительно-укоризненным взглядом.

Но тот по-прежнему не обратил на него внимания.

Людовик улыбнулся. Теперь он был уверен, что Жерара лечили совершенно не от той болезни, которой он страдал.

Он подошел к старику и спросил, как давно страдает больной.

Пиллу обстоятельно рассказал ему, как Жерар бросился в фонтан сада, чтобы спасти ребенка, какие последствия это для него имело, и затем очень охотно отвечал на все вопросы молодого человека.

— Ну и что же? — спросил он шутливо, когда Людовик замолчал.

— Почтительнейше благодарю вас за сообщенные мне сведения! — ответил тот. — Теперь я знаю все, что мне было нужно.

— И что же именно вы знаете?

— Знаю, какой именно болезнью страдает этот больной.

— Да и узнать-то это было не трудно, потому что я с того и начал, что сказал вам это.

— Совершенно верно. Но дело в том, что взгляды наши на этот предмет расходятся.

— Что вы хотите этим сказать?

— Не найдете ли вы более удобным пройти со мной в соседнюю комнату. Мы можем утомить больного нашим разговором.

— Ах нет, ради Бога не уходите! — взмолился Жерар, собрав все свои силы.

— Успокойтесь, друг мой, — проговорил Пиллу, — я обещал, что не оставлю вас, и сдержу свое слово.

Доктора подошли к двери. Людовик отворил ее.

На пороге они столкнулись с сиделкой.

— Через пять минут мы вернемся, — сказал ей Людовик, — а до тех пор, что бы у вас ни просил больной, не давайте ему ничего.

Марианна взглянула на Пиллу, как бы спрашивая, следует ли ей исполнить это приказание?

— Да, да, так и сделайте! — сказал старик. — Этот господин воображает, что спасет больного.

Он ожидал, что Людовик станет возражать ему, но тот, к величайшему его удивлению, не сказал ни слова, а только посторонился и пропустил его вперед, с той почтительностью, какую образованный юноша должен иметь к человеку преклонных лет.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Людовик принимает всю ответственность на себя

Доктора остановились в прихожей. Трудно было бы подыскать более живое и типичное олицетворение науки и рутины.

— Теперь потрудитесь мне сказать, мой юный друг, зачем вы привели меня сюда? — сказал Пиллу.

— Прежде всего затем, чтобы не утомлять больного нашим разговором, — ответил Людовик.

— Цель весьма основательная, потому что он человек умирающий.

— Тем основательнее не говорить этого в его присутствии, если вы в этом уверены.

— Да вы, кажется, думаете, что люди нашего поколения такие же дрянные бабы, как молодцы вашего?! — вскричал бывший главный хирург. — Я был помощником Ларрея, сударь, и присутствовал при том, когда храброму Монтебелло отнимали обе ноги. Перед операцией доктора целых пять минут спорили между собой, следует ли сделать ампутацию или оставить его умереть так, не мучая понапрасну? И вы, может быть, воображаете, что они говорили все это тихонько, втайне от больного? Ничуть не бывало, сударь мой, — он сам толковал с ними, точно дело шло о ком-то совершенно постороннем. Я и до сих пор

слышу, как он крикнул, точно скомандовал: “Вперед! Да уж режьте, режьте, черт возьми!”

— Очень может быть, что на поле битвы, где врачам приходится иметь дело одновременно со многими тысячами раненых, им действительно некогда принимать с ними те предосторожности, за которые вы удостоили наше поколение прозвища “бабье”, — возразил Людовик, — но здесь мы ведь не на поле битвы, а господин Жерар вовсе не маршал Франции, каким был “храбрый Монтебелло”. Напротив, это человек, глубоко потрясенный своим положением. Мне даже кажется, что он сильно боится смерти и что ужасы, которые наполняют его воображение, действуют на него разрушительнее самой болезни.

— Кстати, о болезни! Если не ошибаюсь, вы, кажется, сказали, что не согласны с моими взглядами? Что же вы о ней думаете?

— Что вы ошибаетесь, леча больного от гастрита.

— То есть как это — ошибаюсь?

— Ошибаетесь, предполагая, что мсье Жерар страдает гастритом.

— Да я этого вовсе не предполагаю, сударь, а прямо утверждаю это!

— А я нахожу, что у него совершенно другая болезнь.

— Что же у него, по-вашему? Вы, вероятно, предполагаете...

— Я тоже не предполагаю, а утверждаю...

— Ну, хорошо! Утверждаете, что у мсье Жерара...

— Не гастрит! Я имею честь уже в третий раз повторить вам это.

— Так что же у него, черт возьми, если не гастрит?

— Простая пневмония, — холодно сказал Людовик.

— Пневмония! Вы считаете это пневмонией?

— Разумеется! Ничем иным это и быть не может.

— Может быть, вы станете также утверждать, что можете и спасти его?

— Что касается этого, то утверждать я не могу, но надеяться осмеливаюсь.

— А нельзя ли узнать, какое это чудодейственное средство вы намерены ему прописать?

— С вашего позволения, почтеннейший коллега, я об этом еще подумаю.

— Это что же еще значит? Вы просите у меня позволения спасти моего старого друга!

— Я прошу позволения лечить вашего пациента.

— Даю вам это позволение сто, тысячу раз! Дай Бог только, чтобы это к чему-нибудь привело. Но если хотите послушать моего совета, лучше не рассчитывайте на то, что он проживет дольше, чем до завтрашнего рассвета.

— В таком случае, я все-таки рискну сделать невозможное, — сказал Людовик, не изменяя прежнему тону почтительной вежливости.

Старик не понял деликатности молодого врача и принял его слова за признак нерешительности и сомнения.

— Вы выразились совершенно верно, — сказал он, — это дело невозможное.

— Теперь позвольте спросить, чем вы пользовали его до сих пор, почтеннейший коллега, — продолжал Людовик.

— Я сделал ему два кровопускания, поставил пиявки на желудок и посадил его на строжайшую диету.

По лицу Людовика скользнула улыбка, но вызвана она была скорее состраданием к больному, чем насмешкой над сильно распространенной тогда модой на пиявки и диету.

Доктора еще продолжали свое совещание, когда несколько поселян, с нетерпением ожидавших чуда со своим благодетелем, вошли в прихожую.

— Ну что? Лучше ему? — спрашивали они наперебой.

Старый хирург так привык, что его осыпали подобными вопросами всякий раз, когда он выходил от Жерара, что подумал, будто и теперь они обращены к нему же. Но, увы! Если переменчива волна, то женщина еще переменчивее. Но в мире есть нечто переменчивее и волны, и женщины — это толпа.

Так и теперь один из поселян, наиболее энергично настаивавший на том, чтобы Людовик шел к больному, на слова старого врача: “Мы сделаем все, что возможно сделать”, — грубо крикнул ему:

— Да мы не у вас спрашиваем!

Несомненно, почтенный помощник знаменитого Ларрея, присутствовавший при том, как отрезали ноги храброму Монтебелло, также сделал несколько горьких умозаключений по поводу непостоянства толпы, но, к сожалению, он прибавил к ним искреннее пожелание, чтобы самонадеянность молодого доктора потерпело поражение и чтобы им обоим пришлось делить то презрение поселян, которое падало теперь на него одного.

Другой крестьянин обратился прямо к Людовику.

— Ну что? Как вы его нашли? Очень плохо? Нет никакой надежды?

— Друзья, — ответил им Людовик, — пока больной еще не умер, всегда следует надеяться, если не на доктора, то на силы природы. Господин Жерар, слава Богу, еще жив.

Толпа одобрительно загудела.

— Значит, вы спасли его?

— Я употреблю на это все мои усилия, — отвечал Людовик.

— Ах, спасите, спасите его! — кричали ему со всех сторон.

При этих криках Марианна приотворила дверь спальни.

— Что там такое? Что за шум? — с усилием спросил у нее больной. — Неужели нельзя дать мне хоть умереть спокойно?

— Да вы вовсе и не умрете, сударь, — ответила сиделка.

— Как — не умру? — оживляясь, спросил больной.

В потухавших глазах его сверкнул луч надежды.

— Да так уж, не умрете. Молодой доктор, который недавно пришел, сказал мужикам, что, может быть, спасет вас.

— А! “Может быть!” — простонал Жерар, снова падая на подушки. — Но, во всяком случае, Марианна, умоли его, чтобы он не уходил! Пусть останется здесь, ради Бога.

Это усилие окончательно изнурило его. Он остался лежать совершенно неподвижно, и единственным признаком того, что он еще жив,

было неровное движение груди да со свистом вылетающее из нее дыхание.

— Господа! — крикнула Марианна. — Хозяину худо! Он, кажется, кончается!

Людовик стремительно вошел в спальню и пощупал пульс больного.

— Это пустяки, — проговорил он, — простой обморок из-за чрезмерного напряжения! Мужайтесь, не падайте духом, господин Жерар.

Больной тяжело вздохнул.

Марианна, стоя у дверей, всеми силами старалась не впустить толпу в спальню.

— Надеюсь, вы не ограничитесь только тем, что скажете больному: “Мужайтесь, не падайте духом”, — заметил старый хирург. — Ведь пропишете же вы ему что-нибудь.

— Дайте мне бумаги, чернил и перо, — сказал Людовик, обращаясь к сиделке, — я выпишу рецепт.

Все бросились разыскивать требуемое.

Больной, у которого слова “может быть” снова отняли всякую надежду, беспомощно метался по кровати и с мольбой сжимал и разжимал руки.

Но никто уже не думал о той мучительной кончине, которую мог причинить ему весь этот шум, так всем хотелось, чтобы он остался жив.

Людовику добыли все, что ему было нужно, и он с трудом разыскал место, где бы можно было написать несколько слов, но все столы оказывались заставлены всевозможными банками, склянками, блюдцами и флаконами.

Крестьяне, заметя недоумение доктора, наперерыв предлагали ему кто свою спину, кто колени.

Наконец Людовик выбрал подходящую спину и, пользуясь ею в качестве стола, написал рецепт.

— Пошлите это сейчас же в аптеку, — сказал он сиделке.

Не успел он договорить, как рецепт вырвали у него из рук, и между крестьянами поднялась возня, так как каждый хотел быть полезен своему умирающему благодетелю.

Наконец драгоценный лоскут бумаги очутился в руках какого-то хромого, который, усиленно ковыляя, со всех ног понесся в аптеку.

— Послушайте, дорогая, — сказал Людовик сиделке, — сейчас вам принесут микстуру. Давайте ее мсье Жерару через каждые полчаса по пол-ложке. Слышите? Не чаще, как через полчаса и не больше как пол-ложки.

— Хорошо. Через каждые полчаса по половине ложки.

— Да! А мне необходимо отправиться в Париж!

Больной вздохнул так тяжело и горько, как будто в эту минуту расставался с последней надеждой на жизнь.

Людовик услышал этот вздох и понял, что за ним таилась страстная, отчаянная мольба о спасении.

— Съездить в Париж мне необходимо, но часа через три я вернусь узнать, какое действие произвела микстура, — сказал он.

— И вы уверены, что она его спасет? — проворчал старый хирург.

— Сказать, что я в этом уверен, значило бы выразиться слишком смело, почтенный коллега. Вы лучше, чем кто-либо другой, знаете, что человек никогда не смеет быть в чем-нибудь уверен, но...

Людовик еще раз взглянул на больного.

— Но я надеюсь, — закончил он.

Это слово вызвало новый одобрительный ропот в толпе.

В это время больной снова приподнялся на постели.

— Через три часа? — переспросил он. — Хорошо. Только постарайтесь не опоздать!

— Обещаю вам, что не опоздаю.

— Благодарю вас. Я стану считать каждую минуту до вашего прихода, — сказал больной, отирая со лба холодный пот, который со стороны мог показаться предсмертным.

Людовик вышел вместе со старым хирургом, пропустил его в дверях вперед и вообще оказывал ему перед толпой все знаки глубочайшего уважения.

Он направился в сторону Парижа, отыскивая фиакр, кабриолет, карету, словом, какой бы то ни было экипаж, который мог бы доставить его на место скорее, чем его усталые ноги.

Старый хирург шел рядом с ним, и его старческая душа кипела жадной мести, а зубы были крепко сжаты. Людовику казалось неуместным заговорить первому, хотя бы даже для того, чтобы проститься. Это тягостное молчание двух собратьев по профессии прервал хромою, спешно ковылявший из аптеки. Он остановился перед докторами и, подавая Людовику склянку, спросил:

— Это, господин доктор?

— Да, да, это самое, — ответил тот, встряхивая бутылку и разглядывая ее на свет. — Скажи, пожалуйста, сиделке, чтобы она непременно делала именно так, как я ей сказал.

Эта встреча послужила Пиллу предлогом для начала разговора.

— Может быть, вы думаете, милейший коллега, что я не знаю, что именно заключается в этой склянке? — спросил он.

— Разве я имею право думать о вас что-нибудь подобное? — возразил Людовик.

— Ведь это слабительное?

— Совершенно верно.

— Еще бы! Что же кроме слабительного можно дать в случае, который вы предполагаете.

— Послушайте, почтеннейший, — сказал Людовик, — я настолько уважаю ваш опыт, что, право, хотел бы ошибиться, если бы с моей стороны это не значило желать смерти больному.

Говоря это, он оглядывался во все стороны, но не видя никакого экипажа, свернул на проселочную тропинку через поле, которая должна была, по-видимому, скорее довести его до города.

Между тем старика так интересовало действие прописанной микстуры, что он тотчас же после ухода Людовика возвратился в дом Жерара и уселся у его изголовья, хотя больной и смотрел на его появление не без ужаса.

Такая поспешность со стороны доктора весьма изумила крестьян, продолжавших толпиться в доме и у подъезда, но еще больше удивило оно сиделку, которая знала, что если посылали за доктором Пиллу, то ждать его приходилось очень долго, а теперь вдруг он явился сам, без всякого приглашения, и притом почти сразу после того, как вышел из дома больного. Тем не менее, старик не дал себе труда объяснить ей причину своего появления.

Он попытался было расспрашивать Жерара, но тот, из недоверия или в самом деле из-за слабости, отказался отвечать ему.

За неимением лучшего старик обратился к сиделке.

— Ну что, Марианна, — спросил он, — как идут дела?

— Ах, очень плохо, господин доктор!

— Давали вы ему эту удивительную микстуру?

— Давала.

— Ну и что же? Как она действовала?

— Плохо! Очень плохо, господин доктор.

— Ну а все-таки, как именно?

— Рвало его, господин доктор.

— А! Я так и знал! Ну да, к счастью, я за это не отвечаю, и если он умрет, то отправил его на тот свет не я.

— Это, разумеется, так, господин доктор, да ведь к смерти-то приговорили его все-таки вы.

— Ну, разумеется, и черт возьми! Без этого уж нельзя! А то ведь вдруг больной взял бы да и умер! Тогда вы же пришли бы к доктору и сказали: “Ну, вот он и умер, а вы этого никому и не сказали!” Ведь от этого могла бы пострадать честь медицины!

— Это, разумеется, так, — согласилась Марианна, — но если бы больной выздоровел, то честь медицины выиграла бы еще больше.

В таких медико-философских рассуждениях доктора и сиделки прошло около полчаса.

Вскоре затем приехал Людовик.

Он вошел именно в тот момент, когда доктор Пиллу, вероятно, на том основании, что наука не щадит даже собственных детей, глядя на Жерара, которого только что вырвало, жалобно приговаривал:

— Ах, погиб он, погиб!

Людовик услышал это причитание, но, не обращая на него внимания, прямо подошел к больному, внимательно посмотрел на него и пощупал пульс.

После минуты наблюдения — минуты, которую тяжело пережило и его честное сердце, и старый эгоист хирург, он поднял голову.

Пиллу и сиделка не спускали с него глаз и тотчас заметили, что на лице его выражается полнейшее удовольствие.

— Все идет отлично! — проговорил он.

— Как это — отлично? — с удивлением переспросил Пиллу.

— Ну да, пульс усилился.

— А! И вы заключаете из этого, что ему лучше?

— Разумеется.

— Но — странный вы молодой человек, ведь его вырвало!

— Вырвало? — повторил Людовик, взглядывая на Марианну.

— Что? Понимаете вы теперь, что он погиб!

— Напротив, — спокойно возразил Людовик, — из этого я только больше убеждаюсь в том, что он спасен.

— И вы беретесь отвечать за жизнь моего лучшего друга? — вскричал старый Пиллу.

— Ручаюсь за нее моей собственной головой, — ответил Людовик.

Старик схватил шляпу и вышел с выражением математика, которого принялись убеждать, что дважды два — пять, а не четыре.

Людовик написал еще один рецепт и отдал его сиделке.

— Вот что, милая, — сказал он. — Вы слышали, что я взял на себя ответственность и, вероятно, знаете, что это значит для врача. Так постарайтесь же, чтобы все мои распоряжения исполнялись в точности, и тогда господин Жерар будет спасен.

Умиравший радостно вскрикнул, схватил руку молодого человека и, прежде чем тот успел отдернуть ее, прильнул к ней губами.

Но почти вслед за тем лицо его исказилось выражением нестерпимого ужаса.

— А монах-то, монах! — прошептал он, точно подкошенный, падая на подушки.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Человек с фальшивым носом

Людовик и Петрюс расстались у дверей убогого трактира. Людовик отправился в Медон проводить Шан-Лилу, а Петрюс пошел на свой сеанс.

Но прежде чем вести рассказ о приключениях молодого художника, необходимо поближе взглянуть на него самого.

По наружности это был красавец, поражающий природным изяществом фигуры и движений, что ставило его в один ряд с утонченнейшими аристократами. Но он так ненавидел всех этих сынков знатных родов, которых прозвали аристократами, вероятно, чтобы отличать от тех, кто существует лишь собственным трудом, что стыдился даже внешнего сходства с ними и тщательно скрывал его.

Одевался он неряшливо, чтобы скрыть красоту фигуры, а чтобы замаскировать свои природные достоинства, напускал на себя вид порочного человека. Жан-Робер сказал ему в день или, вернее, в ночь их знакомства совершенно верно: он прикидывался скептиком, кутилой и развратником, чтобы скрыть от окружающих собственную наивность.

В сущности же, это было юное, честное, невинное и увлекавшееся сердце двадцатипятилетнего юноши-артиста.

Тем не менее, мысль о маскараде и об ужине принадлежала именно ему.

Утром этого дня он выходил из дома, а около двенадцати часов вернулся очень озабоченным. Жан-Робер обещал прочесть ему в этот же день первый акт своей новой трагедии, но он мысленно послал его

весьма далеко. Людовик хотел заняться его несколько запущенным здоровьем, но он послал и его еще дальше.

Вообще, он был так расстроен и странен, что друзья скоро это заметили, но, когда они стали его расспрашивать, он смело взглянул им в глаза и проговорил:

— Я расстроен и грустен? Да вы, кажется, оба с ума сошли!

Молодые люди попробовали было настаивать, чтобы он признался, что с ним, но каждый раз, как они заводили об этом разговор, он под каким-нибудь предлогом уходил в самый дальний угол своей мастерской.

Наконец, они довели его своими расспросами до того, что он рассердился и объявил, что, если они станут приставать к нему и дальше, он выскочит в окно, чтобы посмотреть, погонятся ли они за ним и туда.

Людовик сказал, что у него припадок белой горячки и ему следует пустить кровь. Петрюс вспылил, отпер окно и ответил, что при первом же слове исполнит свою угрозу.

При этих словах он, как истинный бретонец из Сен-Мало, привыкший лазать по совершенно отвесным стенам и самым узким карнизам, так нагнулся вперед, что друзья невольно вскрикнули.

Петрюс громко расхохотался, что еще более удивило Людовика и встревожило Жан-Робера.

— Да что с тобой? — спросили они в один голос.

— А то, что я вижу перед собой лучшую модель для карикатур Шарлэ или для героя романа Поля де Кока, какую только можно встретить в такой бешеный день, как вторник масленицы.

— Это где же?

— Да вот посмотрите. Я ведь не эгоист.

Людовик и Петрюс вместе выглянули в окно.

Вход в мастерскую художника был с улицы Уэст, но окна выходили на эспланаду Обсерватории, и там по аллее Обсерватории расхаживал странный субъект, которого Петрюс предназначал для карандаша Шарлэ или для пера Поля де Кока.

То был человек скорее маленького, чем высокого роста, скорее толстый, чем худощавый, одетый в черное и с тросточкой в руках. Он уныло бродил по аллее.

Сзади он представлял из себя почти круглую фигуру, в которой, впрочем, не было ничего необыкновенного.

— Да что же ты находишь в нем такого смешного? — спросил Жан-Робер.

— Человек как человек, — заметил Людовик, — только, кажется, с невралгией в правой ноге.

— Ну вот и ошибаешься — он вовсе не человек как человек, а представляет из себя нечто особенное! — вскричал Петрюс. — И в доказательство этого признаюсь тебе, что мне хотелось бы быть таким, как он.

— Так скажи, в чем именно ты ему завидуешь, — проговорил Жан-Робер, — если это нечто такое, что можно купить, я побегу к нему, мы сторгуемся, и дело будет в шляпе.

— Чему я в нем завидую? Во-первых, он один, и у него не висят на шее двое друзей, которые меня изводят, во-вторых, мне скучно, а он забавляется.

— Напротив, он повесил нос, как висельник! — возразил Людовик.

— Этот-то забавляется? — спросил Жан-Робер.

— Да, и самым веселым образом!

— Ну, с виду на то не похоже! — сказал Людовик.

— А я утверждаю, что в душе этот человек хохочет во все горло! Хотите, я сейчас докажу вам это?

— Идет! — в один голос ответили друзья.

— Хорошо, смотрите, что будет, — сказал Петрюс.

Он приложил руки ко рту и громко крикнул:

— Эй, послушайте! Господин, который гуляет по аллее!

Маленький человек в черном был на аллее один, поэтому сразу понял, что этот окрик мог относиться только к нему, и оглянулся.

Писатель и доктор расхохотались точно так же, как минутой раньше удививший их Петрюс.

Гуляющий господин оказался человеком лет пятидесяти с огромным картонным носом посреди лица.

— Что вам угодно, сударь? — спросил он.

— Ничего, сударь, решительно ничего! — ответил Петрюс. — Мы уже видели все, что нам было нужно.

Он обернулся к друзьям.

— Ну, что скажете? — спросил он.

— Признаюсь: если смотреть на него сзади, он кажется очень серьезным, а если взглянуть спереди, оказывается очень забавным, — сказал Жан-Робер.

— Я предложу академии решить, какой болезнью страдает человек, который рассказывает в черных брюках, в черном сюртуке, в круглой шляпе и с накладным носом, — объявил Людовик.

— И что же? Ты, вероятно, назначишь за это приличную премию? — презрительно спросил Петрюс.

— Подожди, — сказал Жан-Робер, — сегодня Петрюс в ударе разгадывать, он тебе это и даром скажет.

— Сомневаюсь! — возразил Людовик.

— А может быть, он видит в нем что-нибудь помимо фальшивого носа.

— Но что же из этого, если он увидит на нем еще и фальшивый хохол?

— О, Боже! К чему привел Колумба вид надутого ветром паруса? К чему привело Ньютона упавшее яблоко? К чему привел Франклина удар молнии в летучего змея? — вскричал Петрюс с напускным энтузиазмом, что составляло одно из выражений комизма в ту эпоху. — Все это привело людей к открытию истины!

— Послушай, — сказал Жан-Робер, — один философ, которого я, к сожалению, не знаю, сказал, что если человек откроет какую-нибудь истину и сохранит ее только для себя, то это значит, что он дурной гражданин. Ну так поведай же нам скорее истину, которую ты открыл, Петрюс.

Петрюс пребывал в одном из тех припадков нервного возбуждения, когда возможность говорить приносит облегчение.

— Хорошо, жалкие слепцы! — сказал он. — Знайте же, что под накладным носом этого человека я вижу всю его жизнь.

— Прекрасно! Продолжай, продолжай! — подхватил Людовик.

— Эту-то историю я вам и расскажу.

— Тише! Слушайте, слушайте! — вскричал Жан-Робер на манер члена английского парламента.

— У этого человека есть жена, которая для него нестерпима и жизнь ведет такую же нестерпимую. Доброжелательные соседи сообщили ему, что его дети родились не от него. По этой причине привратник дома, в котором он живет, смотрит на него насмешливо, когда он выходит, и печально, когда он возвращается. У него есть единственный друг, и именно тот, которого обвиняют в непримиримой вражде к нему. Эта клевета обоснована. Он все это знает и имеет доказательства. Но, тем не менее, продолжает пожимать руку своего друга, или врага, если хотите, — играет с ним каждый вечер в домино, приглашает его раз в неделю обедать, поручает ему проводить свою жену на премьеры в театр, называет его “мой милейший, мой дорогой, мой любезнейший” и вообще употребляет самые нежные названия, а в сущности ненавидит, проклиная, готов бы был съесть его сердце, как Габриэль де Вержи съела сердце своего любовника, Рауля. Но к чему же разыгрывает он эту комедию? Зачем поощряет жену и ее поклонника? Он делает это потому, что он мудрец и желает в своем доме спокойствия, которого ему не видать бы как своих ушей, если бы он не закрывал глаза и не открывал рот. Он мудр, как Сократ, и вообще тихий, благонамеренный гражданин.

— Но есть же у него, по всей вероятности, и какие-нибудь радости? — спросил Жан-Робер, стараясь поддержать юмористическое воодушевление друга. — Ведь нашел же он среди мрачной Сахары своего супружества какой-нибудь оазис, какой-нибудь чистый источник, к которому ходит освежиться и набраться новых сил на то, чтобы брести дальше по горячему песку супружеской пустыни.

— О да, разумеется! — ответил Петрюс, — Ведь человек не может быть ни совершенно счастливым, ни совсем уж несчастлив. В каждой тьме есть проблески света, как в порывах ветра Рейсдаля и в бурях Жозефа Верне. Да, и у этого человека, как и у всех смертных, есть свои тайные радости. И как вы думаете, в чем они состоят? Я вам открою это. Невыразимое наслаждение этого человека, о котором он тайно мечтает триста шестьдесят четыре дня в году, состоит в том, чтобы надеть в масленичный вторник накладной нос. Пользуясь правами обычая, он идет по своему кварталу в полной уверенности, что его никто не узнает, и оскорбляет злых соседей, которые оскорбляли его самого. Особенно он верит в то, что неузнаваем, с тех пор, как наткнулся в прошлом году на свою жену, которая ехала в карете с любовником. Они видели его, но не поспешили даже опустить штору. Этот человек не уступит своих вторников за двадцать тысяч арабских мараведи: в такие дни он — царь Парижа, который ходит по своему городу инкогнито, и сегодня вечером, когда он вернется домой, а жена станет расспрашивать его, как он

провел день, он ничего ей не скажет, а только взглянет на нее с состраданием, думая о тех удовольствиях, которые он переживал в течение шести или семи часов. Итак, уважайте этого человека, — продолжал Петрюс, — уважайте его и завидуйте ему, потому что он веселится и забавляется, тогда как вы даже в дни общего веселья похожи — Людовик на доктора, который только что отравил Веселость, а ты, Жан-Робер, на могильщика, который только что отвез ее на кладбище Пер-Лашез.

— Если ты так ему завидуешь, за чем же дело стало — заведи себе тоже фальшивый нос, — предложил Людовик. — Ты ведь можешь, точно так же как и он, интриговать прохожих и уверять всех соседей по кварталу, что жены их обманывают.

— Не подбивай меня на это, Людовик.

— Не уговаривай безумного проявить свое безумие, — сказал Жан-Робер.

— Говорят, что безумие — мать разума, — наставительно произнес Петрюс, — а это доказывается тем, что человек, бывший безумцем в молодости, становится мудрецом в старости, и, наоборот, люди, благоразумные в молодости, становятся безумцами в старости. Так что имейте в виду, что ожидает вас обоих. Вы стоите, сами того не подозревая, на пути к разврату, к которому поведет вас ваша теперешняя мудрость. Не так поступали наши отцы — в молодости они были молоды, а в преклонные годы стары. Они не считали недостойным себя справлять все праздники вообще, а масленичный вторник в особенности. Но вы, двадцатипятилетние старцы, разыгрывающие Манфредов и Вертеров, вы презираете невинные удовольствия предков. В дни карнавала вы не выйдете на улицу! Напротив, вы убегаете, запираетесь у меня, который — черт возьми! — еще скучнее, мрачнее и кислее вас самих!

— Bravo, Петрюс! — вскричал Людовик. — Клянусь честью, ты переубедил меня, и в доказательство этого я намерен сделать тебе встречное предложение.

— А именно?

— Оденемся все трое в костюмы шутов и пойдем в них шататься по самым скверным местам Парижа.

— Согласен! — сказал Петрюс. — Мне необходимо развлечься. А ты, Жан-Робер, с нами?

— Невозможно! Я обедаю на улице Сент-Аколин, а вечер должен провести в одном семейном доме. Следовательно, прошу меня уволить.

— Хорошо, но с одним условием.

— С каким?

— Только, сделай милость, не отказывайся и не ломайся.

— Даю слово вести себя, как в играх, — сделаю все, что мне придется делать.

— Вот видите ли, мне очень интересно знать, ошибся ли Петрюс относительно человека с фальшивым носом. Ты должен подойти к нему и спросить: "Как вас зовут? Кто вы? Чего вы ищете?" А мы станем ждать тебя здесь.

— Хорошо, — сказал Жан-Робер.

Он взял шляпу и вышел. Минут десять спустя он вернулся.

— Ловко я попался, нечего сказать! — вскричал он.

— А что? Он тебе ничего не ответил?

— Напротив! Он сказал мне, что зовут его Жибасье, что он бежал с каторги и что теперь ожидает некоего господина, который должен ему дать тысячу экю за одно дельце, которое он устроил сегодня ночью.

Все трое громко расхохотались.

— Ну, вот видишь, — сказал Людовик Петрюсу, — это совсем не то, что ты говорил.

— Это из чего ты заключаешь?

— У буржуа не хватило бы остроумия на такой ответ.

Они оделись и вышли на улицу, расхваливая находчивость человека с фальшивым носом.

Результатом этой затеи Петрюса и были приключения, составившие начало нашего рассказа.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Ван-Дейк с улицы Уэст

Кроме поразительной красоты и изящества, наружность Петрюса имела еще одну особенность, которая сразу делала его человеком, заметным в толпе. Особенность эту составляло чрезвычайное сходство с Ван-Дейком... Глядя на него невольно приходил в голову вопрос, какова женщина, перед которой преклонится этот баловень природы, а в воображении возникал прелестный образ маркизы Бриньольской, прославленной столькими портретами работы гениального фламандца.

Но Петрюс довольно долго сохранял свободу сердца, которое имело право быть требовательным в выборе своего божества. Впрочем, один случай неожиданно решил это дело.

Как-то раз, возвращаясь домой по довольно пустынной улице Уэст, на которой размещалась его мастерская, Петрюс увидел, что перед дверью дома, в котором он жил, остановилась роскошная карета. Она пронеслась мимо него с быстротой вихря, но гербы на дверцах были сделаны так четко и ярко и таких размеров, что он все-таки успел рассмотреть их. То была голова мавра в настоящую величину, над ней княжеская корона и девиз: "Adsit fortior!" (Пусть явится кто-нибудь более храбрый!).

Когда карета остановилась, сидевший на козлах лакей в синей с серебром ливрее соскочил на землю, отпер дверцу, и из нее вышла молодая женщина поразительно изящной и аристократичной наружности.

Вслед за ней, тяжело опираясь на руку лакея, появилась старуха лет шестидесяти.

Девушка остановилась, закинула голову и, по-видимому, не найдя того, чего искала, обернулась к кучеру:

— Да уверены ли вы, что это № 92?

— Точно так, ваше сиятельство, — ответил тот.

Дом Петрюса был под № 92.

Увидя, что дамы вошли, художник перешел улицу и, входя в дом, слышал, как девушка спрашивала у привратницы.

— Здесь живет мсье Петрюс Эрбель?

Эрбель была фамилия Петрюса.

Привратница была буквально ослеплена великолепием обеих дам и роскошью мехов, в которые они были закутаны.

— Точно так, сударыня, — ответила она, почтительно приседая, — только теперь их дома нет.

— В какое же время можно его застать?

— Утром часов до двенадцати, а то и до часу, — сказала привратница. — Да, впрочем, вот они и сами, — прибавила она, увидя художника, который был на целую голову выше обеих посетительниц.

Они обернулись, а Петрюс снял шляпу и почтительно раскланялся.

— Вы господин Петрюс Эрбель? — спросила старуха довольно резко.

— Я, — холодно ответил художник.

— Мы хотим заказать портрет, — продолжала она тем же тоном, — возьметесь ли вы его сделать?

— Это мое ремесло, сударыня, — ответил Петрюс чрезвычайно вежливо, но еще холоднее прежнего.

— Хорошо. Так когда же вы думаете начать? Долго ли это будет? Много ли сеансов вам нужно? Говорите скорее — мы совсем замерзли.

Молодая девушка, которая не сказала ни слова, заметила резкость тона старухи и сдержанность Петрюса. Она подошла к нему и спросила:

— Скажите, пожалуйста, портрет, который был на последней выставке под № 309 — вашей работы?

— Да, моей, сударыня, — ответил Петрюс, смущаясь и ее красотой, и мягкостью голоса.

— Если не ошибаюсь, то был ваш собственный портрет? — продолжала она.

— Совершенно верно, — сказал художник, краснея.

— Мне хотелось бы иметь мой портрет в таком же роде: мне чрезвычайно понравился в нем тон. У меня уже есть штук десять моих портретов. Их делали по заказу мамы или тети, но я не довольна ни одним из них. Не согласитесь ли вы попробовать угодить такой капризной особе, как я? — прибавила она, улыбаясь.

— Постараюсь и даже сочту это для себя за великую честь.

— За честь? — вмешалась старуха. — Почему же это может составить для вас честь?

— Потому что портрет особы такой красоты и такого положения, как мадемуазель Ламот-Гудан, достоин сделать только знаменитый художник.

— Ах, так вы знаете, кто мы? — проворчала старуха.

— По крайней мере, знаю фамилию мадемуазель, — ответил Петрюс.

— Я ведь уже сказала вам, что я капризна и требовательна, но забыла прибавить, что я, кроме того, еще и любопытна.

Петрюс поклонился с видом человека, вполне готового удовлетворить это любопытство.

— Скажите, почему вы узнали, кто я такая? — продолжала девушка.

— По дверцам вашей кареты.

— Ах, по нашему гербу? Разве вы знаток геральдики?

— Но мне приходится иметь с ней дело почти ежедневно. А какой же исторический живописец может не знать, что после взятия Константинополя и вплоть до Берг-о-Зоома, Ламот-Гуданы были на всех полях битв и нигде не нашли того, кого вызывают своим девизом.

Этот дифирамб ее красоте и происхождению, да еще непосредственно высказанный, заставил девушку вспыхнуть.

Тщеславие старухи было тоже удовлетворено, и она взглянула на художника весьма милостиво.

— В таком случае, — сказала она с любезностью, какой от нее почти нельзя было ожидать, — теперь нам остается только назначить час и дать вам наш адрес.

— Час соблаговолите избрать сами, — ответил Петрюс с той вежливостью и предупредительностью, к какой его обязывала перемена в ее тоне, — а что касается адреса принцессы Ламот-Гудан, то кто же не знает, что ее дворец стоит на улице Плюме, напротив отеля Монморен и рядом с отелем графа Абрияля.

— Хорошо, значит, завтра в двенадцать часов, — проговорила девушка и снова покраснела.

— Завтра в двенадцать часов я буду к вашим услугам, — ответил Петрюс и низко поклонился.

Дамы уселись в карету и уехали, а Петрюс пошел в мастерскую.

От природы он был человек безукоризненно честный, но это нисколько не помешало ему солгать девице Ламот-Гудан самым наглым образом.

Он сказал, что всякому известен адрес дворца Ламот-Гудан, а между тем сам узнал его всего два месяца тому назад.

Мало кто из парижан, за исключением обитателей предместий Сен-Жак и Сен-Жермен, знают ту часть бульвара, которая идет от Гренельской заставы до вокзала и таким образом тянется по левому берегу Сены к югу. Это пространство засажено четырьмя рядами деревьев и устлано дерном, и для человека, желающего предаться одиноким размышлениям или вдвоем побродить по тенистым аллеям, оно представляет самый подходящий уголок.

Некоторые женщины, не любящие показываться на публичных гуляньях и выходившие из своего затворничества только в церковь, были прельщены этим уединением и приходили сюда летними вече-

рами подышать чистым воздухом, и перед юношами, забиравшимися сюда с книгами, проносились бесплотными тенями прелестные фигурки знатных обитательниц Сен-Жермена.

К числу этих женщин, и притом к прелестнейшим из них, принадлежала та самая девушка, которую мы уже два раза встречали на страницах нашего повествования: в первый раз у постели Кармелиты, во второй — в доме, где жил Петрюс, это была она — Регина де Ламот-Гудан, дочь маршала Бернара Ламот-Гудана.

Петрюс увидел ее в первый раз за шесть месяцев перед ее приездом к нему с заказом. Это было в один из прекрасных летних вечеров.

Петрюс одиноко бродил по дороге, усаженной четырьмя рядами деревьев и, глядя на горизонт, туда, где располагался Дом инвалидов, любовался эффектами солнечного заката. Вдруг в конце аллеи появились две верховые фигуры, несшиеся, очевидно, наперегонки.

Петрюс посторонился, чтобы пропустить их, но как быстро ни пронеслись они мимо него, он все-таки успел рассмотреть их лица.

Амазонка была девушка, созданная по образу Дианы-охотницы, да и одета в амазонку цвета небеленого полотна. На голове у нее была серая шляпа, сзади которой развевалась зеленая вуаль. Во всей фигуре ее было нечто, напоминающее прекрасную Диану Вернон, созданную для всеобщего восторга воображением Вальтера Скотта, и чудную Эдмею, которую так неподражаемо изобразила Жорж Санд.

Гордая поза, в какой она сидела на своем черном энергичном коне, и властная энергия, с какой она им управляла, с первого же взгляда выказывали в ней искусную наездницу, а разговор, который она поддерживала со своим кавалером, несмотря на бешеный галоп, доказывал, что она и смела, и способна на немалое самообладание.

Спутником ее был старик лет шестидесяти или шестидесяти пяти, плотный, величавый, одетый в верховой костюм из зеленого сукна, в белых лосинах и глянцевитых французских сапогах. На голове у него была большая черная войлочная шляпа, из-под которой развевались волосы, напоминавшие своей стрижкой моду времен Директории. Даже и не глядя на разноцветные ленточки в петлице его казакина, можно было с первого взгляда догадаться, к какому классу общества он принадлежит. Густые брови, жесткие усы, спускавшиеся ниже подбородка, и резковатое выражение лица свидетельствовали о привычке повелевать, и в нем сразу можно было признать одного из тогдашних военных гениев.

Они пронеслись мимо Петрюса, как легкое видение, и если бы через полчаса не возвратились, он мог бы остаться в уверенности, что видел призрак прекрасной средневековой владетельницы замка, которая спешила обратно в склеп своих предков в сопровождении отца или какого-нибудь престарелого палладиана.

Петрюс вернулся домой и сел за работу, но работа — женщина ревнивая и не допускает человека до себя, если он подходит к ней с челом, еще пылающим от лобзаний соперницы.

На этот раз соперницей работы оказалась встреча незнакомой амазонки, его мечты о ней.

Напрасно брался он за палитру, напрасно, стоя перед мольбертом, заставлял себя водить кистью по полотну — образ прекрасной амазонки стоял перед ним неотразимо, туманил мозг, застилал глаза, опуская руку.

Почти целый час продолжалась эта борьба с прекрасным видением, но наконец он переломил себя и принялся работать.

Можно было подумать, что он победил, однако, в сущности, он остался побежденным.

На полотне, перед которым он стоял, был изображен раненый, распростертый на песке рыцарь-крестоносец. Над ним сострадательно склонилась арабская красавица. Поодаль — группа черных невольников, которые, видимо, удивлены тем, что она, вместо того, чтобы злорадно добить пса-неверного, приподнимает его голову и посылает раба за водой. Фигура рабыни со шлемом рыцаря в руке виднеется на втором плане у фонтана, осененного тремя пальмами.

Эта картина показалась Петрюсу аллегорией его жизни. Ведь и сам он был рыцарем, раненным в трудной житейской борьбе, а каждый художник — своего рода крестоносец, совершавший тяжкий поход в Иерусалим искусства. Эта незнакомая амазонка, которую он только что встретил, — разве не была она похожа на прекрасную фею, которую зовут Надеждой и которая появляется из своего водяного грота всякий раз, когда труд превышает силы человека, и брызгает водой с кончиков своих чудных пальцев и вьющихся волос, как Венера — животворной росой на чело утомленного путника.

Это уподобление показалось ему до того живым и верным, что он схватил нож и в несколько мгновений уничтожил головы девушки и крестоносца, а вместо них нарисовал себя и амазонку.

После этого он не видел прекрасную амазонку целых четыре месяца и даже не искал встречи с ней. Но в мае его свел с ней тот же случай, который устроил так, что он встретил ее в январе в одно пасмурное, снежное утро.

Она ехала в закрытой коляске и была одета во все черное. Возле нее сидела какая-то старуха и, по-видимому, спала.

Карета направлялась с бульвара Инвалидов на аллею Обсерватории, затем возвратилась обратно и несколько раз проехала таким образом взад и вперед.

Наконец, на углу бульвара Инвалидов и улицы Плюме она исчезла окончательно.

Петрюс понял, что идеал его мечтаний живет именно там.

Однажды утром он закутался в большой плащ и встал под воротами одного из домов улицы Плюме, чтобы дожидаться возвращения знакомого экипажа, который только что пронесся мимо него.

Около часа пополудни карета остановилась перед тем самым отелем, адрес которого Петрюс описывал только что с такой точностью.

Едва ли стоит говорить о радости, какую доставило молодому художнику посещение феи. Он давно уже был от нее в безумном восторге, но она все казалась ему чем-то неземным, неосязаемым, а теперь он

знал ее, говорил с ней, ему предстояло провести в ее обществе много часов.

Не подлежит сомнению, что будь старуха, приезжавшая с ней, слепа и глуха, Петрюс слетал бы в мастерскую и принес бы молодой принцессе целые десятки уже совершенно готовых или еще неоконченных портретов, потому что уже целых шесть месяцев все женские фигуры на его картинах поражали сходством с красавицей Региной де Ламот-Гудан.

СОДЕРЖАНИЕ

МОГИКАНЕ ПАРИЖА

Роман. Перевод с французского

Часть первая

<i>Глава первая, где автор поднимает занавес над сценой, на которой будет происходить действие.....</i>	<i>9</i>
<i>Глава вторая. Джентльмены рынка.....</i>	<i>13</i>
<i>Глава третья. "Тапи-франк".....</i>	<i>18</i>
<i>Глава четвертая. Жан Бык.....</i>	<i>23</i>
<i>Глава пятая. Драка.....</i>	<i>27</i>
<i>Глава шестая. Господин Сальватор.....</i>	<i>32</i>
<i>Глава седьмая, в которой Жан Бык обращается в бегство, а толпа следует за ним.....</i>	<i>35</i>
<i>Глава восьмая. В то время, пока Людовик и Петрюс спали.....</i>	<i>41</i>
<i>Глава девятая. Два друга Сальватора.....</i>	<i>45</i>
<i>Глава десятая. Беседа поэта с собакой.....</i>	<i>49</i>
<i>Глава одиннадцатая. Душа и тело.....</i>	<i>54</i>
<i>Глава двенадцатая. На дворе у аптекаря.....</i>	<i>59</i>
<i>Глава тринадцатая. Ученик и его учитель.....</i>	<i>63</i>
<i>Глава четырнадцатая. Борьба житейская.....</i>	<i>67</i>
<i>Глава пятнадцатая. Домашняя жизнь школьного учителя.....</i>	<i>72</i>
<i>Глава шестнадцатая. Музыкант.....</i>	<i>76</i>
<i>Глава семнадцатая. Ниспосланная Богом.....</i>	<i>80</i>
<i>Глава восемнадцатая. Приходский священник.....</i>	<i>88</i>
<i>Глава девятнадцатая. Покорность Провидению.....</i>	<i>91</i>
<i>Глава двадцатая. Прямая линия короче ломаной.....</i>	<i>94</i>
<i>Глава двадцать первая. Рождественская Роза.....</i>	<i>97</i>
<i>Глава двадцать вторая. Зловецкий ворон.....</i>	<i>102</i>
<i>Глава двадцать третья. Почему карты всегда говорят правду.....</i>	<i>107</i>
<i>Глава двадцать четвертая. Господин Жакаль.....</i>	<i>110</i>
<i>Глава двадцать пятая. Ищите жениху!.....</i>	<i>114</i>

Часть вторая

<i>Глава первая, в которой доказывается, что можно невзначай, причем в одном случае из ста, найти хороших соседей</i>	121
<i>Глава вторая. Брат Доминик Сарранти</i>	126
<i>Глава третья. Симфония роз и весны</i>	131
<i>Глава четвертая. Могила де ла Вальер</i>	134
<i>Глава пятая. Коломбо</i>	139
<i>Глава шестая. Камилл</i>	145
<i>Глава седьмая. История княгини де Ванвр</i>	150
<i>Глава восьмая. Дуб и трость</i>	156
<i>Глава девятая. Жемчужина Парижа</i>	166
<i>Глава десятая. Отъезд</i>	173
<i>Глава одиннадцатая. Бурная ночь</i>	177
<i>Глава двенадцатая. Человек предполагает</i>	179
<i>Глава тринадцатая. Камилл</i>	182
<i>Глава четырнадцатая. Последние осенние дни</i>	186

Часть третья

<i>Глава первая. Один вернулся</i>	193
<i>Глава вторая. Другой уходит</i>	198
<i>Глава третья. Раненая львица</i>	201
<i>Глава четвертая, где каждый начинает видеть ясно не только в своем сердце, но и в сердце другого</i>	205
<i>Глава пятая. Несходящиеся души</i>	207
<i>Глава шестая. Решение</i>	211
<i>Глава седьмая. Соловыный выводок</i>	214
<i>Глава восьмая. Очень нужное письмо</i>	217
<i>Глава девятая. Задыхнувшиеся</i>	220
<i>Глава десятая. Вокруг постели Кармелиты и у постели Коломбо</i>	224
<i>Глава одиннадцатая. Деревенский филантроп</i>	230
<i>Глава двенадцатая. Исповедь</i>	233
<i>Глава тринадцатая. Жерар Тардые</i>	237
<i>Глава четырнадцатая, где собака воет, где женщина поет</i>	243
<i>Глава пятнадцатая. Орсола</i>	248

Часть четвертая

<i>Глава первая. Власть</i>	255
<i>Глава вторая. Паук</i>	261
<i>Глава третья. Тайна Сарранти</i>	265
<i>Глава четвертая. 19 августа 1820 года</i>	270
<i>Глава пятая. Ночь 19 августа 1820 года</i>	275
<i>Глава шестая. Конец исповеди</i>	279

<i>Глава седьмая. Жюстен</i>	283
<i>Глава восьмая. Обыск.....</i>	287
<i>Глава девятая. Шаг</i>	294
<i>Глава десятая. Вальженёзы.....</i>	300
<i>Глава одиннадцатая, из которой читатель обязан не пропустить ни одной строки.....</i>	305
<i>Глава двенадцатая. Собратья-враги</i>	311
<i>Глава тринадцатая. Людовик принимает всю ответственность на себя.....</i>	315
<i>Глава четырнадцатая. Человек с фальшивым носом.....</i>	321
<i>Глава пятнадцатая. Ван-Дейк с улицы Уэст</i>	326

Дюма А.
Д 96 Собрание сочинений. В 35-ти томах. Т. 28.
Могикане Парижа. Роман: / Пер. с фр. Составитель А. Ку-
каркин: — М.: ТОО “ФРЭД”, 1994—336 с.

ISBN 5-7395-0060-5 (т. 28)

Роман “Могикане Парижа”, как и его продолжение, “Сальватор”, относится к тем произведениям Дюма, что практически неизвестны русскоязычному читателю. Оба романа написаны во второй половине 50-х годов прошлого века и затрагивают жизнь Франции какою она была в годы молодости писателя: действие “Могикан Парижа” начинается в марте 1827 года, во “вторник масленицы”, а заканчивается (уже в “Сальваторе”) 31 июня 1830 года, в эпоху, когда завершалась длившаяся полтора десятилетия Реставрация правления Бурбонов после ссылки и смерти Наполеона I.

В первом томе (четыре части) “Могикан Парижа” несколько сюжетных историй, драматических и трагических, сплетаясь, составляют пеструю картину парижских нравов, отличавших Францию времен очередной смены политических режимов.

Д 4703010100-018
771-96 Подписное

ББК 84.4Фр

Литературно-художественное произведение

Александр ДЮМА
МОГИКАНЕ ПАРИЖА

Художественный редактор *М. Г. Егiazарова*
Технический редактор *Л. А. Данкова*
Корректор *М. Г. Лобанова*

Лицензия ЛР № 062566 от 27.04.93.

Сдано в набор 11.02.96. Подписано к печати 29.04.96. Формат 60 × 90 1/16. Бумага офсетная. Гарнитура “Таймс”. Печать офсетная. Усл. печ. л. 21,00. Усл. кр.-отт. 21,38. Уч.-изд. л. 25,72. Тираж 40 000 экз. Заказ 1168. С018.

ООО “ФРЭД”. 113093, Москва, ул. Дубининская, 94а.

Оригинал-макет изготовлен НТВП “Эфintех”. Оператор: *Ю. Зайцева*
111250, Москва, Красноказарменная, д. 12.

Отпечатано в Государственном ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Московском предприятии «Первая Образцовая типография» Комитета Российской Федерации по печати. 113054, Москва, Воровская, 28.

Scan Kreyder - 01.10.2018 - STERLITAMAK

